

А.С.МАКАРЕНКО

СОЧИНЕНИЯ

АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР
ИНСТИТУТ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ

А.С.МАКАРЕНКО



СОЧИНЕНИЯ

Редакционная коллегия:

И. А. Каиров (главный редактор)

Г. С. Макаренко

Е. Н. Медынский

Москва · 1952



А. С. МАКАРЕНКО

~ ~ ~
СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ШЕСТОЙ

ЧЕСТЬ
ПОВЕСТЬ

~ ~ ~
НАСТОЯЩИЙ ХАРАКТЕР
ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ

~ ~ ~
КОМАНДИРОВКА
ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ

○
*Издательство
Академии педагогических наук
РСФСР*

Підготували к печати

В. Е. ГМУРМАН и Г. С. МАКАРЕНКО



ОТ РЕДАКЦИИ

В настоящем, шестом, томе Сочинений А. С. Макаренко публикуются повесть «Честь» и литературные сценарии «Настоящий характер» и «Командировка».

«Честь» написана в 1937—1938 гг. В этой повести А. С. Макаренко рассматривает проблему нравственного содержания категории чести. Он показывает, как в дни Великого Октября и послеоктябрьские годы формировалось чувство советского патриотизма трудового народа, как чувство национальной гордости нашло новые, более высокие формы своего выражения.

Литературные сценарии «Настоящий характер» и «Командировка» посвящены теме воспитания и перевоспитания человека. Автор рассматривает этот воспитательный процесс разносторонне и в широком общественном плане.

Анализ новых явлений в советской жизни послужил источником и для литературных сценариев «Настоящий характер» и «Командировка». Оба эти произведения рассказывают о советской молодежи, о комсомоле, о том, как под направляющим и руководящим влиянием большевиков формируются новые моральные качества, новые типы характера и поведения.

Повесть «Честь» была впервые опубликована в журнале «Октябрь» в № XI, XII за 1937 г. и № I, V, VI за 1938 г. Текст повести был также подготовлен для отдельного издания. В настоящем томе повесть публикуется по этому последнему, подготовленному автором тексту.

Сценарий «Настоящий характер» написан в конце 1938 г.—январе 1939 г., сценарий «Командировка» — в

начале 1939 г. Сценарии публикуются впервые по авторским рукописям, хранящимся в Архиве А. С. Макаренко.

В приложениях к настоящему тому даны две статьи А. С. Макаренко, посвященные разбору повести «Честь».

Обе эти статьи — «Против шаблона» и «О книге «Честь» — представляют значительный интерес, далеко выходящий за пределы анализа одного произведения. А. С. Макаренко сформулировал в этих статьях свои взгляды по важнейшим вопросам литературной критики. Статья «О книге «Честь» — одно из документальных свидетельств тщательной работы выдающегося советского педагога над классическими произведениями основоположников марксизма.

Статья «Против шаблона» была напечатана в «Литературной газете» от 30 июня 1938 г. Этот текст воспроизводится в данном томе. Статья «О книге «Честь» была написана в июне 1938 г., предназначалась автором для журнала «Октябрь». При жизни автора напечатана не была. Публикуется по авторской машинописи.

Комментарии к литературным произведениям даны в конце тома.





ЧЕСТЬ

ПОВЕСТЬ





ЧАСТЬ

1

1

Город стоял на большой реке. По реке проходило неустанное, деловое движение, и сам город был деловой, хлопотливый, запросто-кирпичный, без претензий. Через город давно прошла железная дорога от Москвы к югу, а от нее отделилась ветка куда-то далеко к западу. И на больших — в двадцать пять путей — товарных станциях, и на широких пристанях народ суетился, измазанный, потный, пахнувший смолой и маслом. И весь город был такой же: покрытый пылью и разными деловыми остатками. Даже воробьи порхали в городских скверах и над мостовыми с злободневным, практическим чириканьем, измазанные в масло, мазут и муку.

Построен город был давно, но не имел никакой истории. Ни сражений здесь не происходило, ни осад, и ни разу за триста лет жители не имели возможности проявить какое-либо геройство или гражданское мужество. И никто не родился в городе ни из генералов, ни из писателей, ни из ученых, даже и памятника поставить было некому: не только на площадях, но и на кладбищах ничего не было замечательного. Единственное место в городе, где ощущалось некоторое веяние истории, был городской парк, насаженный будто бы самим князем Потемкиным. Парк этот очень полюбили грачи.

Грачи целыми стаями всегда клубились над парком и при этом так кричали, что и за версту от этого исторического места разговаривать было трудно. Поэтому даже влюбленные избегали бывать в городском парке, а выясняли свои отношения под акациями второстепенных улиц и на скамейках у ворот. Городской голова Пряников, прославившийся постройкой трамвая в городе, и тот

ничего не мог сделать с грачами. С членом управы Магденко он нарочно отправился в парк, чтобы разобрать вопрос, но мог только пробормотать:

— Ну, что ты скажешь! Простая птица, а имеет свою линию! И какого чорта им здесь нужно?

Магденко ответил:

— Эта птица не вредная. Она только кричит, а зла от нее никакого...

— Как это никакого! — воскликнул городской голова.— Смотрите, что на дорожках делается! И на ветках! Это же какие дубы? Это потемкинские дубы!

Магденко посмотрел на дубы:

— Птица не понимает, потемкинский или какой. Она не только на историческое место, она может и живому человеку на голову, если человек неосторожный. Ей все равно. А пищи для нее сколько хочешь: наш город богатый!

— А если пострелять? — спросил Пряников.

— Пострелять можно, только новые прилетят, а кроме того, «Южный голос» обязательно карикатуру нарисует.

— Пожалуй...

— А как же? Раз прогрессивная газета, она должна. Напишет: «Уничтожение пернатых» или еще хуже: «Победа городского головы Пряникова над невинными птичками».

— Да,— сказал Пряников.— А жаль, очень жаль. Природное место... Здесь ресторан можно, а там открытую сцену.

— Хорошо,— вздохнул Магденко.

— А ходить будут?

— Кто?

— Известно кто: жители?

— Кто будет, а кто и не будет.

— К Аристархову не ходили?

— Не ходили.

— Не будут ходить,— решительно сказал Магденко.

— Да почему?

— Если даром, так будут ходить, а если за деньги, ни за что не будут ходить.

— Вот чорт,— сказал Пряников.— Какой народ дикий! Вот они и в трамвае не ездят. Кострома!

Народ в городе, действительно, одичал несколько за триста лет, а отчего это происходило, никто и не знал.

В других городах, говорят, и просвещением интересуются, и в театр ходят, и в трамваях ездят, а в нашем городе только хлопочут и заботятся о пропитании. В других городах есть и промышленность, и там научились даже произносить слово «рабочий», а в нашем городе все норвили по-старому выговаривать: «мастеровой». Почтенные люди в городе даже гордились: наш город патриархальный, нравственность у нас не то, что в Питере. Несмотря на постоянную суету, больших дел в нашем городе не делали, а со стороны многие и удивлялись: чем живут горожане? Горожане и на этот вопрос отвечали с достоинством: мы-де искони торговлей славимся, у нас река, у нас сплавы лесные, — святое дело. А на самом деле, бедно жили в нашем городе, с лесных пристаней ни богатства, ни просвещения не получалось... А беднее всего жили на Костроме.

Кострома расположилась по другую сторону потемкинского парка — на песчаных дешевых просторах. Почему это место называлось Костромой, никто не знал. От настоящей Костромы наш город был расположен очень далеко. Кроме того, в этом слове «Кострома» было что-то ругательное и обидное, значит, название было дано не по волжской старине, а по какому-то другому поводу.

Культурные горожане относились к Костроме с недоверием, даже полицейская собака в случае чего направлялась прямо на Кострому, не обнюхивая следов. На Костроме не было ни мостовых, ни тротуаров, ни кирпичных домов, воду Кострома добывала из колодцев, освещалась керосином, а водку пила и закусывала больше на открытом воздухе. С другой стороны, и жители Костромы не любили города. Правда, на Костроме были свой базарик и кое-какие лавчонки. Даже река проходила к Костроме особым коленом, чтобы не смешивали ее с городом. Она не расстилалась здесь широкой гладью, а почти к самым берегам подбросила несколько зеленых и тенистых островов. Удовольствия на этих островах были бесплатные.

В центре Костромы стояло несколько заводиков. Был здесь и шпалопропиточный железнодорожный, и укусный, братьев Власенко, потом табачная фабрика караима Карабакчи и завод молотилок и веялок Пономарева и Сыновья. Заводы эти приклеились друг к другу темными деревянными заборами, а во все стороны смотрели

широкими воротами и проходными будками. Со стороны реки к заводам подходила просторная площадь, песок на ней давно утрамбовался, площадь была укрыта приземистой, цепкой травкой и пересечена в нескольких направлениях узкими пешеходными дорожками. Посреди площади стояло красное двухэтажное здание высшего начального училища, выстроенного после того, как по рабочей курии чудесным образом прошел в государственную думу рабочий завода Пономарева — Резников. Депутат, правда, потом отправился в ссылку, но в простом разговоре жители Костромы все же называли училище резниковским.

На той же площади, с краю, Пономарев, когда вступил в кадетскую партию, построил столовую для рабочих. Некоторое время в столовой отпускались даже обеды для тех, кому далеко домой ходить обедать, но потом это дело расстроилось либо потому, что Пономарев покинул кадетскую партию, либо вследствие «некультурной» привычки рабочих приносить обед в узелках: хлеб и соленые огурцы с картошкой. В столовой Пономарев разместил контору и очень обижался на жителей, которые настойчиво продолжали называть контору столовой.

На этой же площади стояла еще и церковь,— маленькая, беленькая, приятная. Вокруг церкви раскинулось зеленое кладбище. На нем и укладывали костромских жителей, когда приходила в этом надобность, но и до наступления такой надобности жители любили погулять между могилами, кто с девушкой, а кто с приятелем, с бутылкой в одном кармане и все с тем же соленым огурцом в другом.

2

До немецкой войны жизнь и в городе и на Костроме отличалась спокойствием, хотя у каждого человека были и свои хлопоты. Никто не сидел сложа руки, все мотались с утра до вечера, каждый добивался своего, что ему положено в жизни. Исаак Маркович Мендельсон добился, например, что половина пристаней на реке называлась мендельсоновскими, а Ефим Иванович Чуркин выстроил дом кофейного цвета и на фасаде дома поставил Венеру с такими подробностями, что редкий человек мог пройти мимо, не скосив глаза на чуркинский дом. Добился своего и Богатырчук,— долго он был кладовщиком у Понома-

рева, а потом получил должность смотрителя зданий, квартиру в заводском флигеле и тридцать рублей жалованья. И старый Муха, плотник, тоже добился. Было ему пятьдесят девять лет, когда закончил он хату на Костроме, настоящий дом под черепичной крышей, а долгу на нем Пономареву за хату осталось только триста двадцать рублей. Старый Муха так полагал, что если он сам не заплатит, то сын — тоже плотник — обязательно заплатит, как и многие другие на Костроме, которые выстроили свои хаты. Теплов, Семен Максимович, например, десять лет благополучно выплачивал и жил в своей хате, а не таскался по квартирам.

До немецкой войны люди жили спокойно, и каждый считал себя хорошим человеком, а другие не сильно в этом сомневались. Хороший был человек Пономарев, а Карабакчи тоже хороший, а старый батюшка, отец Иосиф, говорил такие проповеди, что даже нищие плакали. И дети росли у людей хорошие, послушные, на рождестве ходили со звездой, на новый год «посевали» и пели при этом и поздравляли, чистыми детскими голосами Христа славили и радовали хозяев.

Правда, после 1905 г. чуточку испортилась жизнь. Новые слова появились у людей и новые повадки, старый Муха уже не казался таким хорошим, потому что его сын, плотник, во время забастовки как будто забыл, сколько отец должен Пономареву за хату, и будто бы даже выражался так:

— Не нужно платить ему, живодеру. Ничего ему никто не должен.

С того времени и в лице отца Иосифа появилось выражение скорби — и осталось на долгое время.

И выстроили потом высшее начальное училище на сто двадцать человек. Пономарев говорил по этому поводу:

— Раньше мальчишка, выучился он там или не выучился грамоте, собственно говоря, что ему нужно? Если у хорошего отца, подрастает, ему четырнадцать лет, а он уже отцу помогает, смотришь, и заработал на побегушках какую пятерку. Теперь ему шестнадцать, а он в школу таскается, географию какую-то учит. И самые разумные мастера с ума посходили. И Богатырчук, и Афанасьев, и другие. А Теплов, тот даже в реальное поперся с своим сыном. Дома есть нечего, а он на реальное тратится! Ну

пускай уже Теплов, всегда чудачком считался. А Пашенко, а Муха, а Котляров? Котляров! С чего живет? Плотник-упаковщик, и всегда был плотником-упаковщиком! Сына отдал в это самое высшее начальное, а дочку — в гимназию. Каким-то манером добился, — я, говорит, георгиевский кавалер! Заморочили людям головы. Как придет осень, все в училище. Принимают тридцать, а их триста прошения пишут. А потом ко мне: Прокофий Андреевич, возьми мальчишку на завод, пускай пока поработает. Пока!

3

Сын токаря Теплова Алексей окончил-таки реальное училище и поступил в Институт гражданских инженеров в Петербурге. Старый Теплов был человек гордый и суровый. Он и теперь не улыбался, а сказал сыну:

— Ученым будешь, а в паны нечего лезть.

Семен Максимович Теплов был одним из самых старых рабочих у Пономарева и самым лучшим токарем. Он вел строгую жизнь, не пьянствовал, жену не бил, улыбался очень редко и считался на Костроме человеком странным. В церковь ходил только когда говел, и то строго официально, два раза: один раз на исповедь, другой раз к причастию. В церкви стоял серьезный, отчужденный и гордый, расчесав редкую бороду и крепко сжав сухие, бледные губы; крестного знамения не творил и свечей не ставил. Отец Иосиф дома говорил матушке:

— Старый Теплов сегодня исповедывался. Вредный старик, злой, а однако за исповедь всегда рубль кладет. Чудные люди, ей-богу! Пономарев — рубль, и Теплов — рубль, — сравнялись! Гордость какая, бесовская!

Но отец Иосиф был добрый батюшка и не преследовал Теплова за гордость. Он даже смущался немного, когда Семен Максимович, холодный и несуетливый, укладывал седую голову под потертую, но ароматную епитрахиль. И не расспрашивал старого Теплова ни о каких грехах, а старался проникновенной, но скороговорной молитвой быстрее снять их с грешника. Семен Максимович деловито прикладывался к евангелию, так же деловито и не спеша открывал кошелек и осторожно опускал на тарелку серебряный рубль. Потом подымал сухую жилистую руку, но вовсе не для крестного знамения, а для того, чтобы раз-

гладить седые усы, приведенные в беспорядок во время церемонии. Отец Иосиф косо поглядывал на старого токаря и незаметно вздыхал. Он хорошо помнил, что к старому Теплому с молитвой лучше не заходить,— не пустит.

После причастия Семен Максимович негодующим жестом отмахивался от диаконовского красного плата для вытирания губ верующих и от серебряной чаши для запивания, не задерживался в храме до конца службы, а уходил домой, спокойно перемежая шагом суковатой палки шаги длинных ревматических ног. А дома отвечал жене на поздравление с причастием:

— Накорми, мать, как следует, а то на одном причастии не проживешь. Есть у тебя скоромное что-нибудь?

— Семен Максимович! Как же можно скоромное? Только что причастился и опять грессишь!

— Ничего, мать, лучше сразу, чего там откладывать!

— Семен Максимович, бог-то видит...

— Соображай, мать! Чего он там видит? Есть у него время за мной шпионить!

Станный и самостоятельный был человек Семен Максимович и сына отдал в реальное училище, наверное, на зло Пономареву, у которого сына из реального училища уволили за неспособность. Говорил тогда Алешке:

— Реальное не для нас строили, а ты покажи им. Принесешь четверку... лучше не приноси! Пятерки. Понимаешь?

Очень ясно выражался Семен Максимович, а Алешка от роду был понятливый. Так и прошел Алексей реальное на пятерках, ни разу не огорчив отца. И Алешке, и Семену Максимовичу трудно было протащить семилетний «реальный» курс. Семен Максимович еще много долгу не выплатил Пономареву за хату, и бывали такие дни, когда тихонько говорил Семен Максимович жене:

— Сократи, мать, разные сладости,— за правоучение платить нужно.

— Да какие же у нас сладости, Семен Максимович?

— Все равно сократи. Картошку давай.

И учебники покупал Семен Максимович самые старые, и форму доставал с чужого плеча, и за все семь лет ни разу не дал сыну на завтрак. Но такой уж был у него характер, ни разу не говорил с сыном о нужде, а сын ни разу не спросил. В старших классах стало легче, находились

уроки, а кроме того, сочинения писал Алексей гимназисткам, больше всего о тургеневских героях, по рублю за сочинение.

Алешка был славный мальчик: высокий, круглолицый, румяный, с большими серыми глазами. И хотя учился он в реальном училище один на всю Кострому, а дружил исключительно со своими костромскими сверстниками, большею частью учениками высшего начального училища. В этом училище собралась хорошая и дружная компания. По образованию не было для этих ребят соперников на Костроме, старшее поколение не пошло дальше трехлетки, да и то — немногие. В одном выпуске много у Алексея было друзей детства, тех самых, с которыми он в свое время и с гор спуускался, и рыбу ловил, и Христа славил. Лучшим другом Алексея в этом выпуске был Павел Варавва, сын пономаревского заводского сторожа. И старик Варавва и сын были люди невыносимо черной масти, у Павла даже и лицо было какое-то негритянское, только волосы не курчавились, а всегда торчком стояли на его голове. Конечно, в училище Павла дразнили цыганом. Когда Алеша поступил в институт, Павел уже работал у Пономарева помощником ремонтного слесаря.

Вместе с Вараввой окончили высшее начальное училище хорошие и веселые хлопцы: и Сергей Богатырчук, и Дмитрий Афанасьев, и Филька Пащенко, и Колька Котляров. Некоторые из них, как Филька и Колька, сразу пошли на завод, другие захотели чистой работы, — кто устроился табельщиком, кто конторщиком, а Сергей Богатырчук пристроился к бродячему цирку, кого-то положил там на обе лопатки, да так и пошел гулять с цирком, сначала борцом, а потом наездником.

4

Приехал на каникулы Алешка Теплов, и неожиданно появился на улице Сергей Богатырчук: у него вышли какие-то неприятности с директором цирка, и он решил навестить родителей. Многим девушкам на Костроме очень нравился Сергей Богатырчук и высоким ростом, и могучей шеей, и коричневой курткой со шнурами, но Сергей заглядывался на Таню Котлярову, на которую заглядывались и все остальные молодые люди. Таня только что

окончила гимназию в городе. Давно уже не было на Костроме такой красавицы. Даже Семен Максимович Теплов, встретив однажды Таню, когда возвращался с работы, остановился и сказал:

— А ну, стой! Ты это откуда такая? Котлярова, что ли?

Таня тогда была в последнем классе. Она наклонила голову и прошептала:

— Котлярова. Здравствуйте, Семен Максимович!

— Ха! — сказал Семен Максимович. — Здорово! Только не забудь, что плотника дочка, а не какой-нибудь свиньи, — стукнул суковатой палкой о землю и зашагал дальше. А Таня долго еще смотрела ему вслед и думала над его словами.

У Тани были яркие голубые глаза, а брови и ресницы черные. Прозрачные коричневые тени были положены на веках, и все лицо у Тани было нежное и смуглое, даже чуть раздвоенный подбородок.

В это лето многие добивались таниного благосклонного взгляда. Но танин взгляд с одинаковым дружеским вниманием бродил по лицам молодых людей и очень часто останавливался на них с непонятной иронией.

Хата Котляровых недалеко стояла от хаты Семена Максимовича, и все детство Алешка провел в обществе детей плотника-упаковщика. Колька Котляров был нрава тихого и скучного, зато Таня никому из мальчишек не уступала ни в одной игре. В то время никто из друзей не думал, что наступает в жизни время любви, что люди бывают красивые и некрасивые, что это обстоятельство имеет некоторое значение. А когда Алешка влюбился в Таню, между ними уже не было первой детской близости, и приходилось ему начинать дружбу сначала. И вот этой новой дружбе почему-то мешали и иронический блеск таниных голубых глаз, и толпа влюбленных юношей, и неуверенность в себе.

Была середина июля. Алеша с Богатырчуком только что выплыли на лодке из-под зеленых навесов острова: увидел Алеша, сидевший на руле, проходившую по берегу группу девушек.

— Сергей, хочешь посмотреть на Таню?

— Разве? Где?

— Обернись.

Обернулся Сергей, а до берега сажень двадцать. Сергей сказал:

— Ну давай, давай же к берегу!

— Да ведь ты гребешь, а не я. Ну и давай!

В руках у Сергея два весла, и руки работают, да только весла над водой даром ходят. Алексей засмеялся и закричал:

— Таня, подожди, Сергей на тебя посмотреть хочет!

Таня отделилась от девушек, стала на влажном песке у самой воды, а розовая ситцевая юбка под теплым ветром прижалась к таниному колену, только край юбки все вырывается и вырывается. Богатырчук бросил весла, прыгнул на берег, лодка завертелась на месте.

— Вот еще дурень,— сказал Алеша и гребнул своим веслом, выправляя лодку, но глаз не спускал с берега,— важно было посмотреть, как Таня встретит Богатырчука, самого красивого человека на Костроме.

Богатырчук стоял на берегу, его щегольские сапоги погружались в мокрый песок, а он смотрел на Таню и отдышаться не мог не то от сильного прыжка, не то от голубого сияния таниных глаз.

— Здравствуй, Сергей,— сказала Таня. Ее тонкая талия, перехваченная узким пояском юбки, чуть-чуть шевельнулась в еле заметном поклоне, может быть, даже немножко шутливым.— А где твоя куртка?

— Какая куртка? — спросил Богатырчук и сразу поглупел в несколько раз.

— Да ведь у тебя одна куртка: со шнурками! Очень красивая.

Алексею понравился этот разговор. Но Таня и на него ни разу не взглянула. Поэтому Алексей спросил с иронией:

— Откуда ты знаешь, сколько у Сергея курток?

Но Таня и теперь не оглянулась на Алексея, а ждала, что скажет Богатырчук. Сергей, наверное, и не собирался отвечать, а все смотрел и смотрел на улыбающееся танино лицо.

— Ну, довольно,— сказал Алеша, приткнувшись к берегу.— Посмотрел, и поедem дальше.

Богатырчук растерянно оглянулся на лодку, потом радостно мотнул головой:

— Чорт его знает... как ты... того!

Таня бросила быстрый взгляд на Сергея и вдруг предложила, присматриваясь к Алеше с деловым вниманием:

— Вылезай, Алеша, пойдем с нами.

— Нет, Таня, расчета нет.

— Какой там расчет? Вылезай, проводите нас.

— Нема расчета,— повторил Алеша, завертел головой, не глядя на Таню.

— Ты сегодня какой-то... скуластый.

— Это я от злости. Сергей, марш в лодку!

Богатырчук вытащил одну ногу из песка, посмотрел на нее, потом посмотрел на Таню и взмолился:

— Таня, он надо мной власть имеет: дал ему слово до вечера плавать. А у тебя добрая душа, садись к нам в лодку. Мы тебя довезем, куда нужно...

— У Тани нет времени с нами болтать,— Алеша развел руками в лодке,— вон ее компания стоит.

— А отчего? — спросил Богатырчук и высоко поднял брови.

У Тани жалобно вздрогнули ресницы:

— Ты в самом деле сегодня злой. Отчего это? А?

— Это? Это... от солнца. Жаркое очень солнце.

Богатырчук вытащил и вторую ногу и решительно взмахнул кулаком:

— Ну, и похорошела же ты недопустимо! Что это такое?

Таня засмеялась легко и радостно, вдруг наклонилась к коленям, удерживая стремящуюся вверх юбку, и посмотрела на Богатырчука с любопытством.

— Взвыл! — сказал Алеша.— Хватит с тебя! Полезай на свое место!

Богатырчук повел плечами, выпрямился и прыгнул в лодку, но и в лодке немедленно повернулся к Тане: он не мог оторваться от ее голубых глаз, от ее темнорусой косы, от ее розовой юбки.

— Бери весла! — резко приказал Алексей.

Сергей обалдел как будто.

— Бери весла,— повторила Таня с тихой ласковой убедительностью.

Алексей круто занес весло за корму, и лодка быстро наметила носом путь к острову. Таня крикнула весело:

— Знаешь, Сережа, а без шнурков тебе гораздо лучше!

Алексей сидел теперь спиной к Тане. Он не хотел больше ее видеть. И удивился, когда услышал свое имя:

— Алеша, мне нужно с тобой поговорить. Приходи вечером к столовой.

Алеша быстро оглянулся. Таня догоняла девушек и на бегу приветствовала его рукой.

Богатырчук тоже смотрел на Таню. А потом сказал Алексею:

— Видишь?

— Нет, не вижу,— ответил Алексей серьезно.

— Ну, и я не вижу,— вздохнул Богатырчук и взялся за весла.

5

В это лето в помещении бывшей столовой открылся «Иллюзион» — кинематограф. При входе в столовую повисли два ослепительных фонаря. Электрическую энергию предоставил Пономарев с своего завода. Содержатель «Иллюзиона», приезжий, веселый человек со странной фамилией Убийбатько, то сам сидел в кассе, то усаживал жену, толстую и сердитую даму. Он сам веселым голосом, а жена злым голосом отвечали покупателям в одной и той же форме:

— Не можем дешевле, господа, у нас не городская электрика, а господина Пономарева.

И многие господа отходили от кассы, не имея возможности получить иное удовлетворение, кроме такого ответа. Но электрика отражалась отрицательно и на самом Убийбатько: только по субботам в «Иллюзионе» набиралось порядочно публики, потому что в субботний вечер многие старики приходили с женами смотреть погоню за вором или смешные приключения Макса Линдера. В другие же дни господ зрителей набиралось меньше половины зала, а остальные места заполнялись костромскими мальчишками, умевшими с энергией не менее титанической, чем энергия Макса Линдера, преодолевать и строгость контроля, и неудобство пономаревской электроэнергии.

И все-таки «Иллюзион» супругов Убийбатько имел на Костроме большое просветительное значение, главным образом, в смысле буквальном: указанные выше ослепительные фонари ярко освещали довольно приятную площадку: на ней еще кадетом Пономаревым были посажены де-

ревя и поставлены деревянные диванчики. Когда-то все это предназначалось для уставших рабочих, ожидающих обеда. Теперь на диванчиках располагалась костромская молодежь, по разным соображениям предпочитавшая свежий воздух фракам и визиткам кинематографических героев. Преддверие «Иллюзиона» обратилось в маленький костромской клуб. Убийбатько с негодованием смотрел на это бесплатное использование электроэнергии и обращался к публике:

— Господа, надо купить билеты и смотреть картину, а здесь нечего сидеть даром.

Но такое обращение не имело успеха у сидящих на диванчиках, и в дальнейшем Убийбатько ограничивался тем, что тушил фонари, когда начинался сеанс.

На диванчике сидели Алеша, Таня и ее брат Николай Котляров, тоже голубоглазый, но совсем некрасивый юноша, с бледным веснушчатым лицом. Николай заглядывал в лицо Алеши и говорил жидким, нежным тенором:

— Идем, Алеша, не ломайся.

Таня смотрела на Алешу любопытным взглядом вкось, как будто исподтишка. Алексей склонился к коленям и задумчиво поглядывал на кусты желтой акации. Из-за кустов вышли Павел Варавва и Богатырчук. Павел сказал:

— Алеша ни за что не пойдет за чужой счет. Что ты его уговариваешь?

— А я пойду,— веселым басом произнес Богатырчук.— Пойду за счет Цыгана — и ничего. Спасибо ему говорить не буду. Он помощник слесаря, у него денег много.

— Перед кем ты гордишься,— обратился Павел к Алеше.— Перед товарищами? Дурень ты, хоть и студент. Какая честь тебе в том: сидишь и надуваешься!

Алеша поднял голову, свет упал на его лицо. Оно было еще по-юношески румяным и круглым, но на скулах уже начинали играть тени мужества, а на лбу падала к переносью резкая и острая складка. Алеша с усилием, вкось, посмотрел на Павла:

— Тебе хочется в «Иллюзион»?

— А что же? Хочется. А почему? А тебе не хочется?

— Не хочется.

— А скажи, твой институт называется императорским?

— Мой институт не называется императорским.

— Так чего же ты?

— Я ничего...

— Идем,— решительно сказал Павел и тронул Алешу за плечо.

— Отстань!

— Идем, уже впускают.

За кустами акаций на главной дорожке проходили голы и картузы посетителей «Иллюзиона». Алексей поднялся со скамьи, неожиданно выпрямил высокое, ловкое тело и потянулся, положив руки на затылок.

— Идите, я вам не мешаю.

— Раз ты не идешь — значит, и я должен тут торчать,— пробурчал недовольно Павел.

— Да ну вас к чорту! — сказал Богатырчук.— Пригласил, а теперь назад? Ты меня из дому вытащил? Какое ты имел право, уважаемый?

— На тебе сорок копеек и ступай один.

Богатырчук взял сорок копеек, подбросил их на ладони и грустно ухмыльнулся красивым ртом:

— Подлецы! Вы думаете, у меня действительно никакой чести нет? Подлецы вы после этого! На твои сорок копеек!

Он сразмаху опрокинул ладонь на протянутую руку Павла.

— Убирайся! Богатырчук может принять приглашение товарища, а подачек не принимает. Если даже его пригласит Колька Котляров, этот беднейший из пролетариата Костромы, Богатырчук примет приглашение.

Колька Котляров сказал без всякого выражения:

— Я тебя не приглашаю.

— Почему?

— Не хочу.

— Нет, почему?

— Сказать?

— Скажи.

— Принципиально.

Колька стоял перед Сергеем мелкий, нескладный, ничего не унаследовавший от плотника Ивана Котлярова: ни саженных плеч, ни коренастости, ни буйной шевелюры, но сквозь плохонькую оболочку ясно был виден его принципиальный дух. Павел пошевелил руками в карманах и сделал шаг к Николаю:

— Интересно.

Одна Таня осталась на диване и спокойно играла пушистым кончиком косы на коленях. Колька под горячим взглядом Павла поежился, но не улыбнулся, отвел глаза к фонарям и сказал негромко:

— Да чего говорить! Ты спроси у него, почему он не работает?

— Ха! — засмеялся Богатырчук и повалился на диван рядом с Таней.— Старая песня. Меня даже не раздражает. Дома папаша с мамашей талдычат, теперь Колька прибавился. Чорт бы вас побрал, почему вы отца Иосифа на помощь не позовете?

— Нет, ты все-таки отвечай,— сурово произнес Павел.— Он тебе в глаза сказал,— и ты в глаза.

— Знаешь что? Дома я читал «Три мушкетера». Знаешь, до чего интересно! Пришел ты, Цыган. Идем да идем! Пожалуйста! А вы мораль тут развели, труженики! Настойчиво требую, веди меня в этот самый «Иллюзион». Требую выполнения обязательств.

— Хорошо, выполню обязательство, а только скажи, почему ты не работаешь?

Богатырчук протянул руку по спинке дивана сзади Тани, и Таня немедленно выпрямилась, все так же теребя кончик косы.

— Скажу. Алешка и так знает. Скажу. Но все-таки нет справедливости. Алексей тоже не работает, однако, ты его тащил в «Иллюзион»? Тащил, Колька?

— Тащил,— так разница: Алешка студент, он работает, только ничего не получает. А с какой стати я буду тебя водить, когда ты нарочно не работаешь?

— Ну, хорошо. Почему я не работаю? Не хочу. Не хочу работать на Пономарева. Не хочу жить в этой самой Костроме. Здесь живут рабы Пономарева и Карабакчи. Ты сколько получаешь, помощник слесаря?

— В этом месяце заработал семнадцать,— хмуро ответил Павел, не глядя на Сергея.

— Семнадцать. А ты сколько, Колька?

— Не в том дело, а ты дальше говори. На кого ты хочешь работать?

— Ни на кого.

— Как это у тебя выйдет?

— Как-нибудь выйдет. Опять в цирк пойду.

— Балда! — сказал Павел.— А в цирке ты на кого будешь работать? Все равно на хозяина.

— В цирке не так, детки. В цирке я работаю для людей. И вижу людей. Вы этого не знаете. Когда выскочишь на арену на «Цезаре»... свет какой! Глаза какие! Да что вы понимаете?

— Чьи глаза? — тихо спросила Таня.

— Всякие глаза: и у людей, и у «Цезаря». Какие красавицы смотрят, улыбаются. Да и не только красавицы!

— И что? — так же тихо спросила Таня.

— Он себе шею свернет на «Цезаре», а хозяин все равно в карман тысячи положит,— тоскливо протянул Николай.

Сергей вскочил. Он стал против Николая, взмахнул кулаком и этим движением как будто сбросил с себя богатырское свое добродушие:

— Наплевать мне на хозяина! Когда я на арене, хозяин — мой лакей, понимаешь. Он смотрит мне в глаза и дрожит. Я тогда артист. Ты знаешь, что такое артист? Знаешь?

— А за что тебя хозяин выгнал, Сережа?

Богатырчук не ожидал нападения с этой стороны. Он повернул к Алексею тяжелую голову:

— За что?

Алексей стоял у кустов акации и заканчивал перочинным ножиком пищик. Он поднял глаза на Сергея, вложил пищик в рот и вдруг запищал на нем оглушительно и комично-жалобно, а потом спросил, перекосив губы в ехидной гримасе:

— Да. За что?

Павел взмахнул руками и захохотал. И Николай с застенчивой улыбкой отвернулся к фонарю. Улыбнулась и Таня, присматриваясь к Алеше. Богатырчук оглянулся:

— Выгнал? Не выгнал, а...

— Уволил,— серьезно закончил Павел.

Сергей осторожно сел на диван. Таня смотрела на него с интересом.

— Все-таки за что, Сережа? — ласково спросила она.

— За грубость,— тихо ответил Сергей и улыбнулся ей печальными глазами.

Таня задержала на нем внимательный, почти материн-

ский взгляд, поднялась с дивана, перебросила косу назад и сказала решительно:

— Хватит! Идем в театр, все! Слышишь, Алеша?

Алексей увидел ее нахмуренные брови и протянул руку к Павлу:

— Павлушка, одолжи сорок копеек до завтра.

6

По дороге домой Алеша и Таня отстали. Таня спросила:

— Неужели ты из гордости не пошел в «Иллюзион» за колин счет?

— Не из гордости, Таня, а из бедности.

— Это все равно.

— Нет, не все равно. Если у меня были бы деньги, я мог бы пойти за их счет.

— А где ты возьмешь отдать Павлу сорок копеек?

— У отца.

— Ты у него много берешь денег?

— Нет, почти что не беру, вот разве на дорогу теперь придется взять.

— А как же ты живешь в Петербурге?

— Зарабатываю.

— Много зарабатываешь?

— Уроками много нельзя заработать. Очень дешево платят.

— А сколько платят?

— Если репетировать какого-нибудь отсталого, — пять рублей в месяц.

— А сколько тебе нужно в месяц?

— Мне нужно самое меньшее тридцать рублей.

— Для чего?

— Квартира, стол, учебники, ну, конечно, баня, бритье, кое-что починить, в театр нужно.

— А если без бритья — значит, дешевле?

— На бритье полтинник можно скинуть. Таня, почему ты сказала, чтобы я пришел сегодня к столовой?

— Я просто хотела побыть с тобой.

— Почему?

— Как почему? Мне с тобой хотелось побыть вместе.

А как же ты зарабатываешь тридцать рублей? Неужели шесть уроков?

— Ну, три, четыре урока.

— Значит, не выходит тридцать рублей?

— Никогда не выходит. Все-таки, если человек хочет видеть другого, у него есть какие-нибудь причины.

— Причины? Конечно, есть...— Таня лукаво глянула на Алешу.— А как же так, без причины?

— А какие у тебя причины?

— И причины есть, и все есть,— произнесла Таня задумчиво.

Алексей наклонился к ней, заглядывая в лицо. Она подняла глаза:

— Все-таки, как же ты живешь, если ты не зарабатываешь?

— По-разному живу. Если нехватает — значит, за квартиру не плачу, живу, живу, пока выгонят, вот и экономия.

— Или не обедаешь?

— Это самое легкое,— не обедать. Обедать вообще редко приходится, больше чай и булка. Но бывает, урок достанешь за обед. Это самое лучшее с экономической стороны, но только обидно как-то. Я не люблю.

— А почему ты у отца не берешь?

— Да у отца нету. Он еще Пономареву должен. Но он иногда присылает. Это... последнее дело — получать от него деньги.

— Ты чересчур гордый, Алеша.

— Нет. Какой же я гордый, если все спрашиваю и спрашиваю: почему ты захотела быть со мной.

— А почему тебе так интересно?

— А как ты думаешь?

— Ты воображаешь, что влюблен в меня, да?

Алеша и на темной улице покраснел и испугался:

— Нет... как ты сказала...

— Значит, ты не воображаешь?

— Я ничего не воображаю.

— Вот и хорошо. А я уже думала, что и ты влюбился.

— Ты что ж так плохо говоришь о любви?

— Чем же плохо?

— Ты никого не любишь? Никого?

— Нет, одного человека люблю, но держу в секрете.

- Почему?
- Я хочу учиться. Если полюбить и сказать, замуж выйти, значит... ну, обыкновенная костромская история.
- Если любишь — вместе хорошо!
- Я боюсь — вместе!
- Почему?
- Я, Алеша, боюсь женской доли. Я буду искать другое. Ты не думай, что я ничего не знаю. Я все знаю.
- И ты удержишься, не скажешь?
- Чего не скажу?
- А вот... тому человеку... про любовь?
- Конечно, не скажу.
- И долго?
- Пока не кончу медицинское отделение. Я потому тебя и спрашиваю все.
- Ага... так поэтому ты меня и просила придти?
- И поэтому.
- А скажи, разве любимый человек не мог бы помочь тебе учиться?
- Таня улыбнулась в темноте, но улыбка слышалась и в голосе:
- Как же он поможет? Он... тоже... очень бедный. А скажи, Алеша, я достану уроки в Петербурге?
- Ты в Петербурге будешь учиться?
- Да.
- Значит, вместе? — Алеша обрадовался, как ребенок.
- Ну, да. В одном городе.
- Я тебе помогу найти уроки.
- Спасибо.
- Тот учится или работает?
- Кто?
- Которого ты любишь?
- А потом ты спросишь, на какую букву начинается его имя? Да?
- Спрошу.
- А потом, какая вторая буква?
- Нет, я и по первой догадаюсь. Скажи.
- Да, для чего тебе, ты же не влюблен в меня?
- А может, и влюблен...
- Да ведь ты сказал...
- Я ничего не говорил...
- Ты сказал, что ты ничего не воображаешь...

- Можно просто любить, а не воображать.
- Алеша, сколько стоит билет до Петербурга?
- Дорого: восемнадцать рублей.
- Ой, как дорого!
- Таня... неужели ты не скажешь,— ты должна по дружбе, по старой дружбе...
- Что сказать?
- Кого ты любишь?
- Алеша, ты все об этом? Мне никого не хочется любить. Ты такой гордый человек, неужели ты не понимаешь: разве можно любить, если тебе на обед нехватает? Это оскорбительно.

Алеша опустил голову, очень многие подробности его студенческой жизни, подробности ежедневных мелких обид, голодной бессильной жизни вдруг пришли в голову. Снова подступил к сердцу невыносимый вопрос, мучивший его все лето: как взять у отца восемнадцать рублей на дорогу? И еще более трудный: как попросить у отца сорок копеек, чтобы отдать Павлуше?

7

Доктор Петр Павлович Остробородько давно заведывал земской больницей, расположившейся на краю города, но усадьбу купил поближе к центру,— широкий многокомнатный дом, окруженный верандами, цветниками, садом. Не только в нашем городе, но и в других городах Петр Павлович считался врачом-чародеем. Петр Павлович добросовестно поддерживал свою медицинскую славу хитрыми рецептами, золотым пенсне и умными разговорами. Честно служила славе и небольшая бородка Петра Павловича, делавшая его похожим на самого Муромцева, председателя первой государственной думы. Может быть, и в самом деле Петр Павлович был талантливым врачом, но несомненно, что это был человек общественный и богатый. Богатств его, правда, никто не считал, но никто не жил в нашем городе так широко и красиво.

В доме Остробородько всегда собирался цвет городской молодежи, привлекаемый сюда не столько славой Петра Павловича, сколько гостеприимством и красотой его дочери Нины Петровны. Нина Петровна была уже по-

молвлена с сыном отца Иосифа — Виктором Троицким, но это обстоятельство почему-то никто всерьез не принимал. Нина была красива: высокая, нежная, медлительная, всегда ласково задумчивая и приветливо сдержанная.

Брат ее, Борис Петрович, студент Петербургского технологического института, считался человеком глупым, и этой славе не мешали ни его красота, ни веселый нрав, ни общая симпатия, его окружающая. Еще в реальном училище товарищи считали долгом чести вывозить Борю во время экзаменов, а в технологическом институте прямо с его зачетной книжкой ходили к профессорам и сдавали за Борю зачеты, не столько, впрочем, из чувства дружбы, сколько из мальчишеской любви к студенческим анекдотам.

На веранде Остробородько собралась большая компания. Говорили исключительно о надвигающейся войне. Городской врач, кругленький и остроглазый человек, Василий Васильевич Карнаухов, называемый в городе чаще просто Васюней, ораторствовал воодушевленно:

— Уверяю вас честным словом, — демонстрация! Что вы шутите? Франция и Россия! Немцы еще не сошли с ума. Вы думаете, они рискнут из-за какого-то там Эльзаса? Или, вы думаете, им очень жалко этого самого Франца-Фердинанда? Мы своей силы не знаем, а немцы знают. Это не девятьсот четвертый год! Великая Россия! Великая Россия, господа!

Борис стоял против группы женщин, обрывал чайную розу и очень ловко бросал ее лепестки в прически дам. Дамы встряхивали головами, улыбались красивому Борису и старались внимательно слушать Васюню. Продолжая игру, Борис говорил:

— Австрийцы что? А вот пруссаки нам зададут, зададут, зададут...

После каждого слова Борис бросал новый лепесток.

У барьера веранды стоял и смотрел в сад широкоплечий, лобастый жених Нины, — Виктор Осипович Троицкий. Он сомкнул тонкие губы, и было видно, что он одинаково презирает и тех, кто боится немцев, и тех, кто не боится. Белый китель следователя, золотые пуговицы с накладными «зерцалами», бархатные петлицы, белые красивые руки — все отдавало у Виктора Осиповича мужской серьезностью.

— Виктор, будет война? — крикнул Петр Павлович с другого конца веранды.— Будет или не будет? Мне твое слово нужно, я этим вертопрахам не верю.

Троицкий обратился к будущему тестю:

— Я не пророк, Петр Павлович, я пока только следователь.

— Говорите, следователь, не ломайтесь,— сказала одна из дам.

— В таком случае, будет,— ответил Троицкий, круто повернувшись к обществу.

— И победная?

— Надеюсь. Мужики не подведут. Вот... пролетарии...

— Подведут,— закричал Борис и бросил остаток чайной розы к дамским ножкам.

Все засмеялись. Петр Павлович, сидя в качалке, замахал руками на Троицкого:

— Брось, брось! Никто не подведет! Да вот же и представитель пролетариата. Алексей Семенович, успокойте, голубчик, старика.

* Алексей редко бывал в этом доме, сегодня затащил его Борис на правах однокашника. Алешке всегда казалось, что здесь слишком высокомерно относятся к его бедности. Но иногда и тянуло попасть в этот барский уют, в среду красивых женщин и хороших настроений. Приятно было ощущать близость Нины.

Сегодня Алеше не нравился разговор, и он хотел уйти, но Нина оставила всех остальных гостей, поставила перед ним чашку чая и печенье, села рядом с ним:

— Уйдете, всю жизнь буду обижаться!

И Алексей сидел и смотрел в стакан чая, стесняясь своей ситцевой косоворотки. Вопрос Петра Павловича застал его неподготовленным, он покраснел. Борис закричал:

— Пролетариат подумает!

Следователь один не смеялся и строго смотрел на Алешу:

— Интересно!

Алеша сказал:

— Почему вас интересует пролетариат? А командиры?

Троицкий ответил ему, почти не раздвигая сухих холодных губ:

— Командиры меня тоже интересуют. Но в вопросе о командирах вы, вероятно, менее компетентны.

— То-есть, в каком смысле командиры? В каком смысле? — Петр Павлович заерзал в качалке. — Офицерский корпус?

— О, нет! — Троицкий расправил плечи. — Офицерский корпус у нас великолепен. Вы согласны, господин Теплов? Алексей пожал плечами.

— Не согласны?

Алексей смотрел на Троицкого серьезно, но его губы проделали ряд упражнений, которые в любой момент могли перейти в улыбку:

— Я думаю, что наши офицеры... умеют умирать.

— Благодарю вас, — насмешливо сказал следователь.

— Ну, и прекрасно! А чего тебе еще нужно? — радостно закричал Борис.

— Какой ты все-таки... повеса, — укоризненно проговорил Петр Павлович. — Что ты говоришь?

Борис с таким же выражением радостного оживления воззрился на отца, но отец забыл о нем и внимательно обратился к Алеше:

— О, вы не так просто ответили, Алексей Семенович! В ваших словах есть, знаете, такой привкус: вы говорите, умирать умеют, а дальше? Чего они не умеют?

— Я боюсь, что они не умеют побеждать.

— Вы прелесть! — прошептала Нина.

— Вот, вот! — Петр Павлович подскочил в качалке. — Ты слышишь, Виктор?

— Слышу. Только господин Теплов ошибается или... хочет ошибиться. Офицеры умеют и побеждать.

Петр Павлович решительно откачнулся назад и покачал головой:

— Д-да! Если вспомнить прошлую войну, прогноз насчет «побеждать» слабоватый выходит.

Троицкий застегнул верхнюю пуговицу кителя:

— В неудачах японской войны виноват не офицерский корпус, а... вы знаете, кто.

— Двор?

— Не двор, а правительство; впрочем, пускай и двор.

— А Куропаткин, Стессель, Рождественский? Паршивые стратеги.

— Найдутся и хорошие. Во всяком случае, я рад, что

господин Теплов признал за офицерами способность умирать. Это очень хорошая способность. У многих ее не бывает.

— Я бы предпочел все-таки, чтобы у офицеров была и способность руководить армией,— сказал Алеша медленно и улыбнулся.

— Как это вы важно говорите: я бы предпочел. Кто вы такой?

Алеша поднялся за столом и одернул рубашку:

— Кто такой я? Если разрешите,— я гражданин той самой великой России, о которой говорил Василий Васильевич.

— Здорово ответил! — закричал Борис.— Честное слово, здорово!

Петр Павлович засмеялся в лицо следователю.

— Срезали следователя, а главное, не ответили на счет пролетариата...

Троицкий нахмурил брови:

— Я надеюсь, и на этот вопрос господин Теплов ответит с таким же достоинством, тем более, я повторяю, что в этом вопросе он более компетентен.

Алеша решил уходить. Он пожал руку Нине, но она задержала его руку и подняла к нему глаза:

— Отвечайте, отвечайте,— сказала она чуть слышно.

У Алеши вдруг стало светло на душе от этой маленькой ласки, и он сказал, подойдя к следователю:

— Виктор Осипович, вы помните забастовку тысяча девятьсот пятого года?

— К чему это? — гордо спросил следователь.

— Пролетариат — это очень большая сила, гораздо, гораздо больше, чем вам кажется.

— Ну?

— Я думаю, что пролетариат не удовлетворится командирами, которые умеют только красиво умирать. Этого будет мало.

Троицкий прищурился:

— И что он сделает с ними?

— Я не пророк, я только студент.

— И я студент,— закричал Борис,— но я предсказываю: будут большие неприятности.

Все засмеялись. Петр Павлович с осуждением посмотрел на сына, пожал руку Алеше и сказал:

— Будем надеяться на лучшее, Алексей Семенович.

Нина спустилась в сад рядом с Алешей. Он с удивлением и радостью посматривал на нее, она молчала, склонив красивую белокурую голову.

— Я незаслуженно пользовался сегодня вашим вниманием, Нина Петровна. Я страшно вам благодарен.

— Приходите чаще,— сказала негромко Нина.— Хорошо?

8

Возвращался Алеша на Кострому около десяти часов вечера. В конце прямой улицы горели огни вокзала, а за ними потухали последние пожары заката. От заката протянулись по небу неряшливые космы облачных следов,— ленивой метлой подметал кто-то сегодня небеса.

По узким кирпичным тротуарам пробегала обычная вечерняя толпа. Люди спешили к домам, уставшие, без толку суетливые, без нужды разговорчивые. Трамваи ковыляли с такой же излишней торопливостью и скрывались в неразборчивой перспективе улицы, а их грохот тонул в еще более оглушительном перекате подвод, передвигавшихся где-то ближе к вокзалу. Из этого сложного, надоедливое шума как-то случайно и незаметно возник более настойчивый, высокий и упорядоченный звук. С резким треском, подскакивая колесами на булыжниках, проехал извозчик и уничтожил этот звук, но силуэт извозчика был еще хорошо виден, а из-за него уже вырвался строгий и сухой, уверенный барабанный бой. Через несколько секунд он покрыл шум улицы. Люди на тротуарах сбились к краям, заглядывая в даль улицы.

В последних, пыльных сумерках поперек улицы легла однообразно темная полоса, а над ней косою штриховкой расчертился потухающий закат. Кто-то спросил рядом:

— Чего это? Солдаты?

— А кому же больше? Да много, смотри!

— Караул, что ли?

— А кто их разберет — может, и караул.

Молодой парень вытянул голову и крикнул:

— Гляди: музыка, а не играет!

— Ну? Музыка? — спросил сзади голос.

— Да, музыка, смотри!

Всмотрелся и Алеша. Он уже видел бледные пятна барабанов и движения рук барабанщиков. Они быстро выплывали из сумерек и проявлялись на фоне темной массы. Один из них, идущий крайним, далеко отбрасывал правую палочку и красивым ловким жестом снова бросал ее на барабан, — казалось, что это он один выделяет правильную и дробную россыпь, а другие только поддакивают ему дружными и звонкими точками. За барабанщиком шел оркестр, спокойно покачивая раструбами бледносеребряных труб.

Алексей выдвинулся вперед на мостовую. Крайний барабанщик прошел мимо него, чуть задев его рубаху кончиком палочки. Музыканты оркестра шли вразвалку и поглядывали по сторонам. Глаза Алеши вдруг увидели чуть-чуть искривленный ножик: он ходил взад и вперед над тусклым золотом прямого аккуратного погона. Алексей, наконец, разобрал, что это — офицер с обнаженной шашкой. Рядом с ним солдат, а потом снова офицер и снова с шашкой. Солдат до самой мостовой вытянул из-под руки длинное древко, над головой солдата выпрямился в небо узкий сверток. Алеша догадался: это знамя в чехле, вверху оно поблескивало и курчавилось каким-то металлическим орнаментом. За знаменем снова рябенький пояс офицера и грациозные шаги узких сапог, послушные барабанному маршу. А потом бесконечные ряды однообразно-незнакомых лиц, серьезных, с напряженными скулами, шеренги скошенных бескозырок и прижатых к груди прикладов. Лица и груди быстро проплывали, крепко утвержденные на гулкой, усыпляющей череде ударов тяжелых сапог по мостовой. Потом еще офицер и снова ряды прижатых прикладов и чуть скошенных бескозырок над темными, неподвижными лицами.

На тротуаре за линией зрителей кто-то спешил куда-то, бросался к плечам смотрящих, снова спешил вперед. Кто-то вскрикнул громко:

— Да что такое? Да ведь это Прянский полк!

— Какой там Прянский? Чего врешь?

Загалдело несколько голосов:

— Конечно, прянцы!

— Чего ору! Чего ору! Ты понимаешь, в чем дело?

— Уже понял: Прянский полк!

Близкие рассмеялись.

— Дурак ты: из лагерей ведь...

— Рассказывай: чего это в июле из лагерей?

— Что?

— Из лагерей! Вот так дела! А ну, стой! Скажи, милый, из лагерей?

Проходящий мимо солдат бросил быстрый взгляд на тротуар:

— А откуда же? Из лагерей.

Бесцеремонный локоть оттолкнул Алешу в сторону и метнулся за солдатом:

— Походом, что ли?

Солдат ничего не ответил, но идущий за ним вдруг улыбнулся широкой, деревенской улыбкой:

— Некогда походом. Поездом.

— Некогда?

На тротуаре задвигались, зашумели сильнее. На Алексея надвинулся чей-то большой нос:

— Вы понимаете? Вы понимаете, к чему?

Алексей заглянул через барьер сдвинутых плеч. В тесном кругу стоял полный кондуктор с жгутами на плечах, смотрел то на одного, то на другого из слушателей и говорил одними губами, не изменяя набитого мясом лица:

— Тридцать поездов! Тридцать! Через двадцать минут поезд за поездом. И товарные стоят, и пассажирские! На нашей станции два курьерских застряло!

Алексей обошел толпу и направился к вокзалу. Полк еще проходил, но барабанов уже не было слышно, и раздавался только стук сапог, то мерный и согласный, то перебиваемый каким-то соседним ритмом. Кто-то высокий пошел рядом с Алексеем и сказал, ища сочувствия:

— Ну, если полк из лагерей пригнали — значит, все ясно.

— Что?

— Говорю, все ясно: завтра мобилизация!

Алексей не ответил, а высокий продолжал:

— Вам оно не светит и не греет, — вы молодой еще, а мне вот жарко стало.

— Вы запасный?

— В запасе. Слово такое, как будто спокойное: запасный, а на самом деле, в первую очередь.

Высокий отошел и, отходя, сказал как будто про себя:

— Ах ты, господи, господи!

Алексей свернул в поперечную улицу. Здесь было тише и меньше людей, но впереди грохотало тяжело и упорно, снова стояла толпа и над ней проходили какие-то тени. Алеша прибавил шагу. По Александровской улице двигалась артиллерия,— пушки чередовались с конскими парами. Далеко впереди что-то крикнули, и там застучало быстрее, волна учащенного грохота покатилась оттуда все ближе и ближе. И ближайšie лошади вдруг пошли рысью, а за ними загрелась по мостовой, уткнув хобот в землю, молчаливая пушка. Этот быстрый бег орудий, сопровождаемый легким и веселым звоном подков, еще долго проносился мимо толпы. Обгоняя движение, сбоку быстрым аллюром, видно, на хороших лошадях, проскакали по улице два офицера. Один из них, молодой, что-то кричал товарищу и смеялся.

Алеша проводил их легкий, стремительный бег завистливым, взволнованным взглядом. Где-то далеко, за нечитанным рядом дней и ночей, зашевелились враги; здесь в городе еще мирно живут люди, а эти уже понеслись вперед, уж бьют барабаны, и уже готовы они идти на защиту... кого? Моей страны, великой России? Чорт его знает, великой или не великой, но... моей России.

Алексей выбрался из толпы и побрел через пустынную площадь к городскому парку. Хотелось очень долго думать о России. Почему-то вдруг показалось ему, что до сих пор он непростительно мало думал о ней. Сейчас в словах «моя Россия» было что-то радостно-горячее, но в то же время и непривычное, родившееся как будто только сейчас.

Алеша полузакрыв глаза и представил себе: Россия! Неясные, бесформенные межи океанов, сибирских пустынь, среднеазиатских песков. Это там, чорт его знает, где, но здесь все равно она — Россия! Какая она? Широкий Невский, памятники, каналы, торжественные повороты улиц — столица, настоящая столица! Высокие аудитории института и родное радостное студенчество. Русское! И русские профессорские глаза, то старчески-мудрые, то научно-холодные, то придирчиво-вредные. Все равно. Все равно или нет? Все равно, русские.

Но, может быть, и не это? Вот это: поля, поля, серые группы изб и... бороды, и лапти, пыльные сапоги на

скамьях третьего класса, вонь и теснота, матерная ругань...

Алеша остановился посреди темной площади, подумал и сказал вслух:

— Нет!

Он оглянулся назад и прислушался. Еще доносился грохот артиллерии, и он вспомнил ее сосредоточенно тяжелое движение, бег офицерских коней, палочку барабанщика и боевое знамя Прянского полка в чехле, охраняемое шпагами офицеров. Почему офицеров? Почему не солдаты охраняют знамя? Чушь, несет знамя все равно солдат. Да, это Прянский полк. Алексей вспомнил защиту Малахова кургана. И на Шипке замерзал Прянский полк, замерзал, но не отступил. Прянский полк,— что это такое? Чередование проходящих и уходящих русских людей, умирающих, замерзающих, защищающихся штыками... это уже несомненная Россия, тут ничего не скажешь. Это прекрасная, моя Россия, тысячу лет защищающая свои...

— Лапти,— как будто подсказал кто-то.

И в этот момент подошли к воображению не исторические дали прошлого, не перспективы Петербурга, не просторы русских равнин, а близкие, бедные улицы Костромы, сухие утопанные дорожки, жидкие акации и скромные люди. Он с явной душевной болью вспомнил вчерашний разговор с Таней, ее «русскую» тоску, и ему вдруг так жаль стало Россию, что он не вспомнил даже о своей любви к Тане. А рядом с Таней почему-то настойчиво рисовалась такая счастливая, нежная и такая далекая Нина Петровна, уже отданная этому сухому и тщеславному следователю. И отец — токарь Теплов. Отца эксплуатирует красномордый Пономарев, пошлейший, истасканный, обычный тип русского промышленника,— русского все-таки, вот в чем дело. Своего, значит! И он — русский! И его защищать? С какой стати! Почему? И в Петербурге нескладная фигура Николая второго, и блестящие плечи и лысины двора, блестящее великолепие ничтожеств, правящих «моей» Россией.

И все-таки... И все-таки миллионы русских людей и тысячи лет истории, и Пушкин, и Толстой, и великие пространства нищеты, и институт, и девушки,— все равно «моя» Россия! И пусть Алеше сейчас предложат сделаться гражданином богатой Франции или прекрасной Италии,

пусть предложат ему дворцы и богатства,— Алеша не променяет России на это. Он почувствовал снова радостное и горячее волнение и снова позавидовал ушедшим в темноту военным людям, их мужественной тревоге. Это настоящие люди, и как прекрасно быть сейчас с ними.

9

На центральных улицах кучки охотников ходили с портретами, пели и кричали «ура». А на тех же улицах, почти на каждом квартале, строились и рассчитывались новые роты. По тротуарам глазели мальчишки и прохаживались прапорщики запаса, в новеньких погонах. А люди менее воинственные жались к домам и хмуро и молчаливо о чем-то думали. А когда расходились, толковали о войне и с удивлением произносили непривычно-ненужные слова: немцы, французы, Вильгельм. Находились знатоки, которые вспоминали что-то о славянах, щеголяли словами «Сараево», «Франц-Фердинанд». Знатоков выслушивали с такой миной, с какой привыкли слушать охотничьи рассказы, а потом снова думали про себя, стараясь разрешить непосильный вопрос: при чем здесь немцы, при чем здесь человеческие жизни?

На улице встретил Алеша Виктора Осиповича Троицкого под руку с невестой. Он был очень хорош в военном костюме, туго перетянут ремнями, а шашка висела на его боку с особенно строгой готовностью. Троицкий холодно козырнул, но Нина протянула руку Алеше:

— Алексей Семенович, приходите вечером к нам. Сегодня мы чествуем отъезжающих прянцев. Приходите.

Алеша поклонился и с большей симпатией посмотрел на Троицкого. Троицкий улыбнулся:

— Надо проводить. Даже если вы настаиваете на том, что мы умеем только умирать.

— Я... от всей души желаю вам победы,— сказал Алеша.

— Это благородно с вашей стороны,— с нарочитой холодностью сказал Троицкий.

— Почему благородно? Ведь я тоже русский?

— Конечно, конечно! Честь имею!

Троицкий приложил к новой фуражке руку и немедленно подставил ее Нине Петровне. Нина склонила го-

лову и через погон жениха еще раз глянула на Алешу серьезным глубоким взглядом.

Кто-то произнес рядом:

— Японцев лихо победили! Видно, народу много лишнего стало!

Алеша оглянулся: парень в темной рубахе насмешливо глянул на Алешу, повел плечом и сказал соседу:

— Благородные господа!

Сергей Богатырчук пошел на войну добровольцем. Он пришел на Кострому в военном костюме, его погоны были обшиты пестреньким жгутом,— Таня сказала ему весело:

— Ты не можешь без шнурков?

На зеленом кладбище друзья расположились вокруг полудюжины пива, и теперь даже Алеша не протестовал против того, что Павел и Николай так много истратили денег. Павел Варавва лежал на траве и говорил:

— А хитрый этот Сергей, он-таки устроился без хозяина. Только тебя обязательно офицером сделают, ты обязательно золотые погоны заработаешь, ты храбрый!

— А что же? Ты думаешь, я хуже этих... барчуков.

— Чего хуже? — сказал Павел.— Так и нужно. Ты должен быть офицером. Нам свои командиры потом... пригодятся.

— Когда пригодятся? — спросил Алеша.

— Да... вообще... могут пригодиться!

Богатырчук сгреб Павла в объятия:

— Люблю этого Павла! Он свою линию всегда гнет! Ты на меня рассчитывай, Павло,— я не подведу.

— Я и рассчитываю.

— А немцев все-таки бить будем?

— Я согласен бить всякую дрянь, от Вильгельма до...— ответил Алеша за Павла.

— Пономарева,— закончил Сергей.

Павел захохотал, лежа на траве и задрав ноги:

— Пономареву теперь повезло. С войной ему отсрочка...

— Ну, это как сказать...

— Довольно вам,—сказала Таня,—пустые разговоры!

— Почему пустые? — спросил Николай.

— Так, пустые, за пивом. Не люблю! Сережа, ты постарайся, чтобы тебя не сильно испортили на войне.

— Э, нет, я стараться в таком смысле не буду, что ты!

— Ну для меня.

— А что мне за это будет?

— Если вернешься целым, я тебя поцелую.

— Идет! Все слышали? Значит, вернусь в целости, такими поцелуями нельзя пренебрегать...

Потом полки ушли к вокзалу. С площади они тронулись под гром музыки, офицеры шли впереди своих частей, держали ногу и косились на солдатские ряды. А потом солдаты запели песню, горластую и вовсе не воинственную:

«Пойдем, Дуня, во лесок...».

Теперь офицеры шли уже по тротуарам, окруженные грустными женщинами, улыбались и шутили. Когда солдаты допели до рискованного места, капитан крикнул высоким радостным тенором:

— Отставить!

Солдаты поправили винтовки на плечах и ухмыльнулись на веселого капитана.

А потом полки запаковали в вагоны, сделали это аккуратно, по-хозяйски, так же аккуратно проиграли марш, свистнули, и вот уже на станции нет ничего особенного, стоят пустые составы, ползают старые маневровые паровозы, из окна аппаратной выглядывает усатый дежурный и присматривается к проходящим девицам. Провожающие побрели домой. Через немощеную площадь к селам и хуторам быстро побежали женщины и девушки в новых платках, ботинки повесили через плечи, ботинки еще пригодятся в жизни. По кирпичным тротуарам потекли домой говорливые потоки людей, среди них потерялись покрасневшие глаза жен и сестер и склоненные головы матерей. Матери спешили домой, спешили мелкими шажками слабых ног и смотрели на ямки и щербины тротуаров, чтобы не упасть.

10

— Проводили? — спросил Семен Максимович Теплов, когда сын возвратился с вокзала.

— Проводили, — ответил Алеша.

— Здорово бабы кричали?

— Нет, тихонько.

— Поехали воевать, значит... Напрасно на немцев поехали. Надо было на турок.

— А что нам турки сделали?

Семен Максимович редко улыбался, но сейчас провел рукой по усам, чтобы скрыть улыбку.

— На турок надо было: война с турками легче — смотришь, и победили бы.

— И немцев победят.

— На немцев кишка тонка, потому царь плохой. С таким царем нельзя на немцев. У них царь с какими усами, а наш на маляра Кустикова похож. Сидел бы уж тихо, нестуляка.

Нестулякой называл Семен Максимович всякого неловкого, неудачливого человека.

Алексей с удивлением посматривал на старика. Чего это он так сегодня разговорился? Обыкновенно он не тратил лишних слов, да еще с сыном. С матерью он иногда беседовал на разные темы, но и то, когда сына дома не было. А сейчас он обращался именно к Алексею: мать стояла у печи и, поджав губы, серьезно слушала беседу. Семен Максимович сидел у накрытого белой клеенкой стола, поставил локоть на подоконник и слегка подпер голову. Его прямые, привыкшие к металлу темные пальцы торчали среди редких прядей седых волос.

— Не годится наш царь для войны. Он за что ни возьмется, так и нагадит. С японцами воевал,— нагадил, конституцию хотел сделать, тоже нагадил. Вот и маляр Кустиков такой.

Семен Максимович снял руку с головы, захватил пальцами усы и бороду, потянул все книзу и крикнул:

— Да. Я к тому говорю, что и тебе воевать придется.

— А может, еще и не придется.

— Придется, слушай, что я говорю! Я лучше тебя понимаю в этих делах. Наши туда полезли, раздразнят немца, а куда бежать? Сюда побегут. Будь покоен, и тебя позовут в солдаты.

Мать неловко повернулась у печки, загремела упавшим половником, наклонилась поднять, а потом побрела в сени, легонько спотыкнувшись на пороге.

Семен Максимович проводил ее взглядом и еле заметно подмигнул:

— Пошла глаза сушить. Эй, какой народ сырой! Да, ты на всякий случай не очень располагайся в тылу сидеть. В думках своих нужно подготавливаться.

— Сами же вы говорите: царь плохой.

— Что ты за балбес, а еще студент! Плохая баба, бьвает, плохой каши наварит, а есть все равно приходится. Никто к соседу не ходит хорошую кашу есть.

Алексей улыбнулся:

— Плохую бабу можно и выгнать.

— Нечего зубы скалить, когда я говорю,— строго и холодно произнес Семен Максимович.— Выгнать! Вы мастера такие слова говорить. А почему до сих пор не выгнали? Кишка тонка. А он сидит над нами, хоть бы царь, а то идиот какой-то. Одного выгонишь, другой такой же сядет,— все они одинаковы.

Алексей присел к столу и склонился к коленям отца, тронул их пальцем:

— Ты на меня не сердись, отец, я тоже кое-что понимаю. Можно царя выгнать, а на его место нового не нужно.

— Один чорт! Не царь, так Пономарев сядет, нашего брата не выберут президентом. Ну... что ж... а на войну позовут — итти придется.

— А кого защищать?

— Тут не в защите дело. Погнали народ, и ты пойдешь, а там видно будет. В погребе не спрячешься. Да и кто его знает, как война повернется. Вон с японцами совсем паскудно вышло, а народ все-таки глаза открыл, виднее стало, что наверху делается.

Семен Максимович задумался, глядя в окно, потом сказал, не поворачивая головы:

— Ну, все. Через три дня поедешь? Может, тебя там, в Петербурге, и в солдаты возьмут. Все может быть. На дорогу я тебе двадцать рублей приготовил. А там проживешь без помощи?

— Проживу.

— Ну, и хорошо. А может, когда и вышлю пятерку:

11

Накануне отъезда, перед самым вечером, пришли к Алексею Таня и Павел. Алексей был во дворе, по поручению отца чинил сруб колодца. Он увидел гостей в калитке

и пошел навстречу, как был в дырявых брюках и с пилой в руках.

— Таня! Ты ошиблась: здесь живет бедный токарь и его сын — бедный студент.

Таня серьезно пожала Алеше руку и ответила:

— Не балуй. Мы по серьезному делу.

Павел держался сзади, был в рабочей измазанной блузе, как всегда — без пояса и как всегда — руки в карманах.

— Идем в хату, раз по серьезному делу.

— Да чего в хату, вот у вас садик и столик.

Под вишнями у круглого столика сели они, напряженные, не привыкшие еще решать дела в своем обществе, но и забывшие уже привычки детских игр. Таня причесана была небрежно, на ее голову сейчас же упал и запутался в волосах узенький, желтый листик. Сегодня она была еще прекраснее, но в то же время и проще, и роднее. Старенькая ситцевая блузка, заштопанная во многих местах, была обшита по краю высокого воротничка узеньким, сморщенным кружевцем, его наивные петельки трогательно белели на нежной и смуглой таниной шее. Таня, пожимая пальцы собственной руки, для храбрости глянула на серьезного Павла и протянула руку на столе к Алексею.

— Мы к тебе посоветоваться. Хорошо?

Она снова быстро глянула на Павла. Алеше стало даже жарко от зависти.

— Слушай, вот какое дело. Только ты, пожалуйста, ничего не подумай такого. Павел... да ты же знаешь Павла... Ты же знаешь... он такой замечательный человек, ой я не могу...

Таня положила голову на руки и застыла в позе изнеможения. На что уж черное лицо было у Павла, но и оно теперь покраснело. Он встал, вытащил руки из карманов, оперся на край стола и заговорил хрипло и глухо, глядя на танин затылок, на то самое место, где начиналась ее богатая коса:

— Понимаешь, Таня... ты же обещала... что без фокусов. Чорт бы вас побрал... все-таки баба! Я тебе сколько раз говорил: это дело, притом взаимное, а теперь — замечательный, замечательный! Да ну вас совсем!

Он хотел уйти. Таня ухватила его руку, с силой усадила на скамью:

— Не нервничай! Ничего в тебе нет замечательного. И не воображай.

Павел, ища сочувствия, посмотрел на Алешу и повел плечами:

— Ты понимаешь что-нибудь?

— Пока ничего не понимаю,— ответил Алексей, прислушиваясь к нараставшей внутри него тревоге.

— Ну, хорошо,— сказала Таня.— Дело! Именно дело! Алексей должен решить. Ты у нас будешь, как судья. Только беспристрастно. Слушай, Алеша!

Поглядывая то на одного, то на другого серьезным взглядом, в котором сквозили легкие остатки лукавства, Таня объяснила, в чем дело:

— Я еду в Петербург учиться. Не перебивай, Алеша. Прощение и документы отправила давно. Принимают меня без экзамена — медалистка. На медицинское. Да. Не перебивай. Но у меня нет денег. И на дорогу нет. И заплатить за лекции. И жить. Я тебе, Алеша, все рассказывала. Ты сказал: нужно тридцать рублей в месяц. Ну, допустим, если экономить, не тридцать, а двадцать. А я не знаю еще, сколько мне удастся заработать там... в Петербурге. Десять рублей в месяц будет мне давать Николай, а Павел говорит, что и он будет давать десять. Ему очень трудно, он сам зарабатывает десять.

— Не десять, а семнадцать.

— Ну, все равно... десять. А ты, Алеша, скажи, будь настоящим другом. Можно взять у Павла или нельзя? Как ты скажешь, так и будет. Ой, насилу все сказала!

Алеша не мог опомниться от сообщения Тани и не мог оторваться взглядом от недовольной, расстроенной физиономии Павла. Наконец, Павел свирепо мотнул на Алешу взъерошенной своей головой:

— Чего ты прицелился? Чего ты вытарачился? Что тут такого?

Тогда и Таня посмотрела на Павла с таким любопытством, как будто только сейчас выяснилось, что Павел действительно представляет собой нечто замечательное.

— С вами нельзя дело иметь... Вы... просто... чорт его знает!

Павел оскалил белые зубы и по-настоящему злился.

— Он — дикий, — сказал Алеша. — У него добрая душа, но он дикий. Я бы на твоём месте не брал у него денег из-за его дикости.

— Алеша, говори серьезно.

— Да что же тут говорить? Я не знаю, на каких условиях он предлагает тебе помощь. Если без отдачи — брать нельзя.

— Почему? — спросил Павел.

— Я не взял бы.

— Почему?

— Это слишком... это должно... слишком большую благодарность. Слишком большую.

— Какая благодарность? Я ей даю деньги сейчас, а сам буду готовиться на аттестат зрелости. Пока она выучится, я подготовлюсь. Тогда она мне будет помогать.

— А если ты не подготовишься?

— Тогда она отдаст мне деньгами, когда будет доктором.

— Это не выйдет.

— Неужели не выйдет, Алеша? — Таня жалобно смотрела на Алексея.

— Давайте говорить серьезно. Снаружи здесь все кажется просто. Он тебе поможет, а потом ты ему. Правда? На самом деле, ничего такого простого нет. Эту услугу нельзя мерять рублями. На аттестат зрелости Павел не подготовится, и вообще ваши планы могут легко рухнуть. Началась война, а что потом будет, никто не скажет. Вообще деньги можно брать, но ответить такой же услугой, может быть, Тане и не придется.

— Все равно.

— Извини, пожалуйста. Не все равно.

— Значит, ты против? — сказала Таня.

— Алексей путает. Такого наговорил. А это обыкновенное денежное дело. Дело — и больше ничего.

— Если так, так вам и мой совет не нужен. А я считаю, что такие вещи — не коммерческая сделка. Такие вещи бывают, если — любовь.

— Вон ты куда загнул? — протянул Павел и покраснел.

— Чего загнул? Что ты любишь Таню, я не сомневаюсь...

— Какого ты чорта!— закричал Павел.— Ты не имеешь права так говорить! Если нужно, так я сам скажу!

Павел смотрел на Алешу гневным взглядом, и у него дрожали губы.

— А почему же ты не сказал?

— Дальше! — сказала Таня серьезно и строго.

— Дальше? Деньги можно взять, если и ты любишь Павла.

— Вот сукин сын!— прошипел Павел. Но боялся смотреть на Таню и замолчал, отвернувшись.

Таня сидела тихо, рассматривала какие-то царапинки на столе. Потом подняла глаза на Алешу, встретила его суровый, тревожный взгляд и тихо спросила:

— Значит, любовь нельзя оставить в стороне?

— Нельзя.

— Спасибо, Алеша. Ты — настоящий Соломон. Ты очень мудро сказал. Значит... Павлуша... я еще подумаю, хорошо?

Павел пожал плечами. Алексей спросил печально:

— А ты, Павел, почему меня не благодаришь?

Павел зло улыбнулся:

— Зачем тебя благодарить? Ведь ты тоже любишь Таню.

Таня бросила на Павла убийственный жестокий взгляд, который немедленно усадил его на скамью, и обратила к Алексею внимательное, холодное лицо. Алеша побледнел, и его губы что-то выделывали, какую-то гримасу презрения, а может быть, и страдания. Он, наконец, улыбнулся и даже склонился к Тане с веселой галантностью:

— Обрати внимание: «тоже»! Весьма знаменательное словечко. Это, во-первых. А, во-вторых, ты ошибаешься, Павел. Я никогда и не воображал, что могу полюбить Таню, она об этом знает, иначе не выбрала бы меня судьей в таком трудном вопросе. И вообще, пусть призрак влюбленного Теплова не смущает ваши сердца.

— Ну, хорошо, довольно шутить,— улыбнулась Таня.— До свиданья, Алеша.

Таня уехала в Петербург вместе с Алешей. Накануне она сказала Алеше:

— Я приняла помощь Павла, только это вовсе не подтверждает те глупости, которые ты тогда говорил в садике.

— Неужели ты и не сказала Павлу правду?

— Какую правду?

— Что ты его любишь.

— Такая правда не нужна. Я не согласна с тобой, что помощь нужно принять только, если любишь. Это все чепуха. Я ему тоже помогу... потом. У тебя слишком большая гордость. Я не такая гордая.

— Значит, ты не любишь Павла?

— Отстань. Значит, завтра на вокзале.

— Хорошо.

На вокзале Алексей на прощанье сказал Павлу:

— Ты помнишь того разбойника Варавву, которого распяли рядом с Иисусом Христом? Какие тогда были Вараввы и какие теперь Вараввы!

Павел грустно улыбнулся:

— И тогдашние Вараввы не могли учиться в институтах, и теперешние не могут.

— Дай руку,— приказала Таня.

— Что такое? На.

Таня взглянула на линии руки Павла Вараввы и сказала весело:

— Какая у тебя счастливая рука! Как тебя любят и какой ты будешь богатый и образованный.

— Я подожду,— ответил Павел.

Он остался на перроне одинокий и печальный. Пыльный поезд увез на север последние лирические дни того исторического лета.

Многие в то лето уехали из города, уехали многие и из Костромы. Доктор Васюня нацепил узенькие белые погоны военного врача и уехал на кавказский фронт. Брат Тани, Николай Котляров, и Дмитрий Афанасьев пошли в армию по досрочному призыву. Богатырчук сначала

писал костромским девушкам о победах в Галиции, а потом прислал карточки, на которых был снят в форме юнкера. Только Павел Варавва не пошел на войну,—все металлисты завода Пономарева были оставлены для оборонной работы.

И прав оказался Семен Максимович Теплов. Уже в феврале прямо из института отправили Алешу в военное училище в Петрограде. В то же военное училище попал и Борис Остробородько.

Война прошла несколько стадий. Они быстро сменяли одна другую и забывались. Прошли дни непривычной и волнующей тревоги, короткие, очень короткие дни галицийского наступления и Перемышля.

В десяти коротких строчках, без комментариев и повторов, без подробностей и чувств пришло известие о разгроме и гибели армии Самсонова. И после этого начался длинный, однообразный и безнадежный позор. Это было невыносимо безотрадное время, наполненное терпением и страданиями без смысла. Война тяжелой, неотвязной былью легла на дни и ночи людей, былью привычной, одинаковой вчера, сегодня и завтра. Дни проходили без страсти, и люди умирали без подвига, уже не думая о том, кто прав, немцы или французы, не хотелось уже думать о том, чего хотят немцы или французы, как будто не подлежало сомнению, что разумных желаний не осталось у человечества.

Иногда у людей просыпалось старое представление о России и немедленно потухало в неразборчивом месиве из названий брошенных врагу крепостей, из имен ненавистных и презираемых исторических деятелей, из картин глупого и отвратительного фарса, разыгрываемого в Петрограде. К старому представлению о России присоединялась новая, чрезвычайно странная и в то же время убедительная мысль: и хорошо, что бьют царских генералов, и хорошо, что нет удачи ненавистным, надоевшим правителям.

За эти годы много совершилось горестных событий в жизни людей.

А на Костроме было как будто тихо. Попрежнему дымили заводишки Пономарева и Карабакчи. Попрежнему костромские жители утром проходили на работу, а вечером с работы, попрежнему горели ослепительные фонари

у столовой, и, как и раньше, некому было пополнить убытки у предприимчивого Убийбатько.

Тихо плакали на Костроме матери в своих одиноких уголках, ожидая прихода самого радостного и самого ужасного гостя того времени, — почтальона, ожидали, не зная, что он принесет, письмо от сына или письмо от ротного командира. Иногда переживания матерей становились определеннее — это тогда, когда приезжал сын, искалеченный или израненный, но живой, и матери не знали, радоваться ли тому, что хоть немного осталось от сына, или плакать при виде того, как мало осталось. Матери в эти дни научились и радоваться, и скорбеть одновременно.

Летом приехал из военного училища в погонах прапорщика и в новом френче Алексей Теплов. Два дня он погостил у стариков. Мать смотрела на сына удивленно, с отчаянием и могла только спрашивать:

— Алеша, куда же ты едешь? Куда ты едешь? В бой?

Больше она ничего не могла говорить и потому, что ничего больше не выговаривалось, и потому, что боялась Семена Максимовича.

А Семен Максимович помалкивал и делал такой вид, как будто ничего особенного не случилось. Семен Максимович очень много работы нашел у себя во дворе и каждый вечер возился то у колодца, то у ворот, то сбивал что-нибудь, то разбивал, и в каждом деле ходил суровый, и молчаливый, и даже не хмурился и не кричал, забывая гвоздь или раскалывая полено.

А когда уезжал Алексей на фронт, отец вышел во двор, холодно миновал взглядом неудержимые, хоть и тихие слезы жены, позволил Алексею поцеловать себя и только в этот момент улыбнулся необыкновенной и прекрасной улыбкой, которую сын видел первый раз в жизни.

— Ну, поезжай! — сказал Семен Максимович. — Когда приедешь?

Алексей ответил весело, с такой же искренней, и простой, и благодарной улыбкой:

— Не знаю точно, отец. Может быть, через полгода.

— Ну, хорошо, приезжай через полгода. Только обязательно с георгием. Все-таки серебряная штука.

И Семен Максимович обратился к матери и сказал ей серьезно:

— Хорошего сына вырастили мы с тобой, мать. Умеет ответить как следует.

И мать улыбнулась отцу сквозь слезы, потому что действительно хорошего сына провожала она на войну.

На вокзале провожали Алексея Павел и Таня. Павел крепко пожал руку товарища и сказал:

— Только одно прошу: вернись оттуда человеком.

Таня улыбалась Алексею мужественно, но глаза у нее были печальные, и она все оглядывалась и сдвигала брови. А потом, когда ударил третий звонок, она сказала с горячим смятением:

— Дай я тебя поцелую, Алеша!

Павел выбежал из вагона, а Таня не прощальным поцелуем поцеловала друга, а с жадным размахом закинула руки на его шею и прижалась к его губам дрожащими горячими губами, потом глянула ему в глаза и шепнула:

— Помни: я тебя люблю!

14

И снова побежали скучные и тревожные костромские дни — однообразные, как пустыня, и бедственные, как крушение. Уже перестали люди мечтать о мире и перестали говорить о поражениях.

Так проходили месяц за месяцем.

В начале зимы, когда уже крепко зацепились морозы за декабрьский короткий день, привезли в город Алешу. В здании женской гимназии разместился специальный госпиталь для контуженных. На его крылечко и выходил погуливать Алеша.

Ему недавно вынули осколок снаряда из-под колена, и он ловко дрыгал перевязанной ногой, высоко занося костыли из простой сосны. С ним рядом сидели на крылечке, ходили по тротуару, кричали и смеялись контуженные.

У Алеши сейчас счастливое детское лицо, но иногда его взгляд останавливается и с напряжением упирается в противоположные дома улицы, что-то старается вспомнить. К нему нарочно выходит и приглядывается молодая пухленькая женщина-врач, Надежда Леонидовна, бесильно оглядывается на других больных и говорит:

— Что мне с ним делать?

Алеша, опираясь на костыли, двигает плечами, топчется на одной ноге, смеется и с усилием говорит:

— Аббба!

Надежда Леонидовна со слезами смотрит на веселое лицо Алеша, на вздрагивающую мелко и быстро голову, на потертый, изодранный халат:

— Милый, что мне с вами делать?

Подходит небритый, рыжий больной в таком же халате и помогает врачу, как умеет:

— Поручик! Сообразите! Чорт его знает! Смеется!

Алеша и на него смотрит с улыбкой, но соображает только о чем-то радостном и детском. Он не слышит человеческих слов, он не узнает своего города, он не помнит своей фамилии. Только в одной области он что-то знает и о чем-то помнит. Каждое утро он рассматривает свой старый коричневый френч и на нем защитные погоны, на которых одна настоящая звездочка и две намазанные чернильным карандашом. С такой же любовью он рассматривает и шашку, совершенно новую, с золотым эфесом, с георгиевским черно-желтым темляком. Он счастливо улыбается, глядя на шашку, и любовно говорит:

— Абба!

И потом с особенной силой и улыбкой:

— Табба!

У него есть память о чем-то и какая-то веселая забота. Он радовался и прыгал на костылях, когда Надежда Леонидовна принесла в палату зачиненный и отглаженный его френч с новыми золотыми погонами поручика, но ничего, кроме «табба», он и тут не сказал.

Только через две недели, в воскресенье, Павел Варавва, проходя мимо бывшей гимназии, узнал Алешу и бросился к нему:

— Алексей! Алеша, это ты?

Алеша быстро повернулся на костылях и серьезно, внимательно посмотрел на Павла, засмеялся детским своим смехом:

— Абба!

Его голова мелко дрожала, но он не замечал этого дрожания. Склонив голову к поднятым на костылях плечам, он с детским радостным любопытством смотрел на Павла. Павел нахмурил брови, его начинало обижать это безразличное любопытство:

— Алексей, что с тобой? Ты ранен? Чего ты смеешься?

У Алеши в глазах вдруг пробежала мгновенная больная тревога. Он весь сосредоточился в остром беспокойном внимании, его лицо сразу побледнело, голова задрожала сильнее. Он неловко повернулся на костылях, беспомощно оглянулся по улице и застонал что-то неразборчивое и энергичное. Павел, наконец, догадался, что Алеша не может говорить, и обнял его за плечи:

— Алеша! Это я — Павел! Павел Варавва! Ты узнаешь меня?

Алеша успокоился и затих, но не мог оторвать взгляда от лица Павла, смотрел на него, о чем-то долго и туго думал. Потом он грустно улыбнулся и поник головой, прошептал:

— Табба!

Павел быстро смахнул набежавшую слезу и побежал в госпиталь. Алексей поднял голову, спотыкаясь, повернулся и с хлопотливой торопливостью заковылял за Павлом.

В большой пустой комнате Павел уговаривал Надежду Леонидовну:

— Да. Его отец здесь живет. И мать.

Алексей остановился и улыбнулся врачу. По Павлу скользнул прежним напряженным взглядом и отвернулся, видимо, отгоняя какие-то неясные и мучительные образы. Надежда Леонидовна глянула на Алешу с любопытным состраданием:

— Он вас не узнал?

Алеша выслушал ее вопрос, затоптался на костылях, снова мельком взглянул на Павла и зашагал к окну. У окна он остановился, и его неподвижный взгляд замер на какой-то точке на улице. Павел ответил:

— Не знаю. Кажется, он начал узнавать, а потом забыл. Это можно вылечить?

— Я надеюсь, что это пройдет. Вы его хороший товарищ? Друг? Это очень плохо, что он вас не узнал...

— Скажите, можно к нему отца или мать?..

— Я боюсь, что он и отца не узнает. Здесь, видите ли, больница. Знаете что? Далеко отсюда до его дома?

— Далеко. Через весь город.

— Все равно. Давайте мы его свезем домой.

— На извозчике?

— Конечно. Знаете что? Завтра наймите извозчика и приезжайте. Когда родные дома?

— Да все равно. Я скажу.

— Хорошо. Заезжайте в двенадцать. Я сейчас дам вам деньги.

15

Алеша ехал на извозчике оживленный и веселый, но Павла не узнавал и даже не обращался к нему. Кажется, больше всего он был доволен, что одет не в халат, а в свой потертый френч и шинель. Его шашку держал в руке Павел, и дорогой Алеша все трогал ее рукой и улыбался.

У ворот своего дома Алеша охотно и ловко спрыгнул с пролетки и очень обрадовался своей удаче, оглянулся на пролетку и сказал:

— Табба!

Потом показал пальцем на шашку в руках Павла и тоже сказал:

— Табба!

Он совершенно сознательно направился к калитке. Перед калиткой только на миг задержался, потом стукнул сапогом, и она открылась. Перепрыгнув через порог, он оглянулся на Павла и быстро начал взбираться по ступенькам крыльца. В дверях показался Семен Максимович. Алеша поднял лицо, улыбнулся ласковой, радостной улыбкой и сказал негромко, душевно, не отрываясь от отца взглядом:

— Та...татецц!

Но после этого он упал в обморок. Костыли загремели по ступеням крыльца, а сам он медленно сложился, как будто осторожно сел на колени. Его голова перестала дрожать и спокойно склонилась к золотому погону поручика.

16

Поправлялся Алеша очень медленно. Ему разрешили бывать дома и даже ночевать. Надежда Леонидовна сказала матери, посетив Алешу на дому:

— Пусть больше видит и узнает. Побольше впечатлений.

Дома Алеша почти не сидел на месте, он быстро передвигался по комнате и по двору, заглядывал в каждую

щель и все пытался о чем-то рассказывать, но понимал, что у него мало слов, и умолкал, грустно улыбнувшись. Слова восстанавливались у него по случайным поводам, но сначала приходили только в общем, что-то напоминающем комплексе звуков. Он говорил сначала «изизистка» вместо «гимназистка», «тузыка» вместо «музыка», «бабед» вместо «обед». Только слово «мама» он говорил правильно с первого дня, как только пришел в себя после обморока и увидел склонившееся над ним лицо матери. Тогда же он узнал и Павла и страшно этому обрадовался, все смеялся, все показывал на друга и кричал:

— Тавел Рававва! Тавел!

В эти дни интересно было видеть его счастливое оживление и в то же время замечать, что для него не нужны стали и непонятны обычные знаки любви и нежности. Когда мать поцеловала его после того, как он пришел в себя, он с удивлением посмотрел на нее, потрогал пальцем щеку и улыбнулся:

— Мама!

Он гораздо быстрее учился понимать чужие слова, чем говорить, и все время приставал к отцу, совершенно забыв о суровой его недоступности и молчаливости, просил его говорить.

Семен Максимович серьезно ему отвечал:

— Что я буду тебе говорить? Ты половины все равно не поймешь. Вояка! Вот лучше ты расскажи, как ты заслужил эту штуку.

Отец брал в руки золотое оружие сына и рассматривал его — и как будто довольным, и в то же время ироническим взглядом:

— За что тебя наградили? Понимаешь?

Алеша оживленно кивал дрожащей головой и кричал:

— Тулеметытыты... тулеметыты! Де...десятьть... тулеметототов!

Он смеялся отцу и взмахивал кулаком:

— Десятьтьть!

— Десять пулеметов? Это ты забрал? У немцев?

— Немцыцыцы!

— Молодец, Алеша! Молодец!

— Таладеецц! — повторял Алеша радостно.

— Вот именно: молодец!

Отец усаживал Алешу на стул, неумело рабочей сухой

рукой гладил его по плечу. Старался серьезно растолковать ему, как малому ребенку:

— Ты понимаешь? Они, сволочи, все воображали, что это они хозяева, они и герои. Куда ни посмотришь, все они,— начальники и герои. А наш брат вроде как для черной работы, вроде волов. Нагонят тысячи нашего брата — серая скотина!

Алеша слушал отца внимательно, кивал головой и повторял некоторые слова, давая возможность отцу заключить, что он все понимает из сказанного:

— Нанашшш братт! Ткатианана!

— Да, скотина! У них все! У них и деньги, и мундиры. У них и родина. А мы безродные как будто. Куда погонят, туда и идем. Ему, понимаешь, родина, потому что он по родине на колесах катается. А наш брат пешком ходит; да и куда ему ходить, на работу да с работы, так зачем нам родина. Мы ее и не видели. Я вот счетом в нашем городе двадцать раз был. А то все — Кострома.

Семен Максимович говорил негромко, строго, все время оглядывался на окно, как будто именно за окном помещались «они», и проводил пальцем под усами, по сухим тонким губам.

— Родина! Ничего, Алеша! Это хорошо, что ты не трус, а только... у нас такие разговоры... правильные разговоры: пускай расколотят этого нестуляку проклятого! Эту сволочь давно бить следует.

Алеша удивленно глянул на отца и ничего не сказал. Старый Теплов, худой, похожий на подвижника, трогал прямыми темными пальцами клинок почетной сабли и о чем-то крепко думал, решал какие-то трудные вопросы. Смотрел на этот клинок его сын, и впервые зашевелился у него в душе странный холодный расчет: для чего его батальон понес свои жизни в боях под Корытницей? Не для того ли, чтобы лишний раз убедиться: какие отвратительные руки распоряжались этими жизнями?

Они смотрели и думали над золотой шашкой, а рядом, мимо них, катилась все дальше и дальше история, катилась по оврагам и рывинам, и на самом дне оврагов еще копошилась и дышала последние дни российская империя.

Через месяц приехал денщик Алеши — Степан Колдунов и привез из полка его вещи. Он ввалился в хату пыльный и серый, с двумя чемоданами, и сказал громко:
— Во! Это ты и будешь Василиса Петровна?

Мать с удивлением смотрела на широкое, довольное, как попало заросшее бородой лицо Степана, узнала чемоданы сына, но никак не могла сообразить, в чем заключается сущность происходящего.

— Я — Василиса Петровна. А вы меня откуда знаете?

— Да как же не знать коли ты мать его благородия нашего? А где сам будет?

— Кто? Алексей?

— Да он же — Алексей! Барин мой! Очухался? Я его тогда погрузил в санитарный, без всякого смысла был. Где он?

Но уже из второй комнаты вышел Алеша, швырнул на пол костыли и повалился на Степана с радостным криком:

— Степапан! Степапан!

Потом отстранился и, держась на одной ноге, воодушевленно рассматривал запыленную фигуру Степана в истасканной, промасленной шинельке:

— Мама! Друг! Такой, понимаешь, Степапан! Какой ты хороший!

Степан стоял посреди кухни и ухмылялся:

— А болтаешь ты как-то плоховато, ваше благородие. Хорошо, что очухался. А я уже думал, каюк тебе, Алексей Семенович!

— Степан! А как это... как? Я тогда... чорт его знает. Забыл... шли, шли...

Степан расстегнул шинель, поставил чемодан к стене, повернулся к матери:

— Василиса Петровна! Ему все рассказать нужно. Да и ты послушаешь про сына. А только дай пожрать, два дня не ел.

— А как же это вы... без денег, что ли, в дороге-то?

— Какие там деньги. Я пристал к батальонному, вещи-то нужно отправить. А он...

— А кто, кто?

— А чорт его знает, все новые. Тогда это... в той самой атаке слезы одни остались. Я так и уехал, убрать

не успели, вонь какая, Алексей Семенович, ни проходу, ни продыху. Наш полк, можно сказать, лежит на поле, как будто навоз, лежит и смердит.

Алеша побледнел и спросил:

— А кто... уббитытытый?

— Да чорт там разберет, все убитые. И полковой, и офицеры все, и наш брат. Один смердеж остался. Валиются там в грязи. Чорт-те что. Лопатами убирать нужно героев. Да лучше не рассказывать, а то вон мамаша пугаются. От всего полка два офицера: ты остался да прапорщик Войтенко прилез на другой день. Что ты хочешь — ураганный огонь. Ну дай, мамаша, поесть.

Побледневшая, действительно испуганная, мать захлопотала вокруг стола:

— Вы, Степан, как вас по отчеству?

— Да брось, Василиса Петровна, какое там отчество. Спасибо, хоть Степан остался. Да и не выкай ты мне, я тебе не полковой командир, а денщик. Я и сам на вы не умею.

После завтрака, умытый и порозовевший, Степан уселся на диване в чистой комнате и рассказал Алеше и Василисе Петровне:

— Пошли вы тогда ночью. Помнишь, может, наши три дня громили. Ты понимаешь, мамаша, какое дело. Это наши генералы придумали, чтоб им... Особая армия генерала Гурко. Особая, ты пойми. Прорыв хотели сделать, да только и того, что кишки пообрывали и легли. Три дня сто двадцать батарей... наших. Мы думали, от немцев пыль одна останется. А ночью мы и пошли. Ах, старушка ты моя милая, до чего людей приспособили, ты не можешь сообразить. Ты понимаешь, ночная атака на фронте в десять верст, в шестнадцать цепей. А наш полк в первой цепи. Помнишь, ваше благородие, прожекторы? Прожекторы помнишь?

Алексей вспоминал и горящими глазами смотрел на Степана.

— Помнишь, значит? Как это они стали над нами, прожекторы,— страшный суд, справедливый страшный суд. Я, может, помнишь, все с деньгами к тебе приставал: дай деньги, дай деньги. А ты только головой махнул, да и прыгнул за окоп. Прыгнул ты за окоп и вдруг — тихо. Даже страшно стало — тихо, а то ведь три дня говорить

было впустую. Вторая цепь перекаатилась, третья. Побежали еще люди. Куда ни глянь, везде цепи, а потом уже и разобрать невозможно. А тут немец начал. Мамочки! Прыгнул я в окоп, пропал, думаю, да все равно и наши все пропали. Я так и знал, что они вас с грязью смешают. Если наших сто двадцать батарей было, так ихних наверное триста. Спасибо, по мне они мало били. Смотрю, кроет он впереди по своим, по старым окопам. Ну, думаю, каюк его благородию, разве там разберешь, послали людей на верную смерть, чего там говорить... Вылез из окопа, а впереди земля горит и к небу летит. Наши последние цепи перевалились, да чорт там разберет, кто куда спешит,— кто вперед, а кто и назад. Тут и на меня налетел какой-то прапор, кричит: «где твоя винтовка?» А у самого и глаза прыгают от страха. Махнул я на него рукой, думаю, все равно нечего делать, пойду поищу своего, где-нибудь недалеко валяется. Пошел. И на тебе такую удачу: за первым ихним окопом, в ходе сообщения, немец лежит, а тут рядом и ты, сердечный, да еще и землей присыпан, одна голова торчит. Ну, думаю, кончили воевать, а валяться тут незачем. Взял тебя на плечи, а у тебя еще и наган в руке, я это заметил еще, когда нес, рука болтается, а наган все меня по боку. Насилу отнял у тебя, да тут и заметил, что рука у тебя теплая. Ну, я обрадовался, наган в карман. На вот тебе, привез на память.

Степан вытащил из кармана вороненый револьвер.

— Тут двух пулек нету. Это, видно, ты немца ухлопал, а тут тебя снарядом и оглушило.

Алексей все вспомнил. Он заволновался, заходил по комнате, заговорил, заикаясь:

— Помнишь, Степан, ты говорил, дай деньги, матери отправлю, если убьют. А я подумал, отдам — убьют, не отдам — не убьют... А как побежал, все про эти деньги думал. Там... там было... не расскажешь. Только видишь разрывы, бежишь прямо в смерть. Этот немец один был с пулеметом. Я стрелял два раза, только он не падал. А потом... потом ничего... потом в поезде.

Алеша подошел к матери, положил руку на ее плечо:

— Мама! На всю жизнь друг — Степан! Там меня похоронили бы вместе со всеми. С полком нашим.

Он задумался, подошел к окну, засмотрелся на улицу. Степан кивнул на него:

— Разве там один полк пропал!

— Как тебя отпустили? — спросил Алеша.

— Какой чорт отпустили? Говорит этот, батальонный: вещи, говорит, отправлю, а ты ступай в роту. Думаю: чего я там в роте не видел? Война все равно кончена. Куда там воевать, когда уже все провоевали! Да и вижу, народ не хочет воевать. Злые ходят и все о мире думают. А пришел на станцию, смотрю, кругом оцепление, патрули. Раз так, коли эти занимаются таким делом, так и у меня тоже дело серьезное: хоть вещи отвезу, посмотрю, как там Василиса Петровна живет, да и скажу все-таки, как сын ее воевал, ей нужно знать. Ну, я на крышу, да так на крыше и доехал. Два раза высаживали, да ведь раз человеку нужно доехать, так он доедет.

Алексей повернулся на костылях и пошел к своему денщику, остановился против него и нахмурил брови:

— Значитт... ты... ты... убежалл. Это... это...

Он не вспомнил нужного слова, и еще крепче обиделся, дернул кулаком, зашатался:

— Ббежалл!

Степан поднялся с дивана, оправил гимнастерку, попробовал улыбнуться, не вышло:

— Да что ты, ваше благородие! Я тебе вещи привез. А ты думаешь: дезертир...

Алеша услышал нужное слово и закричал, наливаясь кровью:

— Дезертир! К чортутуту! Вещи к чортутуту!

Но у Степана нашлась защитница. Василиса Петровна стала между офицером и денщиком и сказала серьезно-тихо, потирая почему-то руки, покрытые тонкой, прозрачной кожей:

— Алеша! Не кричи на него. Он тебе жизнь спас!

— Не нужно! Не нужно! Не нужно... жизньньнь спасты!

Алеша быстро зашагал по комнате, размахивая костылями, оглядываясь на Степана страдающим глазом через плечо, и уже не находил слов. Мать испугалась, бросилась в кухню, принесла воду в большой медной кружке. Алеша пил воду жадно, но у него сильно заходила вправо и влево голова, и медная кружка ходила вместе с ней. У матери сбегали по щекам слезы. Она взяла сына за локоть:

— Успокойся, Алеша, какой он там дезертир! Ну, поживет у нас и поедет. Куда-нибудь поедет. Видишь, он говорит, что война кончена.

Алексей ничего не ответил матери. Он сидел на диване, вытянув большую ногу на костыле, и смотрел куда-то широко открытыми глазами. Это уже не были глаза его юности. Они были, как и раньше, велики, но по ним в разных направлениях прошли налитые кровью жилки, и они смотрели теперь с настойчивым мужским вниманием. Алеша поднял их к матери и приложил к губам ее руку, облитую не то водой, не то слезами.

— Ничего, мама, ничего,— сказал он.

Мать властно отняла у него костыли, склонила его плечи к подушке и протянула ему книгу, которую он читал раньше: «Дворянское гнездо». Он благодарно улыбнулся ей и нашел страницу.

В кухне ее поджидал Степан. Он присел на табуретке и продолжал ее работу,— чистил картофель.

— Как же теперь будет? — спросила мать.

— А? — широко улыбнулся Степан.— Как будет, никто не скажет. А только он обязан пофордыбачить. По службе обязан, потому что офицер и командир батальона. Это тебе не шутка. А только воевать кончено!

18

Василиса Петровна еще в первый день сказала Степану:

— Ты, Степан, не говори старику, что удрал с фронта, а то он у нас сердитый и порядок любит.

— Да я и не скажу, боже сохрани. Потом разве, когда привыкнем.

Василиса Петровна внимательно пригляделась к Степану, да так и не разобрала, кто к чему будет привыкать.

А только она напрасно беспокоилась о Семене Максимиче. В первый же вечер, как только увидел он Степана и пожал его широкую руку, так и сказал:

— А, еще один воин? Удрал, такой-сякой?

— Нехорошо говоришь, хозяин, не по-военному. Не удрал, а отступил в беспорядке. А еще говорят: потерял соприкосновение с противником.

Семен Максимович иронически глянул на Степана, но было видно, что Степан ему пришелся по душе:

— Не понравился тебе противник?

— Не понравился, Семен Максимович, здорово не понравился. И связываться не хочу.

— Ты, видно, не дурак. Сколько тебе?

— Да вот скоро тридцать шесть будет.

— Не дурак.

— Да нет, Семен Максимович, не дурак.

На что уж суровый человек был Семен Максимович, а и тот улыбнулся:

— Где офицер наш?

— Его благородие в госпиталь поехал ночевать.

— Ну, давай ужинать. Садись, брат Степан... Как тебя по отчеству?

— Да это ни к чему.

— А говорил, не дурак. Как же это ни к чему? У русских людей так полагается: имя и отчество.

— А это смотря какие люди.

— Смотря какие! Люди все одинаковые. Чего я буду тебя без отчества звать. Ты ведь не мальчишка. А слуг у меня никогда не бывало, не привык я к лакеям. Да и ты человек, надо полагать, честный.

— Да в этом роде. Если так... Плохо лежит меньше тысячи, ни за что не возьму.

— А если больше?

— А если больше, не ручаюсь. Если больше,— может быть, какая-нибудь свинья положила.

Семен Максимович ставил на стол бутылку с самогонном и даже задержался:

— Ха! А ты и в самом деле не дурак, Степан...

— А Иванович.

— Степан Иванович. Садись. Самогонку пьешь?

— У хорошего хозяина пью.

— Только я больше двух рюмок не дам. Не жалко, а не люблю пьяных.

— Пьяных и я не люблю, Семен Максимович. Пьяный человек вроде как и на барина похож, потому что кричит, и вроде как на лакея, потому что все кланяется. И не разберешь, кто он будет.

— Ишь ты? Правильно. Так рассказывай, Степан Иванович, почему тебе неприятель не понравился.

— Да он все стреляет, а мне умирать не хочется.

— Смерти боишься?

— Смерти не боюсь, а умирать как-то расхотелось.

— А раньше хотелось?

— Да раньше как-то... ничего. Мне это говорят: умирай за веру, царя и отечество, ну, думаю... подходяще, за это можно.

— А потом?

— А потом разобрался, вижу, смерть моя, можно сказать, без надобности.

— Ну?

— Совсем без надобности. Первое...

— Первое, вот выпей.

— Ну, будь здоров, Семен Максимович и Василиса Петровна. Желаю вам, чтобы Алексей, поручик, поправился в добром здравии — и чтобы на фронт больше не поехал.

— Поедет или не поедет, пока помалкивай, а за здоровье выпьем.

— Выпьем. Хороший он человек. Свой человек. И солдаты его любили, да... вот... пропали все.

— Так первое, говоришь?

— Первое — за веру. Теперь я так вижу: если люди верят, пускай себе верят... Чего тут защищать. А если люди потеряют веру, так тоже ничего страшного. Пугают там разными адами, а я так думаю, что и там рабочему человеку место найдется. Да я тебе и так скажу: у нас в батальоне и евреи были, и магометы, и католики. Чорт его разберет, какую тут веру защищать. Так я и решил, что без меня, пожалуй, будет спокойнее.

— Так. Дальше!

— Дальше: его императорское величество. Тут люди свои, рабочие. Видишь, защищать царя поставили нас сколько миллионов. Все мы царя защищаем, а он себе сидит в ставке и никакой ему опасности. И сколько всяких войн ни было, нашего брата целыми полками в землю втоптывали, а царям что? Цари всегда помиряются, у них обиды нет — один к другому. И выходит так: будто мы тонем, а царь сидит себе на берегу, чай пьет, а нам еще и кричат: «тони веселей, царя спасай!» Я так и решил, что мне в это дело лучше не вмешиваться.

— Лучше не вмешиваться?

— Лучше. Вильгельм и Николай и без меня помирятся как-нибудь.

— Так. А отечество как же?

— Отечество, Семен Максимович, это, конечно, так. Я его два с половиной года спасал, а потом уже и запутался,— не разберу, от кого его спасать нужно. Как положили наш полк целиком, да и не один наш, так я и подумал: где этот самый враг? Немец или кто другой?

— А если на твою деревню немцы полезут?

— У меня никакой и деревни нет, Семен Максимович. А если полезут, надо как-нибудь иначе. Народ у нас не любит, когда к нему лезут. А вот теперь народ обозлился, только видишь, не на немцев.

— А на кого?

— Да чорт его знает? На всех. Сейчас, если бы только старший нашелся... ого!

— Война надоела?

— И война надоела, и жизнь надоела. До ручки дошло. Говорят, раньше были войны, и воевал народ, и генералы были, а сейчас все пошло прахом. Россия вроде как перемениться должна, а такая уже не годится в дело.

Долго еще Семен Максимович толковал со Степаном, а больше слушал.

На глаза Алексею Степан старался не попадаться, и Алеша делал такой вид, как будто он ничего не знает и не знает даже того, что Степан вот здесь живет в кухне, самое деятельное участие принимает в домашнем хозяйстве, ходит на базар. Не заметил, как будто, Алеша и того, что на Степане появились сначала его старая «реальная» блуза с золотыми пуговицами, потом и его старые штаны. У Степана была циклопическая шея,— воротник блузы не мог достать петлями до пуговиц, и поэтому даже зимой Степан имел такой вид, как будто ему страшно жарко. Степан всегда был в прекрасном настроении и даже пел. Голос у него был обыкновенный солдатский, и тихо петь было ему трудно. Пел все одну любовную песню, в которой с особенной нежностью выводил:

«На моих засни коленочках»...

Как ни старался Алеша игнорировать существование Степана на кухне, даже сапог свой сам чистил, чтобы не

пользоваться услугами, а пения Степана не мог не заметить и, наконец, возмутился открыто в другой комнате:

— Чорт! Коленочки! На этих коленочках дрова рубить только!

Степан очень обрадовался алешиному голосу и подошел к дверям:

— Может, отставить, ваше благородие?

Алеша поднял плечи на костылях и обратился к Степану большие свои, серьезные глаза:

— Чего это ты про любовь распелся?

— А про что петь, ваше благородие?

Алеша повел губами и тронул правый костыль, отворачиваясь от Степана:

— Не о чем сейчас петь.

Степан ступил шаг вперед и прислонился к наличнику.

— Ты это напрасно, Алексей Семенович, на себя тоску нагоняешь. Ты думаешь, как нас побили, так и беда? А может, иначе как обернется?

Алеша опустил на диван и задумался, не выпуская из рук костылей. Потом сказал тихо:

— Нет, не обернется. Мы уже не побьем. Уже кончено.

— У меня было.. такой случай был. Работаю я на херсонщине, у хохла богатого. И он, собака, натравил меня на одного парня, из-за бабы все. Я на парня и полез с кулаками. А он меня и отдубасил, да еще как, два дня лежал. А только поправился, сам у этой бабы поймал на месте не своего соперника, значит, а хозяина. Ну, я тут такой прорыв сделал, даже другие люди жалели хозяина. Видишь?

— Ты это, собственно говоря, к чему? — спросил Алеша.

Выпятив локоть, Степан почесал бок и посмотрел на Алешу денщицким взглядом, — домашним, послушным и даже чуточку глуповатым:

— Да ни к чему, ваше благородие, а к примеру. Вот нас немцы побили, а нам обидно. А только это напрасно. Придет время, — и мы кого-нибудь побьем.

— Кого-нибудь? Кого это?

— Да подвернется кто-нибудь. Сначала другой какой немец или, скажем, турок, японец также, а может, еще кто?

— А может, и хозяин?

Степан раскурил цыгарку и выдул дым в дверь, ничего не сказал, как будто не заметил вопроса.

— Ты слышал? Кто подвернется? Может, и хозяин?

Степан наморщил лоб и серьезно захлопал глазами, а потом скривился: куда-то попала ему махорка. И ответил с трудом, поперхнувшись дымом:

— Хозяин — это редко бывает, но бывает все-таки. Вот у меня, видишь, был случай и с хозяином.

— У тебя? А у меня кто хозяин? Кого бить?

— Мне тебя не учить, Алексей Семенович, ты сам ученый. А хозяев у тебя, голубчик, много. Если захочешь бить, искать не долго. придется. А может, и за меня кого отдуешь.

— И за тебя даже?

— И за меня.

— И это ты говоришь мне, офицеру?

Степан улыбнулся грустно:

— Да чего, Алексей Семенович, какой ты офицер? Тебя вот изранили, душу тебе повредили, а война кончится, тебе никто и спасибо не скажет. А батяно твой кто? Такой же батрак, как и я.

— Ну... хорошо... спасибо за правду. А только ты дезертир,— это плохо. Честь у тебя должна быть, а у тебя есть честь?

— Честь у меня, Алексей Семенович, всегда была. Была честь куска хлеба не есть. А теперь тоже не без чести: если поймаю кого, по чести и поблагодарю.

Алеша задумался и не скоро сказал Степану:

— Ну... добре... иди себе, отдыхай, дезертир.

19

В середине зимы приехал с фронта Николай Котляров и засел в своей хате безвыходно. Говорили на Костроме, будто он совсем рехнулся: сидит и молчит, не ест и не пьет. Алеша в воскресный морозный день направился к хате Котляровых.

Алеша уже научился говорить, только голова иногда шутила, да рваная рана на ноге заживала медленно. И костыли у Алеши не сосновые, а легкие бамбуковые, и лицо порозовело, и волосы стали волнистые. Только в выражении его лица легла постоянная озабоченность.

И даже костыли алешины научились шагать с какой-то деловой торопливостью.

У Котляровых тоже была своя хата и тоже на две комнаты. В первой, в кухне, копошилась мать Николая и Тани, очень напоминающая Таню, но в то же время и очень ветхая, сморщенная, маленькая старушка. У печи сидел на корточках и раскалывал полено на щепки широкоплечий, коренастый мужчина, — старый Котляров. Увидев Алешу, он отшвырнул остатки полена и щепки к стене, переложил косарь в левую руку, а правую, растрескавшуюся и обсыпанную древесным прахом, протянул Алексею.

— Ты погляди, Маруся: красивый из него военный вышел, а ведь нашего корня веточка.

Старушка, которую он назвал Марусей, маленькая, нежная, слабенькая, смотрела на Алешу радостно:

— Бог тебя спас, Алешенька. Хоть и хромой будешь... Не поедешь больше, не надо!

— Где Николай? — спросил Алеша.

Котляров озабоченно тронул рукой прикрытую дверь и так и оставил на ней руку. Сказал приглушенно:

— Я сам за тобой итти хотел, Алексей. Не знаю, что с ним делается. Тут и Павло прибегал, говорил, говорил, говорил с ним, а потом выругался чего-то и убежал. Может, ты с ним поговоришь?

— А какой он вообще?

Старушка придвинула табуретку, покосилась на дверь, зашептала:

— И не разберем. И не ранен. Целое все. А билет увольнительный *на совсем*. Ничего не рассказывает. Молчит. Хоть бы плакал или сердился, а то ровный такой.

— Читает?

— Нет, не читает. Павел принес ему каких-то книг, не читает.

Старушка с пристальной надеждой смотрела в глаза Алеши. Алеша поднялся на костыли, глянул на старушку ласково и сказал:

— Ничего, все пройдет. Я сам такой приехал.

— Да слышали, слышали, как же!

Во второй комнате стоял Николай и смотрел на огонь в печи. Он медленно повернулся к Алеше, не сразу узнал и, по солдатской привычке, вытянул руки по швам, но по-

том на его бледном веснушчатом лице пробежала вялая улыбка. Он протянул руку и подождал, пока Алексей выпутал свою из переплетов костыля.

— Здравствуй, друг,— сказал Алеша весело, хотя голова его и начала пошатываться справа налево.

Николай молча пожимал руку Алексея и с той же улыбкой смотрел на его погоны. Алеша направился к деревянному дивану, устроился на нем и хлопнул рукой рядом. Николай как-то особенно нежно и неслышно, как будто не касаясь земли, передвинулся к дивану и легко опустился на него, глядя на гостя с той же вялой улыбкой.

— Почему тебя отпустили, Коля?

Николай отвел в сторону задумчиво улыбающиеся глаза и прошептал с таким выражением, как будто он вспомнил далекую прекрасную сказку:

— Я не знаю.

— Чего ты не знаешь?

— Я ничего не знаю,— произнес Николай, с тем же выражением.

— Почему ты не офицер? Ведь тебя должны были послать в школу прапорщиков?

Николай задумчиво кивнул головой.

— Тебя послали?

— Посылали.

— Ну и что?

Николай перестал улыбаться, но ответил с безразличной пустой холодностью, как будто язык его сам по себе привык отвечать на разные вопросы:

— Меня потом откомандировали в полк.

— Почему?

Алеша спрашивал громко, энергично, гипнотизировал Николая решительным поворотом больших, серьезных глаз.

— У меня все было не так: строй не такой. Командовать не умел. Там все такой народ был веселый. А я не подошел.

— А в полк подошел?

— Подошел.

— Так неужели ты не знаешь, почему тебя освободили? Почему ты не говоришь? Говори, Коля, не валяй дурака, говори!

Алеша взял Николая за плечи и крепко прижал к себе. Худенький, мелкий Николай в старенькой выцветшей гимнастерке совсем утонул в широких алешиных плечах. Но Николай по-своему воспользовался этой близостью, он прижался к алешиному плечу отросшей щетиной солдатской стрижки и ничего не ответил.

— Ты был в бою?

Николай вдруг оттолкнулся головой от алешиного плеча, вскочил с дивана и устремил на Алешу пронзительно-воспаленный взгляд голубых глаз:

— Не нужно это... бой! Понимаешь, не нужно! Это царю нужно, генералам нужно, а народу не нужно...

Алеша мелкими неслышными толчками зашатал головой и прищурил глаза на Николая. Николай еще долго говорил, все громче и возбужденнее. Из кухни тихо открылась дверь, выглянуло испуганно-внимательное лицо матери и быстро спряталось.

20

А еще через неделю Семен Максимович стоял посреди комнаты с палкой — забыл ее поставить в угол, — непривычно задорно смотрел на Алешу и непривычно собирал веселые складки у глаз:

— Убрали-таки этого нестуляку! А? Словчился народ! Что ты теперь скажешь!

В дверях стоял Степан и поддерживал Семена Максимовича широкой улыбкой:

— Переменяется Россия. Теперь по-другому пойдет!

Но известие о конце империи не произвело на Алешу никакого впечатления. Он задумчиво смотрел куда-то, и красные жилки в его глазах сделались еще заметнее и краснее.

Семен Максимович присмотрелся к сыну и спросил строго:

— Ты чего это надулся? Может, Николая жалко?

Алеша улыбнулся:

— Ты что это обрадовался, отец? Сам, помнишь, говорил: республика — все равно. Ну, вот тебе и республика: Родзянко, князь Львов. Доволен?

Семен Максимович сел на край стула, поставил палку

между ног, на палку положил длинные свои прямые пальцы:

— Языком пока говоришь,— все равно, а на деле как-то иначе выходит. Ты смотри: сегодня первый день, а уже на заводе все друг друга товарищами называют. И флаги какие? Красные. Это тебе не все равно. А завтра совет выбираем.

— Какой совет?

— Совет рабочих депутатов.

Алеша сразу поднялся на костыли, заходил по комнате, остановился против отца, обрадованный:

— Ты серьезно, отец?

— Не будь балбесом. Я тебе не серьезно что-нибудь говорил? Выбирают совет, и меня в совет уже приговорили.

Алеша задумался и... весело:

— Да! Дела большие!

Степан заржал, как будто жеребец со двора вырвался:

— За хозяев взялись, за хозяев! Ах ты чорт, где ж моя амуниция военная?

Он полез на кухню, там о чем-то громко кричал с Василисой Петровной, хохотал и требовал свои военные доспехи: гимнастерку и штаны. Василиса Петровна улыбалась и спрашивала Степана:

— Куда ты собираешься, Степан Иванович?

— Это я готовлю. Воевать буду.

— С кем воевать?

— А там будет видно. Найдём с кем.

— Смотри, как бы тебя не нашли,— сказал Алеша, выходя в кухню.— Царя скинули, а дезертиры остались.

— Да какой же дезертир? Царю присягу давал, а царя — по шапке.

— А теперь народу будет присяга.

— Ну, народу другое дело. Народу мир нужен, а может, и еще что. Народ — это дело справедливое!

Алеша целый день бродил по улицам, провожал все демонстрации, заходил на все митинги, заговаривал с каждым прохожим, присматривался к каждому встречному.

Надежда Леонидовна по вечерам ссорилась с ним и возмущалась:

— Что это такое?! Вы раненый или нет? У вас еще рана не зажила, а вы целый день по городу бегаете! Я вас привяжу к постели.

Но Алеша отвечал ей:

— Все равно и здесь по комнате буду ходить. Усидеть сейчас невозможно, Надежда Леонидовна. Сдвинулся народ с места, понимаете?

— Сколько вам лет?

— Мне лет? Двадцать три.

— Господи, как мало! Тогда вам действительно трудно усидеть на месте. А все-таки я вам не позволяю так много бродить.

— Ну, хорошо, я пойду в гости.

— В гости идите.

Алеше почему-то вдруг захотелось побывать у Остробородько, — там всегда самые свежие новости, можно увидеть и Нину Петровну. На нее тянуло посмотреть, как на хорошую картину на хорошей выставке.

У Остробородько действительно сидел и разглагольствовал доктор Васюня, только что прибывший из Петрограда, куда он ездил за хирургическими инструментами для кавказского фронта.

— Ничего понять нельзя, — говорил Васюня. — Народ, ну его к чорту, просто с ума сошел. Все ходят, кричат, галдят, как будто оглашенные. Теперь его скоро не остановишь. Большую узду нужно, чтобы взять в руки. А кто возьмет? Ах, какой глупый этот Михаил! Теперь сразу нужно было из рук в руки корону брать. Наш народ такой: еще и «ура» кричали бы, на руках носили бы. Такая красота:

«Божиею милостью, мы, Михаил Второй, император и самодержец всероссийский».

Васюня водил пальцем по воздуху и изображал этот торжественный текст. На него смотрели прищуренные глазки Петра Павловича Остробородько:

— Ничего вы не понимаете, Васюня. У нас не такой народ. У нас без бенефиса не обойдется.

— Какой же бенефис?

— А вот увидите: по старым программам, но первый

раз в этом городе. Панам попадет. У нас ведь, если что, всегда панов били. Правда, Алексей Семенович?

— Да, панов будем бить,— улыбнулся Алеша.

— Вот видите? — Петр Павлович протянул возмущенную руку.— Это говорит офицер, георгиевский кавалер, герой. А что скажет мужик?

— В самом деле будете панов бить? — заинтересованно спросил Васюня и направил на Алешу свои маленькие глазки.

— А как же! — ответил Алеша с прежней улыбкой.

— Для чего? — спросил серьезно Петр Павлович.

— Сначала для удовольствия, потом для дела.

— Ну, и что?

— Хорошие дела готовятся. Подождите несколько месяцев.

— Удирать нужно?

— Вам зачем удирать?

— Меня тоже могут за пана посчитать.

— Ну, какой вы пан? Вы — доктор, человек трудящийся.

— Бить панов это всегда значило бить и культуру.

— Положим, далеко не всегда.

— Вы сейчас же кричите: буржуазная культура! Вы большевик? Ваш Ленин уже в Петрограде? Да?

— Я пока что инвалид, Петр Павлович.

Петр Павлович стоял посреди комнаты и сыпал возмущенными вопросами, острыми взглядами и плюющими мокрыми словами. Нина Петровна сидела у самовара, заботливо опускала и подымала глаза над пустыми и полными чашками и ласково поглядывала на Алешу. Она сказала:

— Довольно вам кричать. Чего вы напали на больного человека! Идите сюда, Алеша, бедненький. Я вам сейчас дам ваши подпорки.

Она заботливо перевела Алешу поближе к себе и приблизила к нему милое, мягкое и нежное свое лицо. Васюня и Петр Павлович о чем-то снова оглушительно заспорили.

— Расскажите что-нибудь, Алешенька,— сказала Нина.

Алеша поднял на нее большие глаза:

— Что же рассказать, Нина Петровна?

— Расскажите что-нибудь счастливое.

— Не знаю, Нина Петровна, с чего начать.

— Тогда я вам расскажу. Только никому не говорите. Она наклонилась к нему, и по алешиной щеке загуляли кончики ее нежных золотых волос:

— Алеша, только никому не рассказывайте. Я не люблю этого поповича. И не пойду за него замуж. Я хотела итти в сестры милосердия, а он написал: не нужно. Он — попович, понимаете, у него и душа поповская, расчетливая.

— Где он сейчас? — тихо спросил Алеша.

— Он получил все, что полагается. Где-то при интендантстве. Получил капитанский чин. Но он не военный. Он только вид такой делает, что он военный. Он — попович. И его солдаты убьют, обязательно убьют. Он попович, а хочет быть баринoм. Его все равно солдаты убьют.

— Нина, почему вы мне об этом говорите?

— Мне больше некому сказать. А кроме того, еще есть одна важная причина. Я даже хотела итти к вам в госпиталь, а потом стало стыдно. А теперь уже не стыдно.

Нина Петровна все это говорила спокойно, ничего не изменилось в ее лице, даже улыбка осталась та же: нежная.

— А вы написали ему, что не любите его?

— Я еще не написала. Все папу как-то жалко. Это его мечта. Хотя теперь это уже не модно.

— Что не модно?

— А вот за поповича выходить.

— Пожалуй, что и не модно.

— А вы будете архитектором, Алеша?

— Вероятно.

— А за архитектора выходить модно?

Алеша, улыбаясь, присмотрелся к ее лукавому взгляду:

— В общем, это ничего.

— Я пошутила, Алеша.

— Я понимаю.

— Вы скажите: что мне делать? Я страшно хочу что-нибудь хорошее делать. Разве в учительницы пойти? Как вы думаете?

— Нет, в учительницы не нужно.

— Почему?

— У вас не выйдет.

— Это верно, что не выйдет. Все равно замуж кто-ни-

будь возьмет. Вот еще горе. Отчего я такая женственная, скажите.

— Разве это плохо?

— Да. Мне не нравится. От поповича откажусь, кто-нибудь другой явится. Интересно все-таки, кто меня возьмет замуж. А теперь такое интересное время начинается.

— Вы думаете, что интересное?

— Голубчик мой, так видно же! Вы не думайте, что я такая пустая или такая, как Борис. Я хочу что-нибудь делать. Наверное, пойду в учительницы. Скажите, Алеша, почему это так глупо: как женщина, так и в учительницы. А если я не хочу никого учить?

Алеша не ответил. Она еще немного подумала над своим тяжелым положением, потом встряхнула хорошенькой головкой и сказала капризно:

— Васюня, что же это такое! Почему никто чаю не просит?

22

И сейчас возвращался Алеша таким же поздним вечером, и сейчас было так же тревожно вокруг, как и в тот вечер. Теперь на Алеше тоже были оба сапога, но ему еще не разрешали становиться на больную ногу. Впрочем, он привык к костылям, привык поджимать больную ногу, ему даже не хотелось расставаться с ними. Он решил дойти до главной улицы и там взять извозчика.

Алеша не спеша переставлял костыли, чтобы не попасть в ямку на тротуаре. На темной улице, освещенной очень редкими фонарями, почти никого не было. Встречалась изредка парочка, привлеченная на улицу первыми днями весны, да изредка пробежал одинокий человек и испуганно бросился в сторону, обходя его костыли. Алеша вдруг почувствовал особый уют в своем неспешном одиноком движении.

Было очень много вопросов, над которыми нужно было подумать. Раньше было все-таки ясно. Нужно было сидеть в окопах, писать рапорты, иногда сидеть под обстрелом и ждать смерти, иногда идти в атаку, нести вперед страх смерти и угрожать револьвером тем, у кого этот страх слишком вылезал наружу. Все это нужно было делать потому, что этого требовали долг и уважение к себе и глубокая уверенность, что за плечами лежит родина —

Россия, что на огромных ее пространствах все уверены в его чести. Все было ясно, а что было неясно, то нужно было отложить на завтра, в том числе отложить и мысли о многих безобразиях на фронте, о лени, трусости, даже о разврате и пьянстве офицеров, о возмутительном чечевичном рационе, о бесталанном командовании, о проигранной войне. Часто все это было до боли отвратительно и мерзко, часто от этого притуплялся даже страх смерти, но все-таки все было ясно: главное и первое — дисциплина и война, его человеческая честь, его достоинство и уважение к себе. И поэтому нельзя было ни закричать в отчаянии, ни удрать с фронта, ни пойти в плен. И Алеша привык гордиться этой своей гордостью и привык взнуздывать себя, когда начинали гулять нервы.

Так было раньше. А сегодня как-то не так. Сегодня все не так. В Петрограде еще кричат: «до победного конца», но уже ясно, что победы не будет и что в победе нет радости. И вопрос о гордости требовал пересмотра.

В светлом пятне, освещенном окном домика, выросла высокая фигура солдата. Солдат быстро посторонился и с почтением к раненому приложил руку к козырьку. Правая рука Алеши по привычке хотела подняться ответным движением, но остановилась на полдороге, и Алеша крикнул:

— Сережа! Сергей!

В замешательстве Алеша ступил на больную ногу и вскрикнул от боли. В этот момент Богатырчук крепко обнял его вместе с костылями и горячим поцелуем впился в его губы:

— Алешка! Милый мой! Красавец мой!

Сергей целовал его губы, щеки, лоб, он обращался с ним, как с девушкой.

— Да ну тебя, сдурел,— засмеялся Алеша и нашел, наконец, свои подпорки.

— Идем,— сказал Богатырчук.— Идем куда-нибудь!

— Да куда?

— Идем, вот тут сквер.

— Да там народу много.

— Стой, вот тут я проходил, скамеечка такая славная.

Ох ты, калека моя родная!

Скамеечка оказалась действительно славной. Была для нее сделана специальная ниша в заборе, и распускались

перед ней сирень и еще какие-то кусты. Здесь у чужого двора и расположились друзья.

— Алеша, я тебя целый день искал. Дома был, в госпитале был. Чего ты шляешься? Что это? Ты и ранен? Мне говорили, — контужен. Это на владимирско-волынском направлении? Здорово тебя покалечили.

— Здорово. Буду хромать. И с нервами плохо. Заикаюсь вот, и голова ходит, особенно если разволнуюсь. И болит часто. И вообще это надолго; говорят, ни пить, ни курить, ни за барышнями не ухаживать, не расстраиваться.

— Так ты и не расстраивайся.

Алеша улыбнулся.

— Не такие времена.

— Ох, и времена, друг! До чего времена замечательные. Я хожу и смотрю, и слушаю, думаю, такая жалость: и это забуду, и это забуду.

— Сергей, расскажи подробно: что случилось в военном училище? Почему тебя солдатом выпустили?

— Шпионили, дряни. А я не очень умею язык за зубами держать. Понятное дело. Да я не жалею. Зато теперь хорошо. Я прямо уморился. И туда поспеть, и сюда поспеть! В Киев попал, как раз валил памятник Столыпину. А на нем, понимаешь, написано: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Сволочи, еще и на памятнике написали, — «великая Россия»! Но зато и потрясения, брат, будут, прямо голова кругом идет.

Алеша слушал, склонив голову, и молчал. Сергей на месте сидеть не мог, то быстро поворачивался на скамье, то вставал, то пробовал ходить.

— Мороки много будет. Офицерня, между прочим, гадко держится. Я понимаю, еще дворянчики или там кадровые, тем, конечно, иначе и не приходится, но какого чорта прапорщики эти лезут. Такое же пушечное мясо, как и мы. А туда же, воевать им хочется.

— А как же, по-твоему? Просто удирать с фронта?

— Удирать нельзя. Зачем удирать? Надо мир. Народ не хочет воевать. Баста, есть дела поважнее.

— А если немцы все заберут?

— Да брось, Алешка, чего они там заберут. Они рады будут, только отвяжись от них.

— Ты — большевик? — спросил Алеша.

— Большевик. И председатель дивизионного комитета. Да постой, а ты как же думаешь? Ты что — с офицерами? Какая у тебя компания?

Алеша поцарапал концом костыля землю:

— Ты, Сергей, брось этот тон,— резко сказал он.— Здесь не митинг, и никакой у меня компании нет. Я здесь один, видишь, раненый, разбитый, через месяц мне дадут чистую; офицером я не буду и на фронт больше не пойду. И не забывай: мой отец токарь, я отцу никогда не изменю, да он же еще и член совета рабочих депутатов, наверно, тоже в большевики пойдет, хоть и старый. Да ведь ты отца знаешь.

— Еще бы не знать!

— Ну, вот, а ты мне растолкуй, раз ты комиссар. Как у вас дело с честью обстоит?

— С какой честью?

— С обыкновенной человеческой честью?

— Не понимаю.

— Ты что, тоже бросил фронт?

— Нет, я не бросил. Я в отпуск.

— А можешь бросить?

— Как это, просто удрать?

— Ну да, вот как мой денщик. Взял и удрал.

— Тайно?

— Да один чорт, хоть и явно.

— Чудак, так ведь я большевик.

— Ну, так что?

— Если партия скажет: бросай — брошу. Скажет: дерись — буду драться. За революцию будем драться, Алеша!

— А честь?

— Вот здесь и честь. Своим не изменю.

— А России?

— Да какой России? Мы и есть Россия.

— Это какая же Россия? Маленькая? То была великая, а теперь маленькая?

Богатырчук засмеялся:

— Ты, действительно, больной. Потом разберешь. Если бы ты был сейчас на фронте, сразу бы разобрал. Ну, идем... на нашу великую... Кострому.

Весной приехала из Петрограда Таня.

В первый же вечер они с Павлом пришли к Алексею. Павел стоял в дверях, черный и сумрачный, и хмуρο наблюдал сцену встречи. Таня быстро подошла к Алеше, положила руку на его рукав. У Алеши вдруг заходила голова, он попробовал улыбнуться, но улыбка вышла страдальческая, тревожная. Таня посмотрела ему в глаза, вдруг опустила голову на его грудь и заплакала горько и громко, никого не стесняясь. На ее рыдания из кухни вышла Василиса Петровна, оттолкнула в дверях хмурую фигуру Павла и бросилась к Тане. Она легко оторвала ее от алешиной груди, обняла за плечи и повела к дивану.

— Танечка, успокойся, милая, что с тобой?

Таня натирала кулачками глаза и с облегченным вздохом, похожим на улыбку, опустилась на диван и прислонилась щекой к плечу Василисы Петровны. Алеша с трудом поворачивался на костылях и с серьезной, больной озабоченностью смотрел на женщин, не замечая Павла.

— Вы простите меня, это я, наверное, оттого, что две ночи в дороге не спала! Вы знаете, как трудно теперь ездить. А дома еще и Николай...

Таня виновато улыбнулась и не могла оторвать взгляда от лица старушки. Таня, действительно, сильно похудела, почернела и побледнела в одно и то же время, но тем сильнее блестели ее глаза, и губы ее казались сейчас полнее и ярче.

— Как же твое здоровье? — спросила Таня, подняв на Алешу глаза.

Алеша только крепче сжал губы и ничего не ответил, за него ответила мать:

— Плохо его здоровье, Танечка. Смотрите, голова у него гуляет. И рана никак не может зажить. А он еще такой непослушный, все бегаёт и бегаёт. Непоседа такой. Испортили мне сына, Танечка.

Мать была рада пожаловаться женщине и поплакать. Алеша посмотрел на мать с выразительным негодованием, но потом махнул рукой и подошел к Павлуше.

— Видел Сергея? — спросил Павел.

— Видел, — ответил Алеша серьезно. — Он теперь большевик.

Павел сверкнул зубами и поднял вдруг повеселевшее лицо:

— Да, молодец! Я тоже вступаю. У нас уже четыре большевика на заводе. Да на железной дороге три. Семь. Уже семь!

— Да,— сказал Алеша как будто про себя.— Николай работает?

— Да, поступил.

— Здорово его попортили.

— Разве его одного? И тебя вот.

— И меня. И все даром.

— И все даром,— подтвердил Павлуша тихо.

— Ты спокойно об этом говоришь?

— Я говорю так, как и ты.

— Ну, знаешь, ты не можешь так говорить. Ты не пережил этого ужаса и не пережил... ты не пережил... этой...

— Ты хочешь сказать, что я просидел в тылу?

— А что же,— конечно, просидел.

— Хорошо. Я просидел. А Сергей?

— Я про Сергея не говорю. Я с тобой говорю. Я имею право тебе сказать.

— Я слушаю, Алеша.

— Ты не знаешь, что такое итти в атаку под ураганым огнем и за тобой — батальон. В этом есть человеческое достоинство. Мой полк лег в одну ночь. Четыре тысячи человек. Ты понимаешь?

Они уже не говорили тихо, они забыли, что на диване их слушают женщины. И были очень удивлены, услышав слабый голос матери:

— Алеша, зачем ты все вспоминаешь свой полк. Не нужно об этом думать. Погиб твой полк, на войне всегда так бывает.

— Да, да, вот оказывается, что это никому было не нужно.

— А что ж, не бывает так, Алеша? Страдают люди, страдают, а, глядишь, никому это и не нужно. И какая же польза от страдания? Разве только на войне? А сколько кругом людей страдает, а подумаешь: для чего страдали? И я вот жизнь прожила не сладко. Моего отца, твоего дедушку, бревном убило на пристани, всю жизнь бревна таскал, и жили впроголодь, страдали, детей не учили. И я вот неграмотная, темная,— только и видела, что кухня да

нужда. А многие люди и хуже жили. А в деревне как живут: черный хлеб, только и всего, а больше ничего в жизни и не видят. Все люди страдают, а кто об этом помнит? Никто не помнит, забывают люди: у кого свое горе, а кому и так хорошо. Моего отца бревном убило, а Мендельсон богатым человеком сделался.

Мать говорила, сложив сухие сморщенные руки на коленях, покрытых изорванным, бедным фартуком. Ее лицо чуть-чуть склонилось набок, выцветшие серые глаза смотрели печально. Она умолкла и осталась в той же позе: бедственные картины трудовой жизни проходили перед ее душой в этот момент, не вмещаясь в словах.

Алеша быстро подошел к ней, наклонился, поцеловал руку:

— Правильно, мамочка. Правильно. Это я — так... Все думаю: если Россия не нужна, зачем я нужен.

— Россия нужна, — сказал медленно и сурово Павел. Алеша повернул к нему лицо, не подымая головы.

— Нужна?

— Нужна. Вот увидишь, какую мы сделаем Россию! Настоящую сделаем. Такая будет Россия! Тогда никому не придется умирать даром, и будет за что умирать. Это мы сделаем.

— Кто это вы?

— Мы — рабочий класс.

— Мы сделаем?

— Да.

— А кто нас поведет?

— Ты знаешь, что Ленин уже в Петрограде?

— Знаю.

— Мало тебе?

— Мало, Павлуша. Это один человек.

— А что тебе нужно?

— Я не знаю.

— А когда ты узнаешь?

— Я... наверное, скоро узнаю. Если бы мне... поехать, посмотреть. Здесь на Костроме как-то не видно.

Таня собралась уходить. Она подошла к Алеше, взяла его под руку, отвела в сторону:

— Ты скорее поправляйся. Милый мой! Скорее выздоравливай.

Иногда Алеша ночевал в госпитале, там у него была койка. Он каждый день ходил на перевязку, на разные процедуры. В госпитале почти не было больных, поступление контуженных с фронта прекратилось. Только на другой койке по целым дням сидел артиллерийский капитан, худой и высокий, с носом, далеко выдвинутым вперед. Под носом у него висели тяжелые, плотные усы. Даже летние дни не тянули капитана на улицу, он сидел, набивал папирсы и думал. Когда приходил Алеша, он говорил:

— Сказали, что через десять дней выпишут, и то, если будет лучше. Разве в этом городе будет лучше?

— А куда вам хотелось бы? Куда вы хотите ехать?

— Куда я хочу ехать? У меня нет ни имения, ни жены, ни родственников. Поеду в какую-нибудь команду выздоравливающих. Место спокойное, никому не нужное.

— А воевать?

— Э, хитрый какой поручик! Воевать довольно. Служить адвокату какому-то паршивому?

— Не адвокату, а народу.

— Народу? Поручик, бог с вами, на что я народу сдался. Народ теперь сам с фронта бежит, только пятки сверкают.

— А Россия?

— Была, да вся вышла ваша Россия.

— А что же есть, по-вашему?

— Ничего нет. Сплошная команда выздоравливающих. Вот, может, переболеют, выберут царя, станут опять жить. А без царя какая Россия?

Алеше капитан не нравился. Поэтому, бывая в госпитале, Алеша старался проводить время на улице.

В один из жарких июньских дней он долго сидел в палисаднике, потом вышел на тротуар и остановился у входа в госпиталь, рассматривая прохожих. Прохожих было немного, и они не мешали Алеше думать. Думы были все такие же взбудораженные.

Прошла парочка — молодой человек в соломенной шляпе и тонкая девушка с бледным лицом. Девушка посмотрела на Алешу и не заметила его, как не заметила ни ворот, ни убегающей дорожки палисадника. Потом прошла женщина с ребенком на руках, а за нею показался

вздохмаченный, без шапки, угрюмый человек. Он шел быстро, его ноги, обернутые в какое-то тряпье, шлепали по кирпичам тротуара с каким-то неприятным, шершавым шумом, но человек не обращал на это внимания. Он шел, опустив голову, а руки заложил за спину. Совершенно ясно было, что он не пьян, хотя, может быть, и выпил немного. Алеша заинтересовался человеком и внимательно следил за ним. За несколько шагов до Алеши человек поднял голову и прямо пошел на него. У человека — небритое лицо кирпичного цвета и мохнатые светлые брови. Подойдя к Алеше, он вдруг с силой топнул ногой и прохрипел:

— А! Стоишь, паскуда, красуешься?!

Не успел Алеша услышать эти слова, как человек быстро поднял руку и дернул за левый погон. Погон он оторвал только с одного конца, но Алеша не удержался на костылях и повалился вперед. Человек отступил, дал ему упасть, потом круто обогнул Алешу и зашагал дальше, попрежнему заложив руки за спину.

25

Подбежавшие люди нашли Алешу в обмороке и унесли в госпиталь. У него была сильно ушиблена голова, и когда он пришел в себя, к нему возвратились прежнее заикание на последних слогах и частые головные боли. Врачи постановили, что в течение месяца он должен лежать, меньше говорить и еще меньше волноваться.

Семен Максимович пришел к Алеше на другой день и долго молча сидел у постели, сухим холодным взглядом посматривая на капитана, сидящего на своей кровати и набивающего папиросы. Потом кашлянул и сказал спокойно:

— Тебе сказано не волноваться. А я тебя считаю мужчиной. Это хорошо, что с тебя погоны сорвали. К чортовой матери, так и нужно...

Алексей молча смотрел на отца с подушки, но капитан, не отрываясь от своей работы, сказал:

— Кто смеет говорить, что правильно?

— Я смею, — ответил Семен Максимович и, захватив рукой усы и бороду, разгладил их книзу.

— А кто вы такой будете?

— А я вот отец этого... молодого человека.

Капитан посмотрел на Семена Максимовича, надул губы и внимательно протолкнул палочку в гильзу. Семен Максимович продолжал:

— Воевать тебе все равно не придется. Так?

— Воевать, видимо, не придется.

— Хватит. А погоны тебе не нужны. Запомни, что я сказал.

— Запомню,— сказал Алеша тихо.

— Хорошо. Будь здоров.

— Будь здоров. Мать не пугай.

— Учи меня еще.

Семен Максимович зашагал к выходу. Капитан проводил его взглядом и кивнул.

— Кто он такой, ваш отец?

— Токарь.

— Токарь?

— Токарь.

— Ваш отец?

— Мой отец.

— А-а!

— А что?

— Пускай,— сказал капитан.— Я не возражаю. Команда выздоравливающих.

Алеша повернул к нему лицо и сказал серьезно:

— Капитан, вы поглупели, голубчик!

— Поглупел? Не возражаю. В порядке вещей. Говорят, и генералы теперь поглупели. А вы все-таки не говорите лишнего, потому что... потому что вам запрещено.

26

В тот же вечер пришла к Алеше Нина Петровна. Он так удивился ее приходу, что даже не сразу ее узнал, потом вскрикнул:

— Нина!

Нина быстро села на стул.

— Молчите. Господин офицер!

— Готов служить, сударыня,— капитан уже стоял на ногах и поправлял пояс.

— Пойдите, погуляйте полчаса.

— Слушаю и понимаю.

Нина прищурилась на носатого капитана:

— Как вы плохо воспитаны. Как можно так опуститься.

— Сударыня!

— Как вы смеее понимать? Что вы понимаете? Вы должны только слушать!

— Слушаю.

— И ничего не понимаете.

— Совершенно верно: ничего не понимаю.

— А теперь уходите.

— Слушаю.

Капитан вышел, ошарашенный разговором с красавицей. Алеша смотрел на Нину и поражался:

— Нина, вас узнать нельзя. Какая у вас энергия. Вы просто командир.

Но Нина смотрела на него прежним, мягким и нежным, счастливым взглядом:

— Милый, вы простите, что я пришла к вам незваная, но вы знаете, я, наверное, в вас влюблена. Молчите, молчите. Это ничего, что я влюблена, у меня есть к вам два очень важных дела. Очень важных. Собственно говоря, только одно важное. Ах, как я долго рассказываю, такая болтушка! Этот самый человек, который погон у вас оторвал, этот самый человек хочет вас видеть. Он наш сосед, я с ним говорила. Это Иван Васильевич Груздев,— он кочевар.

Нина смотрела на него, смущаясь, но в ее глазах все светилась какая-то радость.

— Пусть приходит,— сказал Алеша.

— Господи, какая вы прелесть, Алеша! Спасибо вам, а то он очень страдает, Иван Васильевич. Теперь у меня другое дело: приехал подполковник Троицкий, мой бывший жених, но он и теперь воображает. Он дрался 18 июня, получил какую-то серебряную ветку,— все врет. Он убежал, честное слово, он убежал. Я сегодня ему скажу, что от меня он никакой ветки не получит. Вы разрешите сказать ему, что я его не люблю, а...

— Послушайте, Нина, как я могу разрешать такие вещи?

— Слушайте до конца. Разрешите ему сказать, что я его не люблю, а я люблю вас.

Алеша даже сел от неожиданности:

— Нина!

— Что?

— Вы ошибаетесь.

— Это мое дело. Если вы ошибаетесь, я вам не мешаю, и я тоже могу ошибаться, как мне хочется. Довольно женственности.

— Нина...

— Значит, можно? Имейте в виду, что этот попович будет на вас очень злиться.

— Пожалуйста,— улыбнулся Алеша.

— Ну, вот спасибо, милый. А то пришлось бы врать. А мне почему-то не хочется. До свидания, Алешенька. Поцелуйте мне хоть руку.

— Нина Петровна!

Она глянула в его глаза спокойным, радостным взглядом, кивнула головой и ушла. Алеша в полном смятении опустился на подушку и только сейчас вспомнил, что она не выразила никакого сочувствия к нему, а выразила сочувствие к Ивану Груздеву.

27

Иван Васильевич Груздев пришел на другой день, приткрыл дверь и спросил несмело:

— Можно?

Капитан оглянулся:

— Входи, чего там «можно». Теперь все можно.

Груздев подошел к кровати Алеши и остановился, держа в руках какой-то предмет, напоминающий картуз. Темнокрасное его лицо сегодня было выбрито. На Алешу смотрели серьезные, грустные глаза, а над ними висели белые мохнатые брови.

— Он не мешает? — спросил Алеша, ощущая к этому человеку какое-то неожиданное уважение.

— А он офицер?

— Офицер.

— Все равно. Не мешает.

— Садитесь, товарищ Груздев.

Груздев придвинул к себе стул, не желая садиться очень близко от кровати, и объяснил:

— Я, понимаете, кочегар, так... того...

Алеша так же неожиданно для себя улыбнулся кочегару и сказал:

— Кочегар — это очень хорошо. Знаете что, вы не думайте, что я на вас обижаюсь. Я на вас не обижаюсь. Хотя, конечно... это все и... но... знаете... без боли и пулю нельзя вырезать.

— Ты не обращай внимания,— кочегар поднял серьезные печальные глаза и улыбнулся. От этого его глаза не перестали быть печальными, но улыбка и в них отразилась какой-то теплой надеждой.— Боль, она, конечно... бывает и на пользу.

— Видите ли,— сказал Алеша,— вы, наверное, хороший кочегар, правда?

— Кочегар, как полагается,— подтвердил серьезно Груздев.

— Вот. А я хотел быть хорошим офицером... на войне нужно быть хорошим офицером. У меня погоны поручика... были... заслужены. Понимаете?

Капитан бросил набивать папиросы, встал во весь рост, склонил над алешиной постелью свой длинный нос:

— Тьфу! Да ну вас к дьяволу! Я и сам уйду. Это он погон сдернул?

— Он.

— Ты сдернул?

— Уйди лучше,— сказал хмуро Груздев, не глядя на капитана.

— Ухожу! Чорт с вами!

Капитан захватил с собой разные коробки и вышел.

Груздев проводил его взглядом.

— Видишь, товарищ Теплов. Может, ты и заслужил эти эполеты. Правильно. И может, тебе обидно,— это я понимаю. А и у меня на сердце накопилось зла много. И за свою жизнь, и за сына. Сын у меня, хороший был сын. Ну, не знаю точно, как оно вышло, а сказал офицеру, слово только сказал, ругательное, конечно, слово. И загнали на каторгу, он там и умер в прошлом году. Ну и у меня жизнь... паршивая жизнь. А тут задумался я, вижу ты стоишь, в панском во всем наряде, вот и не стерпела душа. Я тебя по костюму посчитал... Да. А потом я узнал, что ты сын Семена Максимовича. И так мне стало нехорошо: своего человека обидел.

— А ты откуда знаешь моего отца? — спросил Алеша, сознательно переходя на «ты».

— Да кто же его не знает? В девятьсот пятом году и я работал у Пономарева. А он тогда бумажку бросил ротмистру прямо в морду.

— Какую бумажку?

— А ты разве не знаешь?

— Ничего не знаю.

— Неужели батька тебе не рассказывал?

— Не знаю ничего, не слышал.

— Вот он такой человек: другой бы на всех углах протрубил, а у него все с гордостью.

— Расскажи ты мне, Иван Васильевич: что такое?

— Да как же, обязательно расскажу. Дай-ка мне цыгарку.

— Не курю.

— Да вон у этого носатого на кровати сколько хочешь. Алеша передал ему папиросу.

— Расскажу, как же: тебе нужно знать. Твой отец был тогда самый геройский человек, в большую забастовку в комитете был. А когда вторая забастовка пошла, у него как все равно возжа заела. Против, да и только. Видно, чуял, что тут наша не возьмет. Да кто его знает, почему. а только прямо говорил: не надо бастовать. А тут случай подошел: за один день до забастовки свалил его брюшной тиф или что другое, не помню, а только свезли его в больницу. Так без него и бастовали. А когда он выписался, уже и расправа пошла. Кое-кого и взяли, а всех рабочих в один день уволили, так и объявили: все уволены, а кто хочет работать, пускай подаст прошение. Там на Костроме маленькая школа тогда стояла, потом ее поломали, в этой школе и заседала комиссия. Такой хвост растянулся, до самого базара. И Семен Максимович стоит и бумажку в руках держит. За первый день пропустили человек триста, и до него дошла очередь. А в комиссии ротмистр жандармский сидел, посмотрел в списки и говорит: «Вы, господин Теплов, напрасно беспокоитесь. Вы и не уволены и не бастовали. Пожалуйста, отправляйтесь на свое место и работайте на здоровье, как вы честный рабочий». Ну, тут Семен Максимович и загремел: «Это что такое? Какое ты имеешь право меня оскорблять?» Да к нему, а тот от него назад. «Ты,— говорит батька-то твой,— слохнешь, а не будешь знать, какая бывает рабочая честь. Принимай сейчас же!» — да и швырнул ему бумажку в морду. Ну, тут,

конечно, загалдели, вывели его и сразу постановили: уволить. На другой день, смотрим, и он стоит в очереди и опять бумажку в руках держит. Говорит: «Теперь я с полным правом к собакам на поклон пришел». Вот какой человек.

— Что же, приняли батьку?

— Нет, в тот день не приняли. Сказали: «Не нужно нам таких, чересчур честных». Только он недолго ходил без работы, всего месяц. Сам Пономарев ездил просить, другого такого токаря где он достанет! Да, большая гордость у старика, если бы у каждого такая...

28

И в следующие дни приходили к Алеше друзья, усаживались у его постели и почему-то краснели в первые моменты, хотя у Алеши и не могло быть сомнений в том, что они его любят, что им тяжело смотреть на его «гуляющую» голову и слушать спотыкающуюся речь. Алеша встречал друзей с особенным коварным любопытством и улыбался, а они еще сильнее краснели после этого и, начиная разговор о его болезни, старательно избегали вспоминать о несчастном случае на улице.

Алеша очень обрадовался тому, что Таня пришла не одна, а с братом Николаем, но свою радость заметил только тогда, когда Таня уже сидела у его постели. И потом, до самого ее ухода, Алеша то и дело вспоминал об этой радости и успевал между словами и движениями мысли кое-что сообразить, наскоро, мельком, в самой черновой форме. Для него было очевидно, что здесь замешана Нина Петровна, хотя до прихода Тани он почти не думал о ней. А сейчас стало ясно, что, как только Таня уйдет, он будет думать о Нине, вспоминать ее нежную силу, так неожиданно обнаруженную. Приходило — конечно, тоже в черновом виде — соображение, что во всем вопросе что-то неладно, что здесь пахнет изменой Тани, что измена эта — дело нехорошее и некрасивое. Алеша быстро просматривал все эти мысли и в таком же походном порядке удивлялся своему веселому спокойствию. Он спрашивал себя, почему, — и не успевал ответить, а в то же время видел сияние таниной красоты и радовался ему. Наконец, он понял, что заварилась какая-то сложная каша, но и «каше» он

радовался с давно забытым мальчишеским оптимизмом, почему-то сейчас восстановленным в его жизни, несмотря на дрожащую голову и заикающуюся речь. Так же спокойно Алеша признал, что Таня без всяких сомнений красивее и блистательнее Нины, во-вторых, что она роднее и ближе, и, в-третьих, что все это почему-то не важно.

По сравнению с прошлым годом, у Тани выравнялись и пополнели плечи, стройнее и заметнее сделалась грудь, в ее движениях, в повороте головы, в том, как свободно она положила ногу на ногу, ничего уже не оставалось от гимназистки. И лицо у Тани сейчас ярче, и улыбка самостоятельнее. Взгляд у Тани внимательный и простой, умный и дружески-искренний. В ее лице как будто меньше стало игры и больше хорошей, открытой честности.

Таня спрашивала:

— Алеша, когда ты поправишься?

— Алеша, с твоей раной не стало хуже?

В этих словах было настоящее любовное беспокойство. Но больше всего оживилась Таня, когда вспомнила о своих курсах. Она быстро поправила завиток волос над ухом и заговорила, блестя глазами:

— Там теперь такой беспорядок. Я полукурсовку сдавала-сдавала, да и не знаю, чем кончилось. Ботаник мне на честное слово поверил, а зоологию просто не успели принять, так засчитали...

— Ты поедешь на зиму? — спросил Алеша.

— А как же! — воскликнула Таня, — надо ехать. В этом году, наверное, все будет по-новому. Ах, как хорошо учиться, Алешенька! Я когда вхожу в аудиторию, до сих пор дрожу от радости. А ты поедешь в институт, Алеша?

— Честное слово, Таня, вот сейчас при тебе первый раз вспомнил об этом.

— А как же ты думаешь? А как же? Ведь тебя не пошлют на войну? Опять на войну?

— Да... я не знаю... Я просто не вспоминал об институте...

Таня вдруг хлопнула в ладоши:

— Ты представляешь себе: вот если вся власть советам! Как было бы замечательно учиться. Говорят, всем стипендии будут. Всем, понимаешь, всем! Ты знаешь, уроки эти все-таки надоели. Очень это тяжело: уроки!

— Ты Павлу много должна?

— Сто пятнадцать рублей. А он не хочет считать.

— Оказался меценат?

— Да, нет, он просто ничего не помнит.

— Вот какая ты странная, Таня,— вдруг сказал Николай.— Разве у Павла есть время считать твои деньги? У него есть дела поважнее...

— Зато он о Тане не забыл? Правда?

Таня покраснела, отвернулась к окну, но взяла себя в руки и прошептала:

— Я его очень люблю...

— Деньги — это чепуха,— улыбнулся Алеша.— О деньгах теперь не стоит и говорить. Мне сюда все какие-то глупые деньги приходят. Ты знаешь, это прямо здорово: война идет, революция, все на попу поставлено, а там люди сидят, считают, ведомости пишут, деньги присылают. Много еще чудаков на свете. Зачем тебе у Павла брать! Да у него и денег нету. Вот смотри, двести рублей. Ты их возьми, Таня, все равно это глупые деньги.

— Да что ты, Алеша...

— Возьми, не разговаривай. Они того не стоят, чтобы о них говорить. Да и будет так замечательно: и Павел тебе помог, и я.

Алеша смеялся в самую глубину ее глаз, а Таня даже и не смущалась:

— Ну, ладно,— улыбнулась она.— Как это... интересно, когда есть дружба.

— И любовь.

— И любовь,— подтвердила Таня.

Николай сидел на кровати, внимательно слушал их разговор и думал о чем-то своем. Он пополнел и порозовел, но душа у него брела по свету в каком-то тихом одиночестве.

Они ушли. Алеша долго еще улыбался в потолок. «И любовь»,— сказала Таня. Только любит она Павла и даже не скрывает этого. А тогда.. в вагоне... Неужели у него был такой жалкий вид? Алеша задумался над тем, как легко в мире отравить человека: тот любви принял излишнюю дозу, тот жалости, того отравили газы, а другого... погоны.

Степан пришел вечером. Капитан лежал на кровати, курил и молчал. Степан закричал с порога:

— Есть тут живой человек?

— Живых нет,— ответил капитан,— есть выздоравливающие.

В сумерках Степан разобрал приветливую улыбку Алеши и загалдел еще громче:

— Если выздоравливающие — значит, живые. Мертвый никогда не поправится.

— А ты чего орешь? Ты кто такой? — спросил капитан хмуро.

— Когда-то был такой-сякой, а потом производство вышло: растакой-рассякой. По миновении же времени, как рассмотрели меня поближе, дали чин повыше: герой не герой, а денщик боевой.

Степан проговорил эту тираду одним духом и замер против капитана в дурашливой позе, склонившись вперед и свесив мешковатые болтающиеся руки. Капитан молча смотрел на его занятно глупую рожу. Алеша громко рассмеялся и хлопнул рукой по сиденью стула:

— Степан дорогой! Садись... рассказывай...

Степан забыл о капитане и уселся на стул, расставив на всю комнату выцветшие и заплатанные, светлохаковые «коленочки».

— Что же это... ты, Алеша, опять лежишь?

В алешиных глазах быстро проскочило удивление, но потом у него на душе вдруг стало просто и радостно. От удовольствия он даже потянулся в постели, обратился к Степану улыбающимся румяным лицом:

— Вот спасибо! Ты меня так всегда называй.

Капитан оглянулся через плечо, посмотрел на алешин затылок, энергично ткнул палочкой в гильзу, разорвал ее, бросил и поднялся с постели:

— Мне, может быть, уйти, господин поручик?

— Сиди,— сказал Степан и махнул весело рукой.— Куда там тебе уходить?

Капитан тупо присмотрелся к Степану и с быстрой, еспыхивающей улыбкой спросил:

— Значит, ты денщик?

— Денщик. А ты кто?

— А я капитан артиллерии.

— Один чорт,— сказал Степан.— Ты — капитан артиллерии, а я — Степан пехоты. А честь одна: и ты провоевался, и я провоевался.

— Ишь ты! — отозвался капитан и машинально пошевелил палочкой в руках. Потом так же машинально он опустился на свою кровать, не отрываясь взглядом от Степана, и вдруг серьезно заговорил:

— Ну, хорошо, провоевались, это верно. А что ты дальше будешь делать, товарищ Степан пехоты?

— У меня делов много,— важно ответил Степан и фертом поставил руку на колено.

Капитан покорно подчинился этому важному действию и даже подскочил на кровати, придвигаясь ближе к Степану.

— Много? Какие же такие дела?

— Первое дело: Керенского выгнать.

— Это ты будешь?

— Что?

— Керенского выгонять?

— В общем — я.

— А дальше?

— А дальше: вся власть советам!

— Вот как? Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов? Так, что ли?

— Угадал! С одного раза угадал!

Степан пришел в восторг и захохотал громко. Засмеялся и капитан. Давно уже улыбаясь, следил за разговором Алеша.

— Значит, моих депутатов там нет? — спросил капитан.

Степан как будто впервые обратил внимания на это занимательное обстоятельство. Он сочувственно посмотрел на капитана и даже головой покачал:

— Смотри ты! А выходит: твоих, действительно, нет. Как же ты теперь будешь?

Капитан не то иронически, не то печально поник головой и пробурчал негромко:

— Вот и вопрос: как я буду?

Он поднял припухшие, воспаленные глаза и сказал:

— Может, ты скажешь, как я буду?

Алеша перестал улыбаться, в его глазах появилось

выражение прищуренного детского сочувствия. Степан отнесся к вопросу серьезно, внимательно, как доктор. Он отбросил в сторону тон напыщенной шутки и спросил просто:

— Ты того... богатый?

В глазах капитана блеснула надежда. Он с удовлетворенной готовностью ответил:

— Я... вот... весь здесь.

— Это легче. Это, как же... значит, совсем ничего нет?

— Ничего.

— А... того... делать что-нибудь умеешь?

— Работать?

— Ну, делать, работать, тебе не все равно?

— Не умею,— ответил капитан грустно.

Степан возмущился:

— Как это так говоришь: не умею. Грамотный ведь?

Капитан передернул плечами. Степан продолжал:

— Грамотный, писать умеешь. Папиросы вот набивать умеешь, сапоги чистить, подмести, скажем, посуду помыть, сторожить, в лавочку сбегать...

Степан загибал пальцы и серьезно перечислял все работы, к которым привык в последнюю свою денщицкую эпоху. Капитан слушал, слушал и рассмеялся.

— Чего ты? — спросил строго Степан. — Чего ты смеешься? Надо надежду иметь и добиваться. Всегда успех будет.

— Да ну тебя к чорту! — сказал капитан. — Я — военный, понимаешь? Моя специальность — артиллерист. А ты мне — сапоги чистить!

— Постой, постой! — Степан протянул руку. — Артиллерист — значит, тебе стрелять нужно. Без стрельбы, выходит, ты не можешь прожить. А в кого ты будешь стрелять? Мишень у тебя какая?

— Отстань,— сказал капитан и отвернулся к своим папиросам.

— Ну, как хочешь. А только ты не воображай, дорогой, как будто ты — капитан артиллерии. Ты и есть просто бесштаный человек — и все. Вот, как и я. И погоны эти срежь, легче станет.

— Все-таки отстань! Я — офицер. Меня могут убить, скажут: офицерская сволочь. Пускай. У меня тоже есть гордость.

— И у козла гордость была: ему в бок ножом, а он тебе одно — умру, а останусь козлом. А вышла не та натура: остался не козел, а козлиная шкура.

— Что это такое... мелешь? Выучил где, что ли?

— Выучить не выучил, а прожил сорок лет — выучил. Гордость у тебя, скажи пожалуйста. Никакой гордости у тебя нету.

— Как нету?

— Нету. Вся Россия переменяется. Понимаешь: вся власть советам! Вся власть! Понимаешь?

Капитан отвернулся вполоборота, задумался, потом спросил, как будто только сейчас родилась в его мозгу какая-то блестящая идея:

— Вся власть? Но... постой. Ведь им... артиллеристы нужны будут?

— Кому это?

— Да советам же этим? — ответил капитан с досадой.

Алеша громко расхохотался. Капитан удивленно обернулся к нему и вытаращил глаза. Алеша протянул к нему руки:

— Дорогой капитан! Очень нужно! Страшно нужно! Без артиллеристов — как без рук.

Степан вытирал лоб, растянул рот и отдувался:

— Насилу разъяснили человеку!

30

Надежда Леонидовна ласково смотрела на Алешу и удивлялась:

— Как вы хорошо поправились, товарищ Теплов! Прямо удивительно. И, видно, у вас на душе хорошо.

— Хорошо на душе, Надежда Леонидовна. Прекрасно на душе!

Алеша положил руку на грудь и вздохнул глубоко:

— Видите, дышать как легко стало. Все замечательно, Надежда Леонидовна. Мне только одного Богатырчука нехватает. Где он у чорта запропастился?

— Кто это... Богатырчук?

— Это такой... человек, Богатырчук.

Алеша произнес это имя с особым выражением, как будто уже в его звуках заключался весь смысл этого человека. Надежда Леонидовна следила за шагающим по

комнате Алешей, присматривалась к его возбужденно-подвижной мимике. Алеша сильно хромал, опираясь на новую желтую палку, но даже это обстоятельство приводило его в восторг, на поворотах он сильно размахивал больной ногой и выделял всякие выкрутасы палкой.

— Вы все-таки поосторожнее с ногой,— сказала Надежда Леонидовна,— у вас там очень сложные дела были.

— Надежда Леонидовна, неужели я так и останусь Топал-пашой. Досадно будет. Здорово меня, знаете, дергает в правую сторону. На костылях было ровнее, а теперь качает.

Алеша с сожалением посмотрел на костыли, стоящие в углу.

— Нельзя на костылях, ноге нужно дать работу. Я вам так скажу: разное бывает. У вас организм молодой, расходитесь. Сначала сильно будете хромать, потом меньше.

— А потом и совсем не буду?

— Может быть. Чуть-чуть все-таки будете прихрамывать. Но это ничего, даже оригинально.

Капитан грустно копошился на своей кровати, что-то перекаладывал в стареньком офицерском чемодане, расположил на кровати белье, какие-то свертки, коробки. Задумался над молчаливо холодным наганом и швырнул его в чемодан. Потом расстелил на коленях темнокоричневый новый френч, положил на него локти, задумался и над ним, кашлянул. Достал из кармана перочинный ножик, хмуро присмотрелся к нему, дунул на него и осторожно открыл лезвие. Наклопившись низко над френчем, устремив глаза в одну точку, еле заметно подрагивая солдатской стриженной головой, он мелкими аккуратными движениями начал спарывать погон.

Алеша весело подморгнул на капитана, Надежда Леонидовна улыбнулась, но капитан ничего не заметил. Он так тихо, так неподвижно проделывал свою работу, что казалось, будто он просто замер в созерцании своего нового темнокоричневого френча.

Степан вторгся в комнату с сапожным грохотом и заорал:

— Извозчик в полной готовности!

Алеша поклонился:

— Спасибо, родненькая Надежда Леонидовна!

Степан гремел по комнате, заглядывал в шкафы, под

кровати, изредка посматривал на замершую фигуру капитана:

— Костыли возьмем, Алексей?

— А для чего?

— А мало ли что бывает в жизни? Не тебе, так кому другому ногу поломают!

С легким, приятным стуком костыли поместились у него подмышкой.

— Во! Теперь шашка! Шашка, она всегда пригодится! Как же это можно: холодное оружие, да еще и геройское! Наган в кармане? Значит, все. Ну, капитан артиллерии! О! Да ты погончики срезываешь? До чего ты сознательный человек, милый мой!

Капитан поднял голову, наморщил лоб, глянул на Степана, невнимательным движением отодвинул в сторону френч. Погоны мягко сползли на пол, за ними весело прыгнул ножик. Капитан ничего этого не заметил, сидел на кровати и смотрел в одну точку. Алеша подошел к нему. Степан, увешанный костылями и шашкой, тоже нацелился на капитана:

— Что такое?

Капитан поежился, заложил руки между колен и еще больше наморщил лоб:

— Знаете что? Я поеду с вами?

— Куда ты поедешь? — спросил Степан, наклонившись к нему.

— С вами поеду. К вашим родителям. А?

Капитан покраснел, крепче сжал руки коленями, с растерянной и трусливой надеждой смотрел на Алешу. Алеша смутился, хотел что-то сказать, но Степан предупредил его. Описывая костылями круг по всей комнате, он зашел спереди:

— Куда ты поедешь? Там живет трудящийся народ, и притом бедный. А ты смотри какой — с гордостью, тебя кормить нужно или не нужно? Семен Максимович скажет: чего это у меня, казарма, что ли. Не только тебя, а и меня выгонит.

Капитан воззрился на Степана, шевельнул усом, прохрипел:

— Все равно возьмите. Что ж... я еще пригожусь. А тут... как же... Мне много не нужно. Какой-нибудь угол.

Кровать у меня вот, офицерская, походная. А подушка вообще лишнее. Шинелью укурюсь.

— Деньги у тебя есть, что ли? Чем тебя кормить?

— Да брось,— сказал Алеша.— Едем, капитан, едем! Собирайтесь!

Капитан быстро вскочил, схватил френч и бросил в чемодан. После этого полез под кровать, достал ножик и опустил в карман. Хмуро кивнул Степану:

— Иди сюда.

Он повел Степана в угол. Степан уткнулся костылями в стену, расставил ноги. Алеша улыбнулся Надежде Леонидовне. Капитан наклонил голову в угол и забурчал тихо:

— Ты чего это болтаешь, как остолоп? Деньги, деньги! Что же ты думаешь, я на хлеба пойду к Теплому?

— Да ты гордый! Куда тебе там... на хлеба!

— У меня вот смотри, сколько денег. Жалование и за ранение. Здесь никуда не тратил.

Степан с деловым видом посмотрел на деньги, кивнул костылями:

— Все в порядке. А насчет прочего не сомневайся. Народ трудящийся, душевный. И работу в случае чего найдем по письменной части. Я вот уже поступил в рабочую милицию. На заводе тоже. Понимаешь?

Капитан понял, кивнул носом над бумажником.

— Все в порядке, как полагается по уставу гарнизонной службы! — закричал Степан.— Едем!

Он направился к дверям, пока остальные прощались с Надеждой Леонидовной; у дверей втянул живот и, подражая лихому командиру, перекосил рот и заорал:

— Парад, смирно! Гаспада афицеры!!

Алеша весело размахнулся палкой и захромал к выходу. По дороге он ткнул в живот Степана, и Степан так же весело ойкнул. Капитан взял свой чемодан и прошел мимо Степана с таким выражением, с каким, бывает, ребенок покорно следует за старшими, не зная, куда его ведут, но до конца доверяя их испытанной мудрости.

Василиса Петровна с удивлением смотрела на носатого капитана. Капитан поставил чемодан на пол и подошел к Василисе Петровне. По непобедимой армейской привычке

он шелкнул порыжевшими задниками сапог и подставил руку. Василиса Петровна торопливо вытерла свою руку о фартук, протянула ее капитану и сжала губы. Капитан переступил, еще раз шелкнул каблуками и приложился к сморщенной, худенькой ручке Василисы Петровны. Она нахмурилась, зашевелила пальцами, пытаясь освободить руку. Степан захохотал:

— Видишь, мамаша, какое обращение! Эх, темнота, ну, ничего, век живи, век учись!

Он через всю кухню протасил массивный неповоротливый сапог, подставил широкую длань. Василиса Петровна махнула на него рукой:

— Довольно тебе чудить! Кого это привезли? Как вас зовут?

— Во! — закричал Степан. — Какие мы с тобой, Алешка, олухи! Небось, и не спросили, как звать. А мамаша первым делом. Заладили: капитан, капитан, — как будто у него человеческого имени нету.

Алеша оттолкнул Степана:

— Мама, это... — он пропел: — «Онегин, мммой сосед».

В кухню на шум вышел Семен Максимович:

— Ты чего дурачишься, Алексей? Если пришел с человеком, нечего дурачиться!

— Отец, это капитан артиллерии Бойко, Михаил Антонович, а это его чемодан, а к чемодану, невооруженным глазом видно, — привязана кровать.

Перед Семеном Максимовичем капитан тоже шелкнул каблуками, пожал ему руку, но на лице все время сохранял выражение строгой озабоченности. Вероятно, его смутил несколько удивленный взгляд Семена Максимовича, который тот невольно бросил на чемодан. Веселое настроение Алеши и Степана его радовало, но все же как-то так вышло, что сообщить хозяевам о цели своего прибытия должен был все-таки он сам. Семен Максимович пропустил капитана в дверь чистой комнаты. Капитан бросился было к своему чемодану, но остановился, махнул рукой и быстро проследовал за хозяином. Он уселся на кончик стула, но, заметив, что Семен Максимович стоит, поднялся:

— Товарищ Теплов, я понимаю, что вы удивлены, и вообще не совсем удобно с моей стороны, пользуясь случайными, так сказать, обстоятельствами...

Семен Максимович провел под усами пальцем и перебил капитана:

— Да вы короче. Чего там «вообще»? Вы совсем сюда? С чемоданом? Деваться некуда?

Капитан огорчился, повернулся немного вбок, его усы зашевелились растерянно. Так в сторону он и сказал глухо:

— Видите, как-то так вышло... Был офицер, дослужился только до капитана. И ранен был, и... долг свой выполнял честно, а вышло, действительно, деваться некуда. А тут ваш сын собрался домой, а я, прямо вам скажу, завидно стало, напросился. Если не стесню, разрешите, поживу пока...

— Воевать кончили? — спросил Семен Максимович, разглядывая капитана в упор.

— Кончили, товарищ Теплов. Я и погоны срезал сегодня.

— Ага!

— Срезал, товарищ Теплов.

— Так... вас, что же, отпустили или как?

— Я был сильно контужен, имею годичный отпуск. Но все равно, какая там война? Да и с вашими поговорил... вот... хочется... к народу ближе. Вы не думайте, я люблю солдат, любил, хорошие были отношения.

— Ну, что ж? — сказал Семен Максимович. — Поживите у нас пока, а там видно будет. Кровать можно и здесь поставить. Алеша на диване спит.

Через час капитан сидел уже на своей кровати, навел порядок в чемодане и даже что-то мурлыкал под нос, поглядывая в окно. Из чистой комнаты узенькая дверь вела в каморку, где летом спали старики. Из-за этой двери теперь раздавался гулкий голос Степана. Что-то ему возражала Василиса Петровна, но, видимо, безнадежно, потому что Степан распахнул дверь и продолжал уже в комнате:

— Вы, мамаша, — вроде, как командир роты. Должна быть дисциплина и законное расположение по диспозиции. Алексей! — закричал он в дверь, — Алексей! Подь сюда, голубок, — военный совет.

Алексей выглянул из кухни.

— А где Семен Максимович? — спросил Степан.

— На дворе с чем-то возится.

— Вот и хорошо. Без высшего начальства как-то удобнее. Вы, Василиса Петровна, не возражайте. Здесь все люди военные, вам не стоит выходить на линию огня, как вы слабая женщина.

Василиса Петровна стояла у дверей в каморку, потирала руки и улыбалась:

— Алеша, ты скажи ему что-нибудь, такую власть забрал, уже меня из кухни выгоняет. Ты послушай, что он говорит!

— Говорю дело, Василиса Петровна, дело. Вот пускай и господ офицеры разберут. А что касается кухни, будьте покойны, без аннексий и контрибуций. Территория кухни за вами, только раньше вы были вроде как за кухарку, при царской власти, а теперь за командира будете.

— Интересно,— сказал Алеша.— Ты умница, Степан.

— А как же, Алексей Семенович, даром, что ли, кровь проливали?

— Дальше!

— Дальше так. На базар ходить, картошку чистить, дрова рубить, носить, уборка, мойка, ремонт, растопка, трубу открыть, закрыть, подать, принять, вывернуть, перевернуть, зажарить, недожарить, пережарить, посолить, воды налить, туда, сюда, где горе, где беда, а где беды нету, там нету и ответу, на копейку соли, на копейку дрожжей, вот тебе сколько затей. Кто? Спрашивается, товарищи, кто? Отвечайте, как батальонному командиру!

Капитан слушал, все больше и больше увлекаясь, а когда Степан спросил: «кто?» — он быстро глянул на Алешу и ответил вместе с ним солидно и громко, глядя на Степана и даже мотая головой, только не подражая Алеше в выражении веселой дурашливости:

— Мы, ваш сок броды!

— Правильно отвечаете! — похвалил Степан.— А теперь нужно разъяснить, как будет по уставу.

Капитан поднял глаза, и Алеша впервые увидел в них заинтересованность жизнью. Капитан сказал:

— Видишь ли, товарищ Степан. Поручика нельзя поставить на кухню, потому что он еще больной и с палкой ходит.

Алеша жалобно обратился к матери:

— Ты замечаешь, как меня капитан Бойко обижает?

Тогда капитан широко открыл рот и захохотал. К об-

шему удивлению, у него во рту оказалось так много зубов, и они с таким свежим блеском глянули сквозь бахрому усов, что даже Степан удивился и сказал:

— Ох ты, капитан артиллерии, да ты еще герой!

32

Кухней Василисы Петровны завладел капитан. Степан с утра вместе с Семеном Максимовичем уходил на завод, а когда они возвращались, капитан ошеломлял их таким сияющим порядком, что Степан долго и молча вытирал сапоги, а потом оглядывался на Семена Максимовича и говорил:

— Обратали, понимаешь, рабочий класс,— ни статья, ни сесть. А главное, хозяйка на его стороне.

В первый же день своей помощи капитан поразил Василису Петровну. Он ни разу не улыбнулся за этот день. Его нос и усы имели самый недовольный и угрюмый вид. Немного склонившись вперед, он шаркал по полу истоптанными сапогами и поблескивал отлакированной диагональю галифе, но в его руках непривычными для Василисы Петровны мужскими приемами быстро делалось всякое дело, и все становилось на место. Посмотрев на самовар, он пробурчал:

— Почистим.

Василиса Петровна ничего не ответила, потому что самовар действительно имел вид неказистый, а чистить его ей все было некогда. Капитан чистил самовар самым диким образом: он не сел на полу и не поставил самовар между колен, как это полагалось испокон веков, а на кухонном столе разостлал газету и на ней провел всю операцию.

Разговорились они с Василисой Петровной только на другой день, когда, закрыв печь заслонкой, хозяйка вымыла руки и уселась на табуретке отдохнуть, а капитан осторожными, размеренными движениями начал подметать пол.

— У вас что... никого нет? Родных нет?

Капитан ответил охотно, но хмуро, не отрываясь от работы:

— Никого, Василиса Петровна.

— И не было?

— Да раньше водились дяди всякие, племянники, а потом, чорт его знает: они мне не нужны, и я им не нужен, растерялись.

— И жены не было?

— Не было.

— Как же это так? Почему?

— Да вышло так... Полюбил было... девушку, да... на имеритурю не собрался.

— Это что ж такое?

— Деньги нужно было... вот женюсь, а вот у меня деньги...

— Закон такой?

— Закон.

— Дурацкий какой закон.

— Кто его знает...

— Да что ж тут знать... Кому какое дело...

— Офицер не должен нуждаться... Богатым нужно быть...

— Да если не с чего?

— А не с чего, не лезь в офицеры.

— А-а!

— Да. Раз офицер, должен себя поддерживать, честь должен сохранять.

— Честь? Что же это за такая глупая честь?

Капитан ничего не ответил.

Ему что-то понравилось в семье Тепловых, но он ничем не старался выражать свою симпатию. Почти целый день он проводил в кухне у Василисы Петровны, ходил с нею на базар, стоял в очереди за хлебом, все делал молчаливо, аккуратно, в сосредоточенных движениях, и только когда все было сделано, они усаживались на табуретках один против другого, и Василиса Петровна с осуждающими поджатыми губами выслушивала рассказы капитана о его дурацкой жизни.

Только после обеда, когда были дома все, в хате становилось шумно, но и в этом шуме капитан принимал самое молчаливое участие, сидел на своей кровати и что-нибудь делал: набивал папиросы, пришивал пуговицу, поправлял заплату или перекладывал вещи в чемодане.

Как и всегда, Степан выдворил из кухни Василису Петровну и принялся за мойку посуды. Но сегодня он то и дело появлялся в дверях чистой комнаты, ибо сегодня

он не мог пропустить без ответа ни одного слова. Протирая вымытую тарелку, он заявил, расставив ноги в дверях:

— Корнилов, как же! Боевой генерал! Победоносный! Кого он только победил, никак не разберу. Если бы сказать немцев,— так и не немцев. Нашего брата победить хочет, да куда ему! В Питере ему всыпят в эти самые места.

Семен Максимович разложил на высоких угловатых коленях газетный лист и сердито шевелил бледными губами:

— Всыпят? Кто всыпет? Ты вон тарелку в руках мусолишь, поразлазились все, кто куда. А он, смотри, войной пошел. На кого пошел?

— На Керенского,— сказал Алеша, стоя посреди комнаты.

— А потом? — Семен Максимович строго посмотрел на Алешу.

Алеша оглянулся на капитана. Капитан внимательно продевал нитку в иголку и даже не прищурился на узкую игольную дырочку. Алеша шагнул палкой в сторону и шумно вздохнул:

— Он вот пишет: за Россию!

— А за кого же ему и итти. И Керенский за Россию! — громко сказал Степан.— У этого Керенского даже слюней нехватает,— так за Россию старается. Россия ему нужна!

— А тебе не нужна? — спросил Алеша сурово-придирчиво.

Степан даже присел в дверях от веселого настроения:

— И мне нужна, а как же! Прибавь, пожалуйста, и меня туда. Будет, значит: Керенский, Корнилов и Степан Колдунов. Надо и мне на кого-то войной итти. А я, дурак, тут с тарелкой сижу.

Семен Максимович недовольно дернул газетой и напал на Степана:

— Зубоскалишь! Зубоскалишь, подлец! До чего глупый народ... Он нас голыми руками возьмет и на шею сядет. Понимаешь ты или не понимаешь, балда саратовская?

Развел Степан тарелкой и полотенцем и душевно обратился к Семену Максимовичу:

— Отец! Голыми руками нас не возьмешь. Он — дурак, Корнилов этот, хоть и генерал. Россия,— вот она, руку протяни, а взять не возьмешь. Это его счастье будет, если

он до Питера не дойдет. А если дойдет, там ему и окох. Я в Питере бывал,— знаю, какой там народ. Царь не взял, а то какой-то Корнилов.

— Вы вот разбрелись, а у него дикая дивизия какая-то...

— Да я эту дивизию видел. Видел ты их, Алексей? Как же, в нашем корпусе были.

— В нашем,— подтвердил Алеша.

— Ну, вот, в нашем же корпусе. Точь-точь в нашем. Мы тут стояли, а они тут. Рядышком и стояли. В нашем корпусе!

Семен Максимович сердито поднялся со стула:

— Да брось ты: в нашем, в нашем! Ну, и что?

— Да ничего. Обыкновенные люди. Надо полагать, с мозолями. И на плечах головы... если так выразиться... Обыкновенные головы.

— Ну?

— Как и у всех людей. Им нет расчета за Корнилова головы эти класть. Нет, Семен Максимович, с дикой дивизией Россию не остановишь. Это ж все ж таки трудящийся народ, как говорится, вся Россия, а то тебе дикая дивизия.

— А вы как думаете, товарищ капитан?

Капитан протащил нитку сквозь дырочку пуговицы, поставил локти на колени, хмуро посмотрел в угол и сказал серьезно:

— Дикая дивизия — ерунда, смешно. Артиллерия нужна. Тяжелая при этом. И... порядочно. Принимая во внимание, все-таки... Петроград, народу много, обороняться будут — раз, балтийский флот — два.

Капитан смотрел холодным взглядом в угол и загибал пальцы. Степан опустил тарелку и даже рот открыл от внимания. Семен Максимович захватил бороду и усы и потянул все книзу. Алеша стукнул палкой и сказал напряженно:

— Ну! Дальше!

— Да чего ж дальше, вот и все,— ответил капитан и посмотрел на загнутые два пальца.

— Так и у него, наверно, есть артиллерия,— произнес Семен Максимович.

— Наверно, есть,— подтвердил Алеша.

Капитан мотнул головой, бросил несколько удивленный взгляд на Алешу:

— Чудак вы, а еще поручик. Артиллерия — это значит: пушка. Стрелять нужно. А кто же будет стрелять? Дикая дивизия, что ли? Какие они там артиллеристы!

— А другие?

— Кто это? Артиллеристы?

— Ну да.

— Стрелять?

Капитан задержал свою нитку и заговорил быстро и глухо:

— Семен Максимович, вы, конечно, можете думать, что угодно. И я к вам самым нахальным образом... Но только я могу сказать, хоть... скажем, и бывший офицер... а могу сказать: артиллеристы — по Петрограду? Крыть из гаубиц или, допустим, мортир? Даже и трехдюймовые? Все-таки... у них... у нас... совесть осталась какая-нибудь. Хоть немного, а осталось?

Он поднял глаза на Семена Максимовича, и в глазах его, покрасневших от обиды, был прямой строгий вопрос. С опущенной газетой, на высоких, прямых ногах стоял токарь Теплов против капитана артиллерии Бойко и хитровато двигал серьезным, седым усом. Степан загалдел в дверях:

— Совесть — она вроде денег. У кого была, у того и осталась. А у кого не было, у того и оставаться нечему. С голого, как с святого.

Семен Максимович косо глянул на Степана:

— Нет... Это капитан правильно сказал. Военное дело... все-таки специальность... Артиллерия, правильно... не будут стрелять... Ну... а из винтовок?

— Из винтовки, Семен Максимович, всякая сволочь стрелять может, а из пушки чорта с два.

Алеша отвернулся к окну, посмотрел на отца через плечо, ничего не сказал, а когда отец и Степан вышли, он произнес негромко:

— И из пушек... некоторые могут стрелять.

— Кто?

— Офицеры.

— Артиллеристы?

— Да.

— Никогда! — ответил капитан решительно. — Никогда! По народу?

— А девятьсот пятый?

— Так кто? Кто? Помните? Гвардия! Видите?

33

Степан стоял у колодца, держал в руках ведро, полное воды, и говорил Семену Максимовичу:

— А я тебе что говорил? Он такой боевой генерал, только в плену сидеть. У немцев сидел, а теперь у своих сидит. Называется боевой генерал.

Алеша возразил:

— Ну, ты, Степан, неправильно говоришь. От немцев он геройски удрал.

— А от наших не удерет... герой такой.

Семен Максимович на земле сбивал деревянный ящик для угля и энергично кричал, размахиваясь тяжелым молотком.

— От таких, как теперь наши, тоже удрать может.

— А чем наши плохие? — спросил Степан.

— Разболтались очень, разговорились. Корнилов этот не такой, как ты думаешь. Да и другие есть, наверное.

— А мы, по-твоему, какие, Семен Максимович?

— А что же? Тут за жабры брать нужно, а мы болтаем.

Стукнула калитка. Алеша быстро пошел навстречу Павлу Варавве:

— Павлушка!

Павло сверкнул белками, белыми зубами. Его смуглое лицо сейчас горело здоровьем, оживлением и силой. Он пожал руку Алеше и обратился к Семену Максимовичу с серьезной, дружеской почтительностью:

— Товарищ Теплов, я за вами.

— Что у вас там загорелось?

— Да вот я вам расскажу.

Он взял старика под руку и потащил в садик. Семен Максимович шел за ним, деловито и озабоченно поглаживая бороду. Степан поднял ведро и потащил в хату. По дороге моргнул на садик:

— Секреты завелсь у рабочего класса.

Он поставил ведро в сенях и выскочил снова во двор:

— Алеша, Алеша, а знаешь, чего они толкуют все, большевики-то наши?

— А ты знаешь?

— А как же? Я все знаю. Оружие готовят.

— Ну?

— Честное тебе слово. Красная Гвардия будет. Война!

Проходя к калитке, Павел сказал Алеше:

— Алексей, слышал? Подполковник Троицкий здесь.

— Да он уехал давно.

— Опять приехал. У Корнилова был. И не скрывает, хвастает.

Степан растянул рот:

— Хвастал один, по базару, дескать, ходил, догнать не догнали, а бока ободрали.

По своему обыкновению, Павел высоко вскинул руки и захохотал на весь двор, а потом сказал Алеше:

— Гсворят, он недаром сюда приехал. Мобилизация офицеров.

— Да брось,— отмахнулся Алеша.

— Увидишь. Он тебя найдет наверняка.

Степан открыл рот и глаза:

— Во! Это ж в каком будет смысле? Мобилизация!

34

Предсказание Павла подтвердилось скоро. Через несколько дней в кухню вошла чернобровая быстроглазая девушка и, держа в руках белый конверт, спросила:

— Не туда, что ли, попала?

— А тебе куда нужно? — спросил капитан.

— Тут нужно... Теплова. Поручник... порутчик они. Из офицерай.

Капитан поднял одну бровь:

— Из офицерай? А для чего тебе?

— А подполковник Троицкий, батюшки нашего сынок, прислали. Только сказали, в личные ихние руки.

— А ты при чем?

— Хи... А как же... я там, у батюшки роблю.

— Прислуга.

— Не прислуга, а горничная вовсе.

— Ну, давай.

— А это вы и будете... поручник... пору... тчик Теплов?

— Это я и буду.

— Не, это не может такое быть... пору... тчик молодые должны быть...

— Алексей Семенович,— крикнул капитан в другую комнату,— идите-ка сюда.

Алеша вышел. Чернобровая обрадовалась:

— Это они и будут молодые... Поручник...

Алеша вскрыл конверт:

— Ха! Павло правду говорил. Почитайте, капитан.

— Вот видите,— пропела девушка,— а вы капитан во все. А не тот...

— А ты шустрая! — сказал Алеша.

— А отчевой-то вы так бедно живете? И капитан, и поручник, а бедно живете? Я сколько уже отнесла бумажек этих, так богато живут, а вы бедно отчевой-то...

— Как тебя зовут? Маруся? — спросил Алеша.

— Ой, боже ж мой, господи, Маруся! А откуда вы познали?

— Так по глазам же видно.

Маруся дернулась к дверям, но оглянулась на Алешу сердито:

— У! По глазам! Ничего по глазам не видно!

Капитан серьезно вытянул губы:

— Ну, что ты, милая, как тебе не стыдно! Такая большая и такого пустяка не знаешь! Всегда видно.

— А почему по ваших глазах не видно, как вас звать?

— Так он же не Маруся.

— Ой! Какие вы! А... а угадали, смотри!

Очарованная этим обстоятельством, Маруся блаженно загляделась на Алешу. Он поставил ей стул:

— Марусыно, сердце! Садись, красавица.

— А для чего?

Но села, не спуская с Алеши пораженных событиями очей.

— Так богато, говоришь, живут?

— Это... кому письма носила? Ой, и богато! Как те, как буржуи!

— А к кому ты носила?

— И вчера носила и сегодня. Значит, так: поручник... тот... Бобровский, потом капитан Воронцов, потом еще капитан, только не настоящий капитан, а еще как-то...

— Штабс-капитан?

— Ага, штабс-капитан Волошенко, потом тоже поручик Остробородько.

— Остробородько? Да разве он приехал?

— Четыре дня! Я к ним теперь отнесла. Раньше там сам барин ходили, там барышня такая славенькая. Она была невеста нашему барину, а теперь не захотела. Так наш туда больше не ходит, а письмо послали...

— А еще кому?

— И еще было... этот самый, купца сынок, тот называется под... под... пору... тчик. Штепа. Так и называется Штепа. А чего вы так бедно живете?

— Все деньги, Маруся, пропили.

— Ой, как же можно... так пить. Только все это неправду говорите. До свидания.

Маруся метнула взглядом, косою и подолом и выскочила. Капитан смотрел на письмо и ухмылялся:

— Важно подписано: подполковник Троицкий. Вы его знаете?

— Знаю.

— Он что, кадровый?

— Нет, из запаса. Не знаю, как там было раньше, на войну он пошел штабс-капитаном.

— Попович?

— Попович.

— А вы заметили, в письме есть что-то такое... священное.

— В самом деле?

Господину поручику Теплову

Тяжелое состояние, в котором находится наша родина, возлагает на нас, офицеров, святую обязанность все наши помышления и силы отдать на дело скорейшего возрождения и восстановления славного русского воинства и воинской чести у истинно преданных родине сынов ее. А посему, как старший в нашем городе офицер, прошу вас, господин поручик, пожаловать ко мне в шесть часов вечера, 29 сего сентября для предначертаний общих наших действий.

Подполковник Т р о и ц к и й.

— Да, русское славное воинство. Пойдем, капитан?

— А зачем нам, собственно говоря, этот подполковник или подпротоиерей?

— Надо пойти. Посмотрим, чем там пахнет.

Двадцать девятого числа Алеша с капитаном отправились к Троицкому. Степан, чрезвычайно заинтересованный этим путешествием, пока они дошли до ворот, успел пропеть: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Он пел отчаянно громко, и уже на улице они слышали оглушительное «аллилуйя».

Дом священника, каменный, не старей, очень импозантно выделялся среди обыкновенных рабочих хат. Двери открыла чернобровая Маруся и немедленно выразила свое особое удовольствие, прикрыв губы тыльной стороной руки. Над рукой коварно блестели ее глаза и улыбались Алеше.

— Здравствуй, Маруся.

— Ой, а вы не забыли, что я Маруся!

— Да хотя бы и забыл, так... глаза ж...

— Оййй! Такое все говорят и говорят!

— Много господ собралось?

— Полная комната. И все офицеры и капитаны. А вы чего без аполетов! Все в аполетах!

— Пропили эполеты.

— Боже ж ты мой, все попропивали, и аполеты пропили!

Маруся унеслась по светлому, летнему коридору, где-то далеко хлопнули двери. В передней встретил стройный, подтянутый Троицкий. Из-под светлой довоенного сукна тужурки у него выглядывала элегантная золотая портупея, на груди краснел Владимир с мечами. Но лицо Троицкого за три года приобрело какие-то дополнительные складки, расположившиеся на щеках в таком же изящном порядке.

— Пожалуйте, господа. Поручик Теплов? Мы знакомы. С кем имею честь?

— Это капитан артиллерии Бойко,— показал Алеша на капитана.

Пожав руку капитану, Троицкий поднял свою на уровень плеч и сказал с особой, несколько театральной любовью:

— Были бы погоны, сразу увидел бы, что господин Бойко — капитан, и притом капитан артиллерии...

В это время в дверях появился Борис Остробородько. Он выглядел настоящим душкой-военным, холеные усы у него отросли и вполне соответствовали общему его золотому сиянию.

— Алексей! Здравствуй!

Он занялся поцелуями. И только окончив их, отступил в недоумении:

— Но, слушай, почему ты в таком виде? Что это за вид? И у тебя ведь золотое оружие!

Алеша хитро потянулся к его уху:

— А что? Разве есть интересные дамы?

— Дамы? Боже сохрани! Совершенно секретно! Даже батюшка с матушкой куда-то удалены.

— Пожалуйста, пожалуйста,— сказал любезно хозяин.

В большой гостиной, устланной ковром и заставленной зеленой мебелью и фикусами, было уже человек десять. За роялем сидел прапорщик и наигрывал вальс. Алеша смутился, когда заметил подозревающе-любопытные взгляды, направленные на его опустевшие плечи. Глянул на капитана, но капитан с своим обычным хмурым видом, неся усы далеко впереди себя, направился в самый безлюдный угол и, только усевшись на узком полудиванчике, кашлянул более или менее сердито. Алеша поместился рядом с ним.

За круглым столом, покрытым зеленой бархатной скатертью, сидели главные гости: подполковник Еременко, капитан Воронцов и штабс-капитан Волошенко. Из них только один подполковник нагулял в жизни дородные плечи, жирную шею и румяные щеки. Воронцов и Волошенко были худощавы, бледны и узкогруды. У Волошенко погоны далеко нависали над краями плеч,— видно, еще прошлой зимой были придавлены пальто. Этих Алеша хоть немного знал, встречая их то в госпитале, то у воинского начальника, остальные все были незнакомы, и у них вид был какой-то потрепанный. В сравнении с ними подполковник Троицкий производил впечатление блестящей, напряженной и уверенной силы.

Пружинным, вздрагивающим, коротким шагом, явно шеголяя новыми, лаковыми сапогами, он направился к своему месту за круглым столом. На его новые погоны, на орден, на блестящие пуговицы, на строгие усики и жесткие складки щек падал и потухающий свет дня, и свет

высокой лампы, горевшей на столе. Поэтому подполковник весь сиял то теплыми, золотыми, то лунными блестками и мог действительно вызывать к себе некоторое военное почтение.

Он стал за столом и оглядел комнату. Высокие белые двери вели, вероятно, в столовую. Они были прикрыты, но между их половинками стояла черная полоска и в ней поблескивали любопытные глаза Маруси.

Троицкий с некоторым трудом заложил большой палец за борт тужурки, на его руке сверкнул какой-то перстень. Алеша улыбнулся перстню и вспомнил мнение Нины о том, что Троицкий — человек не военный.

— Господа офицеры! — начал Троицкий очень тихо, с тем четким волевым напряжением, которое доносит самое тихое слово в самые далекие углы. — Господа офицеры! Я не буду произносить никаких речей, тем более, что ничто сейчас так не оскорбляет нашу жизнь, как речи. Мы с вами люди долга и люди военные. Все ясно и, прямо скажем, все трагично. Армии нет, правительства нет, России нет. Последняя попытка генерала Корнилова восстановить порядок потерпела неудачу. Сейчас нет ни одной части, на которую можно было бы положиться. В Петрограде в самые ближайшие дни должен наступить хаос. Из Петрограда спасения ждать нельзя. Там все отравлено большевиками. Спасение должно притти из глубины страны. Единственная здоровая сила, единственные люди, которые еще не потеряли чести, которые могут еще попытаться спасти родину, — это офицеры. Если офицеры организуются, с ними бороться будет некому. На нашу сторону перейдут и другие люди, для которых дорога Россия. Спасение России должно притти не из Петрограда, а из тех мест, которые наименее отравлены большевистской заразой. К таким местам относится и наш город. Совет в нашем городе до сих пор не играл большой роли, но, должен вам сказать, у нас здесь, на Костроме, влияние большевиков очень чувствуется, если не сказать больше. Я имею поручение приступить у нас к организации ударного полка добровольцев, главным ядром которого должны быть офицеры. Я пригласил тех, кого лично знаю. Надеюсь, что вместе с вами мы установим дальнейший список лиц, которые могли бы принести пользу начинающемуся великому делу. Прошу вас, господа, высказываться.

Троицкий все это проговорил в том же тоне сдержанной, взволнованной, но искренней силы, он ни разу не повысил голоса, а слова наиболее патетические: Россия, долг, честь, родина — произносил даже немного приглушенно, почти шопотом, от чего они звучали особенно убедительно. Капитан тихо спросил у Алеши:

— Он что, семинарист?

— Юрист.

— Ага!

Троицкий опустился на кресло, чуть-чуть расслабленно, вполне допустимо для мужчины, опустил тяжелые веки и... взял себя в руки: оглядел всех холодно и даже немного высокомерно.

— Кому угодно слово, господа? Вы разрешите мне председательствовать, хотя я и просил господина подполковника...

Еременко скорчил гримасу отвращения и поднял вверх ладони.

Неожиданно даже для Алеши раздался угрюмый и глухой голос капитана:

— Разрешите, господин полковник... несколько... э... внести, так сказать, ясность...— капитан кивнул вперед и вниз носом и усами.

— Прошу вас, господин... кажется, капитан. Вы сегодня в цивильном виде... Да, капитан Бойко.

Держась рукой за алешину палку, капитан сказал:

— Вот именно... ясность. Офицеры — это командиры. Непонятно немного, кем мы будем командовать? Солдаты... как же? Без солдат, что ли? А потом еще вопрос: я вот не политик, но все-таки мне интересно знать, как бы это выразиться... кого мы будем защищать?

— Россию,— крикнул резко подполковник Еременко.

Капитан задумался, склонившись над палкой:

— Угу... Россию. Так. А... э... так сказать, от кого?

— От России,— сказал Алеша громко.

Кто-то из молодых громко рассмеялся. Улыбнулся и штабс-капитан Волошенко за главным столом.

— Вы изволите острить, господин поручик. Я боюсь, что при помощи остроумия вам не удастся прикрыть недостаток чести!

Троицкий крикнул это вызывающим, скрипучим голосом, задрав голову и постукивая кулаком по мягкой ска-

терти стола. Головы всех повернулись к Алеше, но во взглядах было больше любопытства, чем негодования. Черная щель двери в столовую неслышно расширилась, черные глаза Маруси глянули оттуда испуганно.

Голова Алеши вдруг заходила, он ухватился за плечо капитана, вскочил и неожиданно для себя раскатился дробной россыпью звуков:

— Господидидин пол... полковник! Честьтьть...

Но его речь была прервана общим смехом. Налитыми кровью глазами, вздрагивая головой, побледнев, Алеша оглядел собрание и шагнул вперед, выхватив палку из рук капитана. Смех мгновенно замолк, дверь столовой широко распахнулась, испуганное лицо Маруси выглянуло оттуда. Троицкий вытаращил глаза и закричал на Марусю:

— Вон отсюда!

Дверь захлопнулась, в комнате стало тихо. Алеша с палкой пошел к круглому столу. Троицкий откинулся на спинку кресла, может быть, потому, что Алеша не столько опирался на палку, сколько сжимал ее в руке. Алеша остановился против подполковника, но говорить не решался, чувствуя, вместе с гневом, что не может остановить заикание, голова его ходила все мельче и быстрее. Еременко протянул к нему руку:

— Успокойтесь, поручик!

Алеша стукнул палкой об пол. В этом движении, в выражении лица, в позе, в его высокой прямой фигуре было что-то, очень напоминающее отца.

— Конченноно! Конченноно!

Он покраснел, не в силах будучи остановить заикание, но немедленно гневно оглянулся на собрание. Офицеры уже не смеялись. Они смотрели на Алешу ошеломленными глазами и, очевидно, ожидали скандала. Алеша отвернулся от них, презрительно дернув плечом, и закричал на Троицкого с еще большим гневом:

— Россия! Родинана! Довольно! Ваша честь... господа офицеры, проданана!

Троицкий вскочил за столом:

— Позор, поручик Теплов!

Другие тоже что-то закричали, задвигали стульями. Из общего шума выхватился высокий взволнованный тенор:

— Кому продана? Как вы смеете!

Алеша быстрым движением оглянулся на голос и встретил лицо прапорщика, сидящего за роялем:

— Корнилову! Керенскому! Всякой сволочи! Попам, помещикам!

— Ложь! — заорал прапорщик.

Алеша размахнулся палкой и с треском опустил ее на спинку стула, стоящего порожняком у рояля. Стул пошатнулся и медленно упал. Это событие несколько притушило шум. Алеша крепко сжал холодные губы и, склонив набок дрожащую голову, негромко, как будто спокойно, сказал прапорщику:

— Какая ложжжь! Идем со мной... служить... народу... русскому народу! Не пойдете? Не пойдете? Вот видите? Идем, капитан!

— Вон отсюда! — закричал подполковник с тем самым выражением, с каким он только что кричал это и Марусе.

Алеша резко обернулся к Троицкому. Где-то в кухне затрещал звонок, Маруся шмыгнула мимо Алеши в переднюю.

Он в суматохе чувств заметил все-таки ее развевающуюся косу и с неожиданной улыбкой сказал Троицкому:

— Я вас понимаю! Вы — попович! А вот этотот... кудадак будет... какакая там честь! Будет... продажная сабля!

Опять зашумели, но Алеша шагнул к выходу. Навстречу ему из передней вышли Пономарев и Карабакчи. Пономарев — тучный, рыжебородый, Карабакчи — мелкий, черный, носатый. Пономарев с удивлением остановился, поднял от галстука рыжий веер бороды и сказал приятным, бархатным голосом:

— Простите, господа, задержались.

Троицкий приветливо поклонился. Алеша ловко повернулся на каблуке здоровой ноги, с галантным сарказмом торжественно протянул руку по направлению к гостям:

— Пожалуйстата! Покупателили!

Пономарев отшатнулся к роялю, выпучив глаза. Алеша быстро прошел мимо него в переднюю, за Алешей, по-прежнему неся впереди безмятежную угрюмость усов, проследовал капитан. Позади раскатился неудержимый, звонкий хохот Бориса Остробородько. Уже в коридоре, ря-

дом с испуганной Марусей, Борис догнал их и закричал на весь дом:

— Здорово! Честное слово, здорово! Может, ты и неправ... а только... я все равно... не хочу.

35

— К чорту-ту! — сказал Алеша, вйдя на крыльцо поповского дома.— К чорту! Ударный полк! Сволочи!

— Да не обращай внимания! Охота тебе! — сказал Борис.— А здорово ты это... Люблю такие вещи, понимаешь.

Капитан молча стоял на краю крыльца и неподвижно рассматривал даль бедной песчаной улицы. Потом он спросил:

— А кто... вот эти... черный и тот, с бородой?

— Да заводчики здешние! — ответил Борис.— Пиономарев и Карабакчи. Папиросы Карабакчи курите?

— Папиросы? Угу...— он поднял на Бориса ленивые свои глаза.— А им... им какое дело... вот до офицеров? Папиросы, ну, и пусть папиросы...

Алеша положил руку на плечо капитана:

— Вы святой человек, капитан. Идите домой, а я к Павлу...

Капитан послушно двинулся по улице. Алеша быстро, припадая на один бок, зашагал в другую сторону. Борис еще подумал на крыльце и бросился за ним:

— Алеша! Алеша!

Он догнал его и пошел рядом. Алеша оглядывался, переполненный одной какой-то мыслью,— ему некогда было слушать Бориса.

— Я тебе забыл сказать, Нина обижается, почему так долго не приходишь. Ты знаешь, она получила место заведующей клубом.

— Нина? Нина! Мне очень нужно ее видеть. Я сегодня приду.

— Приходи, друг,— весело сказал Борис.— А я пойду посмотрю, что там еще делается у Троицкого.

Он сделал ручкой и побежал назад. Алеша захромал быстрее. Он широко шагал палкой и каждый шаг большой ноги встречал озлобленной миной и говорил про себя:

— К чорту!

Его встревожило возвращавшееся заикание, доказывающее, что он еще не вполне здоров, но тревожило в особенном смысле: не столько как опасение за здоровье, сколько как ненужная, досадная помеха чему-то очень важному.

Павла он встретил у калитки вместе с Таней. Она приветливо прищурилась на Алешу, но он, бросив на нее привычный ласковый взгляд, напал на Павла:

— Слушай, Павло! Какого чорта волынка!

— Ну, как там офицеры?

— Оружжжие! Давай оружжжие! Понимаешь ты?

— Кому оружие? Чего ты?

— Есть оружие?

— Алешка, стой! Вот горячка! Ты что, уже выздоровел? А чего ты заикаешься?

— Бедный Алеша! — Таня подошла вплотную к нему и положила руку ему на плечо. Ее глаза выражали печальную ласку. Алеша улыбнулся.

— Не бедный! Отставить бедный! Ты милая, Таня! Павлушка! Надо с оружием!

— Проклятый город, — сказал Павло со злостью и улыбнулся. — Проклятый, мелкий, сволочной город! Здесь нет оружия! Идем!

— Куда?

— Идем в комитет. Дело, понимаешь, спешное. Как раз ты и будешь начальником Красной Гвардии. Хорошо?

— Павлушка! Это... здорово! А ваша милиция?

— Да, наша милиция. С нашей милицией одна беда. Несколько берданок, револьверы, всякая дрянь, бульдоги. Идем! Таня, так завтра увидимся. До свидания!

Таня кивнула Павлуше и сказала тихо:

— Алеша, на минутку.

Алеша с удивлением посмотрел на нее, потом на Павла. Павел подтвердил:

— Поговори, поговори. Я подожду.

— Таня, некогда, родная.

Таня вплотную подошла к нему и склонила в смущении голову почти на его грудь.

— Алеша, надо нам с тобой поговорить. Нехорошо так...

— Ты скоро уезжаешь?

— И уезжаю. И вообще надо. Как-то нехорошо получается. Почему это так?

— Да ведь ты Павла любишь! Таня, правда же? Таня еще ниже опустила голову:

— Люблю.

— И всегда любила. Всегда. С первого дня.

— Ничего подобного, Алеша!

Алеша засмеялся и оглянулся на Павла. Павел открыто скалил зубы, как будто наверняка знал, о чем они говорили.

— Ну, хорошо, Алеша,— сказала Таня, сияя голубыми глазами,— а ты?

— Я? Я теперь солдат, то был офицер, а теперь солдат революции. Сейчас насчет оружия. Война будет, война!

— Алеша, милый, какой ты еще ребенок!

— Ребенок? Чорта с два ребенок! До свидания. И ты, Таня, не то... не ври. Я с первого раза все видел, все видел.

Он дружески потрепал Таню по плечу. Павел громко рассмеялся.

— Идем, идем,— сказал Алеша.

Они быстро зашагали по улице.

— Мы давно хотели тебе поручить, да все думали, больной ты. У нас это дело плохо. Людей сколько хочешь, а оружия нет. Здесь же нет никакой части, сам знаешь. Сделали рабочую милицию, так тут — прямо препятствия и все. Если и работать, и милиция, трудно.— надо жалованье. Кинулись к Пономареву — какой чорт, и говорить не хочет. Да теперь пойдет другое, вот идем.

Завод Пономарева занимал довольно обширную территорию, но на ней не стояло ни одного порядочного здания. Деревянные, холодные сараи, называемые цехами, окружены были невероятным хламом производственных отбросов и всякого мусора. Только в механическом цеху, где производились металлические детали, был кое-какой порядок, но и здесь кирпичные полы давно износились, в стенах были щели, под крышами летали целые тучи воробьев. Бесчисленные трансмиссии и шкивы со свистом и скрипом вертелись, хлопали и шуршали заплатанными ремнями, вихляли и стонали от старости. Работала только половина цеха, обслуживающая заказы на оборону.

Переступив через несколько высоких грязных порогов, Павел остановился в дверях дощатой комнаты заводского комитета. Сквозь густые облака табачного дыма еле-еле можно было разобрать лица сидящих в комнате людей, но Алеша сразу увидел отца. Положив руку на стол, свесив узловатые, прямые, темные пальцы, Семен Максимович с суровой серьезностью слушал. Говорил Муха, старый заводской плотник, человек с острыми скулами и острой черной бородкой. Он стоял за столом, рубил воздух однообразным движением ладони:

— А я вам говорю: ждать нечего. Что вы мне толкуете: Ленин. У Ленина дело государственное. Ему нужно спихнуть какое там никакое, а все-таки правительство, а у нас здесь, так прямо и будем говорить, никакой власти нет. Мы должны Ленину отсюда помогать. Да и почему вы знаете? Пока мы здесь все наладим, Ленин у себя наладит, вот ему и легче будет. А по-вашему — сиди, ручки сложи, ожидай. Ленин дал вам лозунг: вся власть советам. И забирай. Если можешь, забирай, а Ленину донеси: так и так, у нас готово, на месте, так сказать. А тут и забирать нечего. Вот оружия только нехватает. Достанем. Подумать чадо.

— Я привел вот начальника Красной Гвардии, — сказал Павлуша.

Муха прищурился уставшими глазами на Алешу и вдруг расцвел широкой улыбкой:

— Так это ж... Алешка! Семен Максимович, что же ты, понимаешь, прятал такое добро дома!

Все засмеялись, склонились к столу. Семен Максимович провел пальцем под усами, но остановил улыбку, холодно глянул на Алешу, захватил усы и бороду рукой:

— Всякому овощу свое время. Значит, поспел только сегодня.

36

Семен Максимович очень устал. Очевидно, и палка его устала, поэтому она не шагала рядом с ним, а тащилась сзади, совершенно обессиленная. Алеша слушал отца и все хотел перебить его, но отец не давал:

— Не болтай! Обрадовался. Не языком делай, а головой и руками.

— Батяка!

— Слушай, что я говорю. Самое главное, чтобы все было сделано, как следует, а не так, как привыкли... Это тебе не германский фронт какой-нибудь...

— Не германский фронт? Ого!

— Не понимаешь ты ничего. Германский фронт — это тебе раскусили и в рот положили: тут русский, тут немец, — деритесь, как хотите. Кто кого побьет, тот, значит, сверху. Так или не так?

— Отец! — Алеша захохотал на всю улицу.

— Ишь ты, вот и видно, что не понимаешь, а еще военный. Ты смотри, здесь тебе совсем другое дело. Там ты был что? Пушечное мясо. А здесь, если без головы, так с тебя один вред, потому что тут враг кругом тебя ходит, да еще и «здравствуй» тебе говорит. Это раз. Теперь другое. Там ты немца побил или он тебя побил, — разошлись, помирились, сиди и жди, пока новая война будет через сколько там лет. А тут война на смерть затевается. Понял?

— А ты, отец, знаешь что, — ты молодец!

— Вот я тебя стукну сейчас, будешь знать, какой я молодец. Ты понял?

— Понял.

— Ничего ты не понял. Тут нужно в гроб вогнать, навечно, потому что надоело.

— Кому надоело?

— Понял, называется. Мне надоело. И всем. До каких пор: то какие-то рабы, то крепостные, то Пономаревы разные, Иваны Грозные, Катерины. Всякие живоглоты человеку трудящемуся на горло наступают. Что, не надоело тебе?

— Отец, знаешь что, дай я тебя расцелую, — Алеша размахнулся рукой и полез с объятиями.

Семен Максимович остановился у забора и провел под усами пальцем:

— Ты сегодня доиграешься у меня. Иди вперед. Ишь ты, сдурел!

Несколько шагов он прошел молча — и снова заговорил:

— Тебе, молокососу, такую честь — Красная Гвардия. Чтоб разговоров не было у меня: то да это, как да почему. Через месяц — крайний срок, а то и раньше по возможности. Муха правильно говорил.

Как только пришли домой, Алеша сразу вызвал Степана во двор. Долго их не было. Мать тревожно поглядывала на дверь, и, наконец, спросила мужа:

— Чего это они там шепчутся?

— Значит, дело есть. И пускай шепчутся. Люди они военные, им виднее.

Мать внимательно присмотрелась к Семену Максимиовичу, ушла в кухню и там тихонько вздохнула. Капитан вылез из чистой комнаты, присел к столу, за которым ужинал Семен Максимович.

— Как там офицеры? — спросил Семен Максимович.

Капитан направил нос в сторону и негромко, без выражения, без улыбки рассказал о совещании у Троицкого.

— Какое ж ваше мнение?

— Алеша... это... молодец.

— Да что вы мне Алеша, Алеша! Мало ли что, мальчишка... там... Дело как будет?

— Дело? Дело, Семен Максимович... э... неважное дело.

— Неважное? Чего это... неважное? Народ, это важное дело?

Капитан кивнул над столом, подумал и еще раз кивнул:

— Народ... да... народ, конечно. Но... понимаете... если б... э...

— Да чего там экать? Говорите.

— Артиллерия!

Капитан глянул хозяину прямо в глаза.

— Артиллерия?

— Да. Если бы к народу да еще артиллерию, важное дело может получиться.

Семен Максимович редко смеялся громко, а сейчас рассмеялся на всю хату, даже звон по стеклам пошел:

— Знаете что, Михаил Антонович? — сказал старик, отдохнув. — Правильно сказано!





ЧАСТЬ

2

1

Выздоровел Алеша или проснулся, он и сам разобрать не мог, да и времени не было, чтобы задуматься. Целыми днями он носился по заводам, по Костроме, по городу, помогал себе палкой и на палку злился. Он вспоминал с удивлением, как раньше радовался оригинальному удобству костылей. А сейчас хотелось забыть о каких бы то ни было удобствах, хотелось просто, без удобств, летать по земле. В этом постоянном движении Алеша прислушивался к себе и не мог разобрать, что с ним происходит. С одной стороны, к нему возвратились былое мальчишеское оживление, шаловливый огневой задор и смеющаяся безоглядная проказливость, с другой стороны, как-то по-новому видели его глаза, видели далеко во все стороны, через крыши Костромы, через тишину и бедность знакомых улиц, через преграды горизонтов, через просторы великой России. И глаза у Алеши стали теперь ясными и светлыми, они как будто приобрели невиданную глубину отражения. И для него самого было удивительно, почему так ладно уживаются рядом его юношеское легкомыслие и серьезная точность больших исторических видений, откуда пришло это объединение мальчишки и философа. Очень хотелось знать, у всех ли такое происходит или только у него одного? Он внимательно присматривался к людям, к отцу, к Степану, к Бойко, к Павлу. Семен Максимович сильно помолодел за последние дни, чаще проводил пальцем под усами, скрывая улыбку, а то и просто открыто смеялся тем самым неожиданно прекрасным смехом, который Алеша впервые увидел у него, когда уезжал на фронт. Даже капитан, хоть и редко показывал зубы, а смотришь, что-нибудь и скажет с хитроватой

жизнерадостной заверткой. А на заводе, в комитете, на митингах, среди горячих речей и размашистых, сердитых кулаков широким, новым наводнением шло острое слово, сверкали шутки, разливалось зубоскальство и гремел гомерический хохот. И в то же время у всех людей сильными и зоркими сделались глаза, и все люди, как и Алеша, перемахивали взглядами через тысячеверстные пространства, живыми глазами видели и Петроград, и Ленина в Петрограде, и петроградские, уже закаленные в новой борьбе, рабочие ряды, и всю необозримую равнину России, и Кавказские горы, и Сибирь. Видели ясно, насквозь и всю хитро сплетенную сущность врагов: смешную и слабую силу Керенского, угрюмо-ошалевшую энергию Корнилова, болтливую гнусь — вожаков-политиканов.

2

Кипели новые дни в России. Ключом забила в них освободившаяся великая страсть.

Веками эта страсть то засыпала, то просыпалась, то бросалась в безнадежный, отчаянный бой, то тихо бурлила в подземном скрытом течении, то претворялась в могучие, разрушительные пожары, то подымала на плечи страшные исторические тяжести и с исполинским терпением несла их через века и дебри времен. Так пронесла Россия и татарское мрачное иго, и скопидомную вековую темень московских великих государей, и похабную помещичью власть, и великодержавный разврат Екатерины, и туповато-угрюмую чреду последних императоров.

С той же великой страстью, с тем же жестоким и горячим упорством подымался великий народ против наглых и удачливых царственных бандитов и завоевателей, и они убегали от него, спрятав в воротник шинели опозоренное лицо и трусливо прижимаясь к борту носилок или к подушкам экипажа. За ними, по пыльным или снежным дорогам, волочились жалкие остатки блестящих корпусов и дивизий, и в последней агонии выскалывали зубы сытые лошади их лихой кавалерии.

И во всех этих делах, во все исторические светлые и кромешные дни, в часы терпения и в часы гнева,— страсть нашего народа имела одно содержание. Это было великое стремление к справедливости, к лучшей жизни, к новому

счастьем людей. Голько в этой вере могли родиться неповторимые люди и события России: и неукротимый дух Петра Первого, и юношеский подвиг декабристов, и живая сила толстовских героев, и мудрость босяков Максима Горького, и светлый разум Пушкина. Но как часто в истории эта страсть и вера была мощной, но безнадежной волной, без оглядки и без расчета, но зато и без победы!

И сейчас она забурлила, освобожденная и радостная, как и раньше, и, как раньше, разрушительная. Но сейчас впервые в истории над нею поднялся новый человеческий разум, новый закон, закон той самой новой счастливой жизни, о которой веками мечтали люди.

3

Некоторым показалось, что в нашем городе было как будто иначе. Газеты приходили тревожные и взволнованные, они на каждой странице отражали мучительную бредовую лихорадку в стране, в их строчках дышали и гнев, и призыв, и беспокойство, и злоба, и трусость, и растерянность. Горожане читали газеты, и многим горожанам казалось, что революция проходит мимо города. Пронеслись мимо шумные маршевые батальоны, пассажирские поезда трещали от безбилетников, то в той, то в другой стороне неба дрожали зарева пожаров. И многие были уверены, что это не революция, а простой беспорядок, беспорядка же в городе было и так не мало.

По вечерам прибавилось людей на улицах, никогда еще по тротуарам не переливалась такая тесная толпа. Веселые молодые люди, румяные, смеющиеся девушки, все куда-то проходили и проходили и возвращались обратно, встречались взглядами, улыбались и шутили, собирались рядами, венками, гирляндами. О чем они говорили, над чем шутили, чему смеялись? Ведь на тех же улицах по трещинам молодой радостной толпы пробирались пьяные, размахивали руками, кому-то грозили, на кого-то обижались. И по тем же улицам, и на тех же тротуарах по утрам волновались худые, бледные женщины у дверей хлебных лавок и проклинали жизнь. И рядом стояли нищие, и ползали калеки, и бродили пыльные, скучные извозчики в поисках пассажиров. И все в городе как будто припорошилось пылью: и вывески, и витрины, и прилавки, и остатки товаров. Вокруг вокзалов и на дру-

гих площадях ветер с утра до ночи гонял бесчисленные бумажки, а в парке кричали грачи оглушительными головами.

На Костроме на глазах у всех умирали заводы. Несмотря на то, что весь тыл города занят был пристанями, на заводы перестал поступать лес, и кругом говорили, что леса нет. Перестали поступать уголь и нефть, а на заводских дворах люди скучно перетаскивали с места на место всякое старье и матерились. В дни получек подолгу стояли у дверей контор, оглядывались, хмурились, ругались. Кто-нибудь говорил:

— Ну, пускай хороших денег нет. Понимаем,— провоевались. А керенки? Чи тебе трудно? Отмерь мне поларшина керенок!

Заросший грустный бухгалтер растерянно разводил руками, улыбался.

Но кто-нибудь другой подымет к нему лицо и кричит:

— И мне поларшина! Только в полосочку,— штаны, видишь, никуда!

И только что проклинаящая толпа хохочет, подымаясь на цыпочки, и прибавляет новые, такие же нехитрые остроты.

4

Жена Пономарева, Анна Николаевна, дама сухая и нервная, говорила гостье, Зинаиде Владимировне Волошенко, жене штабс-капитана:

— Прокофий хотел закрыть завод,— боится. Просто махнул рукой. Потерпим,— наладится же когда-нибудь. Большевики! Откуда они взялись?

— Это все мужчины,— вытягивая губы, сильным шопотом произнесла Зинаида Владимировна,— такой беспокойный народ!

— Зинаида Владимировна, побойтесь бога! При чем здесь мужчины? Это простонародье, большевики!

Что-то слабо стукнуло в передней, и Анна Николаевна в страхе оглянулась на дверь. В дверях стоял Алеша и улыбался. У Анны Николаевны задрожала рука на ручке кресла, тонкие губы сделались вялыми и раскрылись:

— Что такое? Зачем?

— Извините,— сказал Алеша и поклонился.— Нам нужно поговорить с гражданином Пономаревым.

— Господи, как вы вошли? — в волнении Анна Николаевна вскочила с кресла, и тогда за плечами Алеша она увидела широкую, довольную физиономию Степана Колдунова. Она вскрикнула тревожно, как кричат только в минуту близкой страшной опасности:

— Как вы вошли?

Она стремительно бросилась в переднюю, Алеша, улыбаясь, уступил ей дорогу. Степан оглянулся смущенно:

— Да... вошли... что ж... Как обыкновенно полагается, через дверь вошли...

Анна Николаевна подбежала к дверям, открыла их, закрыла, в смятении оглянулась. Ее тонкая фигура, болтающееся на ней легкое серое платье, ее взволнованные складки у переносья, очевидно, произвели на Степана несерьезное впечатление. Он развел дурашливо руками:

— Сторожевое охранение, видишь, сбежало. Или, может, застава.

— Что вам угодно?

— Нам нужно видеть Пономарева.

— Может быть, господина Пономарева или хотя бы гражданина?

— Давай господина, нам все равно, мы и с господином можем,— Степан произнес это убедительным приятным говорком, так что и в самом деле слушатель мог убедиться, что Степан умеет поговорить с каким угодно Пономаревым. Анна Николаевна так и не разобрала, понимать ли слова Степана как извинение или как насмешку. Она тихо сказала: «Подождите»,— и скрылась за высокой белой дверью. Алеша сказал Степану:

— С господином Пономаревым я буду говорить, а ты помолчи.

— Думаешь, напутаю?

— Не напутаешь, а ты... с господами не умеешь разговаривать.

— Я не умею? Да это ж моя главная специальность! всю жизнь только и делал, что с ними разговаривал. Да слушай, Алешенька, дозвожь мне, а то говоришь,— не умею. Дозвожь, вот сейчас покажу... как это замечательно умею. Я это сейчас по старой моде поговорю. Ты стань сюда, вот сюда, представление покажу по старой ихней моде...

Он напряженно шептал, задвинул Алешу в темный угол, к зеркалу. У Алеши заблестели глаза:

— Вот... чорт... ну, хорошо, покажи.

Степан для чего-то взъерошил бороду и вдруг весь обмяк посреди передней, ноги расставил как-то по-особенному и живот распустил по поясу. Брови его поднялись и округлились, маленькие глазки остановились в туповатом, сладком покое.

Пономарев вошел суровый, с перепутанной бородой, готовый встретить любую неприятность, но и вооруженный неприветливой, терпеливой хмуростью, чтобы эту неприятность отразить. Неподвижная фигура просительного мужика поразила его. По привычке он даже приосанился было, но, вероятно, вспомнил, что теперь на свете все странно, все неожиданно и неверно. Нахмурил брови, спросил:

— Кто тут? По какому делу?

Степан быстрым движением ухватил с затылка свой выцветший пятнистый картуз и опустил его вниз великолепным, веками воспитанным движением: не впереди себя, не щеголяя веселым приветом, а как-то стороной, за ухом, выворачивая руку в неудобном сложном повороте. Потом быстро мотнул головой, и его отросшие лохмы взметнулись жалким, покорным венником:

— К вам, господин, покорная просьбишка.

Алеша даже голоса Степана не узнал,— сколько в нем было неги, глухих обертонов, срывающегося, нервного хрипа. Пономарев нечаянно расправил плечи, выпятил живот:

— Ну?

В дверях стояла Анна Николаевна и соображала с трудом о подлинности просительного мужика. Степан переступил на месте от волнения, задергал в руках картуз, чуть-чуть склонил набок сдержанно умильную физиономию.

— Не обижайтесь, что побеспокоили, как, может, отдышали пообедавши, а только без вашей помощи хоть пропадай. Только от вас все зависит, и больше никто этому делу пособить не в силах.

Пономарев не мог отвести глаз от убедительного лица Степана, на котором и глаза, и нос, и губы, и даже под-

вижные складки на лбу,— все подтверждало просьбу, все изображало сложный, невероятно путаный пейзаж. В нем были и надежда, и деловое увлечение, и почтение, и страх. Пономарев поневоле залюбовался этим приятным пейзажем, роскошной прелести которого он раньше так непростительно не замечал.

— Ну говори, говори, чем могу помочь. Тебе что, денег, что ли?

Степан воодушевленно размахнулся картузом:

— Какое денег, дорогой? Не денег. Зачем мне деньги, коли я человек бедный? Общественное дело, гражданское. И вас, конечно, касается, как вы теперь свободный гражданин, и заводик у вас тоже бывает в опасности от всякого народа...

— Ну-ну?

— Кого ни спроси,— все говорят: только один господин Пономарев в состоянии, больше никто.

Степан даже головой затрусил от убежденности. Пономарев застенчиво улыбнулся, глядя на свои ботинки.

— У вас, говорят, в большом количестве имеется, и вы бедному народу...

— Да чего? Чего тебе нужно?

— А... это... А винтовки!

Пономарев резко повернулся на месте, так резко, что проскочил взглядом почтительную фигуру Степана и увидел Алешу у зеркала. Его лицо налилось краской, он глянул на Степана с настороженным удивлением, но Степан смотрел ему в глаза и просительно скалил зубы.

— Вы вместе?

— А как же! — обрадовался Степан. — Бедному человеку, если в одиночку ходить, какая польза. Надо вместе: один выпросит, другой вымолит, третий так возьмет, хэ-хэ... Так и ходим кучей. А у вас, говорят, тут же в доме вашем лежат эти самые винтовки. Вам они все равно ни к чему, потому что у вас две руки, да и все. А у бедного народа сколько рук, и в каждую по винтовке нужно.

Степан так хорошо играл роль просителя, что Пономарев даже и теперь не разобрал. Он взялся за ручку двери и сказал негромко, с деланным разочарованием:

— Чудаки, кто вам сказал, что у меня есть винтовки?

Степан быстро зашел с фланга и заспешил взволнованно:

— Да вы, может, забыли, господин хороший, за делами всякими да хлопотами. Так вы не беспокойтесь, не утруждайте себя, мы и сами посмотрим, вам никаких хлопот чтобы не было.

— У меня нет винтовок, слышите? — закричал Пономарев, начиная понимать, что дело серьезное.

Он гневно глянул на Алешу:

— Господин Теплов? Я понимаю, что вам нужно!

Алеша шагнул вперед, приложил руку к козырьку.

— Так точно, Теплов. Вы удовлетворите просьбу этого... бедного человека?

Но он не выдержал и залился улыбкой, уставившись в рыжую бороду Пономарева, поэтому говорить уже не мог, а только выразительно показал на Степана. Степан добродушно разгладил усы и приготовился выслушать решение господина.

— Оружие? — резко спросил Пономарев.

— Да бросьте, — засмеялся Алеша и заходил по комнате. Снисходительно глянул на растерянную фигуру хозяина. — Ну, что вы ломаетесь? У вас в подвале пятьдесят винтовок и патроны. Забыли, что ли? Прибыли к вам еще в мае, для чего уж — не знаю.

— Да для бедного ж народа, — сказал Степан, как будто уговаривая Алешу, — для бедного народа. — Он вдруг надел картуз и засмеялся: — Ах, и потеха ж, прости господи! Ну, довольно с тобой по старой моде разговаривать. Давай ключи да покажи это самое место.

Пономарев глянул на Алешу, глянул на Степана. Анна Николаевна притаилась в дверях и бледнела от злобы. Алеша выпрямился, сжал губы, чуточку сдвинул каблуки:

— Приступим, господин Пономарев?

Серые глаза Пономарева улыбнулись с презрением:

— Кому я должен отдать оружие? Кем вы уполномочены?

Алеша быстро поднял клапан грудного кармана и протянул хозяину бумажку:

— Совет? — произнес гнусаво Пономарев, держа бумажку на отлете и глядя в нее вполоборота. — Совет для меня не начальство. Надо разрешение военных властей. Оружие на учете, — что вы, не понимаете? И еще написано: «Предлагает». Как это «предлагает»?

Степан ответил:

— Предлагает, это значит: отдай по совести, пока тебя за воротник не взяли; а возьмем за воротник, тебе некогда будет думать, где твое начальство.

Пономарев отодвинулся от Степана поближе к дверям, чуть-чуть побледнел, хотел расправить бороду, но забыл, опустил руку, склонил голову:

— Что ж... Хорошо... Подчиняюсь насилью.

— Правильно делаешь, голубок,— закричал Степан.— Умный человек, и характер у тебя спокойный. Если люди насильничают, что ты с ними сделаешь,— известно — простой народ. Вот и я...

Но хозяин не дослушал его. Он еще раз с укором посмотрел на Алешу.

— Пойдемте.

Алеша вежливо пропустил мимо себя хозяйку. Она спешила к покинутой гостье.

5

Богатырчук не то приехал, не то с неба свалился. Вчера его еще не было, а сегодня он побывал на заводе, в совете, у Павла, у Алеши, у Тани, даже у подполковника Троицкого. Алеша целовал его, оглядывал со всех сторон, радовался и обижался. Еще не снявший вагонного «загара», Сергей казался сегодня особенно массивным и неповоротливым, стулья под ним жалобно скрипели, может быть, оттого, что Сергей не очень считался с собственной неповоротливостью, а все шумел, шутил, вертелся во все стороны.

— Алешка, ты же веселый человек, как тебе не стыдно хромать. Едем на фронт. Едем!

— Это на какой? На юго-западный?

— Брось. Кто теперь считает по солнцу? Теперь считать нужно по-другому. У вас тут какая-то тишина, а в других местах кипит, ой, кипит!

— Да ты что сейчас делаешь? Кто ты такой?

— Я? Да я теперь большевик — и все. А так считаюсь: уполномоченный комитета фронта по вопросам о дезертирах.

Степан, раскрывший было рот и глаза на гостя, услышав последние слова, незаметно увял и отступил в беспорядке на кухню. Там он тихо сказал Василисе Петровне:

— Мамаша, когда нашему брату, рабочему человеку, по той будет?

— А что случилось?

— Приехал вот! Уполномоченный, говорит! Алешка-то его целует-милует, да, смотри, на радостях и выдаст меня со всей моей военной амуницией.

Алеша, увидев отступление Степана, кивнул ему вслед:

— Испугался тебя.

— Да ну его,— Богатырчук махнул рукой.— Разве их теперь переловишь? Как тут у вас? Тихо?

— Да ничего. Красная Гвардия у нас.

— Много?

— Полсотни. Народ боевой, да это на заводах. А в совете скучно.

— Эсеры?

— А чорт их разберет? Жулики больше сейчас в эсеры записались, кричат, да они и сами себя не слушают. Вот я тебе расскажу: офицеры здесь собрались, поговорили...

Алеша рассказал другу о совещании у Троицкого.

— А офицеры эти откуда?

— Раненые есть, отпускные. А почему Троицкий в городе, не знаю. Он у Корнилова был. Здесь скучно, Сергей. По улицам шляются, на митингах орут, а к чему — не разберу. Все на Петроград смотрят.

— Подожди.

— Вот я и не пойму: чего ждать? Что дальше-то будет?

— Погоди. Красная Гвардия есть. Прибавляй. Пригодится.

В дверной щели ясно был виден красный нос Степана, но Сергей делал вид, что не видит его.

— На Петроград все смотрят,— сказал Сергей с гордостью,— а только ты не думай, что Петроград за вас все сделает.

Алеша захромал по комнате, занес руку на затылок:

— Понимаешь, Серега, никто и не думает, чтобы за нас делали, а все-таки трудно так... Ты прямо скажи, буржуев бить будем? Или как?

Сергей с любопытством следил за Алешей, иронически поглаживая круглую стриженую голову:

— Если не покорятся, будем бить.

— Как это?

— Да твои офицеры затевают какой-то ударный полк? Затевают? А если и в самом деле выкинут штуку?

Степан просунул голову в щель двери и сказал негромко:

— А для чего ждать, пока они соберутся?

— Слышишь? — улыбнулся Алеша.

Богатырчук быстро повернулся к дверям:

— А что делать, по-твоему? — спросил он.

— Как — что делать? — Степан вылез в комнату и сразу начал загибать пальцы: — Во-первых, оружие отобрать, — как у нас говорят: Акулине — голос, Катерине — волос, а Фроська и так хороша, ни голоса, ни волоса — ни шиша. Это раз! Отобрать. Второе: посадить в кутузку — два! А потом... а потом... Да и не только их, — Степан смутился и захохотал, шагая по комнате и все держа счет на пальцах. — Да разные господа и помещики! В один день и благословить: иди к такой богородице в царство небесное и живи спокойно, а нам не морочь головы, — теперь наша очередь. А то они, гады, все равно верх возьмут...

— Это ты заврался, — сказал Сергей строго. — Богатство — это другое дело. Богатство отберем по закону.

— А кто закон даст?

— А мы сами.

— Да когда ж ты его придумаешь, закон?

— Подожди.

— Да ну вас, — рассердился Степан. — Ждали, ждали, да и жданки поели. Это уж так хохлы говорят, а они разумный народ. Ленина куда спрятали, говори!

— Ленин свое дело сделает, не бойся.

— Куда вы его спрятали?

— Кто это... вы?

— Да... разные... там... Господа вообще.

— Не господа, а мы спрятали. Надо прятать, когда за ним с ножами ходят. А он и так дело свое делает.

— Разбери вас. Да для чего ж остерегаться? Скажи народу, он тебе сейчас... под самый корень.

— Да ты, чудак, сообрази. Тебе вот пришло в голову, пойдешь сейчас буржуев громить, а другому еще что придет. Организация есть. Партия. Партия большевиков, слышал?

— Вот смотри ты,— слышал. Да у нас тут на Костроме все большевики.

— Это не большевики. Большевики дисциплину знают.

— Как ты сказал?

— Дисциплину, говорю.

— О!

— А что?

— Ого! Ну... будет у вас чести, как с лысого шерсти! Это... Да ну вас! — Степан засунул руки в карманы и побрел на кухню.

Богатырчук проводил его прищуренным взглядом.

— Батрак?

— Батрак,— ответил Алеша.— Да он замечательный человек.

— Чего лучше. Такого свободно можно считать за один станковый пулемет.

— И без водяного охлаждения.

— Это твой денщик?

— Это мой друг,— ответил Алеша.

6

Степан сидел на крыльце и курил махорку. Алеша вышел, присел на ступеньке.

— Правильно это он говорил или неправильно?

— Правильно.

— А почему правильно? Петрограда ждать, что ли? Со своими буржуями сами справимся.

— Буржуи у нас в одиночку. Организации у них нет, войска нет, юнкеров нет.

— Это выходит чорт-те што. Не по-моему выходит.

Степан сердито отвернулся к воротам.

— А чего тебе нужно?

Степан наморщил лоб:

— Чего мне нужно... Вот придет старик, ему пожелаюсь. Чорт-те что выходит... и может... того... юрунда может выйти.

— Юрунда, юрунда,— передразнил его Алеша.— С такими, как ты, и может выйти юрунда. Тебе это хочется, как при Степане Разине...

— Это про которого в песне поется: «Только ночь с ней

провозжался, а на утро бабой стал?» Так он нет... он эту бабу отставил...

— Да не в бабе дело.

— Да и не в бабе,— обозлился Степан.— Кому баба может помешать, если по-настоящему. Если баба хорошая, она ни за что в помехе не будет. Главное, корень вырвать. А твой этот Сергей заладил одно: организация, организация. Вот придет старик, вот ты увидишь...

— Ну, и увижу, — добродушно согласился Алеша.

7

До прихода Семена Максимовича Степан бродил по двору, заглядывал в кухню и принимался что-либо делать. И молчал. Только вечером, закладывая дрова в дверцы узенькой топки,— не глядя ни на кого, спросил:

— Капитан артиллерии, ты слыхал что-нибудь про Степана Разина?

Капитан мирно сидел на низенькой скамеечке в убранной кухне, высоко взгромоздив худые блестящие колени. Папироса почти целиком скрывалась в его усах. Василиса Петровна, сурово сжав губы, тонкими кружочками нарезывала лук и укладывала его вокруг приготовленной к ужину селедки.

— Слышал,— ответил капитан.

— Он, чего это, разбойник был, что ли?

— Атаман. Только не разбойник, нет.

— А как же? Революционер, выходит?

— Революционер? Да нет, какой там он революционер. Тогда революционеров еще не было. Атаман просто.

— Он за бедных воевал,— тихо, серьезно сказала Василиса Петровна.— За бедных воевал... и был очень хороший человек.

— Так что ж ты? — Степан сердито обернулся, сидя на корточках.— А еще образованный человек. Значит, революционер.

— Он хороший был человек,— продолжала Василиса Петровна,— только...

— С девченкой? Знаю...

— Да нет,— сказала Василиса Петровна,— у него... не знаю... выпивал он сильно. Если бы не выпивал, он всех победил бы... этих... тогда назывались бояре...

— Да знаю, бояре,— буржуи, теперь говорят. Выпивать это другое дело; бывает, человек запоем или еще как...

Помолчали. Степан взял в руки новое полено, но задержался с работой:

— Алешка, наверно, знает. А ты, капитан...

— Да что тут знать. И я знаю. Могу тоже рассказать.

— Ну!

— Как хочешь,— капитан недовольно передернул плечами.

— Рассказывай, рассказывай, не обижайся.

Степан вытянул ноги на полу. Василиса Петровна смела со стола, неодобрительно глянула на капитана, крепче сжала губы.

— Я, может, что и забыл, но только забыть много не мог, потому что в свое время интерес имел и читал много по холостому положению. Стенька Разин...

— Это выходит, и я — Стенька...

— Да вроде тебя, только, надо полагать, поумнее и покрасивее тебя и морда не такая жирная.

— Я не жирный, а вода такая.

— Ну, а у Разина такой воды не было. Богатырь был, красивый. Казак донской.

— А почему в песне про Волгу поется?

— Родом с Дону, а гулял на Волге. Только это давно было. Лет... лет... двести, а может, и больше. Пошел с казаками гулять, купцов грабить. И своих, и чужих, персидских. Гуляли хорошо, кафтаны надели бархатные, паруса и онучи завели шелковые.

— Во! — Степан округлил глаза и посмотрел на Василису Петровну с гордостью. Василиса Петровна чуть-чуть нахмурила брови.

— Конечно... и водки попили довольно,— продолжал капитан.

— Добра не жди от водки... А потом?

— А потом... разгулялся и на бояр пошел. И крестьяне к нему пошли, кто победнее...

— А куда ж им итти?

— Городов много, дворян, попов, воевод побил, потопил, повешал...

Степан подскочил с полу:

— Видишь, мамаша, водку пил, а дело понимал. А то

много есть таких, разумных. Трезвый, трезвый, а как до дела — выходит — нестуляка.

— А ты дальше слушай, не забегай вперед, — строго остановила его Василиса Петровна.

— Да я и не забегаю, а к слову. Рассказывай дальше.

— Тут и конец. Военного образования у него не было. Организация хромала.

— Какие вы, — вам сейчас же организацию!

— Разбрелись у него по всей земле воевод вешать, а под Самарой... царское войско его и разбило.

— Сам царь такой, что ли, был сильный?

— Нет... царь был тогда так себе... Алексей Михайлович, а у него боярин был, князь Барятинский.

— Генерал, что ли?

— Ну, пускай — генерал.

— Вроде Корнилова?

— Да нет... боярин, с бородой! Давно это было.

— Да один чорт — с бородой или без бороды. И разбили, говоришь?

— Разбили. И пушки потерял.

— Эх... смотри ты, какая беда. Поймали?

— Поймать не поймали, а свои выдали.

— Батраки?

— Да не батраки... Казаки выдали. Были... которые побогаче...

— Ах ты, сволочи, прости господи. Ну, скажи, Василиса Петровна, отчего это такое? Как побогаче человек, так и паскуда. Вот смотри на него, — на капитана: пока бедный — на человека похож, а дай ты ему деньги — какук!

Капитан выслушал это невозмутимо, но Василиса Петровна подозрительно повела глазом на Степана:

— А ты?

— Чего я?

— А тебе дать деньги?

— Я? Да что ты, Василиса Петровна! Да ну их совсем!

— Знаю вас, мужиков, — негромко, но серьезно произнесла Василиса Петровна. — Как завелась у него вторая пара сапог, уже от него добра не жди. Видела!

— Мамаша, не обижай за-зря! — взмолился Степан. — Смотри какой мужик. Это если у него лошадей сколько, да коров сколько, да плуги, да сеялки, да риги. А мне хоть десять пар сапог, а как был батрак, так и остался. Видишь,

вон, у Степана Разина бархатные кафтаны носили и онучи шелковые, а что с того. У нас так и говорят в Саратовской губернии: не того кулаком, у кого сапог с каблуком, а того лубиной, у кого двор со скотиной. Казнили, небось, Разина?

— Казнили.

— Повесили?

— Четвертовали.

— Это как же?

— Руки отрубили, ноги, а потом голову...

Степан швырнул полено, которое держал в руках.

— Видишь, мамаша, какие дела делаются? Четвертовали! Да одного разве? Там и мужикам попало. Попало? — свирепо обратился он к капитану.

— Сильно попало.

— Казнили?

— Много казнили.

— А тебе, видишь, все равно. Ты себе спокойно сидишь... Тебя не берет зло? Не берет? Сразу и видно, что ты — капитан.

Степан размахивал руками, говорил зло, показывал зубы, даже лицо его уже не казалось таким добродушно-круглым, как раньше. Он топтался перед капитаном на босых ногах, и завязки штанов извивались у его пяток, как черненькие злые змейки. Капитан только задымил больше, прищурил глаза от едкого дыма.

— Молчишь?

— Давно это было... двести, а может, и больше...

— А тебе все равно наплевать, потому — твоих там не было.

Капитан оглянулся, бросая окурок в ведро. Стриженная его голова склонилась:

— Моя фамилия не дворянская. Мои деды, может, и у Разина были, а может, и в запорожцах, — не знаю. Наверное, и их на колы сажали.

— Во, мамаша, — Степан с торжеством повернулся. — Видишь, как с нашим братом обращались. А теперь погляди. Как они Разина поймали, — сейчас же четвертовать, а как Корнилов в руки попался, — ничего, сиди спокойно, а в нашем городе по улицам ходят, а мы смотрим. Справедливо это? Нет, капитан, ты помолчи, а вот пускай Ва-

силуса Петровна, понимающий человек, скажет: справедливо?

Капитан отмахнулся рукой. Василиса Петровна опустилась на табуретку, смотрела на Степана с серьезным напряжением, как будто действительно решала важную задачу:

— Ты, Степан, не кричи. Справедливость у бога, а толку все равно не было. Что народу с твоей справедливости. Надо так сделать, чтобы людям лучше жилось. Вот тебе и вся справедливость.

Степан разочарованно полез пятерней в затылок:

— Эх, Василиса Петровна, старушка моя милая, нехорошо говоришь. Добрая твоя душа, а тут добром не пособишь.

Он опять возмутился и ту же пятерню, темнокрасную с припухшими, твердыми подушечками на пальцах, протянул к хозяйке.

— Какая лучшая жизнь, коли они, понимаешь, по свету лазят?

— Кто?

— Да... бояре, чтоб им! Бояре, генералы, помещики, мало тебе? Их нужно... вот, как Степан Разин, хороший был человек, царство ему небесное, а что водку пил, так как же не пить в таком положении?

Капитан мотнул головой. Поднял на Степана маленькие глазки:

— Сказано: пехота!

— Без понимания?

— Без понимания. Что ж Разин? Пускай там и хороший человек. Шуму много и крику всякого, а какой толк? Вот я тебя спрашиваю: какой толк?

Степан сначала затруднился ответом и даже начал растягивать рот в улыбке, прикрывающей смущение, но вдруг заострил глаза, вытянул губы:

— Так, чудак, артиллерия! А как же иначе? Скажем, ты из пушки стреляешь. Пристрелку делаешь или не делаешь? Раз не попал, два не попал, а третий раз — в точку. Или, допустим, с девкой: одну полюбил, другую полюбил, а на третьей женился. У Разина не вышло, а у нас выйдет, потому что видно: корней оставлять нельзя. А как же по-твоему?

— По-моему?

— Ну да, по-твоему, по-капитанскому?

— По-моему как?

— Ага.

Теперь капитану пришлось смутиться, но он и не собирался прятать смущение, а сидел и сумрачно думал, глядя в чистый пол между своими сапогами.

— Вот видишь,— у тебя и прицела никакого нет.

— Брось,— капитан недовольно мотнул головой.— У грамотного человека всегда прицел есть. Законы хорошие нужны, вот и все.

— А они есть, хорошие законы, где-нибудь?

— Есть, а как же! Вот в Англии хорошие законы.

— В Англии? А какие там законы?

— Справедливые, хорошие законы.

— Бедных нету, значит?

— Каких это бедных? — капитан неожиданно залился краской.

— Ха! Смотри ты: не знает. Да вот таких, как ты: сидит на чужой кухне, сапог у тебя старый, дома нет, пристанища нет, а тоже: «Кровь проливал». Или таких, как я. Нету?

Капитан заходил коленями, затоптался на месте сапогами, повел плечом. Василиса Петровна улыбнулась, глядя на капитана, и это привело Степана в восторженное состояние. Он ухватил Василису Петровну за плечи:

— Хозяюшка! Наша берет! А то все, понимаешь, грамотные! Организация! Законы! Как в Англии! Не-ет! Вот постой! Мы им покажем законы!

8

Когда пришел Семен Максимович, Степан бросился к нему. Схватил его за рукав, увлек в чистую комнату. Там сидел за книгой Алеша. Степан пристал к старику:

— Семен Максимович, рассуди, отец. Вот и он сидит, а к нему тут большевик приходил. В Питере бывал. Такое говорит — никакого спасения!

— Кто это? — ставя палку в угол, спросил Семен Максимович.

— Богатырчук,— ответил Алеша.

— Сережка? Ну, так что? Он и у нас на заводе был. Дельный парень.

— Дельный-то, может, и дельный, а говорит чорт-те что.

— Ну?

— Такое, понимаешь, болтает. «Наша организация!» Я ему так и так: организованно, конечно, взять да и прибрать к чортовой матери разных тут буржуев и поповичей. Мало у них добра награбленного? А он меня еще и стыдить начал. А зачем у нас Красная Гвардия, спрашивается. Готовься, готовься, подожди да подожди. Ленина арестовать собрались! Понимаешь, опасность какая? Так лучше переловить их, сволочей, да и все. А потом такое слово ляпнул, прямо нож в сердце: дисциплина. Видал, отец!

Семен Максимович, заложив руки за спину, высокий и прямой, сухим внимательным взглядом рассматривал пухлого взъерошенного Степана. Алеша на диване, подогнув под себя ногу, улыбаясь мальчишеской, вредной улыбкой, ожидал, что скажет отец Степану. Но Семен Максимович именно на Алешу посмотрел строго и сказал:

— А ты все зубы скалишь? Эта балда родного дядю скоро узнавать не будет, а ты радуешься.

— Да чего ж я — балда, — обиженно протянул Степан. — Это что ж, царское время, что ли! Приезжает, понимаешь, и галдит тебе в ухо: организация, дисциплина. Это, может, опять ему господа нашептали. Не успел народ разойтись, как следует, — на, сразу ему уздечку на шею. Старые дела, знаем!

Степан с каждым словом обижался все больше и все больше отворачивался. Закончил он свою речь, почти спиной повернувшись к Семену Максимовичу, руки держал в карманах.

Семен Максимович провел пальцем по усам, быстро, небрежно:

— Красная Гвардия называется. Как был мужиком, так и издохнешь. Привыкли, опудалы чортовы. Все в беспорядке, не можете иначе!

— Семен Максимович! Семен Максимович! Не говори такие слова, — Степан быстро обернулся, покраснел, мотал головой, укорял старика: — Увидишь, моя правда будет. Если их, сволочей, не вырезать, для чего волынку развели? Расею всю подняли!

— Ты! Студент! — резко обратился Семен Максимович к сыну. — Растолкуй ему, в чем дело. Видишь, ему разойтись не дают? Обижается... как... баба! Никакого дела не способны сделать. Расея!

— Отец! Неправильно говоришь! Не разойтись, а терпения нету! — горько взмолился Степан.

Семен Максимович в дверях взялся за притолоку, обернулся, крепко сжал бледные губы, холодно, спокойно глянул на Степана:

— Нишим был — терпел? Теперь учишь другому терпению.

— Какому? — простонал Степан, ошеломленный холодностью старика.

Семен Максимович неожиданно подарил Степана своею замечательной улыбкой.

— К примеру, окна бить — терпения не нужно. Да и ума не нужно. А хату новую строить — и голова нужна, и терпение. А вы привыкли: терпения у него нету! Окна побил, а потом сидит и дрожит от холода, как собака!

9

Вечером собрались все как будто нечаянно на берегу реки в том месте, откуда хорошо видны огни «Иллюзиона» и где стоит деревянная хибарка бакенщика, валяются опрокинутые лодки и деревянная конструкция, похожая на сани, а на деле представляющая собой поплавок для сигнальных фонарей. По реке еще ходили пароходы, их огни нарядным торжественным шествием иногда проплывали за поредевшей зеленью острова.

Осенний вечер был теплый, ясный, прозрачно-чистый, похожий на воспоминание. В избушке бакенщика светило окно. Казалось, что близко живут люди — и живут счастливо. Даже силуэты костромских крыш, черневшие на слабом зареве города, казались кровлями хорошего радостного человечества.

Алеша пришел с Сергеем попозже. Шли не спеша и находились в том мирном состоянии, когда все горячее, дружеское, о чем можно рассказывать неделями, оказывалось коротким и немногословным и уместилось в полчаса, и поэтому можно не спеша ставить ногу на песок и молча раздумывать над рассказанным.

У избушки бакенщика сидела молодежь. Павел Варавва один стоял темной тенью, да у самой воды отдельно торчала высокая неподвижная фигура капитана. Стояла-стояла, а потом побрела по берегу, да так и исчезла незаметно в прозрачно-сумрачном торжестве осени.

Увидев Сергея, Таня вскрикнула, выбежала из круга, бросилась к нему:

— Слушай, Сергей, как это с твоей стороны...

— Подло?

— Конечно, подло. Ждем, ищем — говорят, пошли на реку, и здесь нету. Ты зазнался. Признавайся, зазнался?

Таня говорила быстро, весело, даже в темноте был виден голубой блеск ее глаз, и Алеша с грустной памятью пожалел о чем-то, что было так мило и так слабо сопротивлялось времени. Говоря свои укорительные речи Сергею, Таня дружески-небрежным жестом протянула Алеше руку, не глядя на него. Рука оказалась нежной и теплой, и Алеша отпустил ее с тем же грустным сожалением.

— Я знаю, для чего я вам нужен,— говорил Сергей.— Вам нетерпеж про Петроград послушать. Только дудки. Целый день рассказывал, рассказывал, теперь хочу наслаждаться жизнью.

На опрокинутых лодках, на санях-поплавке сидели юноши и девушки, беседовали тихонько, иногда смеялись, слушали других, потом снова затихали и так же тихо исчезали группами, а на их место приходили другие. Только Николай Котляров сидел все время в одиночестве и смотрел на реку.

Сергей стоял против Тани, высокий и могучий, говорил басом.

— А помнишь, Таня, когда начиналась война, ты сказала, помнишь, на кладбище сказала: если я вернусь целый и невредимый, ты меня поцелуешь? Помнишь? И вот смотри: давно вернулся целым, все ожидаю и ожидаю, а ты молчишь.

Павел Варавва сказал:

— И я слышал.

Таня оглянулась на Павла с той грацией, которая приходит только в счастливые дни любви.

— Сережа, во-первых, война не кончена. Во-вторых, тогда мой поцелуй был бы для тебя наградой, а теперь я не уверена...

— Ну...

— Согласись, что вопрос далеко не ясен... Но я тебя поцелую, если расскажешь про Петроград.

— Да мало я вам рассказывал? Я тоже человек гордый...

Сергей присел на поплавок рядом со скучающим Степаном Колдуновым. Алеша поднял голову, присмотрелся к слабо мерцающим звездам, что-то тихонько засвистел и замолк.

— Хорошо здесь,— сказал Сергей,— мирно. Собственно говоря, в такой вечер нужно запретить разговаривать. Да еще на таком берегу, на такой реке. Таня, сядь рядом со мной, исключительно для поэзии. Ты посмотри, даже Павел поэтически настроен,— Павел, большевик, революционер, борец за правду. Поверить трудно — такой деятель, а теперь стоит и мечтает.

— Я не мечтаю, я думаю,— ответил Павел и кашлянул: с таким трудом слова выходили у него из уст.

— О чем же ты думаешь?

— Я не умею рассказывать.

— Давай, я за тебя расскажу.

— Сережа, расскажи, голубчик! — Таня взяла Сергея за руку.— А то он всегда молчит, и ничего про него не узнаешь.

— Могу. Он думает, во-первых, о том, что на Костроме ему тесно, и он не может развернуть своих талантов. О том, что на заводе мало работы, и за прошлый месяц он получил только сорок пять рублей. В-третьих, он думает о том, что ты должна уезжать в Петроград, и тогда на Костроме станет еще теснее, в-четвертых, он не уверен, что ты любишь именно его, Павла Варавву, а не меня или Алешу. В-пятых, у него протерлись праздничные штаны. Протерлись потому, что они слишком долго были праздничными штанами.

— Ой-ой-ой, сколько же у него мыслей! — протянул Алеша.— А я думал, что он больше практический деятель. Он угадал, Павло?

— В общем, угадал. Только я думаю не об этом.

— Странно. Как же это?

— Я думаю о России.

Степан быстро повернулся на полавке,— проснулся будто.

Павел переступил с ноги на ногу и с этим движением оживился. Он присел перед Сергеем на корточки и заговорил горячим шопотом:

— Честное слово, о России. Ты, Сергей, все ездешь, много видишь. Ты — прямо счастливый человек. Тебе можно и не думать. А здесь... ты себе представь. Смотри — живут... Сколько людей! И раньше жили?

— Да яснее говори, ничего не разберу, — Сергей наклонился к нему.

— Россия! Вот возьми так и скажи — Россия! Что это такое? Народ такой? Народ такой, да? А почему... почему у нас тут все жили и никогда не думали про это. Ну, там война, конечно, воевали, а вообще не думали, жили — и все. Что, неправда?

Сергей, опершись на колени, завертел головой:

— Конечно, неправда.

— Нет, правда! Я тебе даже так скажу: вот здесь у нас на Костроме, да и в городе процентов шестьдесят... нет, не шестьдесят процентов... восемьдесят таких, которые даже слова этого не выговаривали: Россия.

— Врешь, — задумчиво протянул Сергей, — говорить-то, может, и не выговаривали, а знали все-таки. Чувства не было, чувства, а знали: это Россия, а там Петербург, а в Петербурге царь сидит.

— Да нет! — Павел поднялся сердитый. — Алешка, помогай! Этот медведь такие вещи сразу не поймет. Может, ты ему расскажешь?

— Вы оба ничего не понимаете, — ответил Алексей. — Россия была, и все это знали. И все чувствовали. А только от этого радости людям не было.

— Вот это правильно! — закричал Степан.

— А теперь? — Сергей, наверное, прищурился.

— А теперь я чувствую и Рязань, и Казань, и Саратов.

— И Саратов! — крикнул Степан и махнул в темноте кулаком.

— Видишь? Как он Саратову обрадовался! — Сергей начинал торжествовать победу.

Но Степан тоже торжествовал:

— А как же? Мой город — Саратов! Губерния!

Все расхохотались.

— Да чего вы! Плохая губерния, может?

— У тебя, Степан, саратовский патриотизм. Ты как

думаешь насчет России? Только подальше от своего Саратова.

Видно было в темноте, как Степан наморщил лоб:

— Расея? А как же. С одного бока Расея, а с другого бока боярин. Толку мало! А ежели бояр передавить, да я за такую Расею кому угодно зубы поломаю.

— Кому?

— Да кому хочешь, хоть и тебе.

— А раньше не ломали зубы? При царях не ломали? Наполеону?

— Ломали,— с аппетитом произнес Степан.— А как же? Не лязь. Он, русский человек, не любит, когда лезут.

— Вот хорошо сказал, Степан,— обрадовался Алеша.— Таких гостей провожали с честью!

— А как же иначе,— подтвердил Степан,— гостя нужно провожать: хорошего, чтоб не упал, плохого, чтоб не украл.

— Да что у тебя было красть? Онучи? — Сергей хохотал.

— А что ж? Не смей до моих онуч без спросу.

— А у твоих господ дворцы, заводы, шелк, бархат.

— С моими господами я желаю сам счет свести. Может, мне нужно шелковые онучи сделать, вот как у Степана Разина было, а тут какой-то Наполеон лезет. Чего ему нужно?

— Держи хвост трубой, Степан! Не сдавайся!

— Да нет, Алеша, не бойся!

Степан размахнулся руками, присел и выдохнул из себя широкое слово:

— Эх, силушка, силушка! Да давай же я тебя, добрый молодец, положу на обе лопатки!

Он пошел на Павла, комично перегнувшись вперед, расставив руки. Павел захохотал и отскочил в сторону:

— Что ты меня положишь! Ты Сергея положи!

— Все равно кого. Пропадает сила понапрасну! Положу!

Сергей медленно поднялся на ноги, потряс плечами, попробовал собственные бицепсы. Таня прозвенела:

— Степан, удирай! Сережка в цирке борцом работал!

— Борись, Степа, не бойся,— Алеша сказал это,— из цирка его выгнали.

— По-французски? — спросил Богатырчук.

— Чего я там буду с тобой по-иностранному? — захрипел Степан, облапил Сергея, захватив и руки. Сергей засмеялся, выдернул одну руку, но другой выдернуть не мог. В следующий момент Степан перегнул его «через ножку» и повалил на землю.

Павел закричал:

— Неправильно! Что ты делаешь?

Но Сергей уже не мог сопротивляться от смеха, а застоявшаяся страсть Степана ничего не замечала. Он наступил коленом на сергеев живот и полез на Сергея всей своей массой:

— Проси пощады!

— Да ну тебя к чорту! Медведь!

— Нет, не медведь! Отвечай по порядку, как ротному командиру!

— Ну?

— Скоро у вас там в Петрограде толк будет?

— Скоро, — ответил Сергей со смехом.

— Когда?

— Военный секрет.

— А я тебе не военный? Кто я такой? Отвечай!

— Ты — темная, деревенская сила!

— Ах, так? — Степан затанцевал коленом на сергеевом животе.

Но на этом и окончилось его торжество. Сергей незаметным сильным движением опрокинул Степана на землю и в следующий момент переметнулся в темном воздухе, по всем правилам придавив плечи противника к земле. Степан высоко задрал широкие, тяжелые и бесформенные сапоги, зрители смеялись. Тогда Сергей спросил у Степана:

— Отвечай по порядку, как уполномоченному по фронту.

— Отвечаю.

— Скоро ты поумнеешь?

— Скоро, — захрипел Степан.

— Когда?

— Военный секрет.

— Ах, так? — передразнил Сергей и тоже наступил коленом на живот. Степан ойкнул и замотал ногами, но вырваться не мог.

— Отвечай: завтра поумнеешь?

— Утром или вечером?

— Да хоть вечером.

— Вечером можно.

Когда борцы, отряхнувшись, уселись на свои прежние места, Таня спросила:

— Кто же из вас сильнее?

— Он сильнее, да сила у него неорганизованная. Нахрапом берет,— Богатырчук подмигнул Степану.

10

И снова, как когда-то давно, Алеша и Таня отстали по дороге домой. Они подымались от реки по широкой истоптанной песчаной дорожке. Впереди на блеске огней «Иллюзиона» колебались темные силуэты друзей, доносились оттуда отдельные слова Степана, наиболее энергичного из ораторов:

— Сделаем... еще как сделаем...

Алеша прислушивался к степановым словам и улыбался и в то же время прислушивался к самому себе: почему-то так случилось,— он давно не бывал в обществе дезушек, сейчас очень хорошо было идти рядом с Таней, но ее близость волновала его в совершенно «святом» разрезе. Таня шла рядом с ним, поглядывала на звезды, вздрагивала и зябко подбирала руки к груди. Она была и сегодня хороша, и поэтому Алеша радовался, что она любит Павла, Павел заслуживает счастья. Выходило так, как будто это он, Алеша, устроил для друга такое торжество. Но это не главное. Главное в том, что Таня старый друг, старый друг и нежный, которому хочется все рассказать до конца, то, что любимой, может быть, и не скажешь. А впрочем, кто знает, что можно рассказать любимой?

Алеша говорил:

— Вот ты можешь учиться, а я не могу. Я теперь все думаю о будущем. Если бы я знал, какое оно будет, я мог бы учиться, я поехал бы в Институт гражданских инженеров, читал бы книжки, писал бы письма, ходил бы в театр...

— У тебя такое... неприятное состояние? Неуверенность?

— Нет, почему неуверенность? И почему неприятное? Вот... Лет пять назад у всех было состояние... уверенности.

Все знали, что будет завтра и что будет через месяц. Знали даже, на каких лошадях выедет Пономарев... Это было состояние уверенности. Но это состояние вовсе не было такое приятное, особенно для подавляющего большинства. А сейчас я не думаю о том, что будет дальше. Если бы я начал предсказывать, я, наверно, наврал бы. Но зато я знаю, что я буду бороться за что-то прекрасное, я знаю, чего я хочу и чего другие хотят... И я буду добиваться! Я много думаю о будущем.

— И я тоже... Только я знаю, какое будет будущее, а ты не знаешь.

— И ты не знаешь. И никто не знает. Какое там будущее... Тут и прошлого не знаешь, как следует.

— Прошрое мы знаем, не ври.

— Нет, не знаем. Скажи, пожалуйста, любила ты меня или не любила, когда поцеловала в вагоне?

Таня спокойно подняла на него глаза:

— А как же? Разве можно было тебя не любить. Ты уезжал на фронт, первый офицер с нашей Костромы,— тебя все любили. Я тебя и сейчас очень люблю.

— Ты — прелесть, Таня. Ты — хороший друг. Но ведь я могу... поцеловать тебя, когда ты будешь... первым врачом с нашей Костромы?

— Можешь. А ты так и сделай... Только это в будущем, которого ты не знаешь. А я, видишь, знаю.

— Ничего ты не знаешь.

— Знаю. Мы, большевики, знаем, за что боремся. Мы боремся за социализм. Со-ци-а-лизм!

— Социализм,— это будет прекрасное, справедливое, замечательное время. Без эксплуататоров. Я этого хочу и добиваться буду, и, даже если на десять человек я окажусь самым сильным, я и их поведу. А теперь есть много сильнее меня.

— Богатырчук?

— И Богатырчук.

— И Павел?

— И Павел.

— Алеша, неужели ты такая скромница?

— Нет... Какая же здесь скромность?

— Ты, значит, так и остался таким гордым? И из гордости ты обломал себе петушиный гребень?

Алеша громко рассмеялся:

— Зачем же так? Это... очень некрасиво. Но... Жаль все-таки, что ты меня разлюбила, ты — такая умница.

— Я тебя очень люблю.

— И я тебя «очень».

Счастливые, они остановились на середине широкой улицы и улыбались друг другу. Таня сказала:

— Спокойной ночи.

Впереди Богатырчук кричал:

— Довольно вам! Где вы там... Спать пора!

11

Нина Петровна Остробородько поднялась на крыльцо тепловской хаты и нерешительно постучала в дверь. Был воскресный день, в недалекой церкви звонили, на небе холодной серой пустыней расположилась осень, но было еще сухо, и приятно шибал в нос незлобный запах древесного увядания. Нина Петровна раздумянулась, — может быть, от первой осенней свежести, может быть, от первого визита к Тепловым. На ней ладный, черный жакетик, у шеи он небрежно раскрыт, и видна сияющая белизна шелковой косынки, над которой нежность юного теплого подбородка кажется еще милей.

Послушав, Нина сильнее постучала в дверь, ее губы проделали гримасу возмущения, но сразу и успокоились в еле заметной строгой улыбке, которая всегда шла к ее спокойным, немного ленивым глазам, к точному повороту головы, к румянцу и белизне лица.

Дверь открылась неслышно, и выглянуло удивленное лицо Степана.

— Чего ты дверь ломаешь? — начал он с разгону, но тут же и ошалел, дернул головой и, ничего не сказав, ринулся обратно. В кухне он в панике ухватил руку Василисы Петровны, занесенную над кастрюлей, и зашептал:

— Мамаша! Что делается! Принцесса — не иначе. А может, барыня какая...

Василиса Петровна нахмурила брови:

— Да остепенись, Степан Иванович! Принцесса!

Капитан зашевелился в углу, надул усы, прислушался к разговору, наморщил лоб. Потом вытянулся, схватился за бок, но беду поправить было все равно невозможно:

пояса близко не было. Так, с распушенной гимнастеркой, он и остался стоять в углу, краснея и отдуваясь; в дверях кухни появилась Нина Петровна, на капитана не поглядела, прошла прямо к Василисе Петровне.

— Я вас хорошо знаю: вы мать Алеши. Я много раз видела вас на улице. Здравствуйте.

Василиса Петровна смотрела на девушку внимательно, просто, серьезно, наклонила голову, протянула сухую, сморщенную руку.

— Здравствуйте. А кто вы будете?

— Я Нина Остробородько. Не слыхали?

— Вы — доктора дочка?

— Доктора. Вы у него лечились? Да?

Василиса Петровна улыбнулась:

— Я еще никогда не лечилась...

— У вас такое здоровье?

Степан отозвался:

— Здоровье — это у богатого, а у бедного — жилы.

Нина весело, искоса глянула на Степана:

— А я и вас знаю, мне Алеша рассказывал: Степан Иванович? Говорит, вы — человек мыслящий.

— Какой? Какой человек?

— Мыслящий. Думаете много.

— Во! Наврал тебе Алешка! Это когда в бой итти, тогда действительно все думаешь и думаешь. А если обыкновенно, так тут нечего думать. А ты к нам по какому делу?

— А это уж... есть и постарше тебя. Василиса Петровна, прогоните их: вот его и господина офицера. Мне с вами нужно по секрету.

Господин офицер, забыв, что он без пояса, стукнул каблуками и поклонился, но сразу после этого схватился за то место, где полагалось бы быть поясу, и неловко, боком прошел опасное место мимо Нины, — выскочил в сени. Степан было возразил:

— Да я — свой человек...

— Иди, иди! — Василиса Петровна подтолкнула его.

В сенях капитан оглянулся на Степана:

— Чорт! В таком виде! Я думал, тут таких не бывает.

Степан при помощи пятерни разбирался в затылке:

— Вот тебе и задача! Это ж тебе барыня, а все-таки и поглядеть приятно: женщина, сразу видно, — я даже

взопрел, говорит-то как: Степан Иванович — мыслящий человек! Чего это она пришла, послушать бы...

Капитан с досадой похлопал по карману, — папирос не было. Степан был в нетерпении:

— Да что ж мы? Здесь и будем стоять? Капитан!

— А может, они недолго.

— Две бабы собрались? Недолго?

— И курить нечего.

— И курить нечего! И моя махорка там. Вот, брат, так и на войне: когда наступаешь, — видно, куда тебе нужно. А когда отступаешь, ну... куда попало, туда и прешь. Нам с тобой надо бы в комнату бежать, а мы в сенцы. Как это называется? Это называется: паническое бегство.

Он приоткрыл дверь в кухню:

— Василиса Петровна! Разрешите перевести войска на новые позиции.

Василиса Петровна что-то ответила, потом донесся молодой женский смех.

— Получили разрешение, идем, капитан.

Через кухню Степан прогремел, как мог, капитан прошел на носках, расставив руки, не глядя в стороны. За ними следили две пары серых женских глаз: одни — молодые, сильные, красивые, другие — бесцветные, изжитые, но и те и другие улыбались, и в тех и в других искрилась ласковая ирония.

— Помирились, — сказал Степан, закрыв за собою дверь. — Чего этой нужно, ну, что ты скажешь?

Капитан копошился в своем табачном богатстве. Из кухни глухо доносились голоса. Степан покружился по комнате и не утерпел. Дверь закрывалась неплотно, и он с доступной ему и его сапогам грацией придвинулся к щели и насторожил ухо. Капитан закурил папиросу, замахал спичкой и только тогда обратил внимание на притаившегося у дверей Степана. Потухшая спичка остановилась на самой середине дуги, он возмущенно шепнул:

— Степан!

— А?

— Что ты делаешь, чорт сопатый? Разве можно подслушивать?

Степан отмахнулся от него и открыл рот, чтобы лучше

слышать. Капитан с решительной хмуростью подошел к нему, тронул за локоть:

— Это же безобразие! Они не хотят, чтобы мы слышали — значит, секрет.

— Да отстань ты,— рассердился Степан.— Секреты! Вот я секреты и слушаю!

— Да как тебе не стыдно? Это подлость, понимаешь!

Капитан тихонько бубнил в усы. Степан злобно обернулся к нему и тоже зашептал, передразнивая капитана:

— Подлость! Что это тебе, буржуи какие или меньшевики, допустим? Свои люди говорят, чего там! Вот помешал мне. Иди себе! «Подлость!»

Он снова устроился у двери и через полминуты завертел головой от удовольствия. Капитан отошел к окну и изредка оглядывался на Степана с осуждением. Степан долго слушал, потом в последний раз крутнул головой, открыл дверь в кухню и ввалился туда с громкой речью:

— Да вы меня спросите, милые! Вы меня спросите. Что же вы без меня тут толкуете? Ай-ай-ай! Как же это можно — такие дела без мужика?

Вторжение Степана было встречено женщинами по-разному. Василиса Петровна глянула на Степана строго, махнула рукой:

— Господи, какой ты нахальный стал, Степан Иванович!

Но Нина Петровна спокойно подняла на Степана любопытные глаза:

— Да... Василиса Петровна! Он все равно подслушивает. Куда мы от него скроемся? Пускай уж тут сидит.

Она повернула к хозяйке добродушное, понимающее лицо, лукаво повела бровью. Василиса Петровна улыбнулась, довольная. Очевидно, Степан меньше всего мог помешать ей.

— Хорошо, говори, Степан Иванович.

Нина чуть-чуть приподняла нижнюю губу. Это у нее выходило дружески-кокетливо,—движение милого, полнокровного, женского превдсходства:

— Я тебя на «ты» называю, потому что и ты меня на «ты» называешь.

— А? На «ты»? Да называй, а как же. Тебе нужно... не знаю, как звать-то тебя: Нина, что ли?..

— Нина.

— Ну, пускай Нина. Тебе нужна, значит, хата, и чтоб кормили тебя. Здесь у нас на Костроме. А ты нам рабочий клуб устроишь. А папашу твоего, доктора, выходит, как будто по шапке.

— Не по шапке, Степан, просто — далеко ходить. Ходить далеко.

— Все равно по шапке, далеко там или близко. Ты вот не хочешь, чтобы он за тебя платил?

— Не хочу. Я взрослая и заработаю.

Степан движением головы поставил точку:

— И зарабатываешь. И раз на заработки пошло, — значит, тебе нужно подешевле, попроще. И мебели у тебя никакой нет.

— Мебель есть.

— А-а?

— Есть же у меня кровать, столик, ширмочка. Этого ты, значит, не подслушал.

— Это я пропустил, верно. Капитан этот помешал. Вцепился, понимаешь, говорит: подлость. Как будто тут меньшевики или другие какие соглашатели. А тут свои.

— А если бы — соглашатели, ты не подслушивал бы?

— Чего?

— «Чего!» Оглох сразу! Отвечай, а не чегокай. Хитрый какой!

— Если бы это они? Эта шатия? Чтобы они, допустим, разговаривали, а я бы прозевал, что ли? Как же это можно? Там — другое дело!

Женщины рассмеялись громко: Василиса Петровна — себе в фартук, Нина — откидывая голову. Хозяйка сказала с укором:

— Другое дело! У тебя все дела одинаковы: где тебя ни посеи, везде уродишься.

— Это верно, мамаша. Вот и жито такое бывает. Это все от бедности, понимаешь. А только пускай она скажет, почему с этим делом к нам пришла?

— Я никого на Костроме не знаю. А Алексей — мой друг.

— Да ведь ты не к Алешке, а к нам.

— Не к вам, а к Василисе Петровне. Хотела познакомиться, а ты сам пристал, как смола.

— Смола не смола, а давай о деле говорить. Есть тут хорошая комната, с занавесками. И хозяева подходящие,

трудящиеся, не обидят тебя: старик да старуха. Тут рядом. Пойдем поговорим. Что касается кормов... видишь, кто тебя знает, может, ты и не привыкла. Ты, небось, в жизни каши не ела, а все котлеты да пряники. На тебя, если посмотреть, корма у тебя хорошие! Смотри, какая ты гладкая.

Нина громко рассмеялась. Василиса Петровна слушала Степана серьезно, было видно, что она придает степановым словам некоторое значение.

— Голубчик Степан... подожди. Хозяева-то меня не даром кормить будут? А я на котлеты заработаю.

— А без котлет ты не способна?

— Хочу гладкой остаться.

Степан с удивлением встретил такое заявление, даже улыбаться перестал, перевел взгляд на хозяйку:

— Во, мамаша, какой народ пошел упорный! Да сколько ты там зарабатываешь, в клубе в этом самом?

— Заработаю немного, но я все деньги буду тратить на котлеты.

— На котлеты?

Перед лицом этой новой решимости Степан снова обратился к Василисе Петровне.

— Василиса Петровна! А может, она и правильно говорит? Подожди, товарищ Нина, вот сделаем... это самое... Керенского выгоним, другая жизнь пойдет, а пока все-таки кашу тебе придется попробовать. На котлеты все равно не зарабатываешь. Да и какая там у тебя работенка? Книжки будешь выдавать?

— И книжки выдавать. И спектакли ставить. Сегодня будут сцену устраивать.

— В столовой?

— В столовой.

— А этот... Убийбатько?

— По шапке. Аппарат у него купили.

— Ты купила?

— Не я, а заводской комитет.

— Наш комитет?

— Завода... Пономарева. И железнодорожники помогли...

— Да когда же вы успели?

— Прозевал, Степан Иванович.

— Прозевал.

— А у нас уже и репетиции идут.

— Это что такое? Представление будет?

— «Ревизор» Гоголя.

— Ревизор? Видал такое представление. Там этот... приезжает. Я, говорит, ревизор, а потом, оказывается, обыкновенный соглашатель. Так где же ты этих наберешь... актеров?

— Да уже репетиции идут. И Алеша играет.

Степан закричал:

— Алеша?!

Даже и Василиса Петровна тихонько вскрикнула:

— Алеша?

Возгласы удивления были так выразительны, что и капитан просунул голову в дверь. Степан сорвался с табуретки, протянул к капитану руку:

— Мы тут с тобой сидим, а они представление делают!

Капитан взялся за пояс и смело вступил на кухню:

— Представление?

— Мы и на вас рассчитываем, у нас некому играть Тяпкина-Ляпкина.

Степан все кричал в одном тоне:

— Алешка в актеры записался! Вот жизнь пошла, не поспеешь никак!

Василиса Петровна, наконец, опомнилась:

— Да когда же он успел?

— А вы разве не знали?

— Какой же человек! — Степан никак не мог притти в себя. — Ничего не сказал. Видишь, капитан, как они тайно делают?

В сенях стукнули дверью.

— Алешка идет! — закричал Степан. — Вот я у него спрошу: почему тайная дипломатия?

Алеша вошел из сеней, хотел было палкой пырнуть Степана в живот, но увидел Нину, покраснел, засмеялся смущенно:

— Нина! Что такое? Как это с вашей стороны... Ах, какая вы! Мама, вы познакомились?

Степан озлобленно махнул рукой:

— Да что ты: мама, мама? Ты говори, почему такое? Почему секреты? Представление играешь, а мы? Как остолы, ничего не знаем!

— Представление? Нина, вы рассказали? — Алеша, расстроенный, опустился на табурет, как был, в шинели.

— А разве нельзя было, Алеша?

— Да... понимаете, я забыл вас предупредить... Я, мамочка, сюрприз хотел для тебя сделать. И для бабки. «Ревизор»... Сюрприз, но теперь еще лучше сюрприз: как это замечательно, что вы пришли! Знаете, что? Вы у нас будете обедать...

— Некогда нам обедать,— сказал Степан,— нам нужно итти квартиру нанимать.

— Вы решили, Нина? Вы решили? — Алеша схватил ее руки, заглянул в глаза.— Неужели решили?

Нина обратилась к нему, подняла спокойные, ласковые, улыбающиеся глаза, прошептала только для него одного:

— Решила, Алеша.

Василиса Петровна следила за ней внимательно, с осторожной, немного сомневающейся симпатией, потом пожала плечами:

— Какие времена настали. Раньше люди богатства добивались, а теперь бедности добиваются. И еще смеется.

Нина поймала ее руки, сложила вместе, подняла вверх, опустила на старый фартук.

— Василиса Петровна! Не бедности добиваются, а счастья.

Василиса Петровна смотрела ей в глаза, не отняла рук:

— Значит, счастье у нас, на Костроме? Здесь его никогда не было.

— А теперь будет.

Даже Степан притих перед этими вопросами, быстро завозил ладонями по усам. Не утерпел:

— Верно. Вот какая ты разумная женщина, товарищ Нина. Просто даже не верится. Счастье, оно... какая смотря компания. А теперь компания большая будет. А бедность — чепуха. Бедность, понимаешь, когда у человека духа нехватает. Идем, Нина, нанимать квартиру.

— Успеете нанять,— сказала Василиса Петровна.— Сейчас придет отец, будем обедать. Обед сегодня варил... товарищ Михаил Антонович.

Василиса Петровна сдвинула весело брови. Капитан подошел к Нине, стукнул каблуками, поклонился:

— Просим с нами...

— Как у вас тут... Алеша, отчего у вас так хорошо?

— У нас?

Алеша оглянулся. Он привык к своей хате и не знал, что в ней особенно хорошо. Табуретки? Или старая клеенка на столе? Он вспомнил богатый уют дома Остробородько, дорогую простоту, невиданные на Костроме вещи: пианино, ковры, картины, статуэтки, безделушки. А в этой кухне и Нина казалась случайно попавшей драгоценностью среди таких обычных, припорченных трудом и жизнью людей: матери, Степана, капитана. Нина поймала его взгляд, покраснела:

— Алеша, голубчик, вы не думайте ничего плохого. Вы не думайте, я больше туда не вернусь никогда. У вас люди... Василиса Петровна, прогоните их, я поплачу немножко...

Она и в самом деле с неожиданным изнеможением склонилась на плечо Василисы Петровны. Степан вытаращил глаза, потоптался на месте и в панике бросился из кухни, по дороге ухватил за рукав капитана. Цепляя сапогами за двери, оба буквально вывалились в другую комнату. Там Степан наморщил лоб, развел руками и сказал тихо:

— Ах ты, жизнь! Отчего плачут люди?

В кухне Алеша притаился в углу и не знал, уходить ему или оставаться. Василиса Петровна положила руку на голову Нины, прижала ее к плечу. Нина подняла голову, быстро смахнула слезу:

— Трудно быть сильной, Василиса Петровна! Ах, как трудно! А тут еще всякие чувства... Влюбилась...

— Влюбилась? В богатого?

— Вот еще чего нехватало! В богатого! Я серьезно говорю, я так... хорошо влюбилась, но только нельзя же все сразу: и новую жизнь начинать, и влюбляться. А кроме того, я не привыкла.

— К чему не привыкли?

— Я не привыкла к хорошей жизни. Мне хочется быть влюбленной так... долго... Сейчас я такая счастливая, вы себе представить не можете. Хожу и все ищу зеркало, хочется на себя посмотреть, какая я счастливая.

А то я все была... женственная женщина! Женщина для женихов. Все женихи, женихи, меня нужно замуж выдавать, обязательно нужно, а если не выдать, так я буду несчастная. Все смотрят, папа беспокоится, тетя хлопочет, а женихи все ходят и выбирают, подхожу или не подхожу. А я должна сидеть, чай разливать, вот так пальчиком нужно.

Она подняла руку и показала, как нужно действовать пальчиком, разливая чай: отставила мизинчик, тонкий, розовый, нежный, сама посмотрела на него сбоку и рассмеялась. Открыто, просто рассмеялась и Василиса Петровна:

— Ну, ну...

— Не хочу, Василиса Петровна,— вы такая хорошая, вы все понимаете, не хочу женихов, и не хочу замуж выходить, и пусть мне никто не объясняется в любви. Пусть и не заикается...

Она строго посмотрела на Алешу:

— Вы чего на меня смотрите? У вас много других дел: и Красная Гвардия, и городничего должны играть. Он — шикарный городничий, вот увидите.

Василиса Петровна доверчиво положила руку на колено Нины:

— Значит, пусть они не воображают? Да?

— Алеша, видите, какая у вас мама. Вы ничего не понимаете, а она все поняла. А теперь я хочу познакомиться с вашим отцом. Если и он такой же замечательный, тогда я буду целый час реветь... целый час...

— Да зачем же так...

— От зависти, Василиса Петровна: вы подумайте, он — мужчина, он — боевой офицер, он в Красной Гвардии, он был ранен, контужен, у него такая мать, да еще и такой отец.

Нина перечисляла все эти блага с нескрываемым негодованием. Василиса Петровна снова громко рассмеялась:

— А вы чай должны разливать.

— Как жаль, что вы не моя мать, все себе Алеша заграбастал. А у меня отец — доктор, богатый доктор, ужас! А матери я и не помню. Я буду к вам часто приходить, только, пожалуйста, не думайте, что для него,—

я буду приходить, когда его не будет дома. Интересно: какой у вас отец, Алеша?

Василиса Петровна сидела на табуретке и улыбалась. Сейчас было хорошо у нее на душе. Рядом с ней сидит красавица, нежная, ласковая, теплая, немножко еще чужая и непривычная, но уже родная. Удивительно было слушать, как она просто и прямо, в лоб, говорит о своей жизни, но Василиса Петровна знала, что говорит она правду. И было приятно, что ее Алеша нравится этой женщине, было хорошо, что сын у Василисы Петровны такой счастливый, и было радостно, что этому сыну Нина завидовала. А кроме того, в печке за заслонкой ожидает обед, скоро придет Семен Максимович, а в другой комнате притаились новые друзья. Жизнь, так долго бежавшая по скучным и трудным плесам, вдруг на старости раскатилась широкой, свободной и интересной рекой.

Семен Максимович вошел из сеней строгий, даже похудевший как будто. Он был в замасленном рабочем пиджачке и в очень старых штанах, заплатах и заштопанных. Повесив пальто на гвоздик, он остановился против Нины с некоторым замешательством, потирая руки, измазанные до самого черного цвета.

Высокий, прямой, суровый, он, вероятно, производил на нее впечатление слишком чуждого, совершенно непонятного явления. По обеим сторонам носа у него расположились такие же черные, масляные пятна, и от него исходил запах концов, металла, давно заношенного рабочего платья. Его волосы, усы и борода растрепались и тоже были испачканы. Он ни в каком отношении не напоминал ни стройного, румяного Алешу, ни мудрую, улыбающуюся старость матери. А против Семена Максимовича стояла Нина Остробородько. Она сияла глубокой, до самых костей проникающей холеностью, свободой движений, простой обдуманностью наряда, радостью и покоем, пережитыми в жизни. Но именно она в сильном волнении сделала шаг к нему, что-то заблестело в ее глазах, она произнесла хрипло:

— Здравствуйте.

Она не решилась протянуть руку, не улыбнулась приветно, она склонилась перед ним в поклоне, а подняв голову, засмотрелась на старика, как бы неуверенная в ответе.

Семен Максимович продолжал потирать руки, кивая головой, отчего еще в больший беспорядок пришли его легкие, седые волосы:

— Здравствуйте. Кто же вы такая будете?

— Кто я такая? — Нина оперлась рукой на стол и задумалась. Ее золотая, полная дыхания прическа склонилась, старик глянул на нежный затылок и перевел взгляд на Алешу. Алеша сказал:

— Отец... Я хочу, чтобы она была твоим другом. Это Нина.

Нина, еще опираясь на стол, вкось посмотрела на старика, посмотрела с умным, чуть-чуть кокетливым интересом. Василиса Петровна стояла в сторонке и тоже присматривалась к мужу с любопытством. Семен Максимович хотел захватить бороду рукой, но вспомнил, что рука у него испачкана, сжал ее в кулак:

— Так. Моим другом чтоб была. Моим?

— Да, твоим, отец, — ответил Алеша серьезно, глядя в глаза.

— Угу! — Семен Максимович тронул губы в улыбке и только тогда нашел своим взглядом заинтересованный взгляд Нины.

— Раз сын говорит, — я ему верю. Буду другом. Снимайте вашу кофту, мать нас покормит.

Нина улыбнулась Семену Максимовичу в открытую:

— А я вас не объем, Семен Максимович?

— В том беды нет, если объедите. Своим можно. А где эти... чудаки?

Из комнаты выглянул Степан, бросил быстрый взгляд на Нину, загремел:

— Отец! Алеша-то наш в комедианты записался, сюрприз тебе готовит.

— Знаю, — Семен Максимович пошел к умывальнику. — Про это я раньше Алексея знаю. Сюрприз сегодня другой имеется: объявление вывешено: завод закрыт, и все рабочие увольняются.

Нина посмотрела на Василису Петровну и прошептала:

— Ай!

Семен Максимович оглянулся на нее от умывальника:

— Ничего! За обедом об этом поговорим... по дружбе.

Собственно говоря, работать на заводе было можно. Рабочие пришли в обычное время с завтраком подмышкой. Как всегда, у проходной будки собралась маленькая толпа наиболее аккуратных, шутили и посмеивались. И сегодня табельщик был на месте и своевременно открыл табельные доски. Можно было повесить марки и расходиться по цехам, а в цехах некому было помешать работе.

Но никто марок не вешал и не спешил проходить в цеха. Рядом с проходной будкой, на старых жидких воротах, белел большой лист, на котором идеальным, крупным, старательным курсивом было написано, что завод закрывается из-за отсутствия материалов. Рабочим предлагалось получить расчет в течение ближайших трех дней. Под объявлением тем же курсивом было выведено: «владелец завода», а рядом стояла известная всем жирная подпись: «П. Пономарев».

К объявлению подходили по двое, по трое, и не столько читали его, сколько рассматривали,— содержание объявления было всем хорошо известно еще вчера вечером. Столяр Марусиченко, щупленький, с бородкой в виде двух сероватых клочков, щербатый и всегда оживленный, долго задирает голову на объявление и, наконец, сказал тонким, ехидным голосом:

— Да откуда он взялся такой: «владелец завода»? Товарищи, это не он.

Марусиченко повернулся к толпе и широко открыл глаза:

— Это не он придумал.

На Марусиченко оглянулся высокий, черномазый, спокойный:

— Тебе не все равно, кто придумал?

— Не все равно, товарищи. Разница. Его, сукиного кота, найти нужно и допросить: кто он такой? Пономарев на заводе уже два месяца не показывался, а тут на тебе: владелец завода!

Старый Котляров сидел на ступеньках проходной будки, вытянул одну ногу, рылся в кармане, серьезными глазами задумался, вглядывался в площадь:

— Ты, Петр Иванович, брось кулаками размахивать.

Будешь ты допрашивать Пономарева! Не в Пономареве дело.

— И я говорю: не в Пономареве. А я что говорю?

— Да ты ерунду говоришь,— Котляров протянул руку к объявлению, а с руки болтается кiset с махоркой,— читал ты или не читал? Нет материалу. А мы и без Пономарева знаем, что нет. Ты когда держал в руках рубанок?

— Да еще на прошлом месяце.

— Так чего кричишь: Пономарев? Не в Пономареве дело, а в материале.

— А Пономарев что?

— А Пономарев ничего. Просто себе Пономарев.

Марусиченко завертел головой, прицепился:

— Что это ты, Никита Петрович, за хозяев стал говорить!

Котляров насыпал на бумажку махорки, свернул, зажал крепкими пальцами шуршащий газетный обрывок, склонил голову:

— Хозяева тут — мы с тобой. Надо достать лесу и работать. Дело нужно делать, а Пономаревых сюда пускать нечего,— отвязались и пускай себе.

По площади бежал Павел Варавва, озабоченно поглядывал на ворота. Бежал, бежал, потом круто свернул, погнался за кем-то, закричал:

— Куда? Куда расходитесь? Митинг будет! Муха сказал: здесь, на площади!

Котляров затянулся махоркой, кашлянул:

— Вот это дело. Поговорить надо.

Павел говорил и кричал и все вскидывал правую руку. Наконец, добрался к воротам. Ехидный Марусиченко пошел к нему навстречу:

— Ну, большевики? Чего теперь будем делать? Вон Котляров молодец! Все говорит хорошо: Пономарев — что? Мы — хозяева: купить лесу и работать!

Павел закинул голову, беззвучно захохотал:

— А что? Он правильно говорит! Никита Петрович,— правильно!

Несколько человек придвинулись к Павлу. Тот же высокий, черный отвернулся к реке:

— Эх, затеяли кашу! Лес они будут покупать! Кто это такой покупатель,— ты, Котляров?

— Да хоть и я, товарищ Борщ! — Котляров запихи-

вал короткую папиросу в рот, обжигал пальцы, сердился на папиросу.

Борщ все глядел на реку:

— Пономарев не купил, а ты купишь.

— А я куплю.

Борщ вдруг перестал быть спокойным. Плюнул, взмахнул головой, сказал со злостью:

— Как ребята малые: «Я куплю!»

Он отошел в сторону, заложил руки в карманы. Грязный узелок с завтраком сиротливо торчал у него из подмышки и, забытый хозяином, начинал уже вылезать наружу, готовый вот-вот упасть на землю. Борщ с досадой тормознул его, задвинул снова подмышку и снова злобно уставился на влажную широкую площадь.

Толпа у ворот увеличивалась. Многие уже устали и уселись под длинным забором, с трудом удерживаясь на нижней продольной планке. Другие стояли кружками и кучками, кто помоложе, прохаживались, разбрелись по всей площади. Говорили спокойно, шутили незлобно, матерились больше к слову, — по всему было видно, работали головой, задумывались. От проходной будки завода Карабакчи прибежал вихрастый, остроносый парень, запыхался, доволен был ответственным поручением; кричал еще издали:

— Товарищи! Товарищи!

К нему обернулись не спеша. Он налетел на толпу, забегал глазами по лицам, вдруг засмеялся:

— Да кто у вас тут старший?

— Тебе Пономарева нужно?

Все взыграли смехом, переглянулись весело. Парень отмахнулся с приподнятым оживлением:

— Да пошли вы к чорту! «Пономарева»: Большевики ваши где?

— Лес пошли покупать, — сказал тот же голос, и снова все захохотали.

— Настоящих нет, где-то завалились. Маленький есть. Эй, Павло!

— Павло-о! Иди сюда, за старшего будешь!

Павел из какой-то далекой кучки вырвался бегом.

Остроносый парень подставил ладонь и ритмически застучал по ней пальцем, как будто играл в сороку-ворону:

— Сказали! У нас: заводской комитет! Во-первых, когда у вас митинг, придем, значит, поддержим. Только, во-первых, с флагами придем. Так и сказали: придем, будьте покойны. С флагами, понял?

— Да он ни за что не поймет. Он не понимает, как это с флагами.

Павел оглянулся. На него глядел Марусиченко и смеялся, переднего зуба у него не было.

— Спасибо! Это здорово! Приходите! А наши флаги где? Чорт!

Он на ходу потрепал посланца по плечу и побежал к проходной будке. Парень направился к воротам фабрики Карабакчи, но по дороге вспомнил, снова полетел назад и закричал уже всем:

— Через полчаса, значит! — успокоился и не спеша побрел к воротам.

По дорожке, размахивая палкой, хромал Алеша. Ему кричали издали:

— Эй, главнокомандующий, а где твое войско?

Алеша под углом повернул, подошел, перебросил палку в левую руку, отдал честь.

— Отца не видели, товарищи?

— Семена Максимовича? Говорят, в город поехал.

— В город?

— Поехал! Как помещик какой! Поймал извозчика и на извозчике. Как барин!

— А ты, Алексей, смотри,— генерал, прямо генерал.

Шинель на Алеше застегнута до самого воротника, туго перетянута поясом, через плечи перешли ремни, новые, еще блестящие, на боку сурово и ловко притаилась кобура, и из нее выглядывает колечко нагана. Поднявшись на носки, Алеша крикнул на всю площадь:

— Кто в Красной Гвардии,— на завод! Быстро!

К нему подбежало несколько человек. Кто-то спросил:

— С винтовкой?

— Да вчера же я посылал: с винтовкой и с патронами.

— Ах ты, чорт! Домой лететь!

— И лети!

Павел Варавва тоже ахнул:

— Кто сказал?

— Не твое дело: я тебе говорю,— исполняй приказание!

Окружающие засмеялись. Марусиченко вылез поближе, хватил Павла по плечу:

— А ты поговорить хотел. Военная муштра, брат: исполняй приказание!

Павел умильно склонил голову:

— Да нет, Алеша, скажи!

— Отец приказал: постановление заводской организации.

— Здорово! — Павел в восторге побежал к своей хате.

Степан летел через площадь, сотрясая землю, развеивая лапами шинели, шапка держалась у него где-то возле шеи, мокрые патлы лезли в глаза, он одной рукой отбрасывал их в сторону, а в другой держал винтовку со штыком, подымал ее и что-то орал встречным.

— Колдунов! Колдунов, гляди! — Хохот пошел по всей площади.— Смотри, Колдунов в наступление пошел!

Кто-то встречный дурашливо бросился удирать от Степана и заорал благим матом, другой поддержал и шарахнулся вбок, воздевая руки.

— Где наши? — закричал Степан, подбегая.

— Наши все здесь. А ты на кого пошел? Жарь с колена прямо по окнам! — Марусиченко показал на блестящие окна пономаревского дома.

Степан опустил винтовку, ослабил:

— Я тоже по окнам с удовольствием бы, да Семен Максимович запретил окна бить. Говорит, вы привыкли, сиволапые...

— Семен, тот не позволит. Ты в хорошие руки попал...

— Товарищи, не видели моего начальника?

— Алешку? Да вон же... Догоняй!

Степан кинулся вдогонку, и снова полы его шинели разошлись по ветру, и снова поднялась винтовка. Он орал на всю площадь:

— Алешка-а!

Алеша обернулся, удивился, нахмурился. Степан был встречен привычной с фронта военной мимикой:

— Колдунов! Это что за вид? Почему все враспашку? Штык почему привинтил? Патроны где?

Степан остановился, как вкопанный, по всем правилам приставил винтовку к ноге, другой рукой начал опрашивать шинель.

— Патроны где, спрашиваю.

Степан поднял глаза на Алешу и увидел, что нет перед ним никакого простого, веселого друга, а стоит командир, вредный, требовательный и справедливый. Он переступил, заморгал. Возле них собрался уже кружок, но никто не шутил, не улыбался, все захвачены были глубоким содержанием события.

— На какого ты дьявола нужен с пустой винтовкой? Ты же вчера сам объявлял по всей Костроме: патроны! Для чего штык, для чего привинтил, ирод? В штыковую атаку пойдешь? Прыгаешь по площади, как козел, кричишь! Красная Гвардия!

Алеша был гневен, и Степан залепетал, вытянувшись:
— Так что, господин...

И умолк. Понял, что все кончено. Отвернул лицо в сторону и увидел вспыхнувшие молчаливые улыбки.

У Алеша вздернулась верхняя губа:

— «Господин»... Что ты мелешь?

Степан вдруг рассердился, плюнул, мотнул головой:

— А чтоб тебя...— улыбнулся открыто.— Запутался, Алеша! Я в один момент! Забыл про патроны!

Он ринулся назад, и опять его полы запарусили по площади. Алеша хлопнул руками по бокам:

— Ну, что ты с ним сделаешь?

Вокруг засмеялись любовно, провожая глазами рейс Степана Колдунова. Алеша двинулся к проходной будке.

13

Нашлись мастера устроить трибуну из ничего. Котляров только специальным глазом глянул на забор и кивнул соседу:

— Ворота снимем.

Через двадцать минут трибуна была готова. Муха, низенький, скуластый, небритый, стоял внизу и сердился:

— Какой дьявол такое придумал? Котляров? Так он же упаковщик. Другого не нашлось?

Отец Мухи,— а отцу было уже восемьдесят лет, и у него давно колени начали расходиться в стороны,— беззубый и сгорбленный, ответил сыну:

— Так он, Гриша, захватил тут всю власть. Не успели оглянуться, смотрим,— трибуна. Он туда залезет, а

обратно сигает. Один раз сиганул — чуть ногу не выломил.

Котляров сидел наверху, трибуна под ним ходуном ходила, он смеялся:

— Укрепим, — хорошая трибуна. Ленин с грузовика говорил, слышали? Слышали — спрашиваю?

— Да слышали!

— Думаешь, ему легко было на грузовик?.. Туда посадили, а обратно на руки приняли. Так то ж Ленин?! А здесь кто будет говорить? Ты, Григорий Степанович? Прямо на мои плечи, как на лестницу, становись.

— Богомол приедет.

— Богомол? Богомол сиганет. Богомолу плеча не подставляю, — Котляров каблуком хватил по гвоздю, торчащему на трибуне, гвоздь свернулся в сторону.

На площади появились женщины. У всех ворот и калиток запестрели платки и юбки. Мальчишки стайками переносились с одного конца площади на другой. Отец Иосиф вышел из церковного дома, посмотрел на противоположную сторону и обошел площадь под домами. Марусиченко долго следил за ним, поворачиваясь на месте, а потом присел от удовольствия:

— Правильно, батя, правильно. Теперь ходи, отрясы лапку.

Из ворот фабрики Карабакчи показалось шествие. Впереди несли большой красный плакат, на нем написано:

Вся власть советам.

На широкой площади, кое-где покрытой помолодевшей осенней травой, это шествие сразу выделилось, как нечто существенное. К нему медленно двинулись струи народа, мальчишки побежали стремглав. В тот же момент из ворот завода Пономарева выступило другое шествие: тоже по четыре в ряд шли красногвардейцы. Винтовки у них за плечами, пиджаки, пальто, шинели туго перетянуты ремнями, а на ремнях красуются новые патронные сумки. Алеша идет слева, молодой и подтянутый, и потихоньку напоминает:

— Держите ногу, народ смотрит!

Ногу держали. Даже на мягком песке шаг красногвардейцев отдавался четким ритмом. Впереди колонны.

Николай Котляров, напряженный и серьезный, нес знамя.

В колонне табачников несколько человек — тоже с винтовками. Озабоченный Муха быстрым шагом направился к месту встречи. Закричал издали:

— Алексей! Слушай, Алексей!

Алеша оглянулся, заторопился, подал команду:

— Отряд... стой!

Муха подбежал довольный, табачники тоже улыбались:

— У тебя, Муха, настоящее войско!

— А как же! Товарищи... Если с оружием — в одну компанию... Чего там... Одно слово: пролетариат.

Высокий товарищ, с приятным чистым лицом, обратился к своим:

— Я думаю, он разумно говорит. В одном месте вся сила будет. Как вы, товарищи, скажете? И командир у них боевой, все как следует...

Муха ладонью разрезал воздух:

— Сильнее будет! Пускай посмотрят... эти... эти... городские.

— Очень замечательно! — из колонны табачников первый с винтовкой вышел к Мухе. — А чего это железно-дорожники... есть у них Красная Гвардия?

— У них все не ладится, — Муха прищурился в направлении к вокзалу. — Народ такой, — служба движения! Выходи, выходи, ребята!

В колонне табачников закричало несколько голосов. Женщин здесь было большинство. Они вышли из строя и засмотрелись на Красную Гвардию. Около десятка вооруженных озабоченно ткнулись в шеренги отряда. Описывая дугу своей палкой, Алеша крикнул:

— Товарищ Колдунов! Принять пополнение, рассчитать, проверить оружие.

Уже подпоясанный, деловой, расторопный Степан приложил руку к козырьку:

— Слушаю, товарищ начальник!

Он старым полковым жестом загреб левой рукой:

— Становись, которое пополнение!

Алешу дернули за рукав. Рядом стояла и в смущении переступала с ноги на ногу чернобровая, зардевшаяся девушка. Ее голова аккуратно была повязана большим

серым платком, на груди обильной росью расходилась бахрома.

— Здравствуйте,— сказала она тихо и опустила улыбающееся лицо.— Вы меня не признали, видно?

— Маруся!

Она со смехом рванулась в сторону. Но он поймал ее за плечи и обнял левой рукой с палкой, а правую предложил для рукопожатия. Вокруг громко рассмеялись девушки:

— Маруся кавалера нашла!

— У! Кавалера,— оскорбилась Маруся, но немедленно же улыбнулась, крепко пожала руку и даже встряхнула ее:

— А я вас сразу признала! — Ее глаза с сердитой огневой силой пробежали вокруг.— От идите, я вам чтой-то такое скажу.

— Куда итти?

— Идите от сюда. От сюда. А то они смеются...

— Ты на них не смотри, рассказывай.

— Я ничего не хочу рассказывать, я только одно. Как я тогда плакала, когда б вы знали! И хотела все до вас пойти. А потом приехали батюшка с матушкой и меня выгнали. Говорят: иди себе к своим пролетариям. А я сейчас поступила на карабакчевскую.

— А где ты живешь?

— А я тут живу на Костроме.

— У отца?

— Мой отец еще в ту войну убитый, а я живу здесь у тетки. Товарищ Теплов, а отчевой-то в Красную Гвардию только мужчин принимают? А если женщина, так почему ей нельзя?

— Видишь, почему: еще никто не просился из женщин. Да сколько же тебе лет?

— Семнадцать.

— Маленькая ты...

— Маленькая! Ой, господи ж боже мой, маленькая! А как стирать у батюшки, обед варить и на базар ходить, так вы не говорили: маленькая!

— Знаешь что, Маруся? Одной тебе будет... скучно, понимаешь? Если бы вдвоем. Подруга у тебя есть хорошая?

— А как же ж! Такая есть подруга!

Степан гупнул сапогом рядом:

— Алеша, едут! Смотри, на машине какие-то.

— Маруся, ты приходи ко мне с подружкой. Поговорим.

Он подошел к отряду. Павел Варавва, становясь в строй, подмигивал: Алеша увидел длинную машину и, к своему удивлению, рядом с шофером — отца: Семен Максимович был на голову выше шофера, ветер растрепал его легкую бороду, от этого старик казался еще строже. Светлая, летняя промасленная фуражка надулась ветром и была похожа на боевой шлем.

Шестьдесят человек Красной Гвардии без команды выстроились. Линия свежих патронных сумок придавала ей вид действительно внушительный. К правому флангу подбегал с винтовкой старый Котляров:

— Опоздал малость, с трибуной с этой. Что это за паны в машине? Да там же твой батько, Алеша!

На заднем сиденье автомобиля Алеша узнал председателя городского совета рабочих депутатов Богомола. По сторонам от него подпрыгивали на подушке, удивленно приковались взглядами к шеренгам Красной Гвардии Пономарев и Петр Павлович Остробородько. Богомол — без шляпы, с великолепной гривой темных прямых волос, чисто выбритый, похожий на поэта, но с лицом серым и опухшим — поднялся в машине, тронул шофера за плечо. Автомобиль остановился со стоном. В старомодном макинтоше, застежки которого ярко сверкали медными львиными мордами, Богомол вышел из машины и направился к Алеше. Молча протянул руку, обернулся к Остробородько:

— Я что говорил? Это войско или не войско?

Петр Павлович поправил очки, кашлянул нежно, кивнул.

— Вы, так сказать, командующий? — спросил Богомол.

— Нет, я инструктор, командующего у нас нет.

Остробородько не поздоровался с Алешей, отвернулся.

— Я могу дать командующего, — Богомол глянул на город. — Хорошего, боевого.

Павел Варавва неожиданно из шеренги ответил:

— Сами найдем.

— Найдете? — звонким тенором спросил Богомол. — Это вы, молодой человек, найдете?

Богомол гордо вздернул нос на Павла. За ним вздернул очки и Петр Павлович.

— Не молодой человек, а товарищ,— крикнул Павел Варавва.— А вот вы скажите, почему это вы с Пономаревым в одной компании.

Семен Максимович через голову Остробородько сказал:

— Это я привез господина Пономарева.

— Это другое дело.

Пономарев стоял сзади и покорно терпел.

Богомол еще раз скользнул взглядом по двум шеренгам Красной Гвардии, как будто подсчитал ее силы; задержался на бледном веснушчатом лице Николая Котлярова, хорошо рассмотрел широкую фигуру старого Котлярова на правом фланге и отвернулся.

Алеша сжал губы, глянул на отца.

— Где Муха? — спросил Семен Максимович.

Алеша кивнул на ворота,— табачники были уже там. Семен Максимович распорядился:

— Давай туда.

Алеша подал команду:

— На ремени!

Может быть, только теперь Богомол хорошо понял, что за плечами у красногвардейцев винтовки. Он зябко сдвинул полы своего макинтоша и, глядя в землю, пошел к трибуне. Навстречу ему спешил Муха. Он как будто что-то жевал, скулы у него ходили. Подал руку Богомолу, другую протянул к Семену Максимовичу:

— Семен...

Богомол перебил его:

— Товарищ Муха, собственно говоря, что вы думаете предпринять? Что вы предлагаете?

— Народ сам предложит...

— Народ само собой, а ваша фракция?

— У нас нет фракции.

У Богомола тонко дрогнули выразительные актерские губы:

— У большевиков нет фракции?

— Да у нас в заводском комитете все большевики.

— Как это так? Меньшевики у вас есть?

— Да нет...— Муха подергал свою остренькую бо-

родку.— У нас этого не водится. Беспартийные есть, так они, почитай, все равно большевики.

— О! Тогда я понимаю, в чем дело. Понимаю. Да, конечно... И Красная Гвардия! Сигнала ждете?

— Ждем не сигнала, а... там будет видно. И кроме того... толку ждем.

— Толку? А если не дождетесь?

Муха неожиданно рассмеялся, весело, свободно, как юноша, легко перевернулся, чтобы ветер запахнул полы его пиджака.

— А если не дождемся,— добьемся.

Богомол отстал и заговорил с Остробородько, близко наклонившись к его лицу, показывая куда-то на небеса. Пономарев тащился сзади, скучный и как будто спокойный. На его физиономии ничего не выражалось, кроме хорошо налаженного терпения. И борода его терпеливо ходила по ветру, и глаза с терпеливой выносливостью пробегали по встречным лицам, перехватывали человеческие острые взгляды и с терпеливой аккуратностью откладывали их в сторону, как ненужные подробности набивавшего длительного ненастья. Так человек в пути, идущий через вьюгу, терпеливо месит ногами снег, отворачивается от ветра, регулярно настойчиво стряхивает снежный прах с платья, а верит и радуется только бледным огням впереди или хотя бы огням в воображении.

Митинг начался. И как только Муха открыл его и сказал первое слово, сразу стало понятно, что собрание сегодня серьезное, что все придают ему большое значение, что никто не собирается шутить и другому шутить не позволит. Даже мальчишки, рассевишиеся на заборе, серьезно смотрели на трибуну и слушали.

Гости взобрались на трибуну по шаткой, узкой доске. У Петра Павловича Остробородько в этот момент было такое выражение, как будто он всходил на эшафот.

Муха объявил:

— Первое слово пусть скажет владелец завода, гражданин Пономарев.

Пономарев сказал коротко, просто, терпеливо. Голос у него был громкий, отчетливый, круглый, но он не давал ему полной силы, впрочем, это и не было нужно: он никого ни в чем не хотел убедить, ему было все равно, что о нем думают, он шел через вьюгу, и впереди для него еще не

показались огни. Вопрос был ясен, и ясно было его, Пономарева, хозяйское благородство. В кассе осталось ровно столько денег, чтобы рассчитаться с рабочими,— продавать нечего. Стаканы для снарядов работают теперь в убыток, да для стаканов и металла нет. Пилевого леса во всем городе нет. И угля нет. И ничего нет. На заводе тысячи деталей металлических, а дерева нет, веялки и молотилки собирать не из чего.

— Сами видите: штурвалы, шестерни, штанги, все лежит, а собирать нельзя. Лесопильные заводы стоят: того нет, другого нет.

Голос издали крикнул:

— А чего им нехватает, лесопильным заводам?

Пономарев не ответил, даже не оглянулся на голос. Ответили с другого края площади:

— Совести у них нехватает! Лесопильные закрылись, и наш закрывается. Одна шайка!

Из шпалопропиточного завода на площадь в беспорядке высыпала толпа рабочих и двинулась к митингу. Через головы стоящих Пономарев следил за ними и мямлил:

— Все, что можно сделать, я сделал бы. Я не отказываюсь. А только я ничего не вижу...

Пономарев отодвинулся в тыл трибуны. Его последние слова просто остались не сказанными.

На земле переглянулись, переступили, кое-кто с досадой переложил завтрак под другую руку.

Алеша стоял рядом со старым Котляровым. Котляров подпернул винтовку, улыбнулся Алеше, двинул одним плечом вперед.

— А вот я пойду им скажу. С винтовкой ничего?

— Еще лучше, только не убей никого.

Винтовка Котлярова поплыла над толпой. Колька Котляров проводил отца грустными голубыми глазами.

— Котляров будет говорить! — объявил Муха.

— Давай, давай!

— Говори, Котляров, ближе к делу!

Котляров вспорхнул на трибуну и занял, казалось, большую ее часть. Он расставил ноги в широких сапогах, заложил руки в карманы пухлого своего пиджака, локти развел по трибуне. Повернулся в одну сторону, — ткнул локтем Муху, повернулся в другую, — ткнул Богомола.

Муха дружески огрызнулся. Богомол глянул на локоть с негодованием. Кроме локтей во все стороны, тоже всем угрожая, ходил приклад его винтовки. А сверх того развернулись на трибуне и плечи старого Котлярова. Говорил он медленно, подбирая слова, веселым основательным басом.

— О наших делах говорить нужно коротко: завода мы закрывать не будем. Что касается нашего, как бы это сказать, хозяина Пономарева, про него разговор тоже короткий. Как это бабы говорят: с глаз долой, из сердца вон. Нам гражданин Пономарев без надобности: идите себе домой и отдыхайте после трудов,— полная вам свобода. А заводом пускай управляет заводской комитет. Там есть люди получше Пономарева. Нечего тут на лесопильные заводы сворачивать. Плоты стоят на реке, скоро замерзать будут, угля там не нужно, опилками топят. Вот теперь и интересно, как это совет рабочих депутатов позволил такое дело: остановиться лесопилкам. А другое дело: нам туда послать нужно, посмотреть, и пускай Муха сделает. Меня пошлите, и Теплова пошлите, и Криворотченко, и кого хотите,— всякий сделает. А для нашего завода угля достать тоже можно, хоть и на железной дороге выпросить, нам много не нужно. Тут не в том дело, а в другом. Пускай вот Богомол, председатель совета, объяснит, почему он сюда приехал завод закрывать? Это его такое дело? Почему? Прямо скажу: потому, что ему до рабочего человека никакого дела нет. Наговорил ему Пономарев, а он и доволен: материалов нет. А почему? Ясно почему,— эсер! И вашим, и нашим. Председатель рабочих депутатов! Рабочих! А когда твоя партия Ленина преследует, так это какая партия? Привез сюда этого доктора. Какое ему тут дело? Говорят, от городской управы. Зачем ты его с собой возишь? Что, мы его не знаем? Земский доктор, а кто видел его в больнице? А на чем он богатство нажил, на каких больных? А может, он тоже эсер? Угадал?

Богомол ничего не ответил. Стоял, улыбался, глядя в сторону.

— Видите, угадал. Чего они сюда ездят? Провокацию наводить. Городская управа! Какое ей дело до Костромы. Что у нас,— электричество есть, или мостовые, или эти... тротуары? А может, театр есть? Сейчас клуб открывают.

кто — может, городская управа? Муха открывает да наши дети. А он сюда приехал, Остробородько, бесстыдник. А его дочка молодая,— видно, человек чести не потерял, бросила его, богатого отца, у нас живет на Костроме у стариков Афанасьевых. А мы что ж? Он дочке родной не нужен, а нам нужен? Гнать их отсюда в шею, вот мое предложение.

Котляров в последний раз взмахнул кулаком и снял с плеча винтовку. Богомол быстро отскочил в сторону. Котляров перевесил винтовку на другое плечо и, перегнувшись, показал всем веселые, крепкие еще зубы. Все расхохотались и захлопали. Котляров присел на краю трибуны:

— Берегись, на голову прыгну!

Перед ним мгновенно расступились, и он большим пухлым мешком слетел на землю и начал пробираться к отряду.

— Хорошо я сказанул? — обратился он к Алеше.

— Говорил ты, как надо, а винтовку зачем снимал?

— А чтоб видели. Пускай знают, с кем говорят.

На трибуне парламентски беспристрастный Муха, подергивая бородку, объявил:

— Теперь скажет гласный городской думы, гражданин Остробородько.

— Не надо,— закричали,— чорта нам время тратить!

— Перекинь его через забор!

Но закричали и другие:

— Да чего вы!? Пускай скажет!

— На что он тебе нужен?

— Да интересно.

— Пускай говорит!

— Вместо театра!

Муха поднял руку:

— Так что? Пусть говорит?

— Валяй!

Остробородько подошел к краю помоста, спокойно, умненько осмотрел толпу. Ему крикнули:

— Чего глазеешь? Говори!

— Ты кто будешь? Эсер?

— Да, я имею честь принадлежать к той партии, которая выставила дорогие для нас имена Каляева и Сазонова.

— Ты не хватайся за Каляева! Азеф у вас был?

Остробородько развязно, с досадой отмахнулся рукой:

— Наша партия говорит вам правду. Она не будет вас обманывать и назавтра обещать вам социализм. Без жертв нельзя спасти революцию. Наша партия не может сказать: давайте мир, хотя бы и позорный. Мы видим у вас замечательный отряд Красной Гвардии. Это русские люди, вооруженные русские люди, которые не могут позволить Вильгельму растоптать нашу великую революцию. С такими людьми мы добьемся победы.

— Понравилось? — спросили громко.

— Что понравилось?

— А наши красногвардейцы?

— А как же, очень понравилось! — голос Остробородько зазвучал тем воодушевлением, которое всегда бывает у оратора, когда у него налажился контакт со слушателями. — С такими людьми...

— Да брось!.. — снова крикнули.

— Тебе что, воевать хочется?

— Не мне...

— Ага, не тебе! Гони его в шею!

— Товарищи!

— Убирайся отсюда! Долой! Гони его!

Муха поднял руку. Утихли.

— Пускай кончает или не надо?

Ему был ответом многоголосый крик, в котором уже нельзя было разобрать слов.

Муха комически развел перед оратором руками. Остробородько посмотрел поверх голов, тронул ушко очков, отошел к Пономареву.

— Давай Богомола!

Богомолу, видно, стало жарко. Он распахнул свой макинтош, и глазам всех представился хорошо сшитый светлосерый френч и на нем — приятным мягким блеском серебряная медаль на георгиевской ленте.

— За что у тебя награда? За что медаль получил?

— Керенский дал, что ли?

Богомол откинул волосы, придал голове гордый вид, на толпу смотрел из-под полуопущенных век, прикрывающих большие выпуклые глаза:

— Медаль я не украл, — достаточно вам этого?

Сразу почувствовалось, что будет говорить сильный оратор. В голосе Богомола звучали глубокие грудные ноты, теплые и приятные, владел он голосом уверенно и умел придавать ему сложные намекающие оттенки, забирающие за живое. Он не спеша, толково, основательно нарисовал картину военных бедствий, разрухи, остановки жизни. Он называл цифры, приводил факты, еще мало известные, делал это с несомненной честной убедительностью. Многие придвинулись ближе.

— Эсеры — не такие плохие люди. Есть и хуже. Мы — не бандиты, не воры, мы стараемся быть честными людьми. С нами можно говорить. Я знаю, для вас было бы приятнее, если бы я обещал вам прибавить заработок, дал бы лес и уголь. Но я не могу вас обманывать, в своей жизни я не мало сидел в тюрьмах за ваше право, за ваше счастье, и поэтому вам я обязан говорить правду, даже если она вам покажется горькой правдой. И я призываю вас: не думайте только о себе, подумайте и о России, освобожденной, великой России. Надо кончать войну. Это первое, священное...

— Правильно!

— Надо кончать войну победой!

— А для чего тебе победа?

На этот вопрос Богомол налетел с разгону, крепко ушибся, перевел дух, и это погубило его ораторский успех. Он неловко переспросил:

— Как?

Может быть, ему и ответил кто-нибудь, но за общим смехом не слышно было ответа. Если бы на этом смехе кончилась его речь, все прошло бы благополучно, но Богомол оскорбился и потерял власть над собой. Глубокие и грудные ноты, теплые и приятные, исчезли в его голосе. Он сделал шаг вперед и закричал на тон выше, в той истощенной истерической манере, которая может только раздражать слушателя. Теперь слушали, поглядывая на него сбоку, рассматривая его медаль и макинтош, улыбаясь в усы. Он кричал:

— Да, мы не боимся говорить: война до победного конца! Да, мы не сложим оружия, мы не отдадим наших знамен, облитых народной кровью, мы не опозорим свободную Россию, как это хотят сделать большевики!

Его слушали молча, сумрачно до тех пор, пока весе-

лый бас Котлярова не произнес сочно, с добродушной улыбкой:

— А не арестовать ли нам этого господина?

Только на мгновение этому возгласу ответило молчание. А потом оно разразилось сложнейшим взрывом, в котором было все: и слова, и крики, и смех, и гнев, и требование, и просто насмешка:

— Правильное предложение!

— Бери его сразу!

— Тащи его вниз!

— Пускай за решеткой подумает!

— Держи его крепче, а то он на фронт убежит!

— Арестова-ать!

Богомол стоял на помосте, опустив глаза и зажав в кулаках полы своего макинтоша. Котляров поднялся на носках, посмотрел на трибуну, глянул на Алешу. Алеша понял. Улыбаясь, он одернул шинель, потрогал пояс:

— Пойдем! Остальные — на месте.

Пробираться сквозь толпу было не трудно. Алеша только один раз сказал:

— Сделайте здесь дорожку, товарищи!

Здесь первый раз в жизни Алеша ощутил прилив нового гражданского чувства. Кто-то крепко сжал его руку выше локтя, он посмотрел в глаза этому человеку, и человек — бледный, небритый, измазанный слесарь — поддержал его нравственно:

— Иди, иди, Алеша,— действуй!

У трибуны все расступились. Крики еще продолжались, а Богомол все стоял в своей окаменевшей позе. Алеша и Котляров взбежали на помост. Одно их появление вызвало бурю аплодисментов и крики. Муха боком придвинулся к Алеше и заговорил тихо:

— Ты чего прилез? Тебя кто послал?

Алеша удивленно открыл глаза:

— Все... требуют...

— Вот... чорт... требуют! Я здесь стою, думаешь, не знаю, что мне делать. Покричат и перестанут.

— Не перестанут.

— Как это можно... взять и арестовать! А что мы с ним будем делать?.. Ты соображаешь?

Но в это время Котляров уже предложил Богомолу следовать вниз по узкой шаткой досочке. Внизу несколько

рук приняли Богомола и не дали ему свалиться на землю. А с площади кричали Котлярову:

— И другого бери, чего смотришь!

— Доктора, доктора!

— Что ж ты городскую думу забываешь?

— Он тоже воевать хочет!

Алеша вопросительно посмотрел на Муху. Муха двигал черными взволнованными бровями:

— Наделали делов. Забирай, что ж?

Алеша шагнул к Остробородько. Тот сам двинулся к досочке, сохраняя на лице умеренно-мученическое благородное выражение. До краев площади снова разлилась волна аплодисментов. Алеша захромал к досочке. На него снизу глядел высокий, черномазый, спокойный Борщ и протягивал руки, как мать:

— Теплов! Тебе, хромоту, трудно. Прыгай на меня!

Рядом все ласково посторонились. Проказливо, по-мальчишески улыбнулся Алеша и прыгнул. Несколько рук подхватили его на лету и осторожно поставили на землю. Чей-то голос произнес:

— Эх ты, хромой воин!

Алеша кому-то пожал руку и, счастливый, бросился догонять Котлярова, но вспомнил, что здесь близко торчит еще Остробородько.

— Вот он, вот, что ж ты его бросаешь без всякой защиты!

Остробородько даже обрадовался Алеше и сказал с некоторой иронией:

— Куда прикажете итти арестованному?

Митинг продолжался. После ареста Богомола и Остробородько настроение у всех стало веселее. Котляров и Степан повели арестованных в заводской комитет. Их проводили взглядами и обернулись к трибуне. Муха в своем слове не коснулся вопроса об арестованных. Он говорил исключительно о дальнейшей работе завода, разбирал этот вопрос дельно, не спеша, отделяя в нем самые мелкие пункты. И по каждому пункту выходило, что завод работать может, что на лесопильных заводах тоже еще не сдались, что уголь можно выпросить на железной до-

роге. Он сомневался только в одном: помогут ли служащие завода. Вспомнил о правой руке Пономарева — Соколовском, о котором ходила слава как о коммерческом гении. Соколовский тут же закричал в толпе, потребовал слова, без приглашения полез на трибуну. Муха засмеялся и уступил ему слово. Соколовский был в поддевке, острижен по-старому, под горшок, и, кажется, его прическа была смазана маслом. У него широкое лицо и узенькие глазки, на верхней губе усики, свисающие тоненькими хвостиками. Он снял шапку и немедленно приложил ее к груди, заговорил ловким, быстрым, стрекочущим говорком, сбиваясь на отдельных словах, бросая их, чтобы скорее сказать другие слова, более нужные и удачные.

— Дорогие товарищи! Товарищ Муха высказывает такое заключение: дескать, ему моя фамилия упомя... с неприличием, можно сказать, произнес. Если мы служили, как вы сами зна... по нужде и по общему обыкновению, при царском само... при старом режиме и това... вот, госпо... гражданину Прокофию Андре... одним словом, Пономареву, то неужели вы ду... народу не послужим? И Мендельсона, и Ковригина, и Назаренко лесопилки, если приложить голову при тяжелом нашем поло... в государственном деле и с мастеровы... с ихними товарищами. Народу послужим... и не сомневайтесь ни капельки. Пускай товарищ Муха прямо не боится. Свои люди, тоже пролетарии, страдали при царском режиме. Будьте уве... надейтесь на меня...

— Ну, довольно, довольно, понимаем!

— Какой ты хороший!

— Ох, и шельма же!..

Соколовский прыгнул с трибуны и еще долго в толпе подмигивал всем, давая понять, что с ним никто не пропадет.

Потом говорил Криворотченко, большевик и член завкома, один из самых молчаливых людей на заводе, угриватый и суровый. Он говорил с таким видом, как будто и говорить ему не хочется, но что-то нужно повторить, что всем давно известно, но еще как следует не сказано. Он нехотя бросал веские, нахмуренные слова, и они становились железными и несомненными истинами, когда доходили до слушателей:

— Некого спрашивать. Слышали, здесь болтали, как заводная шарманка. Война! Воевать нам теперь не с кем иначе, как с господами. И с господами воевать будем, если добром не уйдут. Наступают времена, это главное. Ничего, что Ленина преследуют. У Ленина тоже есть помощники. Наступают времена. Народ наш ярма больше на шею не наденет. Не наденет, гражданин Пономарев! Это все знают: и народ, и крестьяне, и солдаты — все в одну сторону пошли. И нечего вам с этим ярмом носиться. Завод у нас не такой знаменитый, и Карабакчи, и шпало-пропиточный, а вот видите, и наша Красная Гвардия готова. Будем стоять крепко и своего не отдадим! Кто нас победит? Советы трудящих по-своему дело повернут, а если в советах эсеры, выкурим. Ты, Муха, тут шептал Алешке, зачем председателя берет. Ничего, пусть знает, у кого власть должна быть. Большевики, они все сделают с народом вместе.

— Верно говорит Криворотченко! — закричал в толпе высокий тенор.

Щербатый Марусиченко подскочил возле трибуны, поднял высоко руку:

— Большевики, не зевайте только, не зевайте!

Закричали кругом, проводили Криворотченко бодрыми хлопками аплодисментов. Марусиченко еще подпрыгивал и кричал, когда на трибуну поднялся невысокий человек, взлохмаченный и нескладный. Белеющие мохнатые брови что-то знакомое напомнили Алеше. Он сделал несколько шагов вперед и узнал Груздева. Быстро пронеслись в памяти два Груздева: один — дикий, гневный, насильник и оскорбитель, другой — вежливый, нежный, задумавшийся и грустный. Как будто эти Груздевы не имели к Алеше никакого отношения. Они вспоминались как очень далекий сон, испугавший и взволновавший душу и поэтому незабываемый. Алеша смотрел на Груздева и старался представить себе все-таки, что такое Груздев? Его слов не было слышно. Устремив неподвижное лицо все в одну сторону, куда-то вверх голов, неподвижно поддерживая на напряженной высоте светлые брови, он говорил что-то, идущее от души, но не сопровождал своей речи ни мимикой, ни жестами. На площади становилось все тише и тише. Что он такое говорит, — может быть, это третий Груздев появился сегодня в народе?

Алеша начал осторожно продвигаться вперед и чувствовал, как тихонько продвигаются вперед, подталкивая его, красногвардейцы.

Груздев говорил:

— Разве у нас была жизнь? Разве у нас был какой свет? В темноте жили, в голоде, тугой жили жизнью, а умирали старики — и вспомнить было нечего. Легко это сказать: народ! И я — народ, и вы — народ, и все нами сделано. Кто города строил? Мы. Кто государство наше защищал? Кто кровь проливал, умирал? Мы все! А они нас презирали и считали нас дикими, некультурными, и темными, и глупыми. А они от нас сторонкой жили, своя у них жизнь. И платье у них чистое, и пахнет от них хорошо, и книги они читают, и гордятся перед нами, всем гордятся: и наукой своей, и вежливостью, и образованностью, и лицом красивым, и честью, а про нас говорят: простой народ! А чем я простой? Только тем простой, что загнали меня в угол! И вот мы теперь видим: пришли справедливые люди, большевики. Первый раз такие люди, которые не хотят нас обманывать, душевные люди, за народ стали. Они смело действуют, смело правду говорят, надо, чтобы и народ сам им помог полной своей силой. Какой я есть, темный или бесчестный, какая у меня есть сила и голова, — вам говорю: отдаю себя большевикам. Куда пошлют — сделаю, скажут умереть — умру, скажут жить нужно — жить буду. Если останется один народ, какая жизнь будет... светлая жизнь!

Груздев произнес эти слова, задумался, медленно повернулся и побрел к доске. Его проводили взглядами, никто не хлопнул в ладоши, как будто боялись потревожить переполненные сердца. Алеша тихонько начал продвигаться к своему месту, и ему захотелось где-нибудь в одиночестве подумать над тем, о чем говорил Груздев.

15

В маленькой комнатке заводского комитета он застал арестованных и Степана с Котляровым. Вероятно, Степан о чем-то разглагольствовал, потому что Богомол сидел в углу на табуретке и негодующим взглядом следил за ним, да и Котляров как-то смущенно рассматривал приклад винтовки между ногами.

Увидев Алешу, Богомол поднялся, подошел к столу, сказал резко, постукивая сложенными пальцами по доске стола:

— Я хочу знать: кто меня арестовал. Вы, товарищ офицер?

Он нажал на слово «офицер» и пристальным, немигающим взглядом вонзился в Алешу. Степан мотнул на Богомола головой:

— Вот я ему толкую, а он бессознательный какой-то... Народ тебя арестовал.

— Я прошу ответить,— приставал Богомол, не обращая внимания на Степана.

— Я не офицер, но арестовал вас я: на основании общего народного требования.

— Какого народного, я хотел бы знать? Где постановление? Где постановление? Наконец, чье постановление? Толпы? Самосуд? Требую немедленного освобождения. Сейчас! Сию минуту! Наконец, где наша машина?

Степан хмыкнул и отвернулся. Алеша ответил:

— Машина? Я, право, не знаю.

— Вы не знаете? Вы, мальчишка, держите под стражей председателя совета рабочих депутатов?

Степан возмутился:

— Да я ж тебе объяснял: не за то, что ты председатель, а зачем ты в эсеры записался? Вот теперь и расхлебывай! Я тебя не тянул в эсеры? Не тянул. А ты еще и про войну начал молоть, ребенок и тот не скажет...

Степан все это выговаривал нежно, убедительно, но Богомол его не слушал. Он подошел к стене, остановился перед каким-то плакатом, задумался гордо.

Вошли Муха и Семен Максимович.

Муха полез к ящику. Семен Максимович провел по усам пальцем, взял за рукав Степана, прогнал его со стула, положил руку на стол, свесил пальцы, кашлянул и замер в неподвижном строгом ожидании. Муха порылся в ящике стола, поднял глаза:

— Ваша машина здесь, товарищ Богомол. Можете уезжать. И вы, товарищ Остробородько.

— Машина меня не интересует. Вы скажите, какое вы имели право меня арестовывать?

Муха еще раз заглянул в ящик, пошарил в нем рукой, улыбнулся:

— Да какое там право? Арестовали — да и все!

— Нет, скажите, какое право? Вы думаете, это так пройдет?

Муха еще улыбнулся:

— Я думаю, что,— он уверенно кивнул головой,— пройдет!

— Значит, вы надеетесь на безнаказанность?

— Надеюсь,— сказал Муха и закрыл ящик.

— Пользуетесь всеобщим безвластием?

— Пользуемся...

Богомол засверкал взглядом, у Остробородько за очками заиграла тонкая, просвещенная ирония. Муха поднял ясные глаза на Богомола. Тот начал застегивать свой макинтош.

— Не доросли вы до демократии, товарищи. Вам нужна палка, Корнилов нужен!

Слово «Корнилов» Богомол провизжал громко, подбросив маленькую, белую руку к потолку.

Муха поднялся за столом, оперся руками:

— А вы себе заведите Корнилова.

— Кого?

— Да Корнилова. Сильная власть, палка, никто вас не арестует, вы будете проповедывать войну до победного конца, никто вам слова не скажет! Хорошо!

Богомол бросил на Муху гневный взгляд и толкнул дверь. Дверь открылась, но Богомол еще не все сказал:

— Из ваших этих... ленинских химер... все равно, ничего не выйдет! Химеры!

Остробородько поднялся, тонко улыбнулся и протянул вперед поучительный палец:

— Химеры и преступление! И преступление!

— Напрасно их выпускаешь, товарищ Муха,— начал Степан,— в каталажку нужно таких или прикладом по голове! — Степан грозно двинулся вперед, но Богомол уже вышел, за ним направился и доктор.

Степан тоже шагнул за ними, но Алеша сказал строго:

— Степан!

— Да я, Алеша... понимаешь... два слова ему скажу...

— Обойдешься.

Степан страдал у двери,— мучили его, видимо, невысказанные слова. Муха двумя ладонями начал растирать лицо, растирал, растирал, даже кряхтел при этом:

— Так. Поехали, значит. Хай большой подымут. Не нужно было, Алеша, ни к чему. И на какой конец ты их арестовал? Где их держать? У нас государственной власти еще нет.

Семен Максимович острым взглядом пробежал по лицам:

— Ничего, Григорий! Хорошо вышло. Очень хорошо. Народ — никакого тебе погрома, никакого тебе беспорядка, вежливо, как полагается, посиди часика два. Вроде как в карцере. Хорошее наказание, и справедливое.

16

Рабочий клуб, еще только организуемый в бывшей «столовой», сделался местом, куда Алешу тянуло посидеть в свободный вечер. В клубе все еще находилось в стадии становления: по всем комнатам шла работа, на полу шуршали стружки, и хозяином расхаживал по ним и распоряжался веселый Марусиченко, возглавляющий тройку столяров, выделенную заводским комитетом. Марусиченко с первого слова сдружился с Ниной и на правах дружбы вмешивался во все клубные дела, всюду совал нос и подавал советы. Он придумал особую систему быстро разбираемых кулис и в одну бессонную ночь смастерил хитрую и красивую модельку. А когда рамки для кулис были готовы, он сам натянул на них холст — и заявил даже, что и декорации будет писать собственноручно. В доказательство своих прав на эту работу он представил несколько подержанных открыток, на которых были изображены зеленые глади прудов и кровавые закаты. Но нашелся художник, перед которым должна была спасовать его буйная энергия. Он не обиделся и с таким же энергичным оживлением занялся грунтовкой и небесным фоном. Главным же художником выступал Николай Котляров, который еще в высшем начальном училище прославился копиями с Шишкина и Киселева.

В течение целого дня в клубе шла работа: делали сцену, переделывали кухню под библиотеку и читальню, строили диваны для зрительного зала и читальни, писали декорации и прилаживали занавес. Нина — в синем бязевом халатике — успевала за день побывать везде: слетать в город, распорядиться, дать многочисленные консульта-

ции, поговорить с Марусиченко, полюбоваться работой Николая, и у нее еще оставалось время для работы самой любимой, — приводить в порядок сотни книг, которые она каким-то чудом находила в городе. Книги нужно было записать, пронумеровать, расставить на полках, но прежде всего их нужно было доставить из города. Транспортное средство было единственное: костромские мальчишки. Каждое воскресенье веселой гурьбой вместе с Ниной они отправлялись в город. Из города они возвращались всегда почему-то гуськом, и каждый из них на плечах и на груди нес одну или две связки книг. Таня Котлярова называла это шествие «караваном в пустыне». Мальчишки ходили в караване не совсем бескорыстно: в их полное и бесплатное распоряжение обещана была отдельная скамья во время спектаклей и киносеансов.

Работа с книгами оказалась сложной еще и потому, что их нужно было выдавать читателям, не ожидая конца работы. Как только «караван в пустыне» первый раз проследовал по Костроме, читатели явились немедленно, а Нина не считала возможным отложить хотя бы на один день удовлетворение этой важной потребности. Даже у Василисы Петровны на ее кровати под подушкой лежала переплетенная «Нива» за 1899 год. Василиса Петровна по вечерам усаживалась в убранной кухне и осторожно перелистывала страницы книги, внимательно рассматривала иллюстрации к «Демону», «Пожар на море» и картинки, изображающие стариков в шляпах и голландских женщин в высоких чепцах. Капитан деликатно, как будто к слову, читал ей надписи под картинками. Однажды между делом он сказал:

— Василиса Петровна! Пустое дело! Давайте покажу вам, как это... как читать.

Василиса Петровна сделала вид, будто она очень заинтересована очередной иллюстрацией, отвернулась, ничего не ответила, но через несколько дней она уже с большим интересом рассматривала журнальный заголовок и шептала:

— Ни... в... а... ва... Нива.

Это проходило в секрете и от отца, и от Алеши, даже и Нина узнала о нем не скоро: когда обстоятельства потребовали отъезда капитана из Костромы.

По вечерам в клубе было особенно хорошо, в нем оставались только люди, преданные идее, и никому не позволялось болтаться без работы. Нина к этому времени крепко привязалась к Тане, в одиночку теперь трудно было встретить и ту и другую. Они предавались новому делу почти без отдыха, тем более, что количество книг все увеличивалось и увеличивалось: «караван в пустыне» работал регулярно. У Николая Котлярова тоже задача была длинная, и он разрешал ее с привычной для него миной молчаливого одиночества. Павла Варавву допустили к составлению каталога, и это устраивало его во многих отношениях: во-первых, Павел был выдающийся читатель на Костроме и к книгам относился с нежностью, а во-вторых, рядом была Таня. Пробовали к книжному делу допустить и Алешу, но из такой затеи ничего не вышло. Алеша добросовестно работал до тех пор, пока в руки не попадалась интересная книга, — в этот момент его добросовестность рушилась. Кругом идет работа, а Алеша уже замер над книжкой, развернутой на руке. Еще через три минуты он уже куда-то побрел, не отрываясь глазами от страницы: оказывается, что целью его движения является диван, только вчера вышедший из рук Марусиченко. На диване Алеша располагается настолько уютно, что скоро и записная книжка, и карандаш появляются в его руках. Такое поведение Нина называла распушенностью. Алеша получил новое назначение: для него отвели большой участок стола, и скоро он с головой окунулся в полезное занятие. На кусках ватмана Алеша самым идеальным и самым художественным шрифтом раздвигал надписи, необходимые в каждом порядочном клубе: «вход», «выход», «просят не курить», «касса»... А когда принесли только что сделанную доску для вески, ему пришлось для художника Николая Котлярова сделать рисунок букв:

Рабочий клуб имени Карла Маркса

Теперь частенько в город заезжал Богатырчук. Он работал в губернском комитете партии большевиков, очень много путешествовал по губернии и по дороге всегда навещал старых друзей. Его приезд очень часто нарушал спокойное течение строительства клуба.

В вечер того дня, когда происходил митинг, все и без

того были взбудоражены, а тут еще и Сергей приехал. В этот раз он даже не пытался кому-либо помочь, а с первого момента засел с Алешей в углу дивана, заваленного кучей неразобранных книг, и они долго говорили, склонившись к коленям. Сначала им никто не мешал, потому что вид у них был серьезный, прически в беспорядке. Потом Павел Варавва присел против них на стопке книг.

Девушки присматривались к ним снисходительно, но потом Таня сказала:

— Хорошо! Наговорились, товарищи мужчины! Можно и нам узнать о ваших тайнах?

Богатырчук охотно ответил ей:

— Наша тайна — жизнь. Выходит, это и твоя тайна, Танечка.

— Значит, это такая тайна, которая всем известна?

— Известна-то известна, а кто знает решение?

Богатырчук произнес это загадочно, откинув голову на спинку дивана, мечтательно направил взор в потолок. Таня без достаточного уважения отнеслась к этой позе:

— Посмотри, Нина, какое дикое соединение большевика с восточным мудрецом.

Нина посмотрела на Богатырчука, но ничего не сказала, отложила перо и приготовилась слушать.

Не меняя позы, Богатырчук продолжал:

— Был один такой вечер в четырнадцатом году, у преддверия этого самого дворца просвещения. Нас было пятеро, и каждый из нас тогда... какие мы все были чудяки! Честное слово, даже удивительно! Николай Котляров возгордился передо мной: он работает, а я не работаю. Алеша возгордился перед Павлом: у Алеши не было денег, а у Павла было два рубля. Я возгордился против всех: все рабы, а я — свободный человек. Таня гордилась своей девичьей властью и своей мудростью.

Павел спросил:

— А чем я гордился?

— А ты возгордился тем, что у тебя есть два рубля, честно заработанные два рубля.

— И ничего подобного... Ну, что ты врешь?

Богатырчук оттолкнулся от спинки дивана и приблизил к Павлу иронический взгляд:

— Вспомни: Алешу ты уговаривал воспользоваться твоими деньгами, а меня то приглашал, то нет, то сыпал

мне на руку сорок копеек. Возгордился, как же! Какие мы тогда были чудаки!

— Почему ты вспомнил? — вполголоса спросил Николай, уже стоящий в дверях с кистью в руках. Рядом с ним, вооруженный рубанком, стоял Марусиченко; он приготовился принять участие в разговоре, но в то же время старался понять, интересная разрабатывается тема или не очень интересная.

Богатырчук снова откинул голову:

— Тайна жизни! Какая разница! Какие мы тогда были бедные, одинокие, обиженные, помнишь, Алексей?

Алеша засмеялся, вспоминая:

— И гордые, Сергей! Страшно гордые!

Таня смотрела с высоты лестнички недоверчиво:

— А может... просто молодые... желторотые!

Павел повернулся на своей книжной стопке:

— Ничего подобного, Таня! Ты понимаешь, мы тогда... мы теперь моложе! О! Богатырчук зацепил очень важный вопрос. Я хорошо помню, какая тогда была жизнь! Сил не было, даже злиться сил не было. Жили, жили себе, а в восемнадцать лет уже и... стареть начинали. А что нам было делать? А что у нас было впереди? Одно... костромское. И все!

Теперь Марусиченко понял, что тема идет важная и что она ему по силам, а в таком случае он всегда высказывался:

— Павел, неправильно говоришь! Чего это: костромское! Кострома, брат, вот она Кострома! Заводы здесь были? Были. Работали? Работали. Молотилки делали? Делали. И в девятьсот пятом году бастовали? А еще и как! А только люди про все забывали. Человек сам себе цены не знал, каждый думал: нету мне никакой цены. Что я такое? Столяришка там паршивый, а тот — слесаришка. А на самом деле, была цена. Была, понимаешь, большая цена! Я вот, например, столяр! Рабочий! Последний человек. А что большевики сказали: первый человек!

Николай Котляров слабо улыбнулся:

— Цена! Ты на фронте посмотрел бы, какая нам была цена. Мало того, что уничтожали тысячами, а даже вежливости не было, никто толком не объяснил, почему нужно мне умирать? Команда — и все! Ты помнишь, Алеша: «Вперед!» А это только называлось так «вперед», а на са-

мом деле: «Умирай!» А почему так, никому не интересно. А только большевики растолковали, куда нужно *вперед* итти.

Марусиченко взмахнул рубанком:

— И все через них! Легко это подумать: в нашем уезде у князя Волконского тринадцать тысяч десятин, у Четверикова — одиннадцать, у этого... фальшивомонетчика, Чуркина — десять тысяч. Сколько это стоит? Ого! А тут тебе Павел Варавва, — а сколько ж он стоит? Выходит, — пустяк.

Нина тронула пальцем уголок переплета:

— Какая же тут тайна? Господа и теперь есть.

Богатырчук ей ответил радостно:

— Ха! Есть! Принципиально их уже нет! Уже нет! Вы, конечно, знакомы с учением Маркса?

Нина чуть-чуть порозовела:

— «Капитала» я не читала, — очень трудно, а я хотела... Но я знаю, я все хорошо знаю.

— Маркс давно доказал, что они приговорены. И все это знали. А они думали: чепуха, исторические законы как-нибудь приспособятся. И воображали, что они все-таки делают историю, что они — организаторы, необходимая сила жизни. Они перемалывали нас с полной уверенностью, что это надолго, что это хорошо. А сейчас им, как снег на голову: нет! Вы понимаете, как это сказано, нет?! Пока говорили книги, они могли отговариваться, а сейчас сказал народ...

— Большевики, — поправил Павел.

— А большевики — это и есть народ. И сказано не как-нибудь так, теоретически, а на практике. А если на практике говорят «нет», так это значит «пошли вон!» И кончено! Принципиально они уже готовы.

Николай сказал осторожно:

— Они будут защищаться.

Богатырчук вскочил с дивана и, как всегда, оказался массивнее, чем ожидали:

— Нельзя! Мы их сейчас будем уничтожать, гнать! Я вижу! Я теперь знаю эту «тайну». Я, помните, в цирк поступил, думал, здесь я от них укроюсь. Чепуха, ничуть не укрылся! На войну пошел добровольцем, думал, я герой, наплевать мне на буржуев. Чепуха, от них нельзя было укрыться, на их стороне было все: организация, уверенность, строй, народное терпение. А сейчас все на нашей

стороне. Большевики нанесли страшный удар, они принципиально их уничтожили. Потому что раньше против них была теория, а теперь не только теория, а еще и воля. Воля! Страшная вещь: «Пошли вон!» Чем на это можно ответить?

На это никто ничего не ответил. Богатырчук оглядел всех, Марусиченко кивнул ему весело.

Нина, улыбаясь, спросила:

— Значит, тайна жизни... разрешается в чем?

— В борьбе,— крикнул Павел, чтобы перехватить ответ Сергея.

Сергей захохотал, взмахнул кулаком:

— Нет!

— Как нет? — удивился Павло.

— Тайна жизни в победе! Борьба без победы — чушь, жертвоприношение.

— Как? Что ты говоришь?

Павел даже испугался.

— Иначе быть не может. А у тебя как, Павел? Неужели ты идешь на борьбу и сомневаешься? Думаешь: победим или не победим? Любит, не любит? Пан или пропал? Это значит — ты играешь на поражение. Побеждает только тот, кто уверен в победе. А я уверен. Я и хотел бы сомневаться для порядка, что ли, но я не могу. Я не сомневаюсь.

— А если вас все-таки победят? Представьте себе! — Нина хитро присматривалась к Сергею.

Он обернулся к ней, посмотрел удивленно:

— Как же это может быть? Нина! Меня могут повалить, но я буду подыматься. Убьют, а я буду думать, что это ничего не значит, не один же я? Верно, Алеша?

Алеша размахнулся, сжал кулаки:

— Вот люблю, когда горячая натура! И мы победим, я знаю. У жизни есть цена, вот сегодня правильно говорили. А эту цену я сегодня первый раз по-настоящему почувствовал.

— Где?

— На митинге.

— Это как же? Расскажи.

— Еще не умею. Я потом скажу, хорошо?

Все внимательно присмотрелась к Алеше. Нина склонила голову на руку и задумалась. Марусиченко сказал:

— На митинге сегодня весело было! Это верно.

Репетиция «Ревизора» происходила в школе. Алеша пришел первым. Полы были только что вымыты и кое-где еще блестели влажными полосами. В широком зале-коридоре через большие окна пробивались яркие лучи фонарей бывшего «Иллюзиона» и отражались в портретах большими белыми пятнами. Щели в полуоткрытых классных дверях чернели заманчиво и тихонько. В одном классе на окне горела большая керосиновая лампа, которую в школе называли молнией. В этот класс, назначенный для репетиции, карлик-сторож проводил Алешу. Он, видимо, испытывал сильное желание поговорить и начал:

— Это, как поприходят, понасоривают, понасоривают. Говорил, это, говорил, никого теперь не пугаются...

Но прибежал мальчишка, шепнул: «дедушка», и сторож, потряхивая задом пиджака, ушел на кривых ногах, обутом в тяжелые, складчатые сапоги. Лампа на окне горела большим косым языком, раздражала. Алеша поднялся с парты, пошел бродить по школе.

В этой школе он был третий или четвертый раз, но в ней учились все его друзья, и поэтому от ее стен пахло чем-то родным и близким. Алеша вспомнил реальное училище, широкую мраморную лестницу, затейливые люстры и бра, строгий зал с императорами во весь рост и с аккуратными важными дорожками по блестящему паркету. Здесь залом был просто коридор, на стене темнела простая масляная панель, пол был неровный, местами потерял краску. В одном месте Алеша даже ступил в какой-то гнилой провал между досками.

А это класс. Но классы, кажется, во всей России одинаковы. Изрезанные парты, выступающая колонна печи, широкий белый подоконник. За окном редкие, тусклые огоньки Костромы, а дальше электрическое зарево города. И еще за окном осень: мокрый песок, облысевшие акации.

Алеша сел за передней партой, поставил локти на ее пюпитр, на ладошках примостил подбородок. Кажется, в такой позе хорошо было сидеть в третьем классе реального училища, поворачивать голову направо и налево, ухом регистрировать течение урока, а душой уноситься в просторы мальчишеского нехитрого, но завлекательного воображения.

Очень важно, что тогда было счастливое время. Говорят, что дети всегда счастливы. Это, может быть, потому, что дети умеют жить сегодняшним днем. В сущности, это великое философское уменье. Или лишняя жертва отцов. Вот он в третьем классе, может быть, жил счастливой жизнью, а в это время его отец по одиннадцать часов в сутки вертел свой токарный станок. Для чего? Чтобы поздно вечером завалиться спать, а утром снова в шесть часов брести к своему токарному станку. И еще для того, чтобы Алеша в детстве мог жить сегодняшним днем.

А как будет, когда наступит социализм? Вчерашний митинг — это путь к социализму или нет? Алеша улыбнулся в темноте. Что общее можно вообразить между вчерашним митингом и социализмом? Улыбаясь в темноте, Алеша вспомнил трибуну из разрушенных ворот, Красную Гвардию в разнообразном одеянии, в заплатанных штанах. И шапки у них разные, и нет ни одной новой. И бороды некультурные, растрепанные, косые. Знаменщик Колька Котляров идет строить социализм, еще не опомнившись от ужасов войны. А этот Соколовский, коммерсант, пройдоха и подлиза, бьющий себя шапкой в грудь! И Груздев в лохматых сапогах, рассказывающий небу о своей черной жизни и светлой мечте! И, наконец, шаловливый, занозистый крик, арест двух господ, — один из них наряжен в смешной макинтош и топорщится, как дешевая игрушка.

Когда раньше Алеша думал о социализме, он представлял себе высокие светящиеся колонны, а между ними легко ходят люди, тонкие, светлые, с ясными, мудрыми глазами.

В свое время многие думали о таком социализме, и все хорошо знали, что он помещается так далеко, в таких дальних воображения, что, вероятно, там, рядом с ним, помещаются и ковры-самолеты, и шапки-невидимки, и коньки-горбунки, собственно говоря, все это располагается не впереди, а где-то в прошлом, скорее всего просто в детстве.

И оказывается, есть и другой социализм — где-то здесь, очень близко. Это тот самый социализм, который хотят завоевать полуграмотные люди в бедной одежде и в поношенных шапках. Хотят, решили завоевать! Его милый, родной отец, токарь Теплов, высокий, худой и суровый человек, в своей жизни не видевший ничего, кроме труда и Костромы, никогда не мечтавший о светящихся колоннах

и мудрых людях, разве он оглядывается на заплатанные штаны и измазанный свой пиджачок? Отец не оглядывается, не сомневается, даже слов лишних не тратит. Все гораздо проще: он просто решил, что должен быть социализм.

Алеша направил глаза в щель полуоткрытой двери. За дверью был полумрак зала, но перед Алешей пронеслось будущее. Значит, так: Пономарева нет, нет князей Волконских, нет фальшивомонетчика Чуркина, нет Карабакчи, Троицкого. Нет никакого высокого «мира», нет их дворцов, роскоши, чванства, пахнущего духами, и рысаков, удивляющих народ. Это... это очень хорошо! Но нет и свтящихся высоких колонн и ползающих между ними полубогов. Собственно говоря, это... тоже хорошо!

Между вчерашним митингом и этим будущим социализмом прорезался вдруг знак равенства: и здесь, и там живая человеческая простота, живой смех и обыкновенный, справедливый разум. Все гораздо проще и привлекательнее: какая-нибудь электрическая лампочка в комнате будущего Степана Колдунова, какие-нибудь лишние три-четыре часа отдыха у токаря Теплова, книжная полка у Марусиченко, сытный обед у старого Котлярова, университет у тех мальчишек, которые теперь ходят «караваном в пустыне», и у матери его, Василисы Петровны, новое платье, и, самое главное... это все на полном просторе, свободном от паразитов.

В общем, так немного хотят простые, трудящиеся люди, настоящие люди, связанные честностью и трудом. Так немного хотят.

И все-таки вчерашний митинг напоминает что-то такое, что уже было. Так же немного хотели люди и раньше и так же просто и горячо мечтали о справедливости. И как обидно горько представить: при Пугачеве... Император Петр III! Как это грустно и как это глупо! Какой это заброшенный был народ! Петр III! Имя! Тушинский вор разве лучше? Все это перемешано с обманом, вином и со страшной, желудочной темнотой! Фантастический, доверчивый бунт, слепое тыканье темного народа в непоколебимые твердыни истории. И так на протяжении многих веков, и так фатально обреченно, и быть иначе не могло.

И вот сейчас народ поднял честное свое трудовое лицо и требует справедливости. И Богатырчук нашел тайну

жизни. и эта тайна в победе, даже если Богатырчук будет побежден. Богатырчук игнорирует многочисленные поражения народа в истории, он уверен, что сегодняшние дни — дни совершенно небывалые, дни единственного в человечестве переворота.

И так он знает потому, что есть Ленин.

Ленин!

Алеша не мог себе представить даже лица Ленина. Гений, который с такой уверенностью, с такой настойчивостью, с таким успехом несет свою мысль человечеству, который так свободно объединил вокруг себя лучших людей России, до Мухи включительно, который говорит людям о новом счастье, так обидно был недоступен для алешинного воображения!

Алеша загляделся в туманный просвет классной, в нем не увидел, но в душе у него распространился удивительный еще порядок. Ленин стоял в душе образами и очертаниями, без лица и голоса, — чистое имя, мысль, чистая идея нового человечества, невиданного, не совсем понятного. И стало ясно, что Ленин — это не просто человек, это — еще недоступная воображению историческая эпоха, которая начинается завтра. В том, что она будет, Алеша не сомневался, он только хотел ее увидеть.

Алеша даже подался вперед, сидя за партой. Не поможет ли воображению метод сравнения? Он ясно, страшно отчетливо и красочно представлял себе Россию 1773 года: «двор», дворянские усадьбы, крепостной народ, послушное безликое войско, — дворянский расцвет. И где-то на краю страны разлившееся крестьянско-башкирское восстание темных и бедных людей, с таким же темным казаком впереди — с Пугачевым. Кто он такой? Подвижник, авантюрист? Кто он такой? Может быть, он был человек с улыбкой, с юмором, с острым словом, может быть, он очень хороший и интересный человек, может быть, он похож на Степана Колдунова? И эта волна, очень вероятно, волна прекрасных живых людей, шла против дворянской культуры, вооруженной книгами, пушками, знаниями, шелковым платьем, французским разговором. Было страшное противоречие между этими лагерями, противоречие в силе. А вот сегодня другие силы и другое противоречие. Какая культура на стороне Пономарева? И какое войско? И культуру, и силу Алеша чувствовал в самом себе, отра-

жение великой культуры народной сознательной воли, организуемой Лениным.

Где-то зашумели двери и пронеслись голоса. Алеше жаль было расставаться с своими историческими видениями, и он скорее, скорее еще раз присмотрелся к ним и улыбнулся самому себе. В том, как звонко и уверенно звенели голоса людей, заключалось подтверждение его улыбки.

Голоса и неясные силуэты прошли дальше по коридору. Вот голоса глухо повторились в том классе, где горела лампа. Потом они затихли, и вдруг оттуда снова вырвался снап звуков,— очевидно, открыли двери. Легкие, милые каблучки быстро застучали по коридору. Туманно-светлая щель двери расширилась, и в полосе окна за дверью встало счастье. Алеша притих и склонил голову. Нина несмело вошла в класс, ее голос с трудом повиновался ей:

— Алеша, это вы?

Алеша так порывисто бросился к ней, что парта загремела, сдвинулась с места. Алеша взял руку девушки, приложил к губам. Это была первая, настоящая, секретная ласка между ними. Он поцеловал нежную, теплую руку в том месте, где начинаются пальцы. Он близко глянул в глаза девушки. Тыльной стороной другой руки она откинула прядь волос и прошептала:

— Алеша... здравствуйте!

Он потянулся к ней, к ее плечам, к шее, к лицу, но той же рукой, мягкой и горячей ладонью, она прикоснулась к его лбу, и он замер.

— Ничего больше не нужно, Алешенька.

Нина прошептала и оглянулась на дверь, ее рука упала к нему на плечо и там осталась, когда он сильным движением привлек ее к себе. Нина как будто все смотрела на дверь, и он не нашел ее губ, поцеловал в верхнюю часть глаза, почувствовал крепко сложенные волоски ее брови.

Это было счастье, но не такое счастье, какое дается всем людям, а какое-то особенное, неожиданное и незнакомое. В нем много было удивления. Его рука удивилась ускользающему легкому шелку, удивилась собственной смелости. Его душа ощутила существо, у которого и тело,

и глаза, и брови, и платье, и неожиданно возникший запах духов, и гордая сдержанность покорности были созданы жизнью для счастья и награды — неужели Алеше?

Его счастье было так великолепно, что в нем не успела проснуться страсть. Он опустился к ее ногам, обнял ее ноги — и сказал ей, склонившей к нему таинственно прекрасную голову:

— Нина!

Она положила руки на его плечи:

— Милый... зачем такие рыцарские поклоны?

Алеша радостно прижался к ее колену. Почувствовал, как в смущении дрогнула ее нога, и вскочил. Она быстро отошла к двери и, взявшись за ручку, остановилась:

— Нас ожидают. А знаете что, Алеша? Мы подождем... целоваться хорошо? Если бы вы знали, как сильно я вас люблю...

19

Лампа горела попрежнему на окне. За партами сидели свободные лицедеи, а впереди, на том месте, где обыкновенно расхаживают учителя, шло действие. С книжкой в руках подавал текст и исполнял обязанности режиссера инспектор высшего начального училища Константин Николаевич. На его тужурке еще поблескивали старомодные петлицы, только орлы на них были без коронок. У Константина Николаевича лысина до половины головы. Другой учитель, маленький, подвижный, казавшийся очень умным, исполнял роль Хлестакова, а конторщик с завода — Лысенко — Осипа.

Алеша сидел рядом с Ниной, и каждое слово пьесы казалось ему по-новому могущественным и остроумным. Он громко смеялся. И Константин Николаевич оглядывался на него с такой торжествующей улыбкой, как будто это не Гоголь, а он, Константин Николаевич, написал «Ревизора». У окна за длинной партой между двумя учительницами сидела Таня и посматривала на Алешу лукавым взглядом. Капитан спрятался сзади и добросовестно зубрил роль Тяпкина-Ляпкина.

Хлестаков произнес свой монолог. У учителя был тоненький, смешной голосок. Хлестаков выходил у него удачно. Он с хорошей, глуповатой тоской произнес:

«Никто не хочет итти». Оглянулся. Один из учителей крикнул:

— А действительно, никто не хочет итти? Где Варавва? Вараввы не было. Это и раньше все заметили.

— Что же это такое? Так же нельзя репетировать,— сказал обиженно Константин Николаевич.— На прошлой репетиции не было и сейчас нет. Почему нет Вараввы, кто знает?

Все оглянулись на Таню.

— Чего вы на меня, товарищи? Варавву позвал Муха по какому-то важному делу.

— Но нельзя же так,— еще более обиженным голосом произнес режиссер.— Мало ли какие важные дела! Мы ставим «Ревизора» первый раз на Костроме, это самое важное дело. А он срывает. Срывает!

Константин Николаевич обеими руками показал на свободную площадку «сцены», на которой в таком же обиженном безделье торчал Хлестаков; всем сразу стало видно, что Варавва виноват.

Алеша сказал:

— Если Павел не пришел — значит, у него действительно важное дело.

— Какое такое у него важное дело? Заседание какое-нибудь?

Константин Николаевич слово «заседание» произнес с презрением. Алеша возмутился:

— Да что вы, Константин Николаевич? Павел — большевик, не забываюте.

— Да господи, большевик!

Константин Николаевич отвернулся и сказал горячо, обращаясь к классной доске:

— Большевик должен быть здесь, если такое культурное дело: «Ревизор»! Вы подумайте: на Костроме «Ревизор»!

Все притихли перед его справедливым гневом.

Но выступил из темного угла Степан Колдунов, руки у него в карманах, на ногах добытые недавно валенки:

— Ты, товарищ, напрасно так говоришь! У тебя тут представление, а у него большевицкий совет, может. А ты кричишь! Одной девке хоровод водить, а другой девке за водой ходить!

— Как у нас говорят, в Саратовской,— серьезно, негромко закончил капитан.

Все засмеялись и оглянулись на капитана, но он продолжал добросовестно зубрить роль Тяпкина-Ляпкина. Степан все-таки ответил ему:

— В Саратовской, бывает, дело говорят.

— Да какое дело! Какое дело,— режиссер все больше и больше гневался.— Ставить «Ревизора» это именно за водой ходить, за духовной пищей для народа, понимаете? Вы понимаете, товарищ Колдунов?

В голосе инспектора звучали дрожащие нотки проповедника, но Степан обнаружил полную к ним нечуткость:

— Что ты мне: духовная пища, духовная пища, как будто я не понимаю. Если твою душу накормить нужно, так это и я могу сделать, а Павел — большевик, у него, может, революция.

Режиссер спросил зло:

— А кто будет играть?

— А кого он играет такого, сказать бы?

— Как кого играет? Слугу играет.

Степан даже губу вытянул, настолько ответ заинтересовал его:

— Слугу? Денщика, что ли?

Все обернулись к Степану со смехом, Таня вскрикнула:

— А и в самом деле!

Инспектор высокомерно отвернулся:

— Да не денщика! Какого денщика! Слугу в гостинице!

— В гостинице? Ах ты, чорт! Этих я порядков не знаю. Да постой ты, чудак божий! А откуда тебе Павел знает?

— Что знает?

— Да какие там порядки, в гостинице?

— Да написано ж... Вот в книжке... все написано.

— Стой! Дай я гляну.

Режиссер, снисходительно улыбаясь, протянул ему книгу. Степан ткнул пальцем и полез дальше по строчке:

— Слуга. Это зачем такое?

— Ты дальше. Это обозначено: слуга будет говорить.

— Ага! Обозначено. Ну-ну! Хозяин приказал спросить, что вам угодно. Правильно. Точь-в-точь, как на самом деле. Хозяин такое может: спроси, дескать, что ему угодно. Угодно, это по-старому, что ли? Вежливо. А ну, дай еще!

Хозяин приказал спросить, что вам угодно. Тоже: приказал! Это они мастера!

— Да ты не галди, а становись на место.

— Стал.

Сопровождаемый общим вниманием, Степан был поставлен на соответствующее место, и режиссер сказал ему:

— Теперь спрашивай.

— У него?

— У него.

— А хозяин где?

— Да на что тебе хозяин?

Степан хитро осклабился:

— А как же? Посмотреть интересно.

— Не валяй дурака! — крикнул Алеша. — Играй!

Степан весело осмотрелся, топнул валенком, хлопнул в ладоши:

— Играю. Ну, держись!

Хлестаков рассматривал Степана с высокомерной улыбкой опытного актера.

— Чего смотришь? Хозяин спрашивает, чего тебе нужно.

Эту игру встретили смехом, смеялся и Степан, зачарованный первым своим артистическим шагом.

Режиссер воздел руки:

— Да не так. Ты так, как в книжке: хозяин приказал спросить, что вам угодно!

Степан отмахнулся:

— А тебе хочется обязательно «угодно». Такие слова кончены. «Угодно, угодно!»

— Да ведь пьеса про старое время?

— Ох, ты! И забыл! Про старое! А я... все думаю, по-новому...

Степан добросовестно еще раз прочитал текст, дело у него пошло замечательно, но он никак не мог поверить своему таланту актера и все выражал восторг, приводя режиссера в раздражение. Степаном занялись все, собрались на «сцене», приводили его в деловой порядок.

В дверь класса заглянул Муха. Из-за его плеча смотрел Павел.

Степан закричал:

— Вот он, дезертир! А я тут вместо тебя холуя изображаю!

— Выходит?

— Трудно, понимаешь!

— Алешка, подь-ка на минутку.

Муха был серьезен и одет по-дорожному: теплый пиджак подпоясан ремнем, под рукой сверток.

— Алеша! Срочно выезжаю с ним... с Павлом.

— Куда?

— В губернию. Партийная губернская конференция. Телеграмма пришла.

В дверях стоял Степан и спрашивал:

— Большевики собираются?

— Ты уже здесь. Ну... какое тебе дело?

— До всего у меня дело. Это я холуя только представлять буду, а на самом деле рабочий класс. Если большевики собираются, так и говори.

Муха махнул на него рукой:

— Собираются. Алеша! Твоего батька не нашел, где-то запропастился. Так ты скажи ему: поехал в губернию. Там все узнаю, и все будет ясно. А вы тут с Красной Гвардией сильнее...

Степан и совсем вылез в коридор и дверь прикрыл:

— Сильнее, сильнее, а патронов мало. Ты патронов привези.

— Беда мне с этими патронами.

— И пулемет привези!

— Пулемет бы хорошо,— подтвердил Алеша.

— Это посмотрим. На это мало надежды: кто там будет теперь пулеметы раздавать? Тоже эсеры сидят.

— Да гоните вы этих эсеров,— возмутился Степан.— Или играй, или деньги отдай! Честно с ними нужно.

Павел осторожно передвинул Степана на более спокойное место:

— Пулеметов не дадут. Это и говорить нечего. Скажут: сами доставайте. Чего тебе еще привезти, Алеша?

Алеша взял его за локоть, смутился, почему-то потащил в сторону:

— Павлуша! Друг! Найди, привези... портрет Ленина.

Репетиция закончилась в десять часов. В темных сенях Таня взяла Алешу под руку. Только на дворе Алеша увидел лукавый блеск ее голубых глаз.

— Алеша, у тебя такой счастливый вид:

— Счастливый? А что ж?

— Она... в нее я тоже влюблена. Она просто прелесть! И у нее хорошая душа. Только, знаешь что? Ей нужно помочь. Ты ей помогай. И я помогу.

— А почему?

— А то она не выдержит. Думаешь, ей легко? Она ведь начинает жить... поздно начинает. И все догонять нужно. Вот ты послушай.

Таня приблизилась к его плечу и зашептала, подсакивая на носках:

— Ты послушай. Сегодня утром я пришла к ней. Мы вместе читали эту сцену, где Анна Андреевна и Марья Антоновна. А она стирает. Понимаешь, стирает. Она стирает и смеется. А я вижу, какие у нее руки красные. У нее нежные руки и сразу сделались красные. Ты возьми мои руки. Ты видишь, какие, хоть и немножко, а все-таки шершавые. А у нее какие! Ей больно, она не умеет стирать. Я знаю: ей хочется плакать, а она смеется. Долго ли вот она будет так... смеяться?

Они проходили по двору школы, обходя ее здание. В темноте еле-еле удерживались на двух досках, положенных рядом. Таня цеплялась за его руку, не хотела оступить в песок. Алеше стало грустно и тяжело, но он не мог еще разобрать, почему. Впереди капитан подчеркнуто галантно вел по доскам Нину, а еще дальше Степан что-то громко объяснял путникам.

Вышли на площадь. От реки приходили влажные волны холода и бежали к мохнатым и тусклым костромским огонькам. Доски кончились, ноги ступили в мягкий холодный песок. Алеша со злобой и страданием посмотрел на Кострому и вспомнил прямые пальцы отца, всегда израненные черной металлической сыпью. Вспомнил руки матери, покрытые сухой, пергаментной, тонкой кожей. И танина рука была, действительно, чуть-чуть жестковатой. Он вспомнил нежную руку Нины и вздохнул:

— Как же помочь? — спросил он тихо.

Таня подняла глаза:

— Ничего, ничего, Алеша, она привыкнет. Надо только, чтобы она не мучилась, потому что ей трудно.

— Ах... Так помочь? — Алеша разочарованно замолчал. Подумал немного и спросил: — Да... конечно... Так

можно помочь. А я подумал про другое. Зло берет, что у тебя такие руки, ты говоришь, шершавые. Наши девушки должны быть красивые, и руки у них должны быть нежные. Ты говоришь, нужно помочь, чтобы она не мучилась. А этого мало. Надо помочь, чтобы они не портили себя, свою красоту.

— Значит, чтобы они не работали? Чтобы, значит, белые были, как принцессы? Только девушки? Да?

Таня спрашивала весело, задорно, очевидно, в этом вопросе для Тани не было никакой трагедии. Она переспросила:

— Только девушки? А матери, а бабушки? У них какие должны быть руки? Ты хочешь, чтобы мы, женщины, не работали? Как это великодушно с твоей стороны, правда?

Алеша смутился и загрустил. Таня прислушалась к его настроению, потом рассмеялась:

— Какой ты еще мальчик. И ничего ты не понимаешь. Разве руки у нас такие от работы? От работы, говори?

— А как же?

— От бедности, дорогой, от бедности... Можно как угодно работать, а если пища хорошая, и отдых, и глицерин всегда под рукой — они будут мягкие. Ты не бойся за нашу красоту. Успокойся, зачем так грустить? Какой ты еще мальчик, ты жизни совсем не знаешь.

Там, где у длинного прозрачного заборчика широкая улица поворачивала в город, Нина и капитан остановились.

Нина сказала:

— Мы идем в город.

— Так поздно в город?

— Мне нужно зайти домой, кое-что взять. Чемоданчик. А завтра будет некогда. Капитан, такой любезный, согласился меня проводить.

— Нина, почему капитан? Почему меня вы отстраняете?

— Не ревнуйте. Капитан меня проводит и поможет мне донести чемодан. А вам трудно, Алеша, так далеко: три версты. И вы не можете нести чемодан, потому что у вас нога... еще бедненькая.

Алеша церемонно поклонился:

— Я не смею нарушать ваш выбор, Нина Петровна.

И я никогда не позволю себе стать на дороге товарища. Но я надеюсь, вы не будете в претензии, если я приглашу Таню проделать со мной этот марш: в город и обратно.

— Какие вы люди! Только... может быть, Таня, не хочешь? Как жаль... Я могла бы угостить вас чаем, но после вчерашних событий это невозможно.

Таня закричала:

— Пойдем, пойдем! Мы не будем заходить в дом, а только подождем.

Алеша обратился к капитану:

— Михаил Антонович, скажите Степану, пусть дверей не запирает, мы вернемся попозже.

— Идем, идем, Алеша,— Таня ухватила алешину палку и потащила его вперед.

Нина спросила вдогонку:

— Кто же должен ревновать, он или я?

— Оба! Оба должны! Идем, Алеша, идем!

Алеша забыл о своей ноге и побежал за девушкой.

В конце улицы чернели дебри потемкинского парка. Парк стоял теперь мрачный и молчаливый. Падали последние листья на мягкие шуршащие дорожки. Что-то умирало вокруг и гордо молчало о своей смерти, а люди, как будто уважая это умирание, обходили парк по широкой проезжей дороге. С дороги донеслись скрип колес и будничные голоса людей, которым судьба послала сегодня дорогу. Они шли с Костромы, а может быть, и откуда-нибудь подальше, из города никто не имел нужды тащиться куда-то темной осенней ночью. За парком далеко светились огни города, казалось, будто в городе сейчас весело и нарядно. Кострома отходила назад мокрым и тревожным провалом. И оттого, что они идут навстречу огням, Тане представлялось, что они идут на какой-то праздник.

— Мы не пойдем по дороге. Мы пойдем через парк. Здесь природа.

Наконец, она утомилась, а может быть, и страшно стало среди молчаливых, мрачных стволов, под сеткой оголенных ветвей, над сыростью дорожки. Таня поймала алешину руку и пошла рядом с ним, пугливо посматривая в стороны.

— Таня, я все тебя забываю спросить. Уже октябрь. Почему ты не уехала в Петроград?

— Алеша, скажи мне ты: почему? Все откладываю и откладываю. Стыдно сейчас бросать нашу Кострому. Я и сама не знаю, почему стыдно. Учиться хочется, ты себе представить не можешь, как хочется. А уехать не могу. Дома сейчас трудно, да и у вас так же, а жить сейчас до чего интересно! Отец в Красной Гвардии и Коля в Красной Гвардии. Клуб у нас, Нина, вчера митинг. Даже на Костроме все сдвинулось с места. Я хожу и смотрю, и все смеюсь. Теперь я стала такая легкомысленная, я такая никогда не была. А уехать не могу.

— Ты перечислила разные прелести, а Павла забыла.

— Нет, Павла нельзя забывать. Скажи, что ты думаешь о Павле?

— Как, что я думаю? Павло — мой старый друг.

— Ну, не надо. Лучше я тебе скажу. У нас с тобой как-то так получается, как будто мы брат и сестра, и, знаешь, такие, любимые, любимые! Я с Николаем так не могу говорить. Вот и про Павла. Алеша, когда-то еще гимназисткой была, я так мечтала о любви. И вовсе я не рисовала себе царевича или какого-нибудь барчука. Я не знала, какой он будет, но я думала, что он будет такой... огненный, такой... воодушевленный! А сейчас я люблю Павла, вот просто влюблена, и так... сильно влюблена... А не нужно, чтобы он был огненный. Он и кричит, и руками размахивает, а на самом деле, он спокойный человек, и мне нравится, что он такой спокойный. Я понимаю это: он может и в бой пойти, и умереть, а все равно он такой и останется спокойный. И у нас с ним любовь, как будто мы давно с ним поженились, а на самом деле, нам и поцеловаться некогда, да я и не люблю этого. Ты сейчас же скажешь, что мы просто рыбы. Правда?

— Я этого никогда не могу сказать. Павлушка — глубина.

— Это правильно: глубина. А у меня нет. Я какая-то такая — обыкновенная. Я и красивая, это я знаю, а все-таки обыкновенная. И до чего это мне нравится, ты себе представить не можешь.

— Что тебе нравится?

— Да вот же это, что я обыкновенная. Я тебе расскажу. Теперь все люди какие-то необыкновенные. Все — умные, все идут вперед. Идет революция, я это хорошо чувствую, вся наша семья там, даже мама, большая ре-

волюция, таких еще никогда не было, потому что... большевики, понимаешь? А я хожу и радуюсь: это революция для меня. Для таких обыкновенных людей, как я. И мне не стыдно. Просто не стыдно. А потом может быть такой случай: все бегают, и кричат, и волнуются. Чего волнуются? А вот чего: нужен доктор, обыкновенный доктор, который может лечить. А я тут и выйду: пожалуйста, вот, я — обыкновенный доктор. Ты сейчас же скажешь, что это пустяк — обыкновенный доктор, конечно, это пустяк, если один, один доктор. А если много? Много обыкновенных докторов. Ну что ты скажешь, Алеша?

— Я слушаю и поражаюсь, когда ты успела сделаться такой... остроумной?

— Сейчас скажу, когда. Вы все думаете, что я, так себе, курсистка. А я посчитала, сколько у нас на Костроме народу пропало оттого, что не было обыкновенных докторов. В нашей земской больнице есть Остробородько, так он никогда не принимает, а принимает его помощник, он тоже доктор, только он необыкновенный, он дикарь, он просто не может лечить людей. И он неряха, и лентяй, и еще пьяница. Я знаю, сколько у нас на Костроме умерло от туберкулеза, от воспаления легких, от инфлюэнцы, от рака, от болезней печени, от заражения крови, от скарлатины, дифтерита, оспы... А сколько детей? Господи, сколько детей! Скажи, пожалуйста, разве это плохо: обыкновенный доктор?

— Таня, значит... революция — это для тебя, чтобы ты могла лечить людей?

— Нет, не только для этого. Лечить, это само собой. Но я буду читать книги, путешествовать, ходить в театр, покупать сколько угодно глицерина, я буду жить. Мне не стыдно: я хочу почувствовать, как может обыкновенный человек жить с честью. Я хочу это почувствовать на себе. И увидеть, как другие живут. Ты сейчас же скажешь, что я не герой, что я все скучно думаю. Пожалуйста.

— Я так не думаю. Не может же человек ходить и искать: где бы мне проявить свой героизм. А я недавно читал, как работали «обыкновенные врачи» на холере.

— Ладно. Мы с тобой все понимаем. Ты тоже — обыкновенный человек, и за это я тебя люблю, как вот брата. И Павел — обыкновенный, и Муха, и Богатырчук. Только ты не подумай что-нибудь плохое. Обыкновенный, это,

знаешь, почему? Потому, что людей миллионы, эти миллионы нужно все-таки уважать, а не думать, что я вот — не такой, я лучше всех. Ой, какую мы с тобой философию развели. Это потому, что я очень обрадовалась, давно так весело не ходили в город. Все по делам, все по делам. Ай, Алеша, посмотри, как назади страшно. И в этом мраке Нина и капитан. Надо им помочь, они же испугаются. А у нас — культура... Смотри.

За последними силуэтами широких стволов деловито горели редкие фонари. Начинался город. Таня посмотрела, посмотрела, прищурилась:

— А все-таки Кострома наша лучше. Кострома как-то выше. У нас проще: чистенький песок и никаких фасонов. И окошки светятся, правда? А это, смотри, культура! Грязь какая! А фонари освещают.

Поджидая оставших, они остановились в жиденьких воротах парка. Пустынная улица уходила далеко белесым блеском размазанной на булыжнике грязи. У самых домов, в тени, под акациями, стучали по дощатым тротуарам шаги редких прохожих. Представлялось, что там в темноте люди по самый пояс бредут в грязи, а стучат потому, что еще не потеряли надежды выкарабкаться.

Таня подняла к Алеше голубые глаза и сморщила носик. Алеша громко рассмеялся. В глубине парка послышался голос Нины.

— Нет, капитан, умом я сейчас ничего разбирать не буду. У меня ум бабский, что он там разберет?

— Интересно,— сказал Алеша громко.

— Не мешайте, не мешайте,— остановил его капитан,— дело важное.

Таня вскрикнула:

— Нина! Как разговорился капитан!

Капитан взмолился непривычным к мольбе хриплым басом:

— Не мешайте, да не мешайте же! Пусть она скажет. Я знаю эту старую, как бы сказать, отговорку: умом не пойму, а вот чувством.

Нина ответила весело, звонко, властно:

— И не выдумывайте! Никаким там чувством! Я о чувствах тоже знаю. Только я чувствую не верю. Чувство,— оно одноглазое! Я больше верю вкусу.

— Как? Как вы сказали? Вкусу?

— Ну, да! Обыкновенному человеческому вкусу.

— Ба! Барышня! Что такое вкус? Эстетика? Эпикурейство?

— Эпикурейство — это гадость! Не смейте так говорить! Алеша, поддержите меня, я не умна спорить!

Опираясь на палку, Алеша стукнул по фуражке, отодвинул ее на затылок, начал пальцами растирать лоб.

— Пойдите, Нина. Это что-то такое важное, а только... хвостик есть непонятный.

Нина устало положила руку на его плечо:

— Я все понимаю... а сказать...

Капитан пристал:

— Вы это... сердцем понимаете?

— Нет.

— Умом?

— Нет. И не сердцем, и не умом. А знаете чем?

Капитан повернул к ней лицо, освещенные высоким фонарем, блеснули его маленькие глазки. Нина прошептала:

— Не умею сказать... Не то слово!

Капитан показал на мостовую:

— Перейдите здесь со вкусом. Если у вас есть галоши — пожалуй, перебраться через эту улицу можно и эстетично. А если без галош, вымажетесь. Вот и все.

Нина оттолкнулась от Алеши и с веселой угрозой подошла к капитану:

— Товарищ Бойко!

Он вздрогнул от такого обращения. Никто никогда не называл его товарищем Бойко.

— Товарищ Бойко! Как же вы не понимаете? Никакой нет грязи!

— Фу! Да вот же она перед вами! Смотрите, какая симпатичная!

— Нет, вы знаете, до чего я люблю, если сапоги вымазаны до самых колен. До самых этих... ушек. Это у мужчины.

— В грязь?

— Какая же это грязь? Грязь, если клопы, потом... другое. Если неряшливость... вообще нравственный беспорядок. Понимаете?

Капитан улыбнулся, махнул рукой, двинулся через улицу.

Таня крикнула на всю улицу:

— Сапоги у вас нечищенные, это действительно грязь. Денщика нет, правда?

Капитан не оглянулся. Нина подняла юбку, игриво попробовала красивой, маленькой ножкой первый булыжник, засмеялась счастливо.

— Вот смотрите, перейду и не замажусь.

Алеша смотрел очарованный. Каждое движение этой девушки было движением точным, ловким и красивым. Даже юбку она держала в двух руках так, что она не могла образовать ни одной безобразной складки. Она переступала с булыжника на булыжник и иногда смеялась. Ее ножки умно и зорко выбирали лучшие места и становились на них с хитрым выражением. Она перешла через улицу, обернулась назад:

— Видите?

Алеша не мог вместить в себе восхищения и не мог его выразить ни в какой форме. Но ему стало свободно и радостно жить на земле. Обеими руками он так же ловко и изящно, оставив пальчики, подобрал полы шинели, осторожно попробовал носком сапога первый булыжник и с размахом зашагал через улицу, нарочно попадая в самые гиблые места и разбрызгивая грязь во все стороны. Девушки смеялись на другом берегу, и Нина встретила его словами:

— С наибольшим вкусом все-таки перешел улицу Алеша!

21

У калитки Остробородько сидели довольно долго. Капитан помалкивал, курил и рассматривал землю. Алеша сидел на скамье, вытянув ноги на палке, и мечтал о прошлом. Он любил иногда пошалить с воображением и подражать памяти. Сейчас, вспомнив Фауста, он задал себе вопрос: какое из мгновений его прошлого хорошо было бы повторить? Какое из них было лучше сегодняшнего дня? И он улыбался совершенно несомненному ответу: никакое! В своем прошлом он не находил образцов для подражания. Он выпрямился и удивленно посмотрел на капитана. Сказал вслух:

— Чорт! Не может быть!

Капитан ничего не сказал. Алеша снова все пересмот-

рел и проверил. Сомнений быть не могло. Всякое там счастливое, сопливое детство, конечно, по боку? Военное училище? Фасон, глупость и фанфаронство. Фронт, патриотизм? Но за патриотизмом сейчас же начинали вырисовываться морды Николая второго, дивизионного командира, водянистого и ленивого «нестуляки», и как итог — страшная гибель его полка. Атаки? Задор, страх, напряжение и большой человеческий гонор? Алеша прислушался к себе. Где-то от этого гонора оставались корни, и Алеша их уважал, но теперь все это представлялось трудной гимнастикой, без смысла и без счастья.

А сегодняшний поцелуй? Это была очень нежная и такая безгрешная ласка. Нужно до боли любить эту замечательную девушку, такую сильную и красивую и такую... одинокую. Алеша оглянулся на калитку с тревогой. Там, за калиткой, представился ему тихий, потонувший в покое уют, богатое семейное гнездо. Какую нужно иметь силу, чтобы так весело и так одиноко уйти из него в мрачные провалы Костромы. Стирать, красные руки!

Хотелось, чтобы у него расширилась грудь и поместилось в ней, наконец, невмещающееся чувство. Пусть будет чувство. А счастья не нужно. Просто не нужно. К черту!

— Капитан! Слушайте, капитан!

Капитан сказал, глядя в землю, но сказал настойчиво:

— Алексей Семенович! Я не мешал вам думать, не мешайте и мне.

— Слу... Позвольте... Простите, пожалуйста. Я хотел задать вам только один важный вопрос. Один вопрос.

— Хорошо. Только один.

— Вот спасибо. Скажите, в вашей жизни был хоть один такой счастливый момент, хотя бы один, чтобы вы желали его повторить?

Не оборачивая к нему лица, капитан ответил, не раздумывая:

— Был. Один момент был... то есть, я полагал, оказалось — чепуха!

— Да не может быть! Расскажите, капитан.

— Условие было: один вопрос! И почему «не может быть»? И не мешайте. Я хочу подумать.

— Извините. Думайте.

Какой там у него момент? Поцеловала какая-нибудь полковая красавица. А в будущем это невозможно. Вот и весь момент. Но как странно. Неужели прошла его молодость и нечего вспомнить? Цена человека? Достоинство?

В доме за калиткой стукнула дверь, слышались голоса, скупые, беглые, как будто чужие, хотя Алеша различил и глубокий шопот Нины, и невыразительный, с гнусавым потрескиванием тенорок Петра Павловича. Голоса были сбиты грохотом щеколды у калитки. Неся перед собой широкую коробку, Таня перепрыгнула через порог. Наклонилась к Алеше с шопотом:

— Сюда идет! Говорит: я ему скажу.

Опершись на палку, Алеша поднялся со скамьи. Калитка оглушительно хлопнула, но сейчас же открылась, и нога в широкой штанине переступила на улицу. Алеша вдруг вспомнил другую ногу, такую же широкую и такую же страшную: ногу немецкого солдата, перешагнувшего в темноте через невысокий окопчик. Тогда это была контратака прусского полка. И сейчас, как тогда, рука Алеши дернулась к поясу. Но тогда широкая тяжелая нога пронеслась мимо него и исчезла в ночи, а он сам забыл о ней через тысячную долю секунды в горячке возникшей штыковой схватки. А теперь он растерянно опустил руку по шву галифе и смотрел, как на легком ветру шевелились неясной мазней волосы на голове Остробородько.

— Ничего, Нина, ничего. Я только ему два слова скажу.

Переступив через порог, он странно зашатался и вообще имел вид встрепанный и невменяемый. Эта встрепанность еще больше испугала Алешу: он привык видеть Петра Павловича упорядоченным и приглаженным. Петр Павлович, шатаясь, замаячил перед Алешей, поднял кулак, что-то в нем было от человека выпившего.

— Молодой человек,— начал он громко и хрипло.— Молодой человек, не думайте, что перед вами несчастный отец и несчастный гражданин. Не подумайте и не воображайте, что я вышел жаловаться. Она — моя дочь, и я ее понимаю. Она не хочет сидеть в моем доме, потому что ей нравится революция. Пусть! Мне тоже нравится. Это не ваше дело! Может быть, мне нравится, что вы меня

арестовали. Это тоже не ваше дело. Я только хочу у вас спросить, а вы мне отвечайте сознательно, без малодушия. Вы принимаете на себя ответственность? Принимаете полную ответственность?

Петр Павлович произнес все это с физическим усилием, вытягивая шею и вращая встрепанной головой, как будто он проглатывал трудный и насильственный кусок. Он замолчал, еще раз поднял кулак и прицепился к алешиному лицу таким же шатающимся и острым взглядом. Потом завизжал истошно, на всю улицу:

— Вы принимаете на себя ответственность за меня, за мою дочь, за Россию?

Алеша стоял перед ним вытянувшись и смотрел прямо в глаза. Нина прижалась к рамке калитки и растворилась в тишине вечера. Таня, полуспрятавшись за Алешей, опустила глаза. Один капитан сидел попрежнему, склонившись к земле, и думал, вероятно, о прежнем, о своем,— может быть, о самом счастливом моменте своей жизни.

Алеша весь отдался странному сложному чувству, похожему на сон. И неудержимый, необъяснимый гнев, который поднялся в нем, тоже был похож на ярость во сне, когда человек странно колеблется между негодующим, страстным действием и настойчивым желанием понять свой гнев и остановить его. Петр Павлович, такой знакомый и обыкновенный, казался ему теперь отвратительным зверьком. Он может просто укусить, опасность не так велика, но прикосновение зверька невыносимо. Он смотрел на Алешу, смешно задравши голову, попрежнему пошатываясь, и все вздымал свой слабый, интеллигентский кулачок. Голова Алеши вдруг начала мелко и быстро дрожать, губы страдальчески и нетерпеливо надавили одна на другую. Он сказал тихо:

— Послушайте...

И остановился. Большими глазами с трудом посмотрел на Нину, улыбнулся:

— Нинана!

— Калека! — закричал вдруг Петр Павлович. — Калека и психически больной! Нина! Он болен. Они там все сумасшедшие. Один от фронта, другие от темноты и слабосилия ума!

Он все это прогремел патетически, с жестами, рванулся к калитке, распахнув пиджак, еще выше крикнул: — Можете! Можете! Я вас лечить не намерен.

Расставив руки, он направился к калитке, но Алеша перехватил его рукой через грудь, а другой рукой за плечо повернул к себе. Петр Павлович открыл рот, его лицо было перед глазами Алеши на самой близкой дистанции. Алеша улыбнулся, не весело, не просто, а с уверенной силой мужской уничтожающей grimасы. Он даже чуть-чуть поклонился в сторону Нины:

— Нинана, пожалуйста, простите. Я в вашем присутствии два словава этому старичку. Я отвечаю за Россию и за Нину. Мою Нину. Слышите? А за вас я снимаю с себя ответственность, потому что вы сами за себя не отвечаете. Идите!

Он выпустил Петра Павловича, и тот, не оглядываясь, полетел домой. Он не заметил, как его дочь тяжело, вместе с калиткой, откатилась в сторону, давая ему дорогу. Слышно было, как он прошуршал по двору, как хлопнул дверь, и дверь за ним ударила раз и еще раз и под конец слабо звякнула какой-то металлической частью. Вытягивая голову, Таня смотрела вслед ему, а потом бросила коробку на скамью и подбежала к Нине. Нина так и стояла, вытянув руку к шеколке, и не видно было в темноте, о чем думает ее лицо.

— Нинана... вы простите.

Нина аккуратно, не спеша, оглядываясь, переступила через порог, так же аккуратно закрыла калитку. В другой руке у нее оказался небольшой саквояж. Она поставила его на коробку и положила руку на алешину грудь:

— Алешенька! Приведите ~~вашу~~ голову в порядок! Так, умница, родной мой! Теперь скажите «Нина». Не «Нинана», а просто «Нина». Говорите.

— Ни...на!

— Какая вы прелесть! Разговор у калитки доктора — это не такое большое событие.

Капитан поднялся со скамьи и оказался непомерно высоким. Повернувшись к спутникам, ни на кого не глядя, он наглухо застегнул шинель, сделал шаг вперед, поклонился Нине:

— Нина Петровна! Можно отправляться в обратный путь?

До самой вокзальной улицы шли молча. Капитан честно исполнял свои обязанности, поставил коробку на плечо, в коробке что-то постукивало ритмично, и так же мерно ходили вправо и влево полы его шинели. Капитан с места взял несколько широкий шаг, за ним и все пошли быстро, но никто не запротестовал, а потом этот быстрый ход по кирпичам, вымытым осенью, даже понравился. Было занятно находить впереди выступающий удобный кирпич, моментально заметить рядом другой для соседа и вслед за этим всем вместе шагнуть. Марш получался все же неровный, шаткий, этому очень способствовала неправильная нога Алеши.

За капитаном шли втроем, взявшись под руки. Сначала все думали о том, что в жизни слишком много горестей, что их нужно терпеливо переживать. Но на улицах было непривычно пустынно, мирно покоились отражения фонарей в лужах, ежились у ворот отсыревшие ночные сторожа. Сейчас улица жила своей собственной интимной жизнью, на ней было что рассматривать. И больше всего развлекали вот это дружное прыганье с кирпича на кирпич и невольный бег за капитанской коробкой. После одного из прыжков Таня вскрикнула весело, и сразу обнаружилось, что ничего особенного не случилось, что жизнь не так плоха, а у них еще много богатых человеческих дней. А потом впереди духовой оркестр заиграл «Варшавянку», — событие из тех, в которых быстро и не разберешься, откуда в самом деле в городе духовой оркестр?

Капитан снял коробку с плеча и обернулся к спутникам:

— Алексей Семенович, смотрите, вроде пехоты.

Конечно, это была пехота. Играл оркестр очень маленький, вероятно, выделенный из настоящего. Солдаты проходили по четыре в ряд, но шли в полном беспорядке, вразвалку, не держали ноги, шинели кое у кого расстегнуты, у других подпоясаны ремнями. Винтовки болтаются в самых живописных положениях. Кое-где солдаты идут просто кучкой и разговаривают вполголоса. Так было в голове колонны, а к хвосту колонна и вовсе растаяла, солдаты шли по тротуарам, наполнив улицу беспорядоч-

ным шершавым шумом и толкотней. По тротуару же мимо Алеши, задумавшись, прошел пожилой офицер, а за ним еще один, молодой, в новенькой шинели и в новых погонах. Алеша удивленно посмотрел на капитана, Таня крикнула ему в ухо:

— Смотрите, смотрите, товарищи!

Посмотрели и увидели известный всему городу автомобиль и в нем самого Богомола. А рядом с ним полковник Троицкий. Нина сказала с удивленным полустоном, полусмехом:

— Господи! Мой попович! А он чего здесь?

Капитан, очевидно, забыл о своих вечерних думах и воспоминаниях. Он вытянул вперед голову и даже рот открыл, оживился необычно, зубы у него блеснули.

— Войско! Алексей Семенович! Войско!

Нельзя было разобрать, пришел ли он в восторг при виде войска или его слова выражают насмешку.

— Войско. А вот и войсковое хозяйство.

Медленно, погромыхая по мостовой, тянулся обоз: кухни, сложный обиходный набор и патронные двуколки.

От всего этого на Алешу пахнуло полузабытой тревогой военного движения, но было очень неприятно, что в движении нет никакого военного порядка и четкого напряжения.

— Плохое войско, капитан! Интересно, для чего оно нужно Богомолу?

— Это солдаты Троицкого? — тихо спросила Нина, провожая отчужденным холодным взглядом проходящих мимо солдат, бородатых, измятых, в бестолковых смушковых шапках, на которых изредка увядали красные банты. От солдат исходил сильный острый дух: запах вагона, грязи, портянок.

Под домами гуськом, уступая дорогу солдатам, стали продвигаться дальше к вокзалу. Капитан снова поднял коробку на плечи и сказал как будто про себя:

— Две роты.

— Эй, земляк! Демобилизовался? — крикнул, оборачиваясь на ходу, молодой, остроносый унтер. — Домой подался?

Капитан не успел ответить, оглянулся, но другой, широкоплечий, с большими усами засмеялся ему в лицо:

— У него демобилизация с бабами! Веселое дело!

Несколько человек вспыхнули смехом и внимательно присмотрелись к Нине, идущей за капитаном. Пожилой бородач в распахнутой шинели крикнул задорно:

— Держись, молодайка, расцалую нечаянно!

Другой такой же бородач добродушно отозвался:

— Брось ты, не пугай народ!

— Да я только расцалую! А? Товарищ, ты не обижайся, я в шутку. Тебе все останется. Хоть ты и хромой, а свое получишь!

Алеша ответил в тон:

— Доберись до своей и целуй, сколько хочешь!

— Доберусь! Эх-ма! Голубчики мои, не по дороге этот город, да к моей милой не по направлению!

Последние слова он произнес жалобно-дурашливо. Ему неожиданно ответил размашистый знакомый голос:

— Три года ждала, одного дня не дождалася, плакала, рыдала, с другим целовалася!

— Степан! Ты чего здесь?

— О! Да это ж родные мои!

Степан из потока прибился к деревянным воротам, потащил Алешу в сторону:

— Так и знал, что вас увижу. Я прослышал — войско идет, — да и на вокзал. И старик же сказал: посмотри, какая армия и по какому делу! Встретил, как же, дорогие друзья приехали: вояки не вояки, — пехогники, до казенного хлеба охотники!

— Прощай, земляк, заходи! — кто-то хлопнул Степана по плечу.

— А как же!

Мимо проходили отставшие, заполняя улицу грохотом тяжелых сапог. Степан проводил их взглядом:

— Армия! Запасного батальона первая рота. Из губернии.

— Одна рота? Что ты!

— Одна. Теперь у них роты большие. На фронт не посылают. Богомол призвал.

— Их?

— Да их же.

— Для чего?

— На свою гибель. Выпросил. Народ свой, деревенский, трудящийся народ! А мы плакали: оружия нет! Вот тебе, сколько хочешь оружия.

Семен Максимович нашел Алешу на свободной части заводского двора уже под вечер. Здесь были сложены бревна и обрезки досок. Сегодня красногвардейцы должны были сдавать Алеше винтовку. В течение нескольких дней они занимались в школе «по теории», а сегодня первое отделение решило воспользоваться теплым солнечным днем и устроить занятия во дворе.

Старый Котляров на отдельном бревне расположил части винтовки и, держа в руках отнятый ствол, задумался над ним. Увидев Семена Максимовича, тяжело поднялся и пошел навстречу.

— Вот, Семен Максимович, укротил бы ты своего сына, честное слово! Сдавай ему винтовку! Я ему вчера и говорю: а если не дам, что ты мне сделаешь? Допустим. Что ж ты меня из Красной Гвардии выставишь? А он, знаешь, что отвечает? Не сдашь, говорит, винтовку, отцу пожалуюсь. Это тебе, значит. Ну, что ты скажешь? Приходится сдавать. Выходит так, как будто я тебя испугался. Скажи, пожалуйста, почему это такое? Времена такие или еще какая причина?

Семен Максимович был выше Котлярова и прямее его. Легкая его борода гуляла под ветром.

— Мне уже кое-кто говорил: зачем сдавать? А только ему виднее,— он человек военный. А я тоже порядок люблю. Если у тебя в руках инструмент, ты должен понимать, какая часть к чему.

Алеша стоял в сторонке, вытянувшись, как на смотре. Котляров взмахнул дулом, засмеялся:

— Да это я понимаю. Я и должен знать, и знаю. А только зачем сдавать? А если нужно, пускай спрашивает. На пятерку, меньше не отвечу. А только, пожалуйста, пускай в одиночку спрашивает, чтобы Колька не знал, если спутаюсь. А он все норовит при всех. Колька Таньке расскажет, а Таньке только дай! К чему, скажи ты мне, стариков паскудить?

Алеша шагнул вперед, отвечал Котлярову, но поглядывал на отца: одобрит или не одобрит?

— Если я тебя в одиночку спрошу, другие скажут: потрафил старому Котлярову. Никто и не поверит, что ты винтовку сдал.

Широкий, тяжелый Котляров поворачивал дуло в руках, поглядывал на небо:

— Беда какая! Скажут! Могут сказать, потрафил, знают, что у нас с тобою отношения. Вот, Семен Максимович, как оно все цепляется. Пошел в Красную Гвардию революцию оборонять, а тут выходит экзамен, да еще гляди, чтобы кому что не показалось. А надо. Верно, что надо. Тогда я еще помудрую, посижу. Степана позову, пускай он проверку сделает.

Он побрел к своему бревну. У других бревен тоже занимались красногвардейцы — по одному, по двое, по трое.

— Слушай, Алеша, я вижу, тебе одному трудно.

— Степан помогает. Колька Котляров знает винтовку, а по части построения и команды — слаб.

— Так... А капитан ни разу не был?

— Нет.

— Не хочет?

— Он — артиллерист.

— Артиллерист! Что же, он винтовки не знает?

Алеша промолчал.

— Завтра Муха приезжает. Важное что-нибудь привезет. А вот этот вопрос мне не нравится. Карабакчевские ходят?

— Двенадцать человек.

— Мало. Кто у них старший?

— Асейкин.

— Конторщик?

— Да.

— А шпалопропиточные?

— Один записался у меня, — Груздев. Но... винтовки для него нет.

— Винтовки будут, надо полагать. А почему один? Там двести человек работает? Почему один?

— Отец... как же я... Я не знаю.

Семен Максимович мотнул бородой, жестко посмотрел на Алешу. По привычке Алеша сдвинул каблуки и убрал живот.

— Не знаю! Что это за разговор! Имей в виду, Алексей, я тебя учить не буду. Ты учился довольно.

Молчание.

— В реальном учился. В военном учился. На фронте. Жизнь тоже...

— Но, отец... здесь же не реальное, и не военное, и не фронт.

— Я тебя спрашиваю? Ты мне будешь рассказывать, где реальное, а где завод? Ты почему до сих пор не вошел в партию?

Семен Максимович повернулся к Алеше, руки заложил на спину, наклонил голову. Видно было, что он этой позы не оставит, пока не получит ответа. Алеша смотрел на переносье отца, чувствовал, что смотрит глупыми глазами, был рад, что отец этих глупых глаз не видит.

— Отец!

Семен Максимович его перебил:

— Дома тебе некогда сказать, и народ кругом. Ты — человек умный, ученый, и я — не дурак. Был ты больной, другое дело. Теперь ты здоров. Я тебе ни о чем напоминать не буду. Понял?

— Понял, отец.

— Почему Варавва в партии, а ты нет?

Семен Максимович так и не глянул на Алешу, повернулся к нему боком, и Алеша увидел, как на спине сложенные руки шевелят длинными темными пальцами. Алеше вдруг до слез стало жаль отца и захотелось поцеловать эти пальцы. Алеша понял, чего отец от него требует. Он быстро шагнул в сторону, вытянулся перед лицом Семена Максимовича, сказал громко, прямо, открыто:

— Слушай, отец...

Семен Максимович медленно поднял лицо. Его светло-голубые холодные глаза с покойным вниманием, не спеша нашли алешины взволнованные зрачки, прямой уверенной наводкой остановились на них, с терпеливой, стариковской силой ожидали.

— Отец! Я, понимаешь, заленился: душой заленился. И... задумался все... лишнее... Я тебе страшно благодарен, что ты мне сказал.

Семен Максимович кивнул головой, снова повернулся боком, произнес сухо:

— Хорошо. Иди по своим делам.

Алеша не смел ослушаться. Его рука хотела вздернуться к козырьку фуражки, он остановил ее на полдороге, быстро повернулся и направился к группам красногвардейцев. По дороге его подмывало оглянуться на отца,

но он удержался. А когда подсел к группе Николая Котлярова и посмотрел на то место, где оставил Семена Максимовича, там уже никого не было.

24

За ужином Семен Максимович сказал:

— Вот что, мать. Я не мешался в твои дела, а теперь ты мне скажи, откуда... ты это сало взяла?

Василиса Петровна строго поджала губы, быстро глянула на Алешу, сложила руки на коленях, ответила серьезно:

— Там, где и все люди берут: на базаре.

— Своих кабанов у нас не было, это верно. А только это сало — для рабочего человека — дорогой продукт. За какие деньги ты его купила?

— Это Михаил Антонович ходил в город, принес сало, — полфунта.

Капитан не поднял глаз от тарелки, чувствовал, видно, что разговор заведен не для благодарности. Глаза Степана быстро пробежали по лицам, тоже глянули на Алешу.

— Наши заработки теперь... никакие заработки. Не только на сало, а и на хлеб не должно хватать. Это мои... а эти красногвардейцы еще меньше получают. Дело ясное, — жить мы должны бедно.

Капитанов нос покраснел и опустился еще ниже. Семен Максимович в упор смотрел на капитана:

— Сколько у вас денег еще осталось, Михаил Антонович?

Семен Максимович вдруг улыбнулся. Но капитана не обрадовала эта улыбка. Он вскочил со стула, одернул гимнастерку, снова сел, захрипел:

— Семен Максимович! Не все на деньги, знаете, меряется. Разве можно ваше отношение оценить деньгами?

Семен Максимович взмахнул вилкой:

— Бросьте. Получается так: наши отношения, ваши деньги. Так?

Капитан вскочил:

— Василиса Петровна! Будьте защитницей! Какие же мои деньги? Я сколько раз хотел, понимаете, все равно, строгий учет, раскладка точная, ни копейки моей лишней

не приняли. Ну... сегодня я действительно кусочек сала встретил... купил, так знаете, для десерта. Для десерта исключительно, Семен Максимович.

— Скажите, сколько у вас денег?

— Деньги? Да это глупые деньги. Когда выписался еще, набралось... капитанское жалованье, за ранение, отпуск, подъемные, то, другое, а теперь осталось немножко... ну... несколько сот рублей.

Капитан замер в ожидании какого угодно приговора над этой суммой.

Семен Максимович осторожно положил вилку на стол, посмотрел на нее и коротким движением руки отодвинул ее дальше.

— Михаил Антонович, ничего не поделаешь, у нас теперь будет плохо. Пища будет совсем... бедная. А у вас деньги, вы можете лучше кормиться. Где-нибудь найдете, вот Степан Иванович вам поможет.

Капитан затих на своем месте, забыв о еде, забыв даже о том, что на него смотрят. Он сидел вполупорот на стуле, смотрел вбок, в одну точку. Потом осторожно, неслышно отодвинул стул, поклонился, как всегда, Василисе Петровне и на носках ушел в чистую комнату. Степан округлил глаза и сказал Семену Максимовичу:

— Отец родной, за что же ты его обидел?

Алеша проделал несколько движений в мускулах лица, грустно прищурился. Семен Максимович посмотрел на Алешу, на Степана, на Василису Петровну, опустившую глаза:

— Не нужно ему у нас приучаться. Все равно не по дороге. А чем я его обидел? С деньгами он найдет себе ласку.

Степан ответил уверенно:

— Не найдет. Ты, Семен Максимович, думаешь, он — офицер, что ли? Вот, ей-ей, тебе говорю: он — как дите, куда он там пойдет? Плакать здесь будет, а не пойдет. Человек жизни никогда не видел, а теперь его приучили...

— К чему?

— Да к жизни ж...

— Нам, Степан Иванович, некогда такими детьми заниматься. А потом и ты скажешь: я — не Степан Колдунов, а ребенок.

Но в этот момент открылась дверь из чистой комнаты

и появился капитан. Он молча выложил на стол завернутый в газету пакет. Посмотрел на всех, посмотрел даже на стул, но не сел.

— Семен Максимович, я понимаю. Люди вы не такие, как я, у вас все прямо и честно. Работаете, живете. А я человек брошенный. Мысли всякие, думаю, думаю, поверьте мне, голова от мыслей болит. К Василисе Петровне привык, а других... боюсь, Семен Максимович, боюсь, а может быть, стесняюсь. Вот это плохо, а не деньги. Деньги же... куда-нибудь можно... куда-нибудь деть...

Он замолчал. Семен Максимович сидел, отвернувшись, свесив, по своему обыкновению, пальцы. Степан быстро глянул на него и принял на себя роль председателя:

— Ты говори толком, капитан, какая твоя резолюция! А то — деньги, деньги, ничего и не разберешь. Тебе деньги мешают, что ли? Ты их мне подари.

— Возьми!

— Да и возьму, — начал было Степан, но где-то под столом Алеша что-то с ним проделал, потому что Степан даже подскочил немного и снова овладел добродетельной председательской миной:

— Ты лучше скажи, как ты будешь дальше?

— Я хотел бы работать. Хотя... нравственное право я имею и на отдых — годичный отпуск. Только нельзя: вы работаете, а я тут отдыхающий. Работу я найду, мне уже и обещали, Семен Максимович.

Василиса Петровна до сих пор сидела тихо, сложив руки на коленях, опустив глаза, только слабые движения сомкнутых губ выдавали одобрение или осуждение, которое она чувствовала по отношению к тому или другому оратору. Но сейчас она подняла глаза на мужа и заговорила негромко, медленно, чуть-чуть наклоняясь вперед в такт своим словам:

— Нет, Семен Максимович, нельзя так делать, нехорошо. Человек он одинокий, трудолюбивый, аккуратный. Он целый день работает. Я только и отдыхать стала, когда он пришел к нам. Он меня отдыхать укладывает после обеда. А когда я после обеда отдыхала? Он хороший человек и не жадный. А что у него деньги, так чем же он виноват? Он будет есть то, что и мы едим. Сала, конечно, не нужно покупать, зачем покупать сало?

Василиса Петровна замолчала, задумалась над своей речью и все продолжала покачиваться в такт своим мыслям. Алеша решительно поднялся, взял со стола пачку денег:

— Идем сюда, капитан! Степан, пожалуйста!

С холодной, хотя и иронической вежливостью он пропустил мимо себя измятого событиями, торопливого капитана и расплывшуюся в улыбке фигуру Степана. Вошел за ними в чистую комнату и плотно прикрыл дверь. Семен Максимович проводил их искривленным взглядом и кивнул вдогонку:

— Опекуны! Опекуны-то!

Василиса Петровна бросила на мужа быстрый благодарный взгляд и начала убирать со стола.

25

Маруся вошла в кухню, улыбнулась, шепнула подруге: — Закрывай дверь-то, Варюша, не выстуживай хату. Потом обратилась к Василисе Петровне, кивнула головой, аккуратно повязанной светлорыжевато-коричневым платком:

— Здравствуйте, тетенька!

Василиса Петровна поклонилась им:

— Здравствуйте. Варюша одна, а другую как звать?

Черные глаза стрельнули на капитана, месившего тесто на столе:

— Сейчас же насмеяться будут. А сами хлеб месют, как будто женщина. Марусей меня звать.

Капитан повернул к ней голову:

— Ничего нет смешного. Маруся — хорошее имя.

Капитан бросил тесто, расставил руки, измазанные мукой; Маруся поспешила сама рассказать:

— Ваш сынок Алеша говорит: по глазам видно, что Маруся. Разве видно, тетенька?

— Верно. Посмотрите, Василиса Петровна, правда же видно по глазам.

Василиса Петровна улыбнулась, прямые ее бровки сдвинулись играючи:

— Дай-ка гляну.

Она внимательно рассмотрела черные брови и лукавую пропасть черных зрачков:

— Красивые у тебя глаза, и видно: Маруся!

Варюша широко открыла рот, засмеялась громко. Маруся склонила вбок голову перед Василисой Петровной:

— Ой, и они за ними! Веселые все какие здесь живут... люди! А где Алеша?

Из чистой комнаты выглянул раньше Степан, поднял брови к самым волосам и губы сложил в трубочку, будто свистеть собрался, пропел удивленно:

— Алеша, погляди, какие к нам девчата красивые пришли?

— Сам ты какой красивый: рыжая борода, и чегой-то тебе ее повыщипали.

— Да я ее сейчас срежу, милые девушки! Еще чего не нравится, могу тоже срезать, ухо, например!

Но девушки увидели Алешу, бросили Степана. Маруся заговорила громко:

— Товарищ Теплов, к тебе пришли, принимай в Красную Гвардию.

Степан шлепнулся на табуретку и открыл рот, у Василисы Петровны даже глаз зачесался; капитан, как погрузил руки в тесто, так и остался. Девушки заметили общее удивление, Маруся что-то хотела сказать, но не успела: крик поднялся в хате. Степан вскочил с табуретки и закричал громче всех, и капитан что-то прохрипел протестующее, и Василиса Петровна произнесла какие-то слова. Только крик Степана оказался сверху:

— Ха! В Красную Гвардию! Да что вы, девчата, белены объелись?

Алеша вытащил из кармана наган:

— Держи, Маруся, револьвер!

Глаза Маруси вспыхнули пожаром. Она жадной рукой ухватила рукоятку револьвера, дуло его само направилось в Степана. Степан вдруг сделался деловым, метнулся даже в сторону:

— Да что ты делаешь, Алексей! Да разве можно бабе...

Капитан тоже:

— Алексей Семенович, какие шутки с оружием!

Одна Василиса Петровна смотрела на всю эту историю с интересом, смеялась открыто и молодо:

— Молодцы, девчата! Поступайте в Красную Гвардию!

Алеша обнял мать за плечи:

— Вот, кто понимает дело,— это мама! У девушек душа горячая, рабочая, а винтовка и у них стрелять будет.

Степан вытаращил глаза:

— Да отними ты у нее наган, Алексей! Смотри, она в мамашу направила!

Маруся ответила звонким, как будто даже новым голосом, в котором уже не было ни девичьего смущения, ни девичьей легкой шутки.

— Ты, солдат, не егози тама, в кого стрелять нужно! Чегой-то думаешь, ты один тут все понимаешь. Скажи, какой ты такой, военный. Я и без тебя знаю, в кого стрелять. Привыкли на бабу с крыши смотреть, эксплуататоры!

Степан смущенно затоптался перед Марусей:

— Девушка милая, я с тобой кругом в согласии. Отдай только наган, честью тебя прошу.

— Отдать, что ли, ему?

— Так,— сказал Алеша.— Ты хорошо говоришь, Маруся, дело говоришь. А только револьвер не заряжен.

Варя снова захохотала громко. Маруся прищурилась на Степана:

— А еще военный! Испужался, как малый ребенок.

Алеша взял из рук Маруси револьвер, обернулся к Степану:

— Товарищ Колдунов!

— Слушаю, товарищ начальник.

Маруся снова по-девичьи пискнула:

— Вот, тетенька, как с ними разговаривать нужно. Тогда он сразу смирный!

— Сроку три дня. Маруся и...

— Варя.

— И Варя... рабочие на заводе Карабакчи. Рабочие, понимаешь?

Степан серьезно мотнул головой.

— Даю тебе три дня. Самые главные приемы с винтовкой, стрельба. Патрона по три выпустишь...

— Товарищ Теплов, разрешите доложить. Винтовок нет, а если шесть патронов, тоже достать нужно.

— Достанешь. Понимаешь?

— Так точно, понимаю.

— Покажи, главное, насчет строя, перебежки, сторожевого охранения. Три дня. Ты отвечаешь.

— Слушаю, товарищ Теплов!

— Вот, товарищи, ваш учитель. Полная дисциплина должна быть.

Варя спросила недоверчиво:

— Это... слушаться его, что ли?

— Его слушаться.

— Да он какой, смотри: против женщины идет.

— Никуда он не идет. Помиритесь. Да шапки нужно достать, платки не годятся.

Василиса Петровна молча, внимательно наблюдала эту церемонию, а когда она закончилась, приняла с другой табуретки кастрюлю и пригласила:

— Садитесь, товарищи, садитесь, девушки милые. Не только им, мужчинам, выходит, с оружием ходить... Молодые вы мои, хорошие. А по-старому жить — все равно лучше смерть.

Маруся слушала внимательно, разумно, потом сказала:

— Мы эту жизнь тоже попробовали. Вы не думайте, что мы такие молодые. Я с семи годков и чужие беды, и свои — все на одних плечах носила. А товарищ Колдунов думает: только он знает.

Товарищ Колдунов виновато завертел башкой:

— Я это... понимаете... не успеешь за всем.

26

Прямо с поезда Муха и Павел пришли к Семену Максимовичу. Был уже вечер. Василиса Петровна одна сидела за столом и у самой лампы дрожащей иглой старалась вытащить занозу из пальца. Семен Максимович за печкой копошился у кровати, в чистой комнате гудели голоса. Отворилась дверь из сеней, Муха заглянул:

— Добрый вечер. Спит Семен?

Семен Максимович ответил:

— А? Вернулись? Заходи, заходи.

— Здравствуй, мамаша! Ай-ай-ай! Что ты там достаешь?

— Занозила вот.

— Ах ты, беда! А вытащить некому?

Василиса Петровна улыбулась:

— Некому. И у меня глаза старые, и у старика. Я вот тыкала, тыкала, весь палец исколола, а не вытащила.

— Ах ты, беда какая!

Муха швырнул фуражку на гвоздь.

— Давай-ка твой инструмент!

Василиса Петровна послушно протянула Мухе иголку. Из сеней вошел Павел, Семен Максимович взял его за локоть:

— К Алексею зайдешь? Они еще не спят, все спорят.

Павел направился к дверям. Держа в одной руке больной палец Василисы Петровны, другой рукой с иголкой Муха остановил Павла:

— Стой, Павел. Ты там не очень болтай при этом... при офицере, капитан он, что ли? И для чего ты с ним возишься, Семен Максимович, вот теперь и поговорить нельзя. Подожди, вот мамаше операцию сделаю, я тебе все растолкую по порядку.

Павел Варава ничего не ответил, прошел в комнату.

Семен Максимович придвинул к столу табуретку, пальцами потер висок.

— Капитан этот — не плохой человек, только чужак. В Красную Гвардию хочет, только... давай ему пушку. В пехоту, говорит, ни за что.

Вытянув губы, наострив глаза, Муха возился с занозой:

— Пушку ему? Я и сам непрочь бы, да пушек и в губернии нету. Там здорово прикрутили нашего брата. Прямо во все глаза смотрят.

— Что там еще в губернии?

— Да у нас... так... ничего. Дела!

— Хорошие дела?

— Одним словом, прямо говорить — берем власть!

— Ой! — вскрикнула Василиса Петровна.

— Прости, мамаша, это я, понимаешь, забыл про твой палец, думал — штыком действую. Семен Максимович, великие дела наступают: смотри на Петроград и будь готов. А то, может, и Москва начнет. Как удобнее. Ох, и палку ты загнала, Василиса Петровна, стой, стой, держись! На! С этим делом мы победоносно кончили.

— Спасибо.

Усаживаясь на табуретке, Муха толкнул локтем Семена Максимовича:

— Так как, Семен, думаешь?

— Рассказывай, рассказывай, чего ты зубоскалишь, как будто мой Алеша или этот самый Колдунов?

— Ну, добре, расскажу. А чаю дашь?

— Дай ему, мать, горячего, а то он с дороги.

— Да я борщ поставлю.

— Тащи, Василиса Петровна! Тащи борщ. С говядиной, что ли?

Василиса Петровна подняла руку к щеке, улыбнулась виновато:

— Не знали, что приедете, без говядины борщ.

Муха смеялся беззвучно, только звук «х» выходил у него длинный и веселый.

— Не ждали гостей? Ну, я и без говядины на этот раз.

— Да довольно вам, развели тут со своим борщом! Рассказывай, чего болтаешь!

Семен Максимович прикрикнул на Муху строго, Муха послушно привел себя в порядок, придвинулся к столу.

— Одним словом, Семен, последние дни идут. Но я за нас не боюсь. У нас, понимаешь, голыми руками возьмем.

— Какой ты, Муха, егозливый человек! У нас! Что у нас, я и без тебя знаю. Там что, в губернии?

— Ты знаешь без меня, как у нас, а солдат прислали. Прибыли солдаты?

— Про солдат тебе мой Колдунов расскажет.

— Ох, и молодец ты, Семен! У тебя прямо штаб: и командующий, и разведка, и артиллерия, только пушек, у бедного, нету. Давай Колдунова сюда!

— Говори, что в губернии.

— В губернии ничего. Обо всем побалакали. Все ясно. Ничего темного нет. В резолюции так и сказано: обращает внимание на остроту и серьезность переживаемого момента. И еще одно важное дело. Да я тебе лучше прочитаю.

Муха из внутреннего кармана достал целую кучу бумажек, пошлюнявил пальцы, начал перелистывать. Из облезшего футляра вытащил очки и сделался похожим на сельского писаря.

— Есть. Слушай: «Сдерживая массы от преждевременных и изолированных выступлений, мы должны теперь

же готовиться к тому, чтобы дать решительный отпор нападающей контрреволюции».

— Стой, стой! Прочитай-ка еще раз.

Муха прочитал еще раз и глянул на Семена Максимова поверх очков. Семен Максимович оглянулся на дверь в чистую комнату:

— Чудное что-то: дать решительный отпор. Выходит, в случае чего дать отпор. А если не будет случая?

Муха приступил к сложному делу запрягивания своих бумажек, очков, футляра.

— Это так пишется, понимаешь. Там, в губернии, тоже положение на иголках. Написать прямо нельзя, все равно узнают как-нибудь, вот и пишется: «отпор контрреволюции», а каждый должен понимать: не жди, пока тебя совсем за глотку схватят. Все едино, они налазят и довольно нахально. И дело понятное, какой отпор: взять да и... коленкой, это и будет самый лучший отпор. А насчет преждевременных выступлений — это для таких, как твой разведчик, Колдунов этот самый. Да давай же его сюда!

Василиса Петровна поставила на стол тарелку борща и черный хлеб.

— Вот спасибо, хозяйюшка, а то домой далеко еще брести, да и борщ у нас не такой. Говорят, никто на Костроме такого борща не варит, как ты.

— Спасибо на добром слове, только это не я варила, а Михаил Антонович.

— Михаил Антонович? Это... капитан самый? Что за капитан такой? Да ведь ты научила его?

— Научила.

— Выходит — подмастерье твой. Здравствуйте, товарищи. А мне борща дали, видите?

Капитан озабоченно глянул на Павла, потом на хозяйку. Хозяйка важно кивнула головой на печь, и капитан немедленно загремел заслонкой. Муха задержал кусок хлеба перед усами и засмеялся:

— Ну, и коммуна у тебя, Семен Максимович! Настоящая коммуна!

Павел покраснел, схватил капитана за локоть.

— Честное слово! Честное слово, зачем же! Моя ведь хата рядом. Да что это вы, Василиса Петровна!

От большого черного горшка, который он держал на тряпке обеими руками, капитан оглянулся на Павла.

— Не будешь есть? Вот этого борща не будешь есть? А ты хоть раз в жизни ел такой борщ?

Павел перепуганно блеснул глазами, что-то прошептал застенчиво и сразмаху под тяжелой рукой Степана уселся на стул. Семен Максимович потянул бороду книзу и с деловым видом поднялся. У шкафика с закрашенными стеклами он посмотрел на свет две рюмки и поставил их на стол, молча протянул Алексею графин с желтоватой жидкостью.

— Семен, по какому случаю такой пир?

— А вот по случаю твоих новостей. Выпейте, случай подходящий. Ничего, ничего, Павел, выпей, потом будешь вспоминать.

Муха с удивленным видом засмотрелся на борщ:

— Да с чем вы его варите, Василиса Петровна? Какой тут секрет?

Василиса Петровна по-домашнему улыбнулась капитану. Капитан серьезно, вежливо наклонился к Мухе и внимательно посмотрел на поверхность борща в его тарелке:

— Дорогой товарищ! Этот борщ я изучил здесь... в этом доме, и когда изучил, тогда понял, что такое жизнь. Я это говорю серьезно.

Семен Максимович медленно обратил лицо к капитану, все остальные притихли: никто не ожидал от капитана таких прочувствованных слов, хотя они и были сказаны очень тихо и, пожалуй, даже без всякой экспрессии.

Капитан не изменил позы. Он попрежнему смотрел на тарелку борща, как будто читал на ней:

— В этом борще, собственно говоря, ничего нет, ну, капуста, то, се, собственно говоря, это обыкновенный постный борщ.

— Как сегодня пятница, постный день,— Степан внушительно смотрел на Муху.

— Да,— продолжал капитан,— тут дело не в пятнице. Но этот борщ во всех отношениях постный. Я знаю, как он делается. Он делается очень талантливо, замечательно талантливо. В нем мудрости много, души, заботы, а материалу в нем очень мало. Впрочем, вы все равно ничего не поймете. А я понимаю. Я долго жил там, где никто не думает о борще, потому что и другой пищи много. А так смотрели: живут там какие-то люди, рабочие люди, они

чем-нибудь кормятся, потому что не умирают, ну, и пускай живут. А я этот борщ сам раз... десять сварил, и теперь я знаю... вот, как люди живут.

Не меня своего наклона, оставаясь таким же вежливо-хмурым человеком, капитан чуть-чуть повернулся к Василисе Петровне.

— Я пользуюсь случаем, когда гости, поблагодарить... Василису Петровну, в ее лице всю семью, всех... горячее спасибо! Я здесь приемный человек, проходящий. И можно на меня смотреть: ну, что там, капитан какой-то, приبلудный... Не так. Далеко не так. Я... вот... ученик у вас.

Он вдруг улыбнулся ясной, дружеской, человеческой улыбкой:

— Сварить борщ из ничего, и чтобы был вкусный... в этом, понимаете, больше достоинства и как бы это сказать... чести, чем... вы же понимаете. Только... я вас отвлек. Пожалуйста, кушайте. Я вот тоже научился: как это приятно, когда люди едят. Ты его варил, думал, переживал, а люди кушают.

Капитан поклонился, отступил к стене, замер в обыкновенном своем хмурым молчании. Со стороны на него странно было смотреть: человек сказал такую речь и стоит, как ни в чем не бывало, глядит куда-то мимо и как будто даже ни о чем не думает. Степан начал было:

— Ох, ты, история...

Но глянул на Семена Максимовича и прикусил язык. Семен Максимович, расправившись со Степаном, медленно поставил руку ребром на стол:

— Это вы хорошо сказали, Михаил Антонович. И разобрали все до точки. Только и вы не приبلудный человек, а что ученик, это не плохо. И я запрещаю и тебе, Алексей, и тебе, Степан Иванович,— старик пальцем показал на того и на другого,—запрещаю называть его капитаном. Не капитан, а Михаил Антонович. Поняли?

Алеша улыбнулся отцу, больше любясь им, чем капитаном. Степан все-таки прогалдел громко:

— Если у тебя чего не поймешь, Семен Максимович, то, пожалуй, и по загривку получишь. Я все понял.

Муха протянул тарелку:

— А я человек простой, говорить не умею. Михаил Ан-

тонович, если там остался этот... постный борщ, плесни, голубчик.

Всем стало весело, а капитан пошел к печке колдовать над своим борщом. Муха проводил его взглядом и кивнул на него хозяину с таким выражением: смотри, дескать, тоже человек! Потом почесал за ухом, обратился к Степану:

— Расскажи, браток, как там солдаты эти?

— Солдаты? А ничего. Солдаты, как солдаты. Мужички.

— Так... мужички...

— Мужички обыкновенные.

— Так... А говорят, их к нам... усмирять прислали.

— Видишь, товарищ Муха: думала попадья: «Сначала поп, а потом я», а оказалось навыворот: сначала в зад, а потом за шиворот.

— А-а! — протянул Муха и захохотал, перекидываясь на табуретке, чтобы посмотреть на хозяина. — А попадья, значит, думала, почет ей будет? А мужички не согласны!

— Народ больше интересуется насчет земли, а насчет усмирения мало интересуется. А также и революция для этого народа нужнее выходит, чем полковники разные да господа. И вообще, как обыкновенно, солдаты. Про учредительное собрание соображают.

— А-а?

— И меня спрашивали. А я в этом деле... туда, сюда, ни угу, ни мугу, ни в оглобли, ни в дугу. Для чего это... и польза какая будет, еще не разобрал.

— Про это и на конференции спорили. Но самый народ разумный который и большевики природные, те прямо говорят: вся власть советам!

Семен Максимович крикнул, посмотрел на Муху, потом на других, сказал сурово:

— Поумнел народ! Здорово поумнел!

Первая рота запасного батальона разместилась в казармах Прянского полка на краю города.

Степан и Павел Варавва вошли в широкие ворота. Дневальный проводил их скупающим взглядом, а потом вдогонку спросил:

— Эй, земляки, кого ищете?

Степан оглянулся на ходу:

— Ничего не потеряли, ничего и не ищем.

Дневальный ухмыльнулся в поднятый воротник и об­ратился снова к улице. Двор был квадратный, далекий, безлюдный. Только от кухонных дверей отходили одино­кие смятые фигуры и особой побужкой направлялись к другим дверям, неся на отлете манерки с кашей.

— Во! — сказал Степан.— По казармам кашу га­скают. Что значит, свобода пошла! Идем и мы туда. Раз кашу понесли — значит, там и люди есть.

По истоптанной, мокрой и темной лестнице поднялись они на второй этаж. Входные двери в казарму беспре­станно хлопали. В шинелях, накинутых на плечи, и без шинелей, заросшие бородами и просто небритые люди входили и выходили. Движение было большое, но какое­то скучное и бесцельное. Глаза у людей никуда не устремлялись, люди спускались по лестнице молчаливые и задумчивые и такие же возвращались, хлопали дверью, чтобы раствориться в полутемной казарме. Задевая ноги, свисающие с нар, обходя случайные группы, Степан и Па­вел пробирались по узкому проходу между стеной и нарами.

— Где тут второй взвод?

— Второй и есть,— ответил веселый глазастый унтер с усиками тонкими, как у валета, но с глазами быстрыми, черными, склонными к насмешке.— А теперь спроси, где младший унтер-офицер семьдесят четвертого, господа на­шего Иисуса Христа, запасного батальона первой роты Акимов. А я тебе скажу: честь имею явиться!

Степан уже пожимал руку веселого унтера. Тот сидел в боковом проходе у окна на широкой деревянной лавке, покрытой серым одеялом, и пил чай из синей эмалирован­ной кружки.

— А это кто с тобой?

— А это наш заводской, товарищ Павел Варавва,— Степан оглянулся,— большевик.

Акимов громко рассмеялся:

— Да чего ты оглядываешься? Большевикам к нам не опасно заходить, слава богу.

Степан ответил:

-- А кто вас разберет, вы люди присзжие.

— Усмирять вас приехали! — Акимов крикнул это на всю казарму и залился смехом.

Степан уселся на краю нижнего помоста нар, сказал кому-то наверху, свесившему босые ноги:

— Дорогой товарищ, убери ноги, а то откушу!

Сверху свесилась голова, худая, облезлая, тонкая, внимательно посмотрела на Степана. Ноги исчезли, но голова осталась на весу и задала скучный, хоть и привязчивый, вопрос:

— А чего это? Кто такой пришел, который ноги откусывает?

Ему никто не ответил, но с другой стороны нар тоже показалась голова, зашевелились и на нижнем этаже. Высокая полная фигура установила свежий, ладно уложенный по умеренному животу ремень на уровне глаз Павла Вараввы, а сверху на него смотрели с особенным злобным любопытством красивые глаза, под пушистыми усами шевелились полные и тоже красивые губы:

— Речи пришли говорить? Из совета?

— Эй, кто там из совета? — крикнул издали кто-то невидимый, потом гулко стукнули босыми ногами об пол, и из-за красавца вытянулось корявое, курносое, красное лицо, развело рот куда-то вкось, но ничего не сказало, а так и осталось с выражением активного воинственного внимания. Акимов добродушно протянул:

— Да это большевики!

Дородный красавец важно хэкнул, все у него вдруг перестало быть злым, а осталось только энергичным. Он тяжело надавил на плечо Павла Вараввы и опустился рядом с ним на лавку. Курносый вдруг появился на переднем плане, оказалось, что измятая бязевая нижняя рубашка у него болтается до самых колен.

Красавец произнес с аппетитной медлительностью:

— Большевики, если нужно что сказать, тоже могут. Ну, говори, ты вроде арапа, смотри какой!

Варавва блеснул белками, осмотрел казарму:

— Пришли не с речами, а познакомиться.

Тогда человек в нижней рубашке привел свой рот в деловое движение:

— Ты лучше скажи, какой закон написали там, — он кивнул головой в угол казармы, — господу написали?

— Какой закон?

— Да закон же написали, говорят, полный закон. Про землю. Землю, говорят, народ пускай у помещиков покупает. Если кому нужна земля, пускай себе покупает у помещиков. А? Написали такой закон? Говори, что ж ты молчишь! Коли ты есть большевик, так почему молчишь? Почему такой закон: покупай себе землю сколько хочешь? Народу земля в полную власть, только денежки заплати!

Младший унтер-офицер Акимов смущенно-негодующе рассматривал распущенную рубашку оратора:

— Ты, Еремеев, не галди, чего ты к человеку пристал? Он, что ли, написал?

Павел не мог оторваться от лица Еремеева,— столько в нем было давно организованного подозрения, раздражительности, злопыхательства. Еремеев смотрел на Павла, и его глаза уверенно, насмешливо разбирали всю его, Павла Вараввы, сущность и не находили в ней ничего, заслуживающего одобрения. Павел нахмурил брови и ответил Еремееву таким же серьезным и напряженным взглядом:

— Нет такого закона!

— Спрятали, значит,— воинственно подхватил Еремеев,— спрятали, потихоньку действуют. А такой закон есть!

— Ты что, земляк, землицы прикупить хочешь? — Степан спросил с таким внимательным оживлением, словно он сам немедленно намеревался предложить участок.

Еремеев метнулся было к нему, но не способен оказался оторваться от Вараввы:

— Так, говоришь, нету такого закона?

— Нету.

— Защищаешь, значит? Этих... этих...

— Нету, тебе говорю, а скоро будет.

— Покупать у помещиков?

— Да. Тебе землю дадут, а потом помещику платить будешь.

— Я буду платить? — Еремеев вдруг повеселел, вывернул из-под рубашки пустых два кармана, развел их в стороны. Переступая босыми ногами, перевернулся раза два. Степан и Акимов смеялись громко, красавец улыбался, с верхнего этажа смотрели молча. Тот самый, у которого Степан чуть не откусил ноги, заметил деловито:

— Смотри, у него сдачи еще не найдется, у помещика!

Еремеев повернулся до конца, убрал свои карманы, снова поднял на Павла сердитое лицо:

— Получит у меня помещик. Получит полную цену! Дай вот домой приеду, так и расплачусь.

Невидимый голос сказал сверху:

— Я тоже слышал, что закон такой есть. Будто землю по выкупу забирать будут.

— У кого забирать?

— Да у помещика.

— А она у него?

— А у кого же?

— Наши еще летом у него забрали. И без всякого выкупа. Он, может, и взял бы выкуп, да некогда было, пятки смазывал салом в это самое время.

Сказано было с хорошим юмором, победоносный хохот пронесся по казарме, кто-то покатился на нарах, затрепал досками. Только красавец отзывался на все разговоры беззвучно-добродушно, все обнимал и похлопывал Павла Варавву. И Еремеев развеселился и уже совсем мирно обратился к Павлу:

— А все-таки скажи, человек хороший, кто это такие законы делает?

Павел надул полные смуглые щеки, приблизил к Еремееву глаза:

— А ты в учредительное собрание за кого голосовать собрался? За эсеров?

— А как же! За эсеров. Они ж, понимаешь...

— Вот они и закон такой приготовили.

Белокурый красавец крепче прижал горячую руку к талии Павла и засмеялся погромче, подтвердил:

— Они!

Еремеев вытаращил глаза удивленно до крайности:

— Ну? Насада, и ты так говоришь?

— Да это же всем известно! И вчера кто-то рассказывал: ихний проект!

Степан считал вопрос исчерпанным. Он крикнул солидно и самым доброжелательным голосом сказал Еремееву:

— Пиши письмо, голубок. Пиши скорей письмо: так и так, спасибо вам, дорогие отцы и благодетели...

Насада отвалился к стене:

— Да чего там писать? Чего писать? Себе самому

скажи, дураку, спасибо. А их тут много, вот таких умных: «Наша партия, крестьянская!»

Еремеев следил за лицом Насады по-детски внимательно, строго, прищуренным и немного завистливым взглядом. На нарах притихли. Рассмотрев выражение Насады, как следует, Еремеев с тем же прищуренным лицом обратился к нарам:

— Агитация! Это они — агитацию! Думают: непонимающий народ, что ни дай, слопают!

— Большевики! — неопределенно подтвердили сверху.

— Большевики, — совершенно определенно подтвердил Еремеев. — Насада, ему что? Ему на крестьянство наплевать. Ему чуть что — «Поеду на Каспийское море, буду рыбку ловить». А про нас думает: этому сиволапому что ни дай...

В лице Еремеева все больше и больше прибавлялось ехидности и хитрого-прехитрого понимания. Насада продолжал улыбаться, откинувшись к стене, но Павел отнесся к речи Еремеева сердито. Он вскочил с лавки, сверкнул глазами, крикнул обиженным голосом:

— Да ты и сейчас чепуху говоришь! Чепуху!

— Ох! Ох! Чепуху? А вот и не чепуху! Вы-то... посмеяться над мужиком, ох, как вам легче становится!

— И посмеюсь!

— Они посмеются! Разумный народ, городской! — раздавался все тот же таинственный голос в темноте казармы.

— Да кто ж, по-твоему, такие законы делает?

— По-моему? Не по-моему, а вообще. А кого мы выберем, те еще где? Кого я выберу, те еще, может, чай дома пьют.

Павел презрительно отвернулся:

— Он может спокойно чай пить, потому: обманул тебя.

— А ты не обманул, не успел?

Таинственный голос снова загудел в неопределенной вышине:

— Вы все говорите: вот голосуй за меня, а я тебе — землю. А все вы одинаковые: дадите земли три аршина, да и то подороже!

— Тебе большевики говорят: за советы иди! За советы трудящихся!

— Ох, за советы! А что мы, не знаем! Сюда нас чего привезли? Усмирять, ха! А кто позвал? Председатель совета!

— Эсер,— сказал Степан.

— Чего? — Еремеев даже обернулся.

— Эсер, говорю, который чай пьет! Тот самый. У нас выступал на митинге, как это хохлы говорят: у Серка глаз позычил. Прямо тебе в лицо: не сложим, говорит, оружия, облитого народной кровью.

Тот же таинственный голос под потолком разлил безобразно-оглушительную очередь сочного, дурманящего мата. Все оглянулись, но в той стороне было уже тихо. Губы Еремеева сделались вялыми, а глаза присматривались к Степану недоверчиво. Степан не смутился:

— Ты чего на меня, как барыня на гвоздь? Скажешь, выдумываю? Агитирую? Мы его арестовали тогда, сам его под конвоем водил.

Акимов даже подпрыгнул на лавке:

— Да что ты говоришь? Арестовали?

— А как же!

— «Арестовали». Да ведь он нас на вокзале встречал. Степан полез за махоркой:

— Выпустили.

— А! а!—заегазил Еремеев.—Выпустили! Герои тоже, выпустили! Большевики!

— Да как же не выпустить, когда у него дело кругом? Надо же ему закон писать, землю тебе продавать. Не выпустить — так ты еще обижаться будешь, скажешь, зачем мою крестьянскую партию... Да ты не горюй. Может, здесь кого усмиришь, так тебе и даром дадут... землю. Скажут: вот хороший человек Еремеев, тоже... наш... эсер.

Еремеев подскочил к Степану, даже кулаком замахнулся:

— Ты на меня не моргай! Чего ты, хвастаться пришел сюда? Думаешь, ты человек, а мы... вот... усмирители? Тебе есть дело, как Россия пойдет, а мне нету дела? Я тебе всю землю отдам, с потрохами, а своего брата, если трудящийся который... усмирять... У меня, думаешь, чести нет?

— Во! Голубок! — Степан встал, протянул руки.— Прости, дорогой, видишь, и у меня характер... ну его... горячий...

С высоты сказали:

— Нами еще эсеры не командуют.

Насада подтвердил самым искренним тоном:

— У нас офицеры — слава тебе господи.

И как будто в подтверждение этих слов из-за спин стоящих раздался голос, такой красивый, чистый и властный, что с самого первого его звука стало ясно: говорит офицер:

— Что здесь у вас происходит, митинг, что ли?

Все обернулись, раздвинулись. Насада и Акимов медленно поднялись. В конце образовавшегося человеческого коридора слабо блеснули в темноте погоны. Офицер сделал еще шаг вперед. Степан узнал Троицкого и просиял.

— Это что же? Гости, что ли? — Троицкий заложил палец за пуговицу шинели. — Большевики?

Он оглянулся на Акимова. Акимов ответил по-старому:

— Так точно, большевики, господин полковник.

— Что это ты, товарищ, все посмеиваешься?

Степан подскочил, вытянулся, руки направил по швам, сказал с тем самым деревянным напряжением, которое требовалось по уставу:

— Так точно, посмеиваюсь, господин полковник.

Кажется, один Насада почувствовал в словах Степана настоящую правду. Он шевельнул усами, опустил глаза, с интересом стал ожидать, что будет дальше. Остальные — даже и Павел — растерянно глядели на оторопелую фигуру Степана. Троицкий, чуть-чуть изогнувшись в талии, присмотрелся к Степану. Степан глядел на него с завидной каменной почтительностью, и как раз ничего в этот момент у Степана не посмеивалось. Троицкий все-таки спросил:

— Посмеиваешься? Солдат, что ли?

— Так точно, господин полковник.

— Ага! Так вот... может быть, скажешь, отчего тебе так весело? Может быть, оттого, что удачно дезертировал с фронта?

— Никак нет, господин полковник, по другому обстоятельству.

— Это по какому же такому другому?

— Вас хорошо знаю, господин полковник, обрадовался очень!

Троицкий скосил на Степана серьезные глаза:

— Ты что-то ошибаешься, дружище. Я с тобой в одной части не был.

— Так точно, господин полковник! А только, как вы здешнего попа-батюшки сынок и у Корнилова воевали генерала, а потом сюда приехали,— хорошо вас знаю.

Несмотря на то, что Степан все это произнес тем же бессмысленным солдатским криком, в казарме произошло мгновенное движение: задние надвинулись на передних, на нарах загрели коленями, сверху свесилось несколько новых лиц. Степан еще больше вытянулся и задрал голову. Троицкий закричал, словно его ножом пырнули в самое болезненное место:

— Ты лжешь, мерзавец! Акимов! Взять под стражу!

Он было размахнулся властным командирским пальцем, чтобы ткнуть Степана, но что-то странное произошло в казарме, он попал не на Степана, а на Павла. Павел показал ему свои ослепительные негритянские зубы, крикнул весело:

— Да никто не врет! Это весь город знает!

И вслед за этим тот же высотный таинственный голос произнес, как будто играючи:

— Корниловец? Хватай его, шкуру!

Еремеев подпрыгнул, перекошил рот:

— Товарищи!

Рука Акимова занеслась сбоку. Троицкий инстинктивно отшатнулся от нее и сразу завертелся в водовороте человеческих тел, сгрудившихся в узком проходе. Короткие, тесные движения людей перемешались с поднимающимся криком и шумом борьбы. Чей-то кулак взметнулся над толпой и неудобно опустился на светлокоричневую фуражку полковника. Удар получился слабый, однако, фуражка обмякла и бесформенным колпаком надела на глаза Троицкого. Локти заходили в сумраке, но неожиданным сильным движением Троицкий вырвался в продольный проход и закричал:

— Назад, подлецы!

Крик его только на один миг ошеломил толпу, в следующий момент он выхватил из кармана браунинг и дрожащей рукой направил на людей. Передние отшатнулись. Троицкий бросился к дверям. С верхнего этажа нар ему наперерез слетел солдат, но поскользнулся на влажном полу и упал под ноги толпы. Троицкий хлопнул тяжелой

дверью и выскочил на лестницу. Маленький и юркий Акимов — словно через головы всех перепрыгнул к дверям. Двери открылись и снова хлопнули, а потом уже разверзлись настежь и, вздрагивая и визжа, начали выпускать напряженный внутренним давлением клубок людей. С лестницы слышались два коротких сухих выстрела. Еремеев закричал в дверях:

— Стой, ребята! Сукин сын, снизу палит! Бери винтовки!

По казарме загремели сапогами. В сумерках заматались тени. Павел, наконец, выбрался на лестницу, там было темно, сыро и бестолково. Внизу у открытых широко дверей стоял в толпе Степан и говорил кому-то:

— Выпустили гада! Эх вы, эсеры!

28

Степан и Алеша вместе подали заявление о приеме их в партию большевиков. Муха обрадовался им, улыбался, довольный, хлопал по плечам, говорил:

— Собирается народ, собирается.

Было такое впечатление и у Алеши, что народ собирается, что он, Алеша, идет по большому полю в самой гуще народа, и со всех сторон, со всех краев России идут новые силы. Алеше все больше хотелось и хотелось думать об этом и находить новые подробности в событиях и в человеческих глазах. Дни проходили невероятно горячие, переполненные содержанием до краев, звучные и изобретательные дни, с утра захватывающие душу. Алеша не находил времени задуматься, а может быть, задумывался каждую минуту, даже в этом разобраться было трудно. Иногда он надеялся: вот он будет итти из дому на завод и обязательно о чем-то важном подумает и решит. Потом оказывалось, что по дороге на завод пришлось думать о чем-либо другом, специально подоспевшем на сегодня. Надежды переносились на вечер, на совершенное уединение души в постели, под одеялом. Но приходил вечер, приходила ночь, и вместе с ними приходили целые толпы свежих дневных впечатлений, событий, споров, решений, неясностей. Укладываясь спать в чистой комнате, разговаривали и спорили до тех пор, пока Семен Максимович не стучал в стену. После этого сигнала спорили

шопотом — Алеша на диване, капитан на своей кровати, Степан на полу. Засыпали незаметно и неожиданно, прекращая спор на полуслове, оставляя без возражений самые неправильные мысли противника.

Спор обыкновенно начинал Степан, — высказывал какую-либо основательную сентенцию. Алеша встречал ее сомнением или насмешкой. Степан приходил в раж и предпринимал глубочайшие философские раскопки, такие значительные, что и капитан не выдерживал и вставлял свое слово, имевшее обыкновенно задушевно-хмурый характер. После этого у Степана начинала развиваться энергия педагогического типа, ибо он не мог обойтись без того, чтобы не направить капитана на более правильный путь.

Алеша и удивлялся степановой силе, и беспокоился о ней. Степан пер вперед в восхитительном русском стиле, — это Алеша признавал. На его глазах Степан вырос из скромного балагура-денщика в настоящую политическую фигуру, но Алеша сомневался: не слишком ли много у Степана стихийности, вот той самой пугачевской страсти, которая способна перевернуть мир, а потом «замориться» и махнуть на все рукой? В чем здесь дело? Может быть, в нервах, а может, вот в той самой чести, к которой Степан относится, собственно говоря, индифферентно. Для таких, как Степан, необходима победа, только победа может двинуть его дальше. Богатырчук прав, когда «тайну жизни» видит именно в победе.

В представлении Алеши и победа крепко связывалась с вопросом о цене человека. В этом вопросе Алешу уже не интересовали никакие особенные тонкости. Человек должен быть здоровым во всех отношениях, в том числе и в нравственном, в том числе и в своем достоинстве, — вот и все.

Это достоинство Алеша уже давно научился видеть у таких людей, как отец, Муха, Котляров, Богатырчук. Достоинство это не является ли результатом культуры? В самом деле? Деревенских людей издавна прославили: вот у них настоящее, замечательное здоровье, настоящие нервы. Им противопоставляли нервы культурного человека, которые будто бы настолько истрепаны, что могут держаться только в оранжерейной обстановке. Когда-то и Алеше часто казалось, что нервная устойчивость деревен-

ского человека очень велика и завидна. На фронте картина была сложная.

Алеша часто вспоминал день одной атаки. Если атака объявлена заранее и даже назначен час выступления, нервная тревога у офицеров доходила до чортиков. Так было и под Корытницей. Алеша в течение целого дня переходил с места на место, и его душа никак не могла оторваться от атаки, назначенной на два часа ночи. На этом участке фронта попытки упорного прорыва предпринимались уже не первый раз и всегда заканчивались гибелью целых батальонов. И сегодняшняя операция казалась такой же обреченной и страшной. Она стояла впереди, через несколько часов, как совершенно неотвратимая казнь, и каждый человек, встречающийся с ним в окопе или в блиндаже, поражал Алешу нелогичной, напрасной игрой жизни, движением мускулов, лживым блеском в глазах. Все эти люди были уже мертвы, и то, что казалось у них проявлением жизни, было, собственно говоря, только агонией перед холодным, безобразным концом. Конец наступит молниеносно быстро, как только промелькнет этот жалкий остаток дня. Алеша почти физически ощущал себя порцией пушечного мяса, с такой безразличной холодностью заказанной простым приказом по дивизии: подать в два часа ночи. Бродя между людьми, сталкиваясь с ними и не замечая их, он повторял все одну и ту же фразу:

— Что я могу сделать? Что я могу поделаться?

Эту тоску и отупение духа он видел и у других офицеров. Когда до сигнала к атаке осталось два часа, это смертное томление стало уже невыносимым, и тогда кто-то предложил в блиндаже, предложил побледневший, холодный и чужой:

— Господа, а не сыграть ли нам в преферанс?

Многие даже головы не повернули к инициатору, но четверка согласилась, и на шатком, из шершавых досок примостке,— кажется, впервые за всю кампанию изменив обычной на фронте азартной игре,— занялись преферансом. Играли сурово, спокойно, с расчетом, говорили после сочного раздумья:

— Я воздержусь.

— Рискну на одну взятку.

— Пас.

И Алеша играл и удивлялся только одному: как технически совершенно устроен человек. В душе у него невыносимой судорожной изжогой стояла тоска, а какая-то часть его личности по очень тонкой линии раздела все-таки отделилась и играла в преферанс, рассматривала в руках десять карт, соображала, что под играющего нужно ходить с маленькой, что ход с бубен может отыграть у противника короля. Со стороны могло показаться, что преферанс — это почти героизм, великое усилие души, а на самом деле это был распад личности, предсмертное тихое ее гниение. Прибежал перепуганный и фактически умирающий вестовой и прохрипел:

— Ваше сокродие, сигнал!.. Через пять минут...

Штабс-капитан не спеша смешал карты и взял огрызок карандаша:

— Кончить не успеем. Разделим пульку... Сколько у вас на меня, прапорщик? Сто двадцать четыре? Так... Значит, с вами у меня плюс восемьдесят.

И другие просчитали свои висты, быстрыми прыжками карандаша поставили цифры, взяли их в кружочки. Потом лихорадочными движениями достали кошельки и бросили на стол мелочь. Засовывая кошельки в карманы, побежали к выходу, — умирать. Перемахнули через три ступеньки входа, словно они и в самом деле еще жили, словно они еще о чем-нибудь думали и что-то ощущали.

Так умирали эти высокоорганизованные культурой и книгой человеческие существа, и с такой же заячьей, жалкой спазмой ходил умирать и Алеша. А Степаны Колдуновы, мужики в погонах, «михрюты», как называли их армейские пошляки, умирали иначе. Алеша помнит. Когда он выбежал из блиндажа, только что уплатив свой проигрыш — два рубля семнадцать копеек, — его полурота сидела, прижавшись к стенке окопа, и... ужинала. Люди скучно, но сильно жевали ржаной хлеб, держали в одной руке бесформенный его кусок, а в другой винтовку, — все знали, что первый световой сигнал уже дан. Алеша был так поражен этим зрелищем, что на секунду даже забыл о своей предсмертной тоске.

— Чорт! Сейчас атака, а вы жрете!

Кто-то ему ответил не спеша, с трудом поворачивая язык:

— А чего хлебу-то пропадать даром?

Потом он вспомнил эту сцену и думал о непобедимых и неуязвимых мужицких нервах, о стойкости духа, о спасительном народном здоровье. Думал до тех пор, пока не возмужал в боях и не увидел другую сторону явления: вот те самые крепкие мужицкие нервы, воспитанные землей и природой,— они тоже иногда сдавали. И Степан Колдунов тоже не раз, вероятно, удирал с поля, позабыв о том, что у него есть какое-то там достоинство.

А может быть, достоинство и должно заключаться в том, чтобы искать для себя достойное поле сражения? Не смешно ли было ему, Алеше, сочинять для себя достоинство, смысл которого был так наивен: защищать бессельность и пустоту своего героизма?

О чем там распелся Степан, лежа на полу?

— У господ душа завсегда жидкая. Он тебе задается, задается, а на самом деле у него ничего такого нет. Он гонорится, пока поел хорошо да выпил, да закурил, да с бабой побаловался. А дай ты ему, скажем, батрацкую долю, так он тебе через три дня либо плакать будет, либо с ума свернет,— ни за что не выдержит. У нас в Саратовской был такой панок, такой себе был мордатый, занозистый и ходил это все с прискоком, фасон держал. А как промотал там тяткино да мамкино, такой щененок из него образовался, паскудный такой, слюнявый, и ладу себе так и не дал. Плакал, плакал, холуйничал, как последняя тварь, лизал там разные места, а потом взял да и повесился в нужнике. И места себе, понимаешь, лучшего не нашел. Повесился и в записке написал: «Жизнь мне была, как мачеха». Видишь? Ему жизнь мамашей должна быть. И такие они все, господа. Пока есть кого сосать, он и сосет, а как некого, он тебе и скапустился. А в середине в нем ничего такого, крепости никакой.

Капитан отозвался с своей кровати:

— И у них... у господ, разные бывают. Бывают и крепкие.

— Мало. Оно, конечно, на кого нападешь. Бывают и злые. И сердце разное, как у нас говорят: у старухи сердце и у девки сердце, у старухи со слезой, а у девки с перцем.

Алеша пристал к разговору:

— Мало чего объяснил: с перцем, с перцем!

— А как же? Вот, к примеру, Пономарев. Без перца,

пустой человек. Ты смотри, на митинге: мя-мя-мя! Какой это человек! Если ты буржуй, так уж ты будь, собака, буржуем. А не хочешь, иди к народу полностью. Вот этот... полковник ихний Троицкий,— вот это да! Аж глаза у него горят на нашего брата, чуть что — за револьвер. Убежал, смотри, искали-искали,— как сквозь землю провалился. А потом и вылезет где-нибудь, где не ожидаешь.

— Этот, по-твоему, с перцем?

— Этот, конечно, этот такой.

— А говорил: у господ душа жидкая.

— Так я это вообще говорил: жидкая. А только не у всех. А с перцем которые — у господ мало. А то больше, сволочи, из-за угла: там купил, там надул, там схитрил, там, понимаешь, высидел, в другом месте водочки выпили, сговорились. Сволочной народ, бесчестный, потому все и заграбастали. А если бы все такие были, как Троицкий, давно бы их всех поубивали. Оно, когда против тебя зверь идет, виднее как-то.

— Погоди, Степан, погоди! Ты говоришь: сволочной народ, бесчестный. А Троицкий?

— Ого! А как же! Вот посмотрел бы ты: за браунинг, хлоп, хлоп! Этот про свою честь думает, сдохнет, а не уступит. Если я его поймаю, обязательно убью. А то все равно кусаться будет.

— В чем же, по-твоему, честь: в злости, что ли?

— А как же? Если человек злой — значит, цену себе знает.

— Чуть,— сказал капитан.— Что ж, по-твоему, у меня чести нет, что ли?

— Почему у тебя нет? Да у тебя — кто тебя знает. А и злости у тебя — аж на стенку лезешь.

— Слушай, Степан, ну, что ты мелешь? На кого у меня злость?

— У тебя? А на буржуев, на кого ж? Они ж тебя больше всех обидели.

Слышно было, как затрещала кровать у капитана. Потом он спросил:

— Хорошо. А Василиса Петровна?

— Мамаша? Эх, вы: ученый народ, а ничего не понимаете.

Семен Максимович постучал в стену. Все затихли, а потом Степан зашептал:

— Это она к нам такая добрая, потому что — свои люди. А так она — настоящий человек, злой и сердитый.

Этот ночной разговор почему-то встревожил Алешу. Никак не могли исчезнуть из памяти дикие рассуждения Степана. Алеша злился на них и минутами сожалел, что не успел накопить в жизни то необходимое чванство, которое может отделять образованного человека от необразованного, которое позволяет сказать самому себе: «Что там понимает темный мужик, стоит ли прислушиваться к его словам».

Алеша начинал на живых людях проверять «теоремы Колдунова», и получалось как-то неожиданно странно. Конечно, есть хорошее, убежденное, постоянное негодование у матери, конечно, злой и суровый живет отец, злые и сам Степан, и Муха, и Котляров, и Николай, и даже Таня. Нина? Ох, если раскусить Нину по-настоящему, сколько там спрятано настоящего, может быть, даже остервенелого гнева против так называемой жизни.

По «теореме Колдунова» «жизненная злость» — это когда человек себе цену знает. Алеша свободно улыбался, вспоминая эти слова: не подлежало сомнению, насколько это глупо. А может быть, Степан называет злостью всякую активную требовательность, энергию, но в таком случае, почему и капитан относится к злым?

Вот задал человек задачу! Наболтал, наболтал, через пять минут и сам забыл, чего наболтал, а Алеша должен ходить и раздумывать о том, что это значит. И не просто раздумывать, а с обидой. Революция много сказала нового, и многое стало ясно. Но ведь и раньше Алеша мог бы подумать над тем, что было написано в книгах, что бросалось в глаза. И сейчас обидно было: почему цена человека определялась у него без достаточного количества злости?

В первый год фронта была у Алеши простая гордость — совершенно ясная убежденность в том, что он должен быть храбрым и не бояться смерти. А рядом с этой гордостью была и злость: он мучительно страстно хотел победы, он физическими слезами встречал поражения, он заболел, когда наши полки покатались назад, когда в ди-

визии оставалось по три патрона на стрелка. Он огневой и искренней ненавистью ненавидел немцев, потом своих генералов, петербургских сановников, Николая второго. Он тогда судорожно презирал всех окопавшихся, земгусаров, всю тыловую сволочь. Наверное, у него тогда иначе блестели глаза, и голова стояла гордо на плечах,— он чувствовал себя настоящей личностью.

Он тогда злился на людей за то, что они не были в общей опасности, что они свою маленькую жизнь поставили выше общих движений. И теперь он склонен был презирать этих людей, но в то же время родилась у него и новая злость на себя, на свою былую гордость. Было совершенно ясно: он тогда жил и чувствовал, как мальчишка, которого так легко и просто можно было одурачить громким словом. Было досадно и обидно, что очень простые вещи были тогда для него чем-то закрыты. Немцы, тот самый немец, в которого он стрелял из нагана, не был ли таким же одураченным молодым человеком? Враги, те самые враги, которых так горячо хотел победить Алеша, не в одиноковой ли мере с ним больше всего нуждались в просветлении? И в этом большевистском призыве к единению трудящихся всего мира насколько же больше достоинства, чем в его былом фанфаронстве!

Да, злость тоже может быть спасительной силой, в особенности, если на себя злишься и себя проверяешь. Алеша теперь ясно увидел новые станы врагов и новые начала достоинства.

Целый день у Алеши был занят. В Красной Гвардии прибавилось людей, железнодорожники дали двадцать человек и часть из них даже с оружием, но оружия все же не хватало, а самое главное, не было патронов. Никакого пулемета не мог привезти Павел из губернии. Костромские большевики чувствовали себя вообще одиноко. В самом городе почти не было большевиков, рабочие на пристанях организованы были плохо, там боролись только одиночки. В городском совете после истории с Богомолем лучше было не показываться. Кострома, собственно говоря, оказалась предоставленной своим силам.

Правда, первая рота запасного батальона не оправдала надежд Богомола. Куда делся Троицкий, так никто и не мог сказать. Он тогда выбежал на улицу. Дневальный в воротах пропустил его с сонным удивлением. А на

улице он исчез. Группа солдат во главе с Насадой побывала в поповском доме на Костроме, но застала там только растерянность и вздохи матушки. Перестали появляться в роте и другие офицеры, отсиживались по квартирам, о них никто даже и не вспоминал. Вся эта история сильно взволновала город. На другой день штабс-капитан Волошенко появился на улице в штатском пальто и в зимней шапке, которую надевать было еще и рановато. Встречным знакомым Волошенко говорил:

— Придется подождать, пока офицеры понадобятся России.

Волошенко решил ждать в штатском костюме, наверное, так решили и другие, в городе исчезли золотые погоны.

В первой роте побывал сам Богомол, при нем были произведены выборы командира роты, и выбран был старший унтер-офицер Насада. Тогда же были выбраны и представители от роты в совет, но от этого ничего не изменилось, так как совет давно не собирался и ни у кого охоты не было его собирать.

Что-то в городе происходило еще. Ходили слухи, что уездный комиссар Сенюткин потребовал присылки казаков, на железной дороге собирались закрытые митинги служащих. В реальном училище старшие классы строились во дворах и маршировали. Сначала этому событию не придали особенного значения, но однажды утром в руках у реалистов увидели винтовки. На Кострому это известие добежало в тот же день.

Алеша зашел в заводской комитет по дороге домой, и Муха встретил его змеиным, насмешливым взглядом:

— Вот тебе винтовок нехватает. И в совете плакали: нет винтовок. А для реалистов, видишь, нашлось.

— Для каких реалистов?

— Для таких.

— Нашлось?

— Да, где-то нашлось. Уже с винтовками работают.

Из-за спины Алеши Степан зашипел:

— Ах ты, подлюки! Кто им дал?

— Наверняка скажу: комиссар дал, Сенюткин этот паршивый.

— Отнять! — крикнул Степан.

Алеша утвердительно дернул головой. Он даже по-

бледнел от возмущения. Сколько он исходил лестниц, сколько прошел дверей, перед сколькими столами настоялся, везде перед ним разводили руками и строили печальные рожи, везде уверяли его, что все меры приняты, всем написано, со всеми ругались, испортили отношения. Никаких винтовок, потому что, как известно, и в армии винтовок нехватает.

— Это что же... мошенники, значит?

— Того мало, что мошенники,— сказал Муха.— Для чего, думаешь, им винтовки дали?

Степан в этом вопросе не видел ничего сложного:

— Да игратья, для чего! Для чего мальчишкам ружья? Да что же это делается, товарищ Муха! Да сейчас же пойдем и заберем.

Муха замотал головой:

— Игратья? Тут, друзья, игра серьезная затевается.

Алеша загорелся удивлением, весело приглядывался к Мухе, даже на стул сел:

— А по-вашему — что? Сражаться будут?

— Будут.

— Эти? Карандаши?

— Ну, знаешь, карандаши с винтовками? Да еще с патронами!

Упоминание о патронах сразило Алешу. Патронная нужда у него была отчаянная и оскорбительная. Алеша всегда испытывал неизмеримый, леденящий стыд, когда вспоминал, что у него всего по два патрона на человека. Первая рота прибыла тоже с одной обоймой, обещали дослать из губернии, но теперь и первая рота попала в немилость. Слова Мухи о патронах сняли с очереди вопрос о том, будут сражаться «карандаши» или не будут. Весь вопрос имел только одно значение: в городе появилось место, где есть патроны. Это было настолько волнующее значение, что Алеша и Степан одновременно обернулись друг к другу и в одно время сказали:

— Идем!

Они уже бросились к дверям, но Муха остановил их грозно:

— Куда? Куда вы идете? Чего такое придумали?

Алеша оглянулся на Степана с удивлением, и оба они, как козлы, усталились на Муху.

Муха пригрозил:

— Я вам пойду! Вы что, забыли? «Сдерживая массу от преждевременных и изолированных выступлений».

Степан моментально наладил руку для того, чтобы считать по пальцам, но дело было такое срочное, что его пальцы только вздрагивали, а считал он без их существенной помощи:

— Во-первых, товарищ Муха, нас не масса, а двое. А во-вторых, ничего не будет... этого... преждевременного, а как раз в точку, а третье... еще там у тебя какое-то слово: лизорованный или лизоронный, так это я также тебе скажу: пустяк.

Муха крепко положил ладонь на стол:

— Не смей! Сегодня вечером потолкуем, посоветуемся.

Открылась дверь, с трудом просунулась в нее в мохнатом рыжем пиджаке фигура старого Котлярова. Он поставил винтовку в угол, глянул на всех по очереди:

— Про реалистов знаешь?

— Знаю.

... Ну?

— Что «ну»?

— Да что ну! У них винчестеры и патроны!

Степан приложил пальцы к щеке, воскликнул:

— Мать...

Но глянул на Муху и закончил так же выразительно:

— ... моя, пресвятая богородица! Винчестеры!

Муха опустил глаза:

— Вечером обсудим.

30

На другой день было воскресенье. Ночью моросил дождик, песок сделался мокрым и плотным, от реки тянуло зыбкой, несимпатичной прохладой, потемнели крыши на хатах. Семен Максимович вытащил из сундука старое ватное пальто, совсем еще хорошее, только на самом важном месте, буквально на животе, была нашита на нем квадратная, рыжеватая заплата, гораздо более светлая, чем пальто. И шапку надел Семен Максимович зимнюю, старого мелкого барашка, сильно промасленную в подкладке, но безусловно еще целую. А палка у него в руках осталась прежняя, — суковатая с крючком.

Нарядившись, сказал Семен Максимович Алеше:

— Собирайся, пойдем погуляем.

Никогда не замечалось у Семена Максимовича такой привычки — гулять. Даже в воскресные дни находил для себя Семен Максимович работу, если не возле колодца, то в сарае. Там у него и верстачок стоял, и лежали в полном порядке у тисков молотки, напильники, зубила. Частных заказов Семен Максимович никогда не брал и гордился этим:

— Я не мастеровой, я рабочий.

И все-таки на воскресные дни всегда находилась у Семена Максимовича работа — для себя, для соседей, для знакомых, не умеющих обращаться с металлом, для разных там столяров, маляров, конторских: то замок починить, то совок, то заслонку сделать, то самоварную трубу поправить, то кран.

А сегодня Семен Максимович решил воспользоваться воскресным днем и очень обрадовал этим решением Алешу, который уже не помнил, когда это было, чтобы они с отцом «гуляли» в городе.

Алеша быстро надел шинель, измятую фуражку, на которой до конца уже выцвел темный кружок на месте офицерской кокарды. Тоже взял палку, и они вышли на улицу. Алеша хромал теперь еле заметно и даже красиво, чуть склоняясь в сторону, как будто нарочно, чтобы моложе и живее казалась талия.

Направились к городу. По Костроме, у заборов, долго шли молча. Алеша все поглядывал на отца пристальными большими глазами, и было ему страшно интересно, для чего это отец затеял такой специальный поход. Но Семен Максимович шагал серьезно, деловито, аккуратно ставил палку рядом с собой и молчал, даже по сторонам не поглядывал. Алеша потерял надежду понять, в чем дело, тоже о чем-то задумался. И вдруг он радостно оживился, быстро глянул на отца:

— Отец, объясни мне одну вещь. Злость — это хорошо или это плохо?

Семен Максимович не удивился вопросу, тронул бороду рукой и ответил сухо:

— Вопрос довольно глупый: справедливая злость — хорошо, несправедливая — плохо.

— Хорошо... справедливость. Значит, если что-нибудь правильно, так и нужно злиться?

— Неправильность — это хитрая штука. Бедный иногда делает неправильно, — ему бывает «не до того», он только и знает, как бы с бедностью своей управиться. А богатый всегда — неправильно, ему иначе нельзя. Так все и делают неправильно.

— Как это... все? Ты, отец, преувеличиваешь.

— Ты, Алексей, учись разбираться в жизни. Нечего мне увеличивать. Раз есть богатые и бедные, тогда все поступают неправильно.

— И ты?

— А что же ты думаешь? И я.

— Например?

— Да какие тебе примеры? Примеров на твоих глазах сколько хочешь.

— Нет, ты скажи.

Шагая размеренно, точно, Семен Максимович чуть-чуть улыбнулся:

— Да вот латка у меня на животе. Это разве правильно? А видишь, мать взяла и пришила, какой кусок нашелся, такой и пошел в дело. Разве это правильно — такую латку пришивать?

Семен Максимович глянул на сына. Алеша понял, что он ждет ответа:

— Это... конечно... неправильно.

— А вот мать у нас всю жизнь на кухне простояла, это разве правильно? Она была красивая, знаешь, умница женщина. Учиться хотела. Какая же тут правильность?

Он снова глянул на Алешу, но Алеша ничего не мог ответить, мысль о матери сильно его взволновала.

— А хату я себе строил. Не плохую хату. А чужую нужду не замечал. Себя спасаешь, себе лепишь, а на другого не смотришь. Это неправильно.

— Вот это, отец, здорово! Неправильная жизнь — нужно, чтобы человек злился...

— Люди, может, тысячу лет на это злобятся. Только на кого смотря, и какой толк. Вот за латку на мать нельзя злиться. Она и то, бедная, когда эту латку пришивала, смотреть на нее было невозможно.

— На других, значит!

— Эх, другого не всегда найдешь! Привыкли — так и живут, а виноватого некогда искать было. Да и каждый старается утешиться чем-нибудь. Один хату построит,

другой погоня нацепит,— доволен. А злятся больше на своих, на близких: зачем с ним из одной миски лопает, за его ложку цепляет.

— Виноватого можно найти.

— Ха! Молодой ты еще, Алексей! Злой человек никогда виноватого не найдет. Гнева народ довольно потратил, да без толку. Один гнев не поможет. Если один гнев, так это не наше дело.

— Это чье — не наше?

— Не наше? Не рабочее, не пролетарское, как говорят.

— А какое — наше дело?

— Наше дело — разум. Гневайся, сколько хочешь, а главное — голова. Человеческий разум, если по-настоящему, он никакого гнева не знает впустую. А если гневаться по-разумному, то все равно выходит: разум на первом плане.

— Хорошо. А если терпения нету?

— А если терпения нету, ложись в больницу.

— Вот как?

— Вот так.

— Значит, люди должны всегда терпеть?

— Слушай хоть с терпением, не егози. Разум должен быть, понимаешь? Как это терпения нету? У кого нету терпения? У тебя? А нужно смотреть на весь народ. Да разве один наш народ. Скажем, наш человек рабочий и французский там или немецкий. На чем ты их можешь вместе сбить? Думаешь, на том, что у тебя терпения нету? На разуме можешь. Думаешь, Ленин для чего? Твои нервы лечить, что ли? Бомбы бросали в царей, а Ленин бросал? Говори, бросал?

— Не бросал.

— А другие бросали. Ленин умел терпеть, и он знает, когда что должно быть. Он сколько лет терпел, и народ с ним тоже.

— А злость?

— Вот заладил! Да если у тебя в голове порядок, злись себе сколько хочешь. Человек, если он без ума,— никакой ему цены нет.

— А кому цена?

— Народу цена, и всякому человеку цена, который с народом.

— Бывает так, что и народ ошибается.

Семен Максимович кашлянул осторожно, внимательно пригляделся к пространствам парка, через который они проходили:

— Бывало. Народу тоже учиться приходится, и народ умнеет в свое время. Скажем, и теперь: без Ленина ничего не увидели бы. А пришли большевики, и Россия вся поумнела. Конечно, есть такие раззявы, что и большевики их не научат.

— А раньше?

— И раньше народ свое дело делал. Бывало лучше, бывало хуже, а все ж таки Россию сделали. Паны мешали да цари плохие, а все-таки и раньше было видно, кто с народом, а кто против народа, для себя только да для своей гордости.

— А разве гордость — это плохо?

— Отчего? Если у тебя в голове что-нибудь есть стоящее, гордись себе.

Алеша даже остановился. Семен Максимович улыбнулся:

— Чего испугался? Можно гордиться, если у тебя пятерка в кармане, только посчитай раньше, а может, там нехватает полтинника.

Семен Максимович вдруг просиял настоящей открытой улыбкой:

— Эх, молодой ты еще какой! Вот я тебе скажу: никогда не ищи гордости, она сама придет. А кто ищет, тот дурак, значит. Простой дурак, пустяковый.

Алеша радостно ухватил батька за плечи, затормошил:

— До чего ты хитрый, отец! А вот мне рассказывали: за исповедь отцу Иосифу ты рубль платил. Из гордости, говорят.

— Какая там гордость? Это не из гордости... Это так... насмешка просто.

— Хорошая насмешка: взял да и отдал целый рубль лохматому!

— Этот лохматый думает: вот я священник, народ поучаю, живу богато, а вы там темный народ, глупый. А тут и я его поучил: никого ты не поучаешь, а просто мошенник, а кроме того, я тебе еще и милостыню подам, протягиваешь руку,— на, я человек трудящийся. Он это хорошо понимает, поп. Это просто в насмешку. Гордо-

сти тут нет никакой. Если ты с народом идешь, тогда можно гордиться, и честь тогда у человека. А это просто насмешка!

Они уже выходили из парка. Впереди протянулась улица. Семен Максимович сказал:

— Туда нам нечего идти. Домой пойдем.

— Как домой? А ты в город собрался?

— Никуда я не собирался. Покупать там нечего, да и денег нет.

— А зачем же ты меня позвал?

— А я же сказал тебе... погулять. Поговорить нужно было.

— Ты что-нибудь хочешь сказать?

— Какой ты все-таки бестолковый, Алешка! Мы с тобой уже сколько наговорили!

— А ты... ты хотел... что-нибудь?

— Я тебе все сказал, все, что нужно, о чем ты спрашивал.

Семен Максимович снова рассмеялся, прищурился:

— А еще большевик! Смотри, растерялся как! Ну, идем домой.

31

До дому оставалось еще несколько хат, когда Семен Максимович остановился:

— Зайдем сюда.

Алеша не сразу поверил своим глазам. Они стояли перед хатой, в которой жила Нина. Семен Максимович не глядел на Алешу, а с самым обыкновенным, деловым видом толкнул калитку.

Дощатая, серая, некрашенная дверь над тремя ступеньками крылечка стремительно открылась. Нина быстро убежала из хаты, простучала каблучками по ступенькам, радостная взяла руку Семена Максимовича:

— Семен Максимович! Неужели вы ко мне? Как вы хорошо придумали!

Она даже мгновенного взгляда не бросила на Алешу, все хлопотала вокруг Семена Максимовича, потом за руку потащила его к крыльцу. Семен Максимович ничем ей не отвечал, был сдержан, серьезен. Она втащила старика на крылечко и только тогда крикнула Алеше:

— Алешенька, идите, идите, чего вы загрузили?

Одной рукой она еще держалась за старика, а другую протянула к Алеше. Он пожал ее пальчики.

Нина жила в обыкновенной хате, на Костроме они все одинаковы: окна маленькие, на окнах в горшках цветы с шершавыми, круглыми листьями, полы давно потеряли раскраску, а стены бугристые, неровные.

Но все-таки это была комната Нины. Значительную часть комнаты занимала никелированная кровать, покрытая чем-то воздушным, нежным, непонятым в своей сущности. Было два кресла, широких, мягких, гостеприимных. Туалетный столик блестел дорогим зеркалом, обрамленным затейливым полупрозрачным, полунебесным орнаментом, а перед зеркалом стояли остроумные, просвечивающие честностью и чистотой флакончики, коробки, баночки, безделушки. Это был тот особенный притягательный, блаженно-непонятный мир, в котором женственности, может быть, больше, чем у женщин.

Зато маленький столик, накрытый голубым листом бумаги, имел вид очень деловой: стопки книг, бумага, стаканчик с карандашами и костяной ножик, ручка которого изображала лапу орла, держащую агатовый шарик.

Семен Максимович оглядел всю эту девичью роскошь, поставил палку в угол. Не снимая пальто, сел у стола.

— Почему пальто не снимаете, Семен Максимович?

— Да, пожалуй, что и сниму. Только я в рабочем... это... костюме.

Алеша повел глазами на Нину, оба они хорошо знали, что этот рабочий костюм есть в то же время и самый парадный. Еще в прошлом году этот костюм надевался только по праздникам.

— Расскажите, Нина, как вы живете. Может быть, что-нибудь нужно...

Нина уселась против Семена Максимовича. Алеша утонул в кресле и оттуда мог любоваться и лицом Нины, и профилем отца.

— Расскажу, Семен Максимович, всю правду расскажу.

— Рассказывайте.

— Живу я так. Утром в городе. Вы знаете, очень много есть книг. Куда ни приду, никто мне не отказывает, все дают.

— Это кто же такие дают?

— К большим господам я не хожу. А разная интеллигенция: служащие, инженеры, учителя, врачи. Они стесняются мне отказывать. А часть я и купила — полные собрания. Муха дал немного денег. Потому что полные собрания никто не подарит.

— Какие это полные собрания?

— Купила я Льва Толстого, Гончарова, Белинского, Мельникова-Печерского, Гоголя. А больше никого, потому что денег мало.

— О книгах ваших я знаю, говорят у нас много. И читают уже, берут книги, тоже знаю. И работы у вас много: и записать нужно, и выдать. А вечером репетиции. Это я все знаю. А вот, как вы живете?

Нина посмотрела на кровать:

— Вот здесь живу. Только мало. Все некогда.

— Хозяйка вам готовит?

— Хозяйка.

— Так... А с отцом как?

Нина опустила голову, потом быстро глянула в глаза Семена Максимовича и снова опустила голову:

— С отцом? С отцом плохо, Семен Максимович.

— Рассчитались?

— Рассчиталась.

Семен Максимович выпрямился на стуле, кашлянул:

— Не любите, что ли, отца?

— Как — не люблю? Люблю. Любила.

— А что же случилось?

— Не у меня случилось, а вообще. И у меня тоже... с этим... Троицким. А потом революция. Как-то все стало ясно. Я полюбила революцию, Семен Максимович.

— А отцу не нравится?

— Отцу с другой стороны понравилось. Не с той стороны. Он в эсеры записался. Собираются там у него... разные... говорят, вино пьют. А когда выпьют, еще больше говорят, даже плачут, знаете, Семен Максимович, до того отвратительно плачут! А я их насквозь вижу, Семен Максимович: они кокетничают, а на самом деле отец хочет купить дачу и какое-то там образцовое хозяйство устроить. Привели одного... помещика, покупать у него имение. И по этому случаю тоже пили и говорили речи, и плакали, вы знаете? Образцовое хозяйство, говорят, для

нашего народа очень нужно, для крестьян — агрономическая пропаганда!

— У вас брат офицер?

— Поручик, как же. Отец очень любит Бориса. Он сейчас где-то устроился... передвижение поездов, что ли. Приезжает на день, на два, но ко мне уже не заходит. Стесняется или отец не пускает.

— Значит, выходит, с отцом вы враги?

Нина покраснела, отвернулась к окну:

— Семен Максимович, я боюсь об этом думать. Я стараюсь, очень стараюсь, чтобы у меня не было ненависти к нему. Это нехорошо, правда? Я, наверное, эгоистка. Все думаю о себе. И не хочу думать, а оно все думается. Иногда так кажется: зачем бросила отца, отцу можно кое-что и простить. А потом другое кажется. Отец или другой, а на первом месте должно быть уважение к себе. Даром себя нельзя уважать, правда? Нужно за что-нибудь уважать, правда?

Семен Максимович обернулся к сыну:

— Смотри, Алексей, как она правильно сказала, а ты еще путаешь. Вот это самое главное: за что себя уважать. У нас тут есть на Костроме человек один, так он себя больше всего за то уважает, что у него ставни голубой краской выкрашены. А бывают такие, которые калошами гордятся. Пока у него калош не было, человек скромный был, а как купил калоши, уже и шапку не снимает,— гордится.

Нина удивленно следила за Семеном Максимовичем: вероятно, поражала его необыкновенная улыбка. Вдруг она положила руку на его блестящее колено:

— Семен Максимович, знаете — что? А ведь мы с Алешей друг друга любим.

Алеша поднял руки к глазам, Нина, наклонившись вперед, смотрела на гостя, только щеки у нее разругались и глаза заблестели живее; Семен Максимович для порядка ухватил бороду, кивнул:

— Это я знаю.

— Знаете? — Нина еще ближе склонилась к нему. — И скажете что-нибудь, Семен Максимович?

— Не что-нибудь тебе скажу, а дело.

Нина закрыла глаза:

— Спасибо, Семен Максимович. За «ты» — спасибо.

— Не стоит. Ты его любишь, и он тебя любит, а только нужно немного подождать. Скоро будет другая жизнь и другие законы. Тогда вы по новому закону и пожени-тесь.

— Он меня только один раз поцеловал, и то насильно.

— Целоваться... ничего плохого нет, а только с поце-луев начнется, да так и забывается про другое. Такие идут дни, считайте, как раньше великий пост назывался. А любить... это хорошо, любите. Я так и буду считать, что вы его невеста. Благословлять, конечно, не буду, а желаю вам счастья. Только знаешь, какого счастья? Такого, как ты говорила, с уважением.

Он двумя руками, темными прямыми пальцами взял Нину за щеки, улыбнулся в глаза:

— Ты хорошая девушка,— душевная, и хорошо, что ты его полюбила. Он тоже славный парень, только у него все знаешь... жадность такая, ему все подавай, чтобы было ясно. А иногда нужно нахрапом брать, вот как у тебя вышло. Ну, идем обедать к нам.

Алеша поднялся с кресла, серьезный, вытянулся, опу-стил глаза. Семен Максимович иронически кивнул на него. Нина откинула прядь волос, упавшую на лоб, вздох-нула счастливая:

— У вас заплата нехорошая, Семен Максимович: не в тон. Вот смотрите, какой у меня есть подходящий ку-сочек.

Она быстро присела у кровати и вытащила из-под нее желтую коробку, а из коробки сверток обрезков. Развязав сверток, она раскинула на ладони квадратный, темный кусочек материи. Семен Максимович строго посмотрел на него, ничего не сказал, но Нина подбежала к его пальто, закрыла своим обрезком заплату:

— Как раз, смотрите, Семен Максимович. Я сейчас пришью, я очень быстро.

Она уже метнулась к какой-то коробке на туалетном столике, но Семен Максимович остановил ее:

— За латку эту спасибо. Латка подходящая. А только ты ее захвати с собой. Пускай дома мать пришьет, а то она на тебя обижаться будет: скажет, я сделала латку, а они там взяли и спорили. Она тоже к себе уважение имеет, мать-то...

— Я поклонюсь ей и попрошу разрешения.

Нина действительно чуть-чуть поклонилась Семену Максимовичу. Он поднес палец к усам, стрельнул глазами на Алешу. Очень уж хорошо и сказала и поклонилась невеста его сына.

32

Генеральная репетиция «Ревизора» должна была начаться в восемь часов. За сценой, в библиотеке на диванах разложены были костюмы, днем привезенные из города. Нина, Таня и одна из учительниц, вооружившись иголками, что-то зашивали в костюмах и возмущались, в каком плохом состоянии они содержатся в городском театре. Алеша слушал девичий говор и удивлялся: как замечательно устроено в мире, как это прекрасно, что может жить, улыбаться, смотреть и говорить такая настоящая, глубокая прелесть, как Нина. И он радовался тому, что девятым валом пошла жизнь и принесла на Кострому эту девушку, принесла как будто из другого мира, но такую добрую, близкую, такую понятную. Он прислушивался к голосам Тани и других девушек. И у них все радостно, и у них есть много общего с Ниной. Это — достояние всех людей, и никакому Остробородько, никакому его богатству он не обязан благодарностью.

Алеша начал примерять к своим сапогам легкие, клеенчатые краги для костюма городничего. Он невольно улыбнулся их бутафорскому великолепию, их растрескавшемуся блеску. Ничего, со сцены все это покажется настоящим.

— Алеша, вы примеряли ваш мундир?

Нина с мундиром в руках подошла к нему. Алеша поднял к ней глаза и спросил серьезно:

— Нина, скажите, мы отняли вас? Или свое взяли? Возвратили свое?

Нина лукаво оглянулась, наклонилась к нему:

— Ничего вы не отняли, ничего не возвратили. Не воображайте, пожалуйста! Я сама возвратилась. Пришла домой. Бывают такие случаи, когда человек приходит к себе домой? Бывают? А дома всегда лучше.

Дверь не открылась, а взорвалась. Степан влетел в комнату и заорал:

— Алешка! Алешка, скорее! Батько и Муха приказали срочно!

— Что случилось?

Степан смотрел вылезаящими из орбит глазами, все лицо его изображало высшую степень оторопелого возбуждения, такого возбуждения, с которым человек справиться не может. Девушки рассмеялись:

— Что с вами, Степан Иванович? Примерьте ваш кафтан.

— Холуя? — закричал Степан, и это слово как будто выхватило клапан из его души. Он задрал вверх кулаки, растянул рот и высоко подпрыгнул. Хлопнул об пол валенками, еще раз подпрыгнул, перевернулся в воздухе и заорал Алеше в лицо:

— Ленин... большевики... Керенского выгнали!!

Проделав еще какое-то сложное антраша, он, словно по воздуху, вылетел в дверь. Алеша только на секунду остановил дыхание и — бросился за ним. Учительница закричала вдогонку:

— Краги! Алексей Семенович! Куда же вы в крагах?!

33

У Тепловых негде было повернуться, ни в кухне, ни в чистой комнате. Здесь был весь заводской комитет. У Мухи вздрагивала в руке бумажка, он все заглядывал в нее, и другие заглядывали со всех сторон. Эту бумажку Муха сразу протянул Алеше, как только тот вбежал: есть еще один человек, которому он может сообщить радостное известие. Алеша с захлебывающейся жадностью набросился на текст телеграммы и пытался охватить его одним взглядом, но слова мелькали в глазах и пугали воображение отрывочным и тревожным содержанием: «разоружить», «войсками». Он встряхнул головой и начал читать медленно, вслух:

«Вчера временное правительство Керенского в Петрограде низложено петроградскими рабочими и солдатами заняты государственные учреждения вокзалы зимний дворец тчк Предлагаем немедленно осуществить организовать ревком обладающий всей властью реквизируют для вооружения Красной Гвардии частное оружие подчинить себе милицию если она не надежна разоружить установить тесную связь с войсками организовать охрану телеграфа те-

лефона вокзала тчк Выезжает первым поездом уполномоченный губкома Богатырчук

Губернский Комитет большевиков».

Пока Алеша читал, все стояли неподвижно вокруг него, слушая телеграмму, вероятно, в десятый раз; далеко в дверях виден был нос капитана.

Алеша еще раз пробежал телеграмму, потер лоб, начал искать глазами отца. Он нашел его на диване. Старик сидел, вытянувшись, аккуратно сложил руки на коленях и чуть-чуть улыбался. Такую улыбку он обыкновенно прикрывал своим пальцем, редко кому ее удавалось видеть. Улыбались и его глаза, по-детски щурились; немного вздрагивали ресницы. Проследив за его взглядом, Алеша увидел старого Котлярова. Он сидел с другой стороны комнаты, против отца, и смотрел на него такими же веселыми глазами, усы у него сами ходили и играли пушистыми кончиками.

Алеша перевел дух и спросил у Мухи:

— А как это... как телеграмма получена?

— А ты посмотри на адрес. Богатырчук не дурак. Он телеграмму дает Совету, а нашему заводскому комитету копию. Э! Богатырчук не дурак!

Семен Максимович обернулся к ним и сказал, сохраняя на лице все ту же обрадованную хитроватость:

— Ну, кум, давай за дело приниматься.

34

Богатырчук приехал ночью. Алеша встретил его на вокзале. Богатырчук забыл пожать ему руку, потому что спешил получить ответ на вопрос чрезвычайно острый, хотя и выраженный в одном слове:

— Знаете?

— Да телеграмму ж получили.

— Получили? Ну, что?

Алеша рассказал ему о принятых мерах. Телеграф, телефон, вокзал, почта, банк заняты патрулями первой роты и Красной Гвардии. На милицию можно положиться,— свои люди. В городе никаких врагов быть не может. Сейчас собираемся захватить оружие в реальном училище, там винчестеры откуда-то и патроны есть.

Карманы Сергея были переполнены газетами. Он даже в парке, в его крошечной темноте, вытаскивал из кармана газету и пытался показывать какую-нибудь статью. Перед самым переворотом он был один день в Петрограде, но впечатления этой поездки у него не способны были выразиться в связном рассказе, он только хвалился:

— Ух, я тебе и расскажу! Вот постой, я тебе расскажу!

В заводском комитете было темно от табачного дыма. Два взвода Красной Гвардии готовы были выступить в город.

На Костроме стояла тихая осенняя ночь. Это было время, когда в природе закончился длинный и тяжелый период болезни, и сейчас она, усталая, ожидала, когда небо набросает на нее белое одеяло, чтобы она могла спокойно заснуть до весеннего здоровья.

В прохладном воздухе ощущались какие-то соседние морозы, может быть, морозы сейчас стояли в Петрограде, где Ленин и большевики так чудесно начали новую историю.

В три часа взводы Красной Гвардии выступили в город. Впереди шли Муха, Семен Максимович, Криворотченко, еще несколько человек из комитета. Все они тоже были с винтовками, только Семен Максимович не изменил себе. Он шагал такой же размеренной и аккуратной походкой, и так же, по-деловому спокойно, переставлял свою суковатую палку, так же не оглядывался по сторонам. Алеша и Богатырчук шли сбоку, ряды отряда то отставали, то обгоняли их — то пухлый и широкий старый Котляров основательно ставил в песок тяжелые ноги, то Павел Варавва, туго перетянутый поясом, сверкал в темноте глазами, то Степан щеголял армейской выправкой. В последних рядах шли без оружия. Маруся пользовалась каждым случаем, чтобы пожаловаться:

— Товарищ Теплов, что же это такое, прости господи. Все люди, как люди, а мы с пустыми руками.

— Маруся, да потерпи ты: идем же за оружием. Ты же знаешь?

— Ой, скорее бы уже притти! Как долго идем!

При входе в парк догнали Алешу задыхающиеся шаги, — человек бежал долго. Алеша оглянулся: силуэт

был знакомый, взлохмаченный, над плечом торчало широкое дуло двустволки.

— Алексей, достал! Охотник знакомый, Ухов, все не давал, не давал. И сегодня еще покуражился, а потом говорит: на, для такого дела не жалко!

— Иван Васильевич, вот молодец! А патроны у тебя?

— Десять штук волчьей дробью. Волчья поможет, как ты думаешь? Особенно, если в голову.

Алеша сжал руку Сергея:

— Сразу и вопрос. По международным правилам, пожалуй, волчья дробь не допускается. А в этом случае, думаю, можно.

Богатырчук ответил:

— Волчья как раз в точку.

— Иван Васильевич, ты уж пока — с волчьей, а скоро мы тебе — винчестер.

Они прошли вперед, где Николай Котляров нес знамя, точно соблюдая уставное положение для полкового знаменщика. Знамя было небольшое, не пышное, не бархатное, и на нем была написана только одна строчка:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Груздев зашагал рядом со знаменем.

— Кто это?— спросил Богатырчук.— Подкрепление-то.

— А это мой крестный батько.

— Крестил тебя?

— Крестил. На улице возле госпиталя.

Богатырчук расхохотался на весь парк:

— Это был интересный случай. Воображаю твою физиономию тогда!

— Физиономия была расстроенная, вероятно. Сергей, расскажи все-таки про Питер.

Полушопотом, взявши Алешу под руку, Богатырчук рассказал ему о том, чего и сам хорошо не знал. В Петрограде он видел много, но еще больше слышал, и не все дошло к нему в точном виде. У Богатырчука перемешались вместе: впечатления, разговоры, прочитанные статьи, статьи не прочитанные. Но у него был хороший и ясный ум, и он умел уловить запах предательства, трусости, хитрой и увертливой дипломатии, умел разобрать далекое эхо ленинского гнева.

— Вокруг Ленина стоят замечательные люди, таких людей никогда еще не было в России. Ты понимаешь,

Алексей, какая это сила? А только там есть и... человечки, ой, какие человечки! Ты не думай, что Ленин вот скомандовал — взяли и пошли. Ему страшно трудно, потому что кругом него, пожалуйста, врагов и просто... этих... человечков, сколько хочешь!

— Ты видел Ленина?

— Не видел, понимаешь, нельзя. Но я человек двадцать расспросил и все хорошо представляю, как будто видел. Все в одно рассказывают.

— Какой же он?

— Невысокого роста, скуластый, светлый, борода такая. Лицо, мимика очень замечательные, энергичные. Чуть-чуть картавит. Чем берет? Говорят, всем. Ничем не берет, говорят, сам идешь.

Богатырчук задумался:

— Я не могу, конечно, как следует его представить. Ленин видит весь мир, самую его середку знает, подноготную. Ты понимаешь, какая это сила?

В темноте было видно, как тяжелый, добродушно-массивный Сергей застенчиво улыбался: ему было стыдно, что он так невыразительно говорит о Ленине. Он замолчал, потом продолжал, улыбаясь:

— Ты знаешь, я все стараюсь и стараюсь, а пороку у меня нехватает, чтобы понять Ленина. Там люди совсем особенные. Легко сказать: вот мы с тобой идем, идут рабочие люди, видишь, с винтовками. А сколько городов в России, сколько сел, деревень. И везде сейчас идут, вот так идут... да! А они нас видят, они видят, знают. Разве легко так много видеть?

— Кто это они?

— Ленин. Ленин и его товарищи. Думаешь, они сейчас твоего батька не видят? Видят. И знают, о чем он думает. И тебя видят. И всех врагов видят. Ты понимаешь? Насквозь, все нутро! А мы с тобой, бывает, и под носом ничего не разбираем. Ты сказал вечером: тут драться не с кем. А они уже знают, с кем нам придется драться.

Алеша поднял глаза к прохладному небу, и оно показалось глубоким и прозрачным, а за его простором, на конце тысячеверстного пространства, он увидел лицо Ленина, скуластое, живое, только глаза у него почему-то черные, всевидящие, улыбающиеся и мудрые. Вдруг с

удивлением Алеша почувствовал, как физически горячо стало у него в груди, как в глазах налились тонкие теплые слезы. Он захотел оглянуться, чтобы увидеть Нину, но встретил в темноте горячие и обиженные глаза Маруси,— не могла Маруся простить, что в такую ночь она идет вперед без оружия.

Шли уже по улице. Город начинал просыпаться. У ворот кое-где копошились дворники, у домов пробегали женщины с кошелками, останавливались, удивленно смотрели на отряд Красной Гвардии, поправляли платки и бежали дальше. Ломовик, гремя колесами, тяжело продвигался навстречу, и от него несло обыденщиной. На углу двух улиц ходил милиционер с винтовкой — юноша в каком-то форменном пальто.

Алеша поспешил вперед, пошел рядом с Мухой и отцом:

— Как с милицией?

Муха блеснул зубами:

— Какая там у нас милиция? Пускай стоит.

Семен Максимович даже не посмотрел на милиционера.

35

На главной улице — широкий двор реального училища, огороженный фасонной решеткой с каменными столбами.

Новенькие изящные винчестеры перешли на плечи красногвардейцев через полчаса. В зданиях реального училища жили люди. Они не привыкли вставать так рано, они вылезли из дальних квартир и комнат, еще покрытые приятным сонным пухом. Очень возможно, что отряд Красной Гвардии во дворе показался им продолжением сна или неожиданным его неприятным изломом. Но действительность так властно нарушила сон, что никто не сопротивлялся и никто не спорил. Люди официального чиновничьего склада — директора, инспекторы, заведующие материальной частью, у которых из-за воротников форменных тужурок торчали сегодня простодушные запонки, и еще люди с военной выправкой — без споров отдали ключи, показали лестницы и входы, подвалы, пирамидки и ящики.

У Маруси и у Вари появились за плечами винчестеры,

в отряде не осталось безоружных, а у Ивана Васильевича Груздева винчестер мирно подружился с толстенькой добродушной двустволкой.

В реальном училище как будто ничего особенного не произошло. Отряд ушел дальше, куда ему нужно, хозяева снова залезли в свои квартирки и комнаты,— конечно, без надежды заснуть, но с полной возможностью поговорить и осудить насильнические действия рабочих. Школьный двор остался таким же просторным и пустым. В некоторых коридорах училища у дверей стали люди в пиджаках и пальто, подпоясанные ремнями, в старых шапках и картузах, в руках у них были винтовки.

36

В помещении Совета на перекрестке двух улиц былолюдно, шумно и бестолково. Несмотря на холодный день, все окна в здании были открыты настежь, по комнатам бродили люди, заложивши руки в карманы пальто, курили без памяти и все выглядывали в окна. Богомол перебежал из комнаты в комнату с таким видом, как будто он лихорадочно ищет нужного человека и никак найти не может, а все остальные люди не только ему не нужны, но даже раздражают. Наконец, он напал на молодого человека, сидящего рядом с его кабинетом:

— Я ничего не понимаю. Где же пленум?

Молодой человек, нахально забывая о своей молодости, посмотрел на Богомола прищуренными глазами:

— Какой там пленум, товарищ Богомол?

— А что за люди ходят?

— Какие там люди? — сказал молодой человек.

— Люди... разные люди... Ходят здесь... везде ходят...

— И будут ходить. А что вы сделаете?

Сказав эти слова, молодой человек даже наклонился вперед, так он заинтересовался вопросом, что Богомол может предпринять против хождения людей. Богомол зябко пожал плечами и ничего не ответил. Молодой человек с торжеством оторвался от председателя, стукнул ящиком стола, двинул презрительно плечами:

— Как вам угодно, а я ухожу.

Он с мужественной решительностью подошел к вешалке и начал гневно надевать пальто:

— Пусть попробуют, большевики! Большевики!
Молодой человек показал на город.

Богомол тупо наблюдал за гневными движениями молодого человека и, когда тот ринулся в дверь, слабо застонал:

— Как же так? Товарищ Соколов? И вы уходите?

— А вы хотите умереть на посту?

— Да что вы? Почему умереть?

— Я — в переносном смысле. Все равно: в России наступает анархия!

Он вдруг прислушался, подбежал к окну:

— Пожалуйста! С музыкой!

В окно, как тонкий запах, проникали далекие звуки марша. Соколов с умным сарказмом посмотрел на Богомола:

— Это они идут приветствовать... Совет! Советскую власть!

Он сардонически рассмеялся в лицо Богомолу и выбежал.

Как подстреленный заяц, Богомол закричал ему вдогонку пискливым голосом:

— Послушайте!

Дверь за Соколовым ударила громко, отскочила, открылась в коридор. В комнату влезли глухие звуки шагов, говор, запах махорки. Богомол страдальчески наморщил лоб, но двери не закрыл. Опустив голову, он прошел в большой кабинет рядом и сел на диван. Когда военный марш наплывом покатился в окно, Богомол поднял глаза к потолку. Очень возможно, что в этот момент он был похож на христианского мученика, на которого из железной клетки выпустили рыкающего льва. А может быть, и не был похож. Но к окну он не подошел и что происходило на улице — не видел.

В коридоре новые шаги застучали весело, шумно, торопливо.

Муха в дверях сказал бодро:

— Эге! Вот и председатель! Что же ты тут один сидишь?

Богомол с суровой усталостью поднялся с дивана, подошел к столу, поднял глаза. Перед ним стояли люди, которых он считал дикими, малоразвитыми, слепыми и темными. Они могли быть хорошими объектами для уп-

равления или для революционной заботы. А сейчас они ворвались в его комнату, стояли в дверях веселой группой. В окно вливался неприятный, неразборчивый, говорливый шум человеческой толпы.

Он грустно улыбнулся Мухе:

— Что же, ваша сила, товарищи большевики!

— А ты думаешь, сила, это плохое дело? Это очень хорошее дело. Открываем пленум?

— Пленум не собрался.

— Как это не собрался? Сейчас начнем.

Богомол обвел глазами вокруг и понял, что пленум имеется. Он вдруг узнал в тех самых людях, которые до сих пор бродили по комнатам, членов пленума, во всяком случае, — некоторые лица показались ему знакомыми. Его кабинет и комната секретаря были заполнены людьми, у иных за плечами торчали винтовки. Все эти люди, впрочем, мало интересовались Богомоллом. Они входили в комнату, и сразу же возникали кружки и группы с отдельными центрами. Люди шутили, убеждали друг друга, смеялись, подходили к окнам и переговаривались с улицей. Вокруг Семена Максимовича собрались старики с обкуренными, хитрыми усами, с ироническими складками у носа. Семен Максимович что-то сказал быстрое, короткое, провел пальцем по усам, его окружение захохотало. Старый Котляров покрыл хохот сочным басом:

— А они думали: шмаровозы!

Богомолу страшно захотелось узнать, что такое сказал Семен Максимович, но не пришлось узнать. В комнату вошел высокий, могучий человек, в разные стороны повернул молодое сильное лицо и спросил:

— Где же этот самый Богомол? Ага! Ну, что же, поздравляю: вся власть советам! Вся власть в ваших руках, товарищ председатель совета!

Богомол устало улыбнулся не столько губами, сколько мешками под глазами на сером лице, — промямлил:

— Да. Вы из губернии?

— Из губернии.

Богомол не удержался, скривил рот:

— Большевики-то... энергию какую...

— Я — уполномоченный губернского Совета.

Богомол сказал с отвращением:

— Уже... успели?

Богатырчук вlepился в его лицо веселым доверчивым взглядом и отвечал радостно: — Успели!

Пленум собирался. Даже эсеры и меньшевики вылезли из щелей, в которые они попрятались в первый момент. Они улыбались несколько ехидно и опускали глаза, давая понять единомышленникам, что им стыдно наблюдать происходящее безобразие. И Петр Павлович Остробородко по привычке появился в «кулуарах», тыкался любопытной бородкой в ту или иную группу, осудительно прищуривал глаза и с очень немногими разговаривал, энергично, с жестами и с быстрой-быстрой оглядкой. Богатырчук, продвигаясь по коридору, услышал такие даже слова Петра Павловича:

— Нет. Вечером мы собираем городскую управу, обсудим момент...

Хоть и могуча шея у Богатырчука и не способна к юрким поворотам, а Сергей все-таки скрутил ее настоящим жгутом и увидел Петра Павловича, да так и пошел дальше с оскаленными зубами.

— Чего ты? — спросил его кто-то встречный.

— Чудака одного увидел. Люблю чудаков.

Сергей вышел на улицу, с высокого крыльца посмотрел, что делается. Ему захотелось громко засмеяться и сказать: — Эх! Милая провинция!

В этом городе все происходило по-своему. Главная улица, расширяющаяся в этом месте, наполнена была народом, в народе уже образовалось широкое круговое течение. Плакаты и знамена прислонили к стенам домов, а оживленные ряды людей не спеша двигались друг за другом. Движение это захватывало и тротуары, линии акаций не усложняли его, а только рассекали. Движение уходило далеко вправо и влево, заливало поперечную улицу, путалось в сквере. Похоже было на то, что все люди сейчас не только знакомы, но и дружны. Солдаты первой роты и красногвардейцы потерялись в массе, только изредка можно было видеть дула винтовок. Основную массу составляли обыкновенные мирные люди, ничем не вооруженные, улыбающиеся домашней простой улыбкой, зубоскалящие, веселые. Богатырчуку показалось, что сейчас на улице происходит соединение чего-то страшно

знакомого и чего-то совершенно необычного, незнакомого. Сергей еще раз окинул улицу взглядом: что именно здесь необычно? Знаком был и весь город, и давно был хорошо изучен этот центральный перекресток, где большой мануфактурный магазин Хоречко, самый модный галантерейный Полера и где старое здание дворянского собрания, по мнению местного журналиста, похожее на коленопреклоненного богатыря. Здесь знакомы каждая плита тротуара и крона каждой акации. И люди на улице как будто все знакомы, трудно не узнать их с первого взгляда: это — рабочие с лесопилки, эти, измазанные, — с лесной пристани, это — девушки с табачной фабрики. На тротуарах — целые гирлянды приказчиков, железнодорожников. Кострома перетасована с городскими девушками и приятелями. Как всегда, она — шумная, говорливая и худая. Богатырчук просиял: не только она, на улице вообще не видно ни одного толстяка. Может, в этом и заключается необычное?

Сергей растянул рот: действительно, ни одного толстяка! И вдруг он увидел родное: взявшись за руки, маршировало несколько рядов. Они пели особенно приятно и значительно: негромко, но очень стройно, стараясь петь хорошо, от удовольствия покачивали головами в такт шагам и песне и поглядывали друг на друга с улыбкой:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой...

Богатырчук спрыгнул с крыльца и закричал:

— Милые мои костромичи! Какие же вы красивые!

А и в самом деле, все они были хороши: и смуглый Павел с винчестером за плечами, и Митька Афанасьев, и Оноприй, и Восковой, и Гаврилов, и в новеньких ремнях большеглазый Алеша, и Таня Котлярова, и другие девушки, и Маруся, и молоденькая учительница, и Степан Колдунов, и еще многие — то однокашники Сергея, то просто друзья. Нина Остробородько в своей прекрасной жакетке, в голубом шарфе на голове, шла опустив глаза и не пела, — очевидно, слушать для нее было важнее и приятнее. Все они, услышав возглас Сергея, скосили на него смеющиеся лица, но с нарочитым задором продолжали марш и еще стройнее несли песню:

Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой!

Богатырчук засмеялся и побежал рядом с ними. Они вдруг бросили марш, прекратили песню, окружили его. Алеша сказал:

— Пой с нами, крошка!

Павел Варавва что-то галдел ему в глаза, но и другие галдели и смеялись. Алеша обхватил его руками, попробовал поднять, беспомощно запрыгал в изнеможении. Это всем понравилось, завозились все вокруг Сергея, пыхтели, покрикивали, делали вид, что поднять Богатырчука невозможно. Все это представление очень понравилось девушкам, они смеялись до беспамятства. Сергей, наконец, «разозлился», сам поднял в воздух Алешу, все остальные в той же издевательской беспомощности бросились в стороны. Богатырчук поставил Алешу на мостовую, ласково одернул его шинель и спросил недоуменно:

— Да, Алеша! Я смотрел-смотрел! Нет, понимаешь, ни одного толстяка!

— Нет толстяков? А в самом деле?

Алеша оглянулся по улице:

— А и в самом деле! Степан! Где это толстяки подевались?

— Толстяки? А им здесь пива не варили,— они дома сидят.

— А знаете? — Павел расширил глаза.— И реалистов нет! И вообще... чистой публики!

Чистой публики было действительно мало, разве девушки-учительницы да несколько франтовитых приказчиков нарушали это общее впечатление.

Степан торжествовал:

— Во! Один народ! Товарищ Нина, ты обрати серьезное внимание! Один тебе народ, без всякой порчи!

Нина подошла к Степану, тронула пальцем его шинельную грудь:

— Степан Иванович! А я... тоже народ?

— Ты? Да ты самый первый народ! Ты, Нина, брось про это даже и думать! Как же это так можно,— равнять себя с разной сволочью, которая сейчас под кровати залезла, а начнем вытаскивать, так она еще и плакать будет.

Нина о чем-то вспомнила, улыбнулась Степану благодарно и вздохнула.

Потом начался пленум, начался прямо на балконе, как никогда еще не начинался. Никто не стал считать голосов и поднятых рук, и у всех была одна душевная радость. И на балконе, и внизу на многотысячной улице, и в словах большевиков, и в приглушенных вздохах солдат первой роты, и в девичьих внимательных глазах, и в изломанных морщинах стариков, и в улыбке Алеши была одна мысль о всем народе, о проснувшейся России, и перед каждым воображением здесь, в этом городе, стоял далекий и родной Петроград, и в нем — победоносная воля и творящий разум Ленина. А в конце митинга ворвался на балкон Муха, толкнул оратора, сунул бумажку в руки Богатырчуку, и перед всем народом Богатырчук рассмеялся, как дитя, и не мог уже остановить радости в голосе, когда читал громко декреты о земле и о мире. Штыки над шапками солдат заволновались тоже, и самые плечи расправились, и распахнулись шинели. Степан рядом с Алешей подбросил плечом винтовку, рот открыл, двинулся вперед на соседа, сказал хрипло:

— Закон, Алексей! Слышишь, новый закон?

Наверное, он плохо расслышал: столкнулся с соседом башкой, заговорил, бросился назад, ухватил Алешу за рукав:

— Мир объявили! Слышишь, Алеша, мир с немцами!

— Да слышу. Чего ты танцуешь?

— Да разве так слушают? Стоишь, как статуя!

Алеша командирским взглядом смерил Степана:

— А как нужно стоять? Первый наш закон! Стоять смиренно нужно, а ты егозишь, как на ярмарке!

— Не выходит смиренно, Алешка! — Степан облапил его одной рукой, на них кругом зашикали, потом оглянулись, потом засмеялись, всем была известна крепкая дружба этих двух людей, и всем было приятно видеть их дружеское торжество.

После митинга Алешу и Насаду пригласили на заседание только что организованного ревкома. Советская власть в городе сделала первые шаги.

На улицах долго еще былолюдно и шумно. Даже и дыхание первых соседних морозов как будто смутилось:

к вечеру стало тепло и душно, ласковый воздух остановился под звездным небом.

На улице у парка еще не зажигались фонари, по дороге домой люди сумерничали -- разговаривали тихо, а громко только смеялись и перекрикивались между группами. На Кострому возвращались уставшими от событий, предвкушая, как дома будут рассказывать о Петрограде, о мире и о земле. Казалось людям, что за парком еще живут по-старому и еще не хорошо знают, как нужно жить с сегодняшнего дня.

И как раз с Костромы, навстречу возвращавшимся потокам людей, из мрачного молчания парка начала просачиваться тревога. Сначала трудно было разобрать, откуда она идет. Кто-то впереди что-то услышал, кто-то встречный кому-то шепнул. В отдельных группах родились слова:

— Да не может быть!

— Давно стоят?

— А почему в городе не знают?

После митинга Красная Гвардия разделилась на части, и у каждой было свое дело. Небольшие группы остались в городе для охраны отдельных пунктов.

Алеша стоял на высоком ампирном крыльце отделения Государственного банка и смотрел на проходящую внизу публику. Он только что помирил свой красногвардейский патруль с нарядом милиции. Милиционеры очень обижались, что не доверяют им одним охрану банка, кричали:

— А мы кто, по-вашему? Мы меньшевики, по-вашему?

Начальником караула оставался старый Котляров, и его медвежья добрая хватка помогла успокоить милиционеров:

— Чего вы ерепенитесь? — сказал Котляров. — В такую ночь нужно всегда в компании! Как на пасху! Весь народ вместе. Часовые пускай себе стоят, а мы поговорим, чайку поьем, вы нам расскажете, мы вам расскажем.

Не везде в караулах, расставленных в городе, были такие ладные начальники. Алеша решил еще раз обойти и проверить, все ли там благополучно. В два часа ночи его должен был сместить Павел Варавва. Полчаса тому назад он отправился на Кострому вместе с Ниной и Таней.

Алеша стоял на высоком крыльце и, по привычке опытного дежурного по караулам, стягивал пояс на одну дырочку. Вспоминал с некоторым волнением, как после митинга из здания Совета вышел Петр Павлович Остробородько и, словно из засады, подошел к Нине. Нина встретила его побледневшим лицом. Он пожевал перед ней дрожащими губами и, наконец, сказал раздельно:

— Че-пу-ха! Демагогия! Бед-лам!

Нина не ответила ему. Петр Павлович покосился на Алешу, повернулся, забыл, что перед ним только что была его дочь, и побрел сквозь толпу. Нина проводила его взглядом, взяла Алешу под руку, молча прижалась к его плечу.

— Ничего, Нина. Почудит старик и перестанет.

Алеша сейчас вспоминал, как по-детски Нина потерлась подбородком о воротник жакета и прошептала:

— Нет, он не перестанет.

Алеша думал о том, перестанут топорщиться такие чудачки, как Остробородько, или не перестанут. Думал и смотрел на тротуар вниз. И на тротуаре узнал знакомый блеск выразительных глаз Павла Вараввы. Не могло быть сомнений: что-то случилось.

— Алеша, ты здесь?

— Что такое?

— Нехорошо. Смазчик Ворона приехал с товарным. На Колотиловке стоит Прянский полк.

Алеша схватил Павла за борт пальто:

— Что? Прянский полк?

— Да. Говорит Ворона, второй день стоит.

— Да врешь! Прянский полк на румынском фронте.

— Алеша! Я же сам не был на Колотиловке! Ворона рассказывает. Я его пять минут за воротник держал. Говорит, хорошо разобрал: Прянский полк стоит. С офицерами, две пушки!

— Почему стоит?

— Бойтся в город итти. Большевиков бойтся.

— Большевиков бойтся? Чорт! Да что... целый полк?

— Ворона в этом не разбирается, где там полк, а где дивизия. Говорит, один большой эшелон. И паровоз держат.

— Где же этот Ворона? Почему ты его не привел?

— Ведут. Твой Степан его тащит. Выпросился у меня жене сказать. А я вперед побежал.

Алеша быстро, чуть пошатываясь влево, сбегал с крыльца. Вспомнил, что палка осталась в караулке банка, но было уже некогда:

— Скорее! Хорошо, если они еще в Ревкоме.

39

В Ревкоме еще заседали, когда пришли Алеша и Павел. Муха поднял глаза на вошедших:

— Что у вас случилось?

Варавва заволновался, замотал правой рукой:

— Какая-то история, чорт его знает! Прянский полк на Колотиловке. С полком офицеры.

— Прянский полк? С фронта? Чего?

— Сейчас Ворона придет, смазчик. Он был на Колотиловке.

Муха посмотрел на Богомола:

— Ты знаешь что-нибудь? Почему Прянский полк?

Посмотрели и другие. Насада мрачно глянул красивыми глазами, поднялся за столом:

— По глазам вижу, знает.

Богатырчук хлопнул ладонью:

— Да что за история? Вызывали, что ли, полк с фронта? Или как? Для чего здесь полк?

Черноусый Савчук, машинист с лесопильного завода, сказал негромко:

— Да может, сплетни?

— Знает! Богомол знает! Говори, чего же ты молчишь?

Богомол серел еще больше под общими взглядами, напрягал скулы и потел, пот заливал его глаза:

— Ничего определенного не знаю, товарищи.

— А неопределенное?

— Ходили слухи, письма кто-то получал, говорили, что Прянский полк снялся с резервной позиции. Просто не верили.

Стало тихо. В тишине поднялся за столом Семен Максимович, внимательно осмотрел лицо Богомола, сказал строго:

— Нечего слова тратить, Богомола арестовать, удалить. Где Ворона?

Оглянулись на дверь, и в дверях увидели Ворону и Степана. Ворона, маленький, нечесаный, в длиннополом сюртуке смазчика, тяжело дышал, со страхом приковался взглядом к сердитому лицу Семена Максимовича.

Богатырчук загремел стулом, передернул слева направо свой пояс на синей рубашке:

— Иди, Богомол. Алеша, поддержи его в караулке.

Богомол вытирал платком потное лицо. Его волосы тяжелыми неряшливыми прядками торчали над ушами. Алеша выжидательно остановился у дверей. Богомол вышел из-за стола, остановился, задумался, платок забыл спрятать. Потом как будто опомнился, протянул руку с платком к Богатырчуку:

— Да что вы, товарищи?

Алеша открыл перед ним дверь, Ворона отскочил в сторону. Степан вытер рукавом усы, но ничего не сказал. Шатаясь, Богомол вышел в коридор, за ним вышел и Алеша.

Прошли на лестнице первый поворот. Им навстречу подымался скучный слабенький старичок, широко ставил ноги на ступени, покашливал:

— Кому теперь здесь?

— А что?

— С телеграфа.

Телеграмма была адресована председателю Совета.

— Давай.

Алеша расписался в книге. Старичок сказал:

— Вот спасибо. Трудно по лестницам ходить-то.

Богомол терпеливо ждал на повороте лестницы. Старичок, так же широко расставляя ноги, отправился вниз. Алеша еще раз глянул на адрес. Там было написано: «Из Колотиловки».

Он крикнул строго Богомолу:

— Назад!

Богомол испуганно полез кверху.

— Да скорее! — крикнул Алеша и с досадой оглянулся: арестант все орудовал своим платком. Алеша подбежал к дверям, открыл, Богомол дернулся вперед, как под кнутом.

— Чего это? — Богатырчук смотрел на Алешу. Алеша протянул ему телеграмму.

Богатырчук вскрикнул:

— Из Колотиловки?!

Все вскочили, кроме Семена Максимовича, — затихли, вытянув шеи. Кто-то шепнул:

— А Богомол?

Семен Максимович ответил негромко:

— Пусть послушает.

«Председателю Совета Рабочих Депутатов Прянский полк вступает город завтра двенадцать часов тчк Немедленно сообщите готовность казарм довольствия тчк Красной Гвардии сдать оружие коменданту станции тчк Исполнение телеграфьте немедленно срочно выезжайте Колотиловку

Полковник Бессонов».

Богатырчук опустил руку с телеграммой и оглядел присутствующих. Семен Максимович попрежнему сидел у стола. Все почему-то смотрели на него.

— Ничего, — сказал Семен Максимович и потянул бороду книзу, еще раз потянул, поднял другую руку, расправил бороду и волосы пригладил, — ничего, это чепуха.

Степан закричал:

— Верно говоришь, отец!

Муха всполошился:

— Как — верно? Семен Максимович! Полк ведь! Куда мы годимся? И явная контрреволюция. Сколько офицеров, говоришь?

Ворона ответил:

— Девять офицеров, это я хорошо посчитал.

— Видишь?

Семен Максимович через плечо посмотрел на Муху:

— Григорий! Стыдно говорить: девять! Ну так что? Смотри: один, два, три...

Он пересчитал девять пальцев, показал их Мухе и одним из них тут же провел по усам.

И всем вдруг стало весело. Степан еще громче закричал:

— Вот спасибо, папаша!

Семен Максимович строго посмотрел на Степана и перевел тот же строгий взгляд на Богомола:

— А по депеше видно, сговорились с полковником!

Богомол передернул губами и повернулся к Семену Максимовичу боком.

— Убери его! Алексей, заснул?

Алеша посмотрел на отца с укором, для него было дорого каждое слово, сказанное в этой комнате. Но укор не произвел никакого впечатления, и Алеша со злостью решил наверстать на быстроте выполнения. Он довольно грубо толкнул Богомола в плечо и с радостью увидел, что приобретенная благодаря этому толчку скорость Богомола совершенно удовлетворительна: ему пришлось даже догонять Богомола в коридоре.

Кажется, Алеша ничего не потерял. Когда он возвратился, Муха настаивал на своем:

— Сергей, как это можно? Требуют сдачи оружия! Как же можно пустить их в город? Надо встретить.

Насада отставил цыгарку подальше от глаз, и все-таки дым попадал в глаза, он часто моргал и недовольно кривил губы:

— Если там полк, да еще пушки, да еще пулеметы, безусловно, десяток, нам не с чем встретить в поле. Семен Максимович верно говорит.

Муха горячился:

— Как это — верно? А я предлагаю: итти на Колотилровку, разобрать пути, драться! Сражаться!

Семен Максимович сейчас был в самом хорошем настроении:

— Сражаться! Какой ты Суворов! Тебе обязательно — сражение!

— А что делать?

— Да всякий разумный человек скажет, что делать.

— Так я говорю, а вы никакого внимания.

— Я сказал: разумный человек!

И Муха засмеялся вместе со всеми. Положил руку на плечо старика:

— Семен! Что же ты меня в такое положение ставишь? А они меня за разумного счигают. Ну, хорошо, ты старше, говори, что делагы!

— Я тут у вас советчик какой. Пускай вот Сергей говорит, он и в губернии бывал, и в Петрограде, а я плохой еще исторический деятель.

Сергей поставил одну ногу на стул, наморщил молодой лоб, который еще неохотно морщился:

— Семен Максимович верно сказал. Мы не знаем, сколько там солдат, чего они хотят. Переговоры с ними трудно наладить, а с офицерами разговаривать нечего. И сражение — нехорошо, да и сражаться в городе будет неудобно: обозлим солдат да и только. Надо послать разведку. Степан Колдунов для этого, правильно, самый подходящий человек, он и посмотрит, и с солдатами побалакает. А нам здесь в городе сидеть тоже нельзя. Семен Максимович правильно говорит: стянем и роту, и Красную Гвардию в парк, пускай они выгружаются, посмотрим, что за народ приехал. Ворона, не слыхал, у них есть полковой комитет?

— Говорили, есть, да только я не видел.

Насада недовольно махнул рукой:

— Комитет тут без дела. Если даже имеется, все равно в руках у офицеров.

— Вот видите? Так будет хорошо: Кострома выйдет вроде как база. Посмотрим. Если наша сила — пойдем на них из Костромы. Если там действительно полк, да еще с пушками, да если у них дисциплина и все такое, что ж... придется ждать помощи...

Савчук слушал, слушал и, наконец, взмолился:

— Да что они там, офицеры эти, болваны какие или что? В нашем городе они сверху будут, а вся Россия как? Они что, без понимания?

Степан ответил, как специалист по подобным вопросам:

— Ты их, товарищ, не знаешь! Они и привыкли всю Россию в руках держать. А сейчас соображают: не только в нашем городе, а и везде так: может, они не один полк направили с фронта. Воображают, понимаешь? А воображать нечего, конченное дело.

— Читают же они газеты? Грамотные!

— У нас говорят: грамотный,— был два раза на базаре да раз на пожаре. Такие и они грамотные, они тебе и в газете ничего не понимают.

Муха сдался:

— Пожалуй... осмотрительнее будет, а только им что-нибудь ответить нужно. Такое!

Богатырчук сразу взялся за карандаш:

— Вот так:

«Колотиловка Прянскому полку нашему вступлению в город не препятствуем Совет».

— И хорошо,— Семен Максимович поднялся,— Степан, отправляйся без проволочки. А Насада и Алеша свое дело делайте. Милицию оставьте в городе, а Красную Гвардию и роту тащите к нам.

И Алеша и Насада вытянулись, приложили руки к козырькам.

Богатырчук улыбнулся Алеше:

— У тебя найдется лишняя винтовка?

— Найдется для друга.

40

Было десять часов вечера, когда последняя группа первой роты прошла через парк и направилась к зданию школы. Насада и Муха успели поговорить с каждой группой. Все солдаты перейти на Кострому соглашались с заметным подъемом и даже с интересом, но в то же время все утверждали, что тревога напрасна, что Прянский полк ни за что не будет сражаться.

Как-то так вышло, что возле Мухи постоянным помощником пристроился Еремеев. На нем широкая и длинная шинель, левый ее рукав болтается у самого колена, а правый собран в сложных складках, потому что в правой руке Еремеев держит винтовку. Фуражка на Еремееве замасленная и худая. Сам Еремеев был сегодня очень оживлен, везде попевал и на все отзывался косоватым курносым лицом. Он всегда оказывался позади Мухи и всегда удачно находил момент, чтобы сказать и свое слово.

— Товарищи! Раз они просят, мы должны идти, сказать бы, на защиту рабочего класса. И мы с удовольствием. А только это выходит как бы в гости, потому этот самый Прянский полк, он не пойдет воевать, ни в котором виде не пойдет. Против советской власти он не пойдет воевать, известно, как солдаты. Сегодня он солдат, а завтра ему землю получать по новому закону, и воевать ему некогда. Землю ему из рук товарища Ленина получать, и за офицеров ему воевать невозможно...

Солдаты выслушивали его речь с добросовестным вниманием, но по их лицам было видно, что больше всего их

радует его ораторская прыть, а самые мысли Еремеева для них не представляют ничего существенно нового. Потом они вскидывали винтовки на ремень и окружали Муху. По дороге к парку разговаривали о своих солдатских или крестьянских делах и только изредка кто-нибудь бросал едкое слово:

— Золотопогонные, видать, обратали прянцев-то этих...

— Ничего не обратали. У людей свои мысли.

— Хе! Смехота! Прянцы! Одинаковый народ! Что и мы!

У школьного здания было интересно. На дворе подымала искрящийся дым походная кухня. На крыльце и на стволах дубов, лежащих у забора, сидели уже девицы. Первым рыком вздохнула гармошка. В классах кое-кто располагался на ночлег, другие еще сидели на разостланных шинелях и беседовали. Акимов ходил по классам и объявлял:

— Товарищи! Никуда не расходиться,— может быть тревога. До утра на линии дежурит первый взвод.

Ему кричали вдогонку:

— Пускай там с линии прянца одного приведут,— посмотреть бы.

— На линию! Чорт их, заводится что: линия! Сказать бы с буржуями, а то прянцы!

На Костроме происходило невиданное движение. Многие спешили в школу познакомиться с солдатами первой роты, красногвардейцы собирались в заводском комитете. Здесь же сидел и Богомол, а у крыльца стоял его автомобиль, теперь принадлежащий Ревкому.

41

На опушке парка, обращенной к городу, уже стояли вооруженные люди: слева — первый взвод роты, справа — первый взвод Красной Гвардии. На площади, уходящей к самому вокзалу, и на улице, освещенной фонарями, выставлено было сторожевое охранение. Алеша и Насада прошли по всему строю, покурили у парковых ворот. Потом Насада сказал:

— По солдатскому порядку, пойду кашу есть. И посмотрю. А ты здесь побудешь?

— Добре.

Насада исчез между деревьями.

Справа слышался разговор и блестели огоньки папирос. Алеша сел на дубовый пенёк, выросший из одного корня с могучим стволом, может быть, и в самом деле помнившим Потемкина. Посмотрел вверх: листьев почти не осталось, переплет ветвей пересыпан был звездами. Тишина.

Вперед убегала линия фонарей улицы, слева сквозь деревья привокзального сквера тоже блестели огни. Там посвистывали паровозы, в городе иногда рождались трамвайные звоны, далекая дробь кованых колес. Город жил, как всегда, и в то же время и над ним нависла особая, тревожная тишина. На улице, сколько хватает взгляд, не видно было ни одной тени человеческой, никто не направлялся на Кострому, а с Костромы четверть часа назад воровским манером тихо вынырнула из парка и затарахтела по мостовой бричка, запряженная парой, — это отправился в город Пономарев с женой. Алеша проводил бричку ревнивым и беспокойным взглядом: было досадно, почему ее прозевали. Сегодня Пономарев вызывал у Алеши враждебное и горячее нетерпение. ●

Над городом горели звезды, над крышами стояли веники деревьев, внизу над тротуарами курчавились еще акации, крыши города терялись во мгле — не то черные, не то серые. Под крышами сидели люди. Это были обыкновенные люди, занятые своими делами и своей жизнью. Сегодня они приветствовали новые дни России, только несколько часов назад они румяной улыбкой встречали рабочую власть, а с балкона смотрели на них и непривычно, и благодарно, и сурово хмурились и Муха, и Семен Максимович, и Богатырчук, и другие люди с обветренными лицами и с темными руками, привыкшими к работе.

Население этого города уже научилось радоваться свободе, но ему и в голову не приходит, что оно может защищать свободу. Оно сидит под крышами и ожидает, что будет дальше. Есть там люди, которые предаются грусти и растерянности, другие предаются испугу, а много есть и таких, кто просто не умеет притти и сказать: «Дайте и мне винтовку». Кто не держал в руках винтовки, тот не всегда способен взять ее в руки. Кто никогда не

защищал себя, тот не может сказать: «Я не позволю». И кто привык по зернышку собирать радость, тому трудно рискнуть жизнью в борьбе за большое счастье.

Чувство горячей и светлой гордости волной захватило душу. Алеша поднялся с пенька, тронул рукой кобуру револьвера, отстегнул в ней застёжку. Он сделал несколько шагов вдоль опушки парка, под ногами у него сухой бурьян молча пригибался к земле. Стволы деревьев туманными полосами отражали огни города. За деревьями в темной ночи сейчас жила и бодрствовала Кострома. Алеша представил ее всю: все хаты, крыши, крыльца, дорожки. И в каждой хате знакомые лица, и в каждой хате прожитая жизнь, изношенные мускулы, привыкшие к несправедливости простые люди. Как замечательно, без речей и позы, даже без мысли о героизме эти люди подняли на свои плечи дело нового человечества. Сейчас они сидят в своих кухнях, при керосиновых лампах, говорят нехитрые слова и улыбаются, в руках у них винтовки и винчестеры, они готовы встретить тревогу. Может быть, через полчаса на улицах Костромы засверкают огни выстрелов, залают пулеметы, может быть, здесь произойдет одна из тех трагедий, которых так много было в истории.

На запад уходил город, а за городом — тонкая нить железнодорожного пути, и в конце ее — какая-то серая Колотиловка, а на Колотиловке — враги. Все это казалось безобидным и выдуманным. Такой же безобидной для глаза казалась западная даль на немецком фронте. Но Алеша не хотел уменьшать для себя представление об опасности. Судя по тону телеграммы Бессонова, дело на Колотиловке могло быть организовано и всерьез. Десяток офицеров во главе полка, если эти офицеры толковые люди, — это большая сила и большая власть. Если солдаты у них в руках, если в руках у них еще и револьверы, если вокруг офицеров два десятка дельных унтеров, полк кое-что может сделать, пока солдаты откроют глаза. Может быть, этот полк не так и одинок. Кто его знает, что там происходит сейчас на фронте? Может быть, на каждый город двинулся сейчас такой полк, составленный из таких же темных, послушных людей. Румынский фронт, говорили, сохранил дисциплину. А вести найдется кому.

Алеша ясно вообразил трагическую обиду господ, офи-

церов, политиков, буржуев. Да это и не только обида. Это катастрофа, гибель, они думают, что это гибель культуры, их культуры, вековой, приятной, счастливой, оборудованной стихами, комфортом, гордостью. С какими горящими глазами, с какой злобой, с каким «честным» возмущением они должны подняться на защиту. С каким высокомерным, уязвленным и брезгливым негодованием они должны оскорбиться этой попыткой потных и грязных «мастеровых» и мужиков вычеркнуть их из жизни.

И вот они уже двинулись на защиту. Веками они научились это делать руками тех же мужиков. Метод, так сказать, не новый, раньше он приводил к успеху.

Против них сейчас стал Алеша, стал на краю черного парка и поставил свою жизнь. Он это сделал потому, что так сделал весь народ, иначе сделать он не мог,— это было так же естественно, как естественна сама жизнь. И поэтому у него не было ни страха, ни отчаяния, не хотелось ему в беспамятстве повторять: «Что я могу поделать». В этот момент он ни за что не взял бы в руки карты для преферанса, и не было надобности сейчас ни в какой чести, чтобы притушить страх. Было проще и прекраснее: великий русский народ, многоязычные миллионы трудовых людей, связавших свою судьбу с Россией, на беспредельных пространствах Европы и Азии встали против господ, назначили Алеше вот этот важный участок, вот этот парк, эту Кострому.

Алеша оглянулся вправо, влево. И вправо и влево расходились просторы России. Стена горизонтов как будто раздвинулась, Алеша ясно представил себе Ленина: Ленин стоял на краю огромного, туманного города и видел всю Россию, потому что он велик. В туманном городе раскатывался гул человеческих миллионов, перемешанный с набатом, и каждое слово Ленина было все-таки слышно ясно и отдельно. И Алеша слышал это слово, и стало досадно, что вдруг кто-то помешал ему. Родившийся в ночи, раздвинулся, разлился над горизонтом, раскатился за рекой уничтожающий, тяжелый и круглый грохот. Алеша вдруг понял, что это артиллерийский выстрел. Пораженный, он бросился вперед и сейчас же узнал в себе то привычное состояние, которое бывает перед разрывом. Разрыв зазвенел над городом, и вдруг оказалось, что в городе есть высокие, яркобелые здания. Алеша

побежал к своим. Ему навстречу зашумели встревоженные голоса, а за его спиной взорвалось новое эхо. Но Алеша уже не оглянулся. Он сдержанно-громко приказал:

— Все по местам! Прекратить курение! Полный порядок, товарищи! Самое главное: никакой воли нервам!

Кто-то ответил счастливым тенором:

— Понимаем, товарищ Теплов.

Алеша быстро пошел к солдатам первой роты. Из кружка собравшихся у ворот отделился Еремеев и побежал к нему навстречу:

— Товарищ Теплов, стреляют!

Еще грохот за городом. Еремеев остановился и задрал голову. Разрыв ударил в конце улицы. Еремеев перевел остановившееся лицо на Алешу.

— Стреляют, говоришь? А я и не слышал...

У ворот засмеялись. Еремеев не понял сначала, потом обрадовался, перекосил рот еще больше:

— Да какое же они имеют право! А? Против народа — с пушкой, значит?

— Занимайте места, приготовьте винтовки. Товарищ Еремеев, порядок!

— Да я понимаю, дорогой мой!

Еремеев побежал бегом к своему месту. Алеша обернулся к городу, ждал. Больше выстрелов не было. В городе замолкли трамваи, перестали свистеть паровозы.

Алеша глубоко вздохнул. Было на душе ясно и ослепительно чисто. Он на своем месте, вопросов никаких нет.

Капитан прибежал первым и удачно налетел на Алешу. Он вынырнул из парка небывало стремительный и подвижной, даже нос его и усы уже не перевешивались вперед. Капитан схватил Алешу за борт шинели и захрипел:

— Видите, у них артиллерия, видите?

Он осмотрел линию опушки парка:

— Ах ты, чорт! Прекрасная позиция, но... нельзя же... ни одной пушки! А у них две. Одна старая, а другая, видно, только с завода.

— Да вы откуда знаете?

— Так слышно же! Неужели они по Костроме будут бить? Не может быть!

— А помните, Михаил Антонович, вы говорили: артиллеристы стрелять не будут. Стреляют все-таки?

— Какие там артиллеристы! Гадина какая-нибудь стреляет!

В парке уже шуршали шаги. Насада подошел, перетянутый ремнями. Блестя глазами в темноте, из-за его спины вынырнула Маруся и толкнула Алешу в руку:

— Товарищ Теплов, ваша мамаша сказали, вам передать чтой-то.

— Что передать? Слово какое?

— Да не слово, а вот, саблю сказали передать.

Алеша, наконец, разобрал, что в руках у Маруси его шашка. Алеша взял ее в руку, ощутил холодный металл эфеса и ласковый, тоже прохладный шелк темляка. В этом ощущении было что-то такое, как будто он вспомнил детство:

— Спасибо, Маруся!.. Как там она?

— Мамаша вам приказала кланяться. Они ничего... А потом меня так... за щеку взяли и говорят: ничего, не бойся, все равно господам конец.

Насада повернул Марусю за плечо:

— Красногвардеец, катись, красавица, на свое место.

Маруся убежала влево, туда, где уже слышен был голос Павла Вараввы. Алеша пристегнул шашку и улыбнулся, подумал: «Мать посвятила меня в рыцари». Насада присматривался к городу:

— Тебя мать саблей благословила? Это хорошо. А только, думаю, рубить тебе никого не придется. Сюда они не пойдут ночью.

Алеша задумался:

— Важно знать, как они в город вступят. Из пушки это они для впечатления палили. А вот, как вступят?.. Михаил Антонович, как далеко стояли орудия? Километра два?

— Да, не больше двух.

— Значит, стреляли от семафора, немного дальше. Если они выйдут из вагонов у семафора и пойдут на город в боевом порядке, обязательно сюда доберутся, придется пострелять. Если же на вокзал по рельсам вка-

тятся, тогда ничего страшного, просто отправятся в казармы. Тогда до утра можно спать спокойно.

— Почему так думаешь?

— Не знаю почему. Впрочем, знаю. Как тебе сказать: если они влезут на станцию, значит — в военном отношении они ничего не стоят или нас не считают за противника. Станция ведь в центре города. Мы здесь могли бы их голыми руками взять, особенно, если бы пулеметы...

— Да, может, они знают, что у нас пулеметов нет.

— Ничего они не знают. Подождем Степана, он что-нибудь расскажет.

Вместе с Мухой из парка вышел Семен Максимович со своей палкой. Он молча стал рядом с Алешей, посмотрел на город. Муха сказал тихо:

— Притаились горожане-то!

Семен Максимович спросил:

— Алеша, Степан не вернулся?

— Нет.

— Его там еще сцапают...

— Нет, Степан — старый разведчик.

Капитан шагнул вперед, протянул руку:

— Тихо! Слышите? Входит состав на станцию.

— Входит, — подтвердил Муха.

Алеша пошел к отряду.

Красногвардейцы стояли между деревьями опушки и все смотрели на огни вокзала. Старый Котляров прислонился к стволу, повернул голову к Алеше:

— Там девчата перевязочный пункт приготовили.

— Знаю.

— А я отправил Марусиченко носилки делать. С ним еще два парня. Они это дело наладят. Как думаешь, пойдут на нас?

— Нет, сейчас не пойдут.

— Если сейчас не пойдут, так и совсем не пойдут.

— Почему?

— Солнце взойдет, народ увидит, в чем дело, солдаты эти...

— Хорошо, если бы так...

— Вот увидишь!

Алеша пошел дальше. Груздев вышел из-за дерева и столкнулся с Алешей.

— Милый мой, хороший юноша,— Груздев взял его за плечи.— Как это хорошо, что я тебя увидел. А то все скучал, сына вспоминал. А я как сына вспомню, так и тебя сразу.

— Спасибо, Иван Васильевич!

— Жалко, сын не дожил до такого дня. Лучше бы ему сегодня умереть. Ну, ничего, я, может, сегодня кого-нибудь... уложу. Уложу, как ты думаешь?

— Сегодня едва ли. Завтра, может, и придется пострелять...

— Жаль...

Подошел Павел, какой-то весь ладный, довольный, добродушно серьезный, хотел обнять Алешу, зацепился за шашку:

— Ты с саблей?

— Да это... Слушай, Павел, надо сделать срочно: двух человек послать на вокзал.

— Без оружия?

— Никакого оружия. Посмотреть умненько и сейчас же назад. До сторожевого охранения я проведу.

— Головченко и Митрошка.

— Митрошка хорош, а Головченко тяжел.

— Тогда Рынду.

— Верно. Давай их сюда.

Рында и Митрошка Ладейкин через минуту уже стояли перед Алешей.

— На станцию, что ли?

Оба они были слесаренками на заводе, оба маленькие, юркие, оба зубоскалы. Отличались друг от друга только тем, что Митрошка кругл и доверчив, а Рында заострен во всех направлениях.

— Отдайте ваши винтовки и идем.

— И патроны?

— Обязательно.

— Забирай, Павло.

Вышли из парка и зашуршали сапогами по сухим зарослям заброшенной площади. Потом вышли на косую разъезженную дорогу, идущую к вокзалу. Сбоку от дороги тройка сторожевого охранения сидела на брошенном бревне и напряженно прислушивалась к тому, что делается на вокзале. Услышав шаги, вскочили.

— Не нервничайте. Свои.

— Слышишь, Алексей, шумят?

— Да. Ну, ребята! Остороженько, под забором... И скорее назад. Я здесь подожду.

Митрошка и Рында свернули с дороги и побежали к железнодорожному забору слева. В беге они показались совсем малыми ребятами и скоро исчезли не то в зарослях бурьяна, не то просто в темноте. Алеша присел на бревно и прислушался. На вокзале что-то происходило: доносились голоса, неясный топот ног, стук колес. Звуки приходили сюда испорченными и приглушенными. В недалеком дворе тявкала истерическим дискантом собачонка.

Просидели молча минут пятнадцать и... вздрогнули: Митрошка и Рында выскочили как будто из-под бревна. Рында зашептал, оглядываясь на вокзал:

— Пошли по улице... солдаты.

— Много?

— Ой, и много!.. Я так думаю... больше тысячи!

— Не...— Митрошка завертел головой,— не! Тысячи не будет.

— Строем?

— Вроде как строем... С ружьями.

— А пушки?

— Пушек не видели.

— Народ есть на улицах?

— Ни одной собаки. Просто — как мертвый город. А только на станции, видно, встречали.

— Кто?

— Господа какие-то, человек пять. И лошади,— фаянтон. И еще коляски были... или как это...

— Офицеров видели?

— Как же... Офицеры. Кто пошел, а кто поехал. Погоны — это далеко видно.

— Не заметили? Не боялись входить в город?

— Да кого же им бояться. Пусто...

— Ну, добре... Идем к своим.

Семен Максимович сидел на том самом пне, на котором раньше сидел Алеша. Вокруг него стояли Муха,

Богатырчук, несколько городских большевиков. Семен Максимович положил руки на крючок палки,— видно было, что устал. Но Алешу встретил весело:

— Ну, вояки, как там дела? Вам воевать, а нам с вами не спать приходится на старости лет.

Алеша рассказал о поиске разведчиков. Его слушали, не перебивая. Когда он кончил, Богатырчук решительно размахнулся:

— Чорт бы их побрал, комедию какую-то ломают! Какое же это войско: даже разведки в город не выслали.

Муха поежился, он был в легком пальто:

— Та-ак! Значит, приехали! Тысяча человек! Много! Эх, если бы знать, как в других городах!

Савчук задумчиво накручивал ус, ответил Мухе:

— Во всех городах одинаково, везде есть враги, только выступают по-разному. А нам повезло. Целый полк. Как ты думаешь, Семен Максимович?

— Постой, не торопись.

— Да как по-твоему?

— По-моему, ерунда все это. Господа разум потеряли. Ничего у них не выйдет.

Семен Максимович вдруг поднялся, наклонился вперед.

— У кого глаза молодые? Свистит кто-то...

Богатырчук сзади сказал спокойно:

— Саратовский философ шествует.

Степан Колдунов, действительно, шествовал. При свете звезд было видно, как, распахнувши шинель, вразвалку он шел по зарослям бурьяна, палкой сбивал головки молочая и насвистывал знаменитую песенку о коленочках.

Алеша зашипел на него:

— Да что же ты, голова, рассвистелся, как соловей?

Степан приподнял картуз, отвечал полным голосом:

— Ночь, Алешенька, хороша дюже, в хорошую ночь только и посвистать: на земли мир и в человецех благоволение.

Он пожимал всем руки и даже в темноте сиял прекрасным настроением. Чуть-чуть пахло от него спиртом.

— Ты пьян? — сказал Богатырчук.

— Не пьян, что ты, Сергей! Кружкой пива угостили солдатики, это верно.

— А у них и пиво имеется?

— Народ обстоятельный, бочку пива с собой везли. А раз бочка пива — надо ее выпить, не бросать же? Да и по сколько там пришлось, а все-таки спать хорошо будут, пиво... оно помогает.

Муха спросил саркастически:

— Так, говоришь, на земле мир?

— Мир, а как же! С немцами мир!

Семен Максимович недовольно повернул голову:

— Довольно болтать, как сорока. Рассказывай.

— Ох, прости, Семен Максимович, не заметил тебя, а то и сразу не болтал бы. А рассказывать буду сейчас, недаром посылали.

Степан сел прямо на землю против Семена Максимовича, подтянул рукава шинели к плечам, полез по карманам за махоркой и начал рассказ:

— Добрался я туда на паровозе. У них, у железнодорожников, этот паровоз называется резервом, не пойму только чего, просто себе паровоз. Бежал он на Спасовку, ну, я и прицепился: и машинист знакомый, к тому же. В Колотиловку эту приехал, смотрю: действительно, эшелон,— один эшелон, а больше по всей станции ни одного вагона, да и людей нету, не то, что людей, а и собаки ни одной не видел, кроме начальника станции да стрелочника. Для чего такие станции строят, никак не разберешь.

Богатырчук нетерпеливо перебил:

— Вот... станция тебе нужна! Ты дело рассказывай!

— Да я дело и говорю, а дело все на этой станции. Солдатики по вагонам сидят скучные, слышу я, и песен не поют, помалкивают. Я прямо в один вагон и полез. Куда, говорят, лезешь, это не твой вагон. А я им отвечаю: все вагоны теперь мои, куда хочу, туда и лезу, могу с полным правом выбирать себе вагон, который мне по душе. А они меня спрашивают, любопытно так спрашивают: а почему тебе этот самый вагон нравится? А я им отвечаю: в других вагонах навоняли здорово, а в этом воздух хороший. Ну, они, конечно, развеселились, хотя воздух у них и нельзя сказать, чтобы очень хороший был.

— Да перестань ты, ну тебя к чорту! — сказал Богатырчук.

— Да к слову, Сергей, приходится!

— Говори дело!

— Дело и говорю. Они-то развеселились, а все-таки спрашивают, кто такой и чего мне нужно. А я отвечаю, как и на самом деле есть: солдат я, обыкновенный герой, как и вы, дорогие товарищи, а еду я к молодой жене, к отцу, к матери. Немцы меня не до конца покалечили, так, может, еще и пригожусь. А чего мне нужно, так то же самое, что и всякому хорошему человеку: еду землю получать от помещика по новому большевицкому закону. Тут они на меня и накинулись: какой закон, да почему закон! Вижу я это, народ они темный, никакой у них сознательности нет. Давай с ними разговаривать. Они что-то такое слышали про Петроград, только так, кончики самые, а дела настоящего не понимают. Ну... обрадовались. Как про землю услышали, здорово обрадовались, а как про мир с немцами, так и совсем у них отлегло: видно, у них душа все-таки скучала: легко сказать, с фронта целым полком ушли. А тем временем и я у них распытал, что за народ, куда едут и какого им чорта нужно.

Дело маленькое. Расшибли их еще восемнадцатого июня, они тогда тоже были в послушании. Расшибли: кто в плен попал, кто убит-ранен, а больше просто разбежались с поля. Осталось их человек семьсот да офицеров с полдюжины. Отправили их куда-то там в тыл, пополняться, что ли. Пополняться не очень пополнялись, а больше скучали да домой собирались. А стояли на какой-то станции, людей не видели, доброго не слышали. А потом им и сказали: поезжайте в такой-то город, формироваться будете. Я вам так скажу, по моему мнению: народ у них остался так себе, постарше, да кадровиков больше, которые с первого года сохранились. И полк этот, видно, у командиров хорошим считался, крепким, по ихнему, генералы его и припрятали на всякий случай, пригодится, мол. И с офицерами у них мирно было, и все. Дали им состав, поехали они, а тут и обнаружилось, вроде как взбунтовались: никуда не хотим ехать, везите нас в наш город. А народ все больше здешний, кадровый, как я сказал. А кто не здешний, те по дороге соскочили, кому куда нужно. Сейчас их человек четыреста. А еще что: офицеры тоже здешние, значит, и думают, все равно ехать, так ехать, ближе к дому. Так и поехали. Начальство железнодорожное, ему что, только с плеч спихнуть. А подъехали к Колотиловке, им и сказали: большевики

власть взяли в городе, покажут вам, как это — самовольно. Там-де и Красная Гвардия. Я только потом разобрал, откуда такое: пристроилась к ним по дороге тройка офицеров, а главный самый — господин полковник Троицкий.

— Вот в чем дело! — протянул Богатырчук. — Старый знакомый!

Насада вскрикнул:

— Нашелся, значит!

— Вот же: нашелся. И другие, конечно, офицеры. У них, конечно, не столько пороху, сколько страху. А Бессонов, командир ихний, говорят: настоящий царский, только все старался солдатам понравиться. Большевиков боятся, про это и говорить нечего.

— А что же у них полковой комитет делает?

— Какой там полковой комитет? Три шкуры из унтеров, видно — хуторяне здешние, да прапор какой-то, эсер, говорят, а может, и другая какая сволочь. А офицеры там мало чего понимают. Видят, солдаты послушные, погон не срывают, на караул становятся, — ну, думают: за нас. А кроме того, и так размышляют: большевики власть захватили, так это на два дня, и солдатам так объясняют. И в Петрограде уже, говорят, нет большевиков, а генерал Краснов будто. И газету показывали, сами напечатали, что ли, уже не знаю, сам этой газеты не видел.

— Зачем стреляли? — спросил Алеша.

— Со страху стреляли, на всякий случай, эти самые шкуры да возле них которые. А потом кто-то к ним из города припер на дрезине, сказал: большевики ушли из города. Так вот они и решили: давай еще и пальнем, крепче будет. Это они, когда уже к городу подходили. Паровоз, а перед паровозом две платформы и пушки. Смехота!

Семен Максимович крякнул:

— Так. А в городе как, встречали?

— Кто-то их повел в казармы. Да ни к чему. Вот увидите, к утру никого не останется. Все домой пойдут.

— А может, не все?

— Да может, какой дурак и останется, а то пойдут. По деревням своим.

— Да что ж, офицеры не знают про это? — Богатырчук недоверчиво оглянулся,

— А что ж ты думаешь? И не знают. Они думают: вот полк у них, и пулеметов десяток, и пушки. Чем не полк? Россию будут оборонять против народа. А я нарочно задержался: пушки те на платформах бросили. Я нарочно,— посмотреть. Оставили караул, только сейчас наверняка и караул этот разошелся, кто куда.

Это происходило около полуночи, а в два часа ночи Алеша уже был в плену и сидел один в пустой и ободранной комнате бывшей гарнизонной гауптвахты. Гауптвахта стояла рядом с собором, на небольшой круглой площади, обсаженной акациями в несколько рядов. Алеша видел в окно эти акации и белеющую стену старинного здания, называемого в городе штабом. Возле штаба горели фонари. Через каждые две минуты этот вид медленно перекрывался фигурой часового, проходящего мимо окна. На голове у часового была сложная шапка с опущенными крыльями. И эта шапка, и поднятый воротник, и распущенная сзади, без хлястика, шинель, и винтовка без штыка, повешенная на плече ложем кверху, все это даже в неразборчивом силуэте на фоне фонарей штаба производило впечатление беспорядка и тоски.

Тоска была и в душе Алеши,— тоска обиды и оскорбления. Как непростительно, глупе, смешно, он оказался просто мальчишкой, хвастливым желторотым мальчишкой! Ему люди доверили святое дело, а у него в ответ на это нашелся только дурацкий легкомысленный задор. Дело оставлено там, в парке, и он выброшен из дела, как ненужный винтик. Если его даже убьют, то без всякой пользы для людей, без всякого смысла.

С ощущением, похожим на тошноту, Алеша представил себе, что сейчас думают и чувствуют Богатырчук, Муха, Котляров, Насада, Акимов, Павел и около сотни мужественных и простых людей, которых он так мудро обучал военному делу. При воспоминании об отце у него останавливалось сердце.

Как это произошло? Алеша все не мог опомниться от неизмеримой глупости происшедшего.

После возвращения Степана прошло не более получаса, когда на освещенной улице, ведущей к парку, пока-

зались отдельные фигуры. Это были солдаты, некоторые с винтовками, другие без винтовок, но все обязательно с сундуками, или с мешками, или с чемоданами. Они направлялись к большой дороге, ведущей через парк на Кострому и дальше. Там, на старом, широком шляху, хорошо были всем известны большие села: Масловка, Федоровка, Березняки, Олсуфьево, Вятское, Сухарево, а от них пошли дороги и дорожки к деревням и хуторам, к другим селам, и везде ожидали путешественников жены, матери, дети, и везде ожидала их революция, новые поля, отвоеванные у помещиков, новые дни, отвоеванные у истории.

У Насады с Богатырчуком сразу возник спор: можно ли пропускать этих людей на Кострому. Насада выступал как стратег и уверял, что недопустимо в тыл себе пропускать вооруженных людей. Богатырчук лениво поворачивался и улыбался презрительно:

— Очень им нужен твой тыл. Они спят и видят, как бы тебя окружить.

— А зачем они винтовки с собой ташат?

На это отвечал Еремеев:

— В хозяйстве винтовка всегда пригодится.

Семен Максимович сидел на пне и все смотрел на город. Он сказал Насаде:

— Не спорь, командир, пускай проходят: свои люди.

— Да ведь беспорядок, товарищ Теплов!

— Порядок потом наведем. Когда обед варят, всегда бывает беспорядок, а сядут обедать — ничего.

Солдаты подходили, весьма удивлялись военной обстановке в парке, дружески закуривали, охотно сообщали свой дальнейший маршрут и, только уходя, говорили:

— Напрасно беспокоитесь. Что мы, корниловцы, что ли? Мы тоже за товарища Ленина.

— А чего из пушек палили?

— Да это... дурачье... Дураков везде есть довольно.

— Врешь, голубь, офицеры вам на голову сели.

— Да, браток! На что нам офицеры. Всех вам оставляем, пользуйтесь, люди хорошие... До свиданья.

Они уходили в глубь парка, а на их место выдвигались на свет новые фигуры. Степану это нравилось.

— Гляди, Насада: говоришь, беспорядок. А штыки у

всех спрятаны, ни один не торчит. Из этого народа толк будет.

Эти военные путешественники уничтожили ощущение военной тревоги и опасности. В парке закурили и заговорили громче. Кто-то пробрался на вокзал, оттуда вернулся запыхавшийся, увлеченный:

— Ни души! И пушки! Так и стоят на платформах.

Услышав это, капитан заволновался, зашнырял по парку, подбежал к Алеше:

— Возьмем пушки, чего же волынить!

— Завтра возьмем, на что они вам сегодня.

Семен Максимович тоже возразил:

— Разделяться нельзя. А по городу все равно стрелять не будете, Михаил Антонович?

— По городу?

— Ну, да! Помните, вы говорили: нельзя по городу стрелять.

Капитан так и не понял иронии. Он видел только существо вопроса и поэтому ответил просто:

— Если вы, Семен Максимович, скажете, я буду и по городу стрелять.

— По какому городу?

— Куда скажете, туда и буду стрелять.

— Спасибо, Михаил Антонович, а только подождем. Пушки все равно наши будут.

Тут же возле пенька устроили совещание. Без споров решили в три часа ночи наступать на город, захватить казармы, разоружить прянцев, которые еще остались, арестовать офицеров. Проходящие солдаты не скрывали, что полк разместился в казармах на Петровской улице. Штаб расположился в городской управе, туда и народ разный собрался: собираются угощать ужином господ офицеров.

Настроение у всех повысилось, все были уверены, что дело предстоит нетрудное. Один Алеша не вполне разделял такой оптимизм:

— Нельзя верить этим... проходящим. Он снялся потихоньку и побрел домой, а что у него за спиной, ему и дела нет. Сколько здесь прошло? Пятнадцать-двадцать человек. Пускай по другим дорогам — пять-шесть десятков. А остальные в городе. Не думаю, чтобы офицеры так легко спать пошли. Особенно Троицкий. Чтонибудь пригослзлено,

— Да что приготовлено? — спрашивал Насада.

— Наверное, у них есть надежные взводы. И пулеметы кое-где поставлены. Без разведки итти нельзя.

Задумались, потом заспорили. Наконец, согласились: чтобы никого не встревожить, послать разведку без оружия, — просто себе люди идут: мало ли кому нужно в городе быть? А по главной улице лучше всего — с девчатами. Маруся и Варя пришли в восторг. Понравилось это и Алеше. Он решительно заявил:

— Замечательно. Девчата — еще молодые воины, всего не увидят, а пойду с ними и я.

Богатырчук возразил:

— Алеша, тебе не стоит, нарвешься на Троицкого.

— Не нарвусь. Троицкий сейчас ужинает и речи говорит.

А другим даже и понравилось.

— Он, конечно, разведку сделает. А по вокзальной Степан пускай.

Алеша быстро сбросил с себя ремни, шашку, шинель, стащил с Павла его старенький пиджачок, у кого-то с головы шапку, стал похож на мастерового. Револьвер сунул в карман пиджака.

Богатырчук на это переодевание смотрел с сомнением:

— Сапоги у тебя того.. модные. И хромаешь все-таки. Троицкий тебя сразу узнает.

Семен Максимович, пока Алеша собирался в поход, ничего не сказал, но, когда Алеша с девчатами тронулись уже в путь, старик остановил его негромко:

— Алексей!

— Что, отец?

— Не на прогулку идешь, а на дело. В случае не вернешься, кто старшим будет?

— Как это «не вернусь»?

— Вот тут уже и я беспорядка не люблю.

— По Красной Гвардии старшим остается Павел, а по всему нашему фронту — Богатырчук, как и был.

— Хорошо, иди.

Алеша весело кивнул, обнял девчат за плечи. Двинулись по улице. Им крикнули вдогонку:

— Он с девками и хромает меньше!

До первого перекрестка они дошли спокойно и не встретили ни одного человека. Варя шла тревожно, все

вытягивала голову вперед и все старалась показывать пальцем. Маруся была в радужном настроении, ее приводили в восторг и лицо Вари, и ее палец, и протесты Алеша против этого пальца. Алеша не возражал: так получалось даже естественнее. За первым перекрестком, где начинался собственно город, они встретили двух солдат без винтовок. Солдаты прошли молча, а когда прошли, один из них спросил:

— Земляки, дорогу на Масловку не завалили еще? — Алеша ответил:

— Иди смело, дорога хорошая.

Маруся даже взвизгнула от удовольствия. Взвизгнула еще веселее, когда перед ними с угла на угол быстро прошла парочка.

— Ходят люди, ходят! И нам можно!

Не встретили никого до самого Совета. Оставалось три квартала до соборной площади. Нужно было посмотреть, что происходит у здания управы, до которого оставалось несколько домов.

Перешли на противоположный тротуар. В здании управы светились два окна. Если здесь и был ужин, то, вероятно, уже кончился. У входа стоял часовой с винтовкой. На ступени под деревянным ажурным козырьком выходили по-двое, по-трое какие-то господа и направлялись в разные стороны, офицеров между ними не было. В этом месте вообще было кое-какое оживление, по тому и другому тротуару бродили даже несколько парочек: очевидно, люди, воспрянувшие духом с приходом Прянского полка. Рядом с домом городской управы открыты были ворота, за ними — темный глубокий двор, и во дворе — голоса.

Алеша прошептал:

— Кажется, в том дворе пулеметы. Погуляем еще на той стороне.

Маруся ответила жарко:

— Погуляем! — и крепче прижалась к его руке.

Здесь уже неловко было обнимать девушек, заметнее стал алешин крен. Он старался опираться на их руки, но это только ухудшало положение: они были гораздо ниже его ростом. Выходящие с некоторыми промежутками господа заняты были разговором, часовой скучно дремал, заложив руки в карманы и балансируя винтовкой под-

мышкой. Нескльско подальше разведчики перебрались на другую сторону и не спеша прошли мимо ворот.

— Пулемет! — шепнула Маруся.

— И солдаты, — шепнула Варя и хотела показать пальцем. Алеша поймал палец и спрятал в карман своего пиджака. Варя дернула рукой и тихо засмеялась. Алеша поднял глаза, чтобы посмотреть на нее, и увидел перед собой погоны полковника и лицо Троицкого, удивленно и радостно остолбеневшего перед ним. Алеша оттолкнул девушек в стороны и сунул руку в карман. Он дернул руку вверх, но револьвер рукояткой провалился в какую-то дырку в кармане. Алеша дернул сильнее и выхватил наган в тот самый момент, когда Троицкий выстрелил. В одно и то же мгновение Алеша ощутил ожог на кончике уха и услышал крик Маруси. Она бросилась к полковнику и схватила его за воротник, чуть-чуть Алеша не выстрелил ей в спину. Он опустил револьвер и быстро оглянулся. Из двора и от подъезда к нему бежали солдаты. Алеша поднял наган, но было уже поздно. Кто-то сильно сжал сзади его локти, другой рванул револьвер, потом вывернул, отнял. Алеша успел заметить, как Маруся мимо его колен отлетела на мостовую, успел крикнуть ей: «уходи!», после этого он видел перед собой только лицо Троицкого.

— Я промахнулся? — спросил Троицкий, рассматривая Алешу в упор холодными, зеленоватыми глазами.

Алеша снова почувствовал, как горит у него кончик уха, ответил Троицкому с еле заметной улыбкой:

— Да, вы неважно стреляете, господин полковник.

Краем глаза Алеша все-таки посмотрел на мостовую. Как будто Маруси там уже не было. Вокруг них стояло несколько солдат.

Троицкий спросил:

— Почему вы в таком маскараде?... Впрочем, пожалуйста, поговорим подробнее здесь.

Он рукой показал на подъезд городской управы. Из двери выскочил шеголеватый прапорщик и удивленно посторонился. Троицкий сказал ему, закладывая револьвер в кобуру:

— Господин прапорщик! Этого большевика нужно куда-нибудь запереть,

Прапорщик широко открыл глаза и беспомощно оглянулся:

— Да... я... сейчас узнаю.

— Узнайте. Мы еще поговорим.

Они вошли в полутемный вестибюль, прошли по широкому коридору. Троицкий предупредительно открыл дверь.

В большом кабинете, сильно заставленном мягкой мебелью, на широком диване сидело три человека в золотых погонах. Троицкий объявил, вытянувшись и двумя пальцами показывая на Алешу:

— Поручик Теплов: большевик!

Тонкий, узкий в плечах полковник, но с головой круглой и с мясистым, нездорово-бледным лицом, бритый, поднялся с дивана, пересел в кресло за столом, завертел в руках костяной ножик и только тогда поднял на Алешу уставшие круглые глаза.

— Поручик Теплов? Это... о котором говорили?

Троицкий захлопнул серебряный портсигар и ответил:

— Да. Сын токаря Теплова.

— Местный?

— Да.

— Ага! Оружие?

— Револьвер отняли. Здесь... у ворот... Намеревался выстрелить в меня.

— А-а! Вот как!

Около минуты полковник молчал, играл ножиком и поглядывал на Алешу с каким-то неясным, но значительным интересом. Потом кивнул на кресло.

— Садитесь.

Голос у него был слабый, сорванный.

Алеша опустился в кресло. С удивлением почувствовал, что совершенно спокоен и заикаться не будет. Потом с обидой вспомнил: наган нужно было держать в руке за бортом пиджака. Забеспокоился о Марусе: удрала или захватили солдаты? Варя, наверное, убежала. Полковник все постукивал костяным ножиком по столу. Ручка ножика изображала голову совы.

— Где сейчас ваши красногвардейцы? Далеко удрали? — полковник слабо хмыкнул.

— Не знаю, — ответил Алеша.

Троицкий задымил, развалился в другом кресле:

— Он играл там какую-то роль. Инструктором были?

Вместо того, чтобы ответить, Алеша посмотрел на диван. Офицеры, полулежа, шептались.

— Вы не отвечаете? — полковник еще раз хмыкнул. — Я советую вам не воображать, что вы скрываете от нас вашу военную тайну. Этой тайне мы не придаем особенного значения.

Полковник уселся в кресле удобнее, боком, положил ногу на ногу, ножиком играла теперь только одна рука.

— Полсотни вооруженных мастеровых мы не считаем военной силой, завтра мы арестуем их жен, а мужья сами явятся. А рота запасного батальона, — вы же человек военный, — сброд! Интересно, куда они сбежали?

Алеша улыбнулся полковнику.

— Вы хотите что-то сказать? Пожалуйста.

— Да, господин полковник, я хочу спросить.

— Пожалуйста.

— На что вы рассчитываете? Власть перешла к Советам.

— К большевикам?

— Да, к большевикам. Что же? В одном городе будет власть Прянского полка?

— То, что вы говорите, — бредни. Ленин, вероятно, сейчас уже арестован... Несколько хороших полков достаточно, чтобы с этим справиться. Разумеется, необходимо, чтобы этими полками руководили не изменники, подобные вам, а честные офицеры, способные отдать жизнь за Россию.

Алеша улыбнулся, наклонился к столу, положил ладонь на его сукно:

— Года три назад был у меня разговор на такую же тему с полковником Троицким. Отдавать жизнь за Россию нужно тоже... умеючи. Господа офицеры доказали, что они этого... не умеют... Хотят жизнь отдать за Россию, а отдают за всяких мошенников. Ничего из этого не выйдет, так же, как не вышло с немцами.

Полковник встал, бросил ножик, ножик мягко стукнул, подпрыгнул на сукне.

— Вы... довольно развязны, молодой человек. Неуместно развязны. Для вас этот вопрос уже не имеет практического значения. Завтра, правильнее сегодня, мы вас расстреляем за измену и за покушение на офицера.

Он пристально глянул на Алешу. Алеша крепко сжал

резные ручки кресла, забеспокоился, не слишком ли он побледнел. Его легкие наполнились терпким, колючим холодом. Все-таки он заставил себя взглянуть полковнику в глаза. Полковник чуть-чуть наклонился к нему.

— Мне вас очень жаль. Вы еще молоды, и у вас хорошее лицо. А я, хоть и полковник, но, ничего не поделаешь, — тоже интеллигент, обладаю всеми недостатками русского интеллигента. Но... таких, как вы, нужно расстреливать. Это должно произвести хорошее впечатление на других. Так что... не обижайтесь.

Полковник развел руками, вытянул пухлые губы и вышел из-за стола.

— Военно-полевой суд соберется в восемь часов. А сейчас отправьте его куда-нибудь. Конечно... если вы пожелаете раскаяться совершенно чистосердечно и честно и поможете нам в дальнейшем как гражданин и офицер, — принимая во внимание вашу молодость и..., так сказать, влияние: сын рабочего... поверьте, это мы уважаем... как вы думаете?

Даже офицеры на диване повернули головы. Алеша встал с кресла, мельком глянул на диван...

— Вы слышали, что я сказал?

— Слышал. Чистосердечно, вы говорите? Чистосердечно — я все-таки удивляюсь вашей аванюре и, простите меня, вашей... слепоте.

— Чудак!.. Вы сегодня умрете! Сегодня! Вам уже не к лицу удивляться!

Алеша на несколько секунд задумался, отвернувшись в сторону. Полковник ожидал его ответа.

— Умру? Я — еще очень молодой большевик. Но... я умру... хорошо. А вы... вы все умираете... Пожалуйста!

Алеша улыбнулся ясно и открыто, как умел улыбаться его отец. Полковник пожал плечами.

— Как угодно. Так вы его подержите где-нибудь.

Он чуть-чуть наклонил голову и пошел к дверям. Алеша только теперь увидел, что сапоги у полковника были очень простые, деревенские, их голенища были гораздо шире худых полковничьих ног. Сапоги эти скрылись за тяжелой, высокой дверью.

Алеша все смотрел на площадь, и часовой все ходил перед окном. Подоконник был широкий, Алеша положил на подоконник руки. Ухо начинало распухать и очень болело.

О том, что его сегодня расстреляют, Алеша не думал. В восемь часов предстоял еще полевой суд. Все эти соображения проходили на фоне обидного ощущения неудачи и глупого промаха. Если его не расстреляют, то положительно невозможно будет показаться своим на глаза. Алеша вспомнил, как он обнял девушек, отправляясь в разведку, — геройство весьма легкомысленное.

Он все надеялся, что Варя ушла. Марусю могли и захватить, но ведь никто не знает, что она в Красной Гвардии.

Девчата расскажут о пулеметной заставе. Интересно, что принесла разведка с другой улицы, там был Степан, может быть, он действовал более разумно, чем Алеша. Все-таки у офицеров были кое-какие силы, а пулеметы — дело серьезное. Наступать прямо по улице нельзя. Следует пройти боковыми улицами и переулками. Можно выйти к пулеметам с тылу. А еще лучше через двор — двор городской управы — проходной. Богатырчук об этом знает.

Силуэт часового проходил мимо окна и вдруг заслонился новой тенью, гораздо более стройной и тонкой, — кажется, офицер. Что-то застучало у самого здания гауптвахты, — открыли дверь, через полминуты загредел засов у входа в камеру. Дверь открылась, рука с керосиновой лампочкой без стекла выдвинулась первая.

— Хорошо, — сказал кому-то Троицкий и закрыл дверь.

Алеша обернулся к нему, не снимая рук с подоконника. Троицкий поставил коптящую лампочку на деревянную койку, расстегнул шинель и сел на табуретке против Алеши в углу.

— Пришел поговорить с вами. Не удивляетесь? Пожалуйста.

— Не курю.

— Я назначен председателем суда над вами. Но суд — дело быстрое и, в сущности, формальное. А я хочу выяс-

нить ваши мотивы: очень возможно, что смогу добиться менее сурового приговора, хотя должен сказать, что надежды на это минимальные. Не скрою от вас: для меня тоже важно кое-что... уточнить... для себя, так сказать. Я прекрасно понимаю, что, переходя к большевикам, вы не преследуете материальных выгод, так же точно, как и я не преследую, оставаясь верным... присяге и России. Одним словом, мы можем говорить как культурные люди, по каким-то причинам оказавшиеся в противоположных... э... станах. Конечно, ваше положение, близкое к смертному приговору, трагично, я понимаю, но и мое положение не так уж блестяще,— здесь можно говорить откровенно. Вы, например, у полковника выразились в том смысле, что мы... умираем. Видите?

Троицкий говорил медленно, негромко, очень просто и серьезно, согнувшись на табурете, глядя на коптилку-лампочку. В паузах он медленно стряхивал мизинцем пепел с папиросы и складывал губы трубочкой, выпуская дым. Папироса у него была худая,— когда он затягивался, она худела еще больше.

Попрежнему глядя в окно, Алеша ответил так же серьезно:

— Вы ошибаетесь: мой переход к большевикам объясняется материальными соображениями, так же, как и ваша верность... буржуазии.

— О, да! Я знаю, вы любите этим щеголять: мы-де материалисты. Я не в том смысле сказал. В сущности, вы настоящие идеалисты, поскольку вы боретесь за какое-то там человеческое счастье, счастье будущих поколений, и готовы для этого жертвовать вашей, так сказать, сегодняшней жизнью. В сущности, это самый настоящий идеализм.

— Все равно вы ошибаетесь,— сказал Алеша и положил подбородок на руки. Часовой, привлеченный огоньком лампочки, стоял прямо против окна и глядел в комнату, но нельзя было разобрать выражение его лица.— Я не борюсь только за счастье будущих поколений, я борюсь за свое счастье.

— За ваше личное?

— Да, за мое личное.

— Но вот вы сейчас арестованы, и вам угрожает смерть.

— Я и не сказал вам, что завоевал счастье. Я только еще борюсь за него. А в борьбе возможны неудачи и случайности. Из-за этого нельзя же отказываться от борьбы?

— Бесчестно — отказываться?

— Да... нет... Просто... нельзя, нет смысла, понимаете?

Полковник круто повернулся к Алеше:

— Не понимаю. Объясните, пожалуйста.

На лицо полковника упал свет фонарей штаба, свет плохой, запятнанный тенями деревьев. Лицо Троицкого казалось мертвенным и измятым, только один глаз поблескивал. Алеша мечтательно откинул голову на подставленную к затылку руку и улыбнулся:

— Вы сказали: два культурных человека. Но у нас с вами нет ничего общего. Настоящая культура вам не известна. У вас — культура неоправданной жизни, культура внешнего благополучия. Я тоже к ней прикоснулся и даже был отравлен чуть-чуть. Вы не понимаете или не хотите понять, что так жить, как жили... ну, хотя бы рабочие на Костроме, нельзя, обидно. Возьмем отца или мать — моих: это нельзя простить. И я не могу жить, если рядом будут Пономарев или Карабакчи, или ваш отец, или вы. Ваше существование, ваш достаток, ваша гордость, ваши притязания руководить жизнью оскорбительны. Будет моим личным счастьем, если вокруг себя, среди народа я не буду встречать эксплуататоров.

— Позвольте. Вы выражаетесь точно, и я не обижаюсь. Но ведь люди так жили миллионы лет, без этих ваших... идей и без вашего Ленина.

— Миллионы лет люди жили и не зная грамоты, огня, сытости. Попробуйте жить теперь без этого. Я думаю, что люди ни за что не откажутся и от электричества, и от медицины. Человек растет, господин полковник. Еще сто лет назад люди терпели оспу, вчера они терпели эксплуататоров, а завтра не будут. Мы с вами люди культурные, но стоим на разных ступенях культуры.

Опираясь руками на колени, полковник склонил голову. Алеша увидел на его темени круглую маленькую плешинку. Потом полковник вытащил платок и начал вытирать им лицо, вероятно, ему хотелось спать

— Вы оперируете непосильными категориями: миллионы лет, ступени культуры. В своих поступках и в своих действиях люди никогда не руководились такими схемами.

Человеческий поступок — это очень сложное явление, но он всегда должен быть живым движением, а не математической формулой. В этом месте вы мало убедительны. Кроме того, вы забыли одну важную вещь: человеческую нравственность. Без нравственности не будет никакой культуры и никаких ступеней. Будет одичание. Одичание в погоне за счастьем — это очень трагично, господин поручик. Вы, например, оказались мало чувствительным к такому явлению, как единство корпорации.

— Офицерской?

— Офицерской, если хотите. Я бы сказал шире: национальной, русской. И поэтому вы будете раздавлены. Россия — все-таки Россия, это реальность, а не схема. В момент разброда Ленин мог захватить Зимний дворец, допускаю. Но русские люди остаются русскими, а они вовсе не безразличны к чувству чести. А у кого чувство национальной чести стоит на первом плане, за теми и пойдет народ. Вот видите, нас десять офицеров, десять людей, которые не так легко расправляются с честью, и за нами народ уже идет. Один полк, один полк, ощущающий честь, сильнее и благороднее какой-угодно толпы, рвущейся к так называемому счастью. Это потому, что честь выше счастья. Я уж не знаю, как это располагается на ступенях культуры, но это очень высоко, а для некоторых даже и недоступно высоко. Вы были на фронте, вы не один раз несли вперед вашу жизнь, вы награждены золотым оружием. Спрашивается: почему я, обыкновенный армейский офицер, все-таки выше вас? А я выше, в этом нет сомнений.

Алеша попрежнему смотрел на площадь. Его правое контуженное ухо внимательно слушало однообразный, негромкий голос полковника. К сознанию слова приходили правильными рядами и немедленно разбегались по каким-то приготовленным помещениям. Слова казались обычными, старыми, было довольно скучно их слушать, проникновенность полковника вызвала только одно желание: быть с ним вежливым. В алешиной душе оставалось еще много свободных просторов, вспоминалась жизнь людей, ее истины и ценности: Нина, отец, Богатырчук, темный осенний парк, за парком — Кострома, начинающая далекие пути по всей России, пути к городам, селам, деревням, где жили такие же люди, требующие справедливости и

поднявшиеся за нее. И высоко над миром, над туманами большого далекого города стоял Ленин. Ленин видит всю Россию, видит каждого человека, знает его мысли и стремления, знает, может быть, что в запущенной комнате городской гауптвахты сидит Алеша и... нет, не страдает.

Часовой снова заходил перед окном, но он ничего не заслонил в душе Алеши, как ничему не мешал и голос Троицкого. Алеша слушал его и для развлечения даже прищуривался на окно. Сильнее начало болеть ухо.

— Знаете что, господин полковник. Спорить нам пришлось бы долго, а у нас времени не так много. Лучше я прочитаю вам одну маленькую выписку, очень короткую, три строчки.

— Из Маркса, конечно?

— Нет, Маркс для вас неприемлем.

Алеша вытащил из кармана записную книжку и перелистывал ее.

— Недавно я пересматривал в нашей клубной библиотеке только что полученные книги, пожертвованные книги. Не читал, а перелистывал. И вот: «Россия» — «полное географическое описание нашего отечества, настольная книга для русских людей». Обратите внимание, — для русских. Том шестнадцатый, Западная Сибирь. Страница 265. Такая себе книга добросовестная, наивная и весьма патриотическая.

— Знаю.

— Знаете? Хорошо.

Алеша подошел к лампе.

— От марксизма это очень далеко. Ну, слушайте, три строчки:

«В самом характере самоеда больше твердости и настойчивости, но зато меньше и нравственной брезгливости,— самоед не стесняется при случае эксплуатировать своего же брата, самоеда».

Алеша закрыл книжечку, спрятал ее в карман, снова сел на свою табуретку. Полковник молчал. Алеша опять положил подбородок на руки и заговорил, присматриваясь к акациям у штаба:

— Как счастливо проговорился автор, просто замечательно. Дело коснулось людей некультурных, правда? И сразу стало очевидно: чтобы эксплуатировать своего брата, нужно все-таки не стесняться. Не стесняться —

значит, отказаться от чести. Здесь так хорошо сказано — «нравственная брезгливость». Представьте себе, господин полковник: этот самый дикарь, у которого нет нравственной брезгливости и который не стесняется эксплуатировать своего брата, вдруг заговорит о чести. Ведь, правда, смешно? Дорогой полковник! Так же смешно выходит и у вас.

Полковник поднял лицо:

— Сравнение натянутое: я никого не эксплуатирую.

— Врете. Вы вскормлены, воспитаны, просвещены на эксплуатации. Я ни разу не позавтракал, когда учился в реальном училище. Спросите, сколько из заработка моего отца перешло в вашу семью? Пусть пять рублей в год. Значит, пятьдесят завтраков,— моих. У вашего отца, как видите, тоже не нашлось нравственной брезгливости, и, как видите, он тоже не стеснялся. И вы сегодня не стесняетесь: собираетесь меня убить и пришли доказывать, что у меня нет чести. А ведь вы, именно вы, отнимали у меня такой пустяк, как ученический завтрак.

Полковник встал, начал застегивать шинель.

— Да! Нам говорить не о чем. Я вам — о чести, а вы мне — о завтраках. О России говорить и совсем уж не стоит.

— Россия! Как вы не понимаете? Россия уже сотни лет хочет вас уничтожить, а сейчас уничтожит. Она уже сказала вам: «Пошли вон!»—Алеша тоже поднялся у окна.

Троицкий застегнул шинель и почему-то опять опустился на табуретку. Алеша продолжал:

— А о чести, поверьте, я больше вашего знаю. Я был в боях, был ранен, контужен. Я знаю, что такое честь, господин Троицкий. Честь — это как здоровье, ее нельзя придумать и притянуть к себе на канате, как это вы делаете. Кто с народом, кто любит людей, кто борется за народное счастье, у того всегда будет и честь. Решение вопроса чрезвычайно простое.

Полковник захохотал:

— Согласен с такой формулой. Так народ-то с кем? Куда вы убежали с вашей Красной Гвардией, товарищ большевик? Разве не народ выбросил вас из города? И выбросит из России!

Но Алеша уже не слушал. Полковник еще что-то говорил, а Алеша засмотрелся на чудесную картину. Про-

исходила смена часового. Подошли пять человек с винтовками, шли они попарно, а разводящий — слева, как полагается. Часовой странно затоптался на месте, как будто начал танцевать. Алеша вдруг понял, почему он танцует. Пришедший караул был не в шинелях, а в пиджаках, подпоясанных ремнями, только разводящий был в шинели, а когда он немного повернул лицо, Алеша узнал Степана Колдунова. Караул подошел к часовому и остановился. Степан что-то говорил, часовой стоял неподвижно и слушал. Алеша повернул лицо к Троицкому, перебил его:

— Если вы хотите полюбоваться единством русского народа, идите сюда...

Полковник подскочил к окну и замер, видно — он не сразу понял, что происходит. Часовой сделал шаг влево, и на его место стал красногвардеец с винтовкой в правой руке. Троицкий бросился к дверям, но было уже поздно. Что-то зашумело у входа в гауптвахту, Троицкий отскочил к старому месту и вынул револьвер. Дверь широко распахнулась, Степан закричал:

— Алеша, ты?

Алеша схватил руку Троицкого, револьвер выстрелил в потолок. Троицкий с силой оттолкнул Алешу к окну, но в руках Степана два раза оглушительно загремело, два огненных пальца ударили в грудь полковника. Его рука с наганом тяжело взметнулась вверх, он свалился у ног Алеши.

В дверь вломилось несколько человек. Степан шумно вздохнул:

— Охх!

Потом он закричал, как кричал всегда:

— Все в порядке! Алешенька, милый ты мой! Красавец ты мой, Алешка! Да мы ж думали...

Он облапил Алешу, сжимал его, хрипел:

— Ох, и молодец же ты!

— Да ты скажи, как там?

— Все кончено! Все в порядке! Расскажу, постой! Дай-ка я гляну, что с этим...

Он взял лампочку в руки, наклонился. Несколько человек наклонилось рядом с ним:

— Готов... господин полковник! А жаль... с оружием в руках помер! Не стоит он того.

Так впервые за несколько сот лет наш город принял участие в исторических событиях. События только начались. Через две недели отряд Красной Гвардии был вызван в губернию, там началось формирование большей части.

Провожали Красную Гвардию отцы, матери, жены и дочери. И Семен Максимович устроил у себя в хате маленькие проводы. И на проводах сказал сыну:

— Ну, Алексей, значит, все как нужно. Я думаю, учить тебя нечего.

Василиса Петровна, только когда сын уходил уже на станцию, положила руки на его плечи:

— Ну, счастливо тебе, Алешенька. Не один идешь, с народом. А ты не беспокойся: мы поплачем, да и утрем слезы,— обратно ждть будем.

К отходу поезда большое волнение прошло по Костроме. Девушки много пережили в этот день, а все-таки на станции и шутили и вспоминали постановку «Ревизора» неделю назад. У Степана не закрывался рот от болтовни и разных мудрых высказываний. И теперь главным объектом его педагогической заботы был капитан. А капитану было некогда: вместе с отрядом отправлялись в губернию две трехдюймовки.

Поезд тронулся. На перроне кричали и размахивали руками и шапками, и улыбалась Нина. Нина — это счастье, счастье оставалось на Костроме, но и поезд уходил в те стороны, где разгоралась борьба тоже за счастье.





НАСТОЯЩИЙ ХАРАКТЕР

*ЛИТЕРАТУРНЫЙ
СЦЕНАРИЙ*





ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ф а б з а у ч н и к и:

В а с я К у л е ш о в — 16 лет. Довольно высокий, худощавый, блондин, очень спокоен, но есть склонность к улыбке. У него должны быть хорошие волосы.

К о л я П о с т н и к о в — 17 лет. Черный, хорош собой, строен и тонок. Одевается аккуратнее других.

В о л о д я Б о р о в о к — 16 лет. Неактивен, вял, немного неудачник, есть склонность к упадническим настроениям.

А л е ш а З а б о л о т н ы й — 17 лет. Невысок ростом, коренаст. Человек страстный.

Т е р е ш к а О р л о в — 16 лет. Неаккуратен, неряшливо одет. Но у него обязательно должно быть ироническое лицо с богатой игрой. Весельчак.

К а т я Д у б р о в а — 16 лет. Умница, спокойная, душевная девушка. Хороша собой.

Н и н а — экспансивна, есть наклонность к небольшому детскому кокетству.

Ш у р а — рассудительна, недоверчива, но в то же время очень добра и впечатлительна.

Н и к о л а й И г н а т ь е в и ч З а г о р с к и й — главный инженер, еще не старый, энергичный человек.

И в а н П а в л о в и ч — мастер, добродушный человек, но любит казаться сердитым.

К о н с т а н т и н С о к о л о в — инструктор и секретарь комсомольской организации, добрый, спокойный, может быть, даже слишком.

У ч и т е л ь н и ц а — молодая, внимательная.



1. Вход в большой завод, расположенный недалеко от рабочего поселка. Где-то близко протекает река. Местность в общем провинциальная. Ворота. Сетчатая вывеска:

Завод № 89.

Конец зимы.

2. Отдельное здание ФЗУ. Слева виден тот же вход в завод, и ясно, что ФЗУ помещается за стенами завода.

Перед зданием — площадка с полисадником и стоят садовые скамейки.

3. Вывеска ФЗУ. Вход. К двери направляется девушка лет 16 — Катя Дуброва. В руках книги, сверток чертежей. Она взялась за ручку двери. Слышен молодой, звонкий голос:

— Катя, подожди!

Катя оглянулась. Бегом к ней спешит Коля Постников. Он в ушастой шапке.

Коля. Ты говори решительно! Прямо говори!

Она отвечает ему с трехступенного крылечка, опираясь на перила:

Катя. А если я нерешительна? Тогда что?

Коля. Как это нерешительна? Ты с кем поедешь?

Катя. А может, я поеду с Васей...

Коля. С Васькой? Хо! С Васькой она поедет! Терешка, ты слышишь?

Веселый, иронический голос:

— С Васей? Убиться можно!

Терешка Орлов подходит с другой стороны. Походка вразвалку, кепка на одно ухо. Он ехидно ухмыляется.

4. Часть коридора в школьном этаже ФЗУ. Звонок на урок. Последние фабзаучники пробегают к классным дверям. В а с я К у л е ш о в идет не спеша. На него налетает К а т я.

К а т я. Вася! Давай на одной лодке запишемся!

Вася молчит, смотрит на Катю со спокойным удивлением.

К а т я. Чего же ты молчишь? Может, ты не хочешь ехать?

В а с я. Это еще не скоро...

К а т я. Уже все записываются. Понимаешь?

Пробегают Т е р е ш к а, оглянулся, кричит:

Т е р е ш к а. Уговорила, уговорила, честное слово, уговорила!

Катя обратила к Терешке сердитое лицо. Терешка показал язык, скрылся в классе. Вася наблюдает эту сцену с застенчивой улыбкой. Катя смотрит на него с гневом:

К а т я. Ну?!

В а с я. Это еще через два месяца...

К а т я. Какой ты... ужас!

5. Классная парта. Сидят рядом В о л о д я Б о р о в о к и В а с я.

В о л о д я. Ты с Катей едешь?

Подперев голову рукой, Вася с веселой внимательностью смотрит на Володю:

В а с я. Может быть, и с Катей.

Володя оглядывается предусмотрительно.

В о л о д я. Лучше не соглашайся. У Кольки, знаешь, какой характер... Скандал... Она нарочно, она нарочно, чтоб только его дразнить...

В а с я. Это... это ничего...

6. Класс. Учительница Лидия Васильевна заканчивает:

Лидия Васильевна. Экскурсия по реке — замечательный отдых. Только готовиться нужно заранее. Завком поможет. Но... при одном условии: если ваш цех выполнит план.

К о л я. Все равно, нам отпуск полагается.

Все к нему оглянулись. Лицо у Коли задорно вызывающее.

Лидия Васильевна. Я говорю, Коля, не об отпуске, а об экскурсии на лодках.

Шура. А вы с нами поедете, Лидия Васильевна?

Лидия Васильевна. Если выполните план.

Коля. Опять план!

Вася. Лидия Васильевна, собаку с собой можно взять?

Общий смех. Улыбается и Лидия Васильевна.

Лидия Васильевна. Я думаю, можно...

7. Класс. Перемена. Вокруг Кати собралась группа. Вася один, сидит за партой, просматривает книгу.

Терешка. Катя! Васька с тобой не поедет. Ты знаешь, с кем он поедет?

Катя. С кем?

Терешка. Он поедет с Шариком.

Все смеются, оборачиваются к Васе. Он улыбается.

Терешка. Только в этом нет ничего смешного. Если Шарик умеет празить...

Смех усиливается. Нина подходит к Васе.

Нина. Вася, Шарик умеет править?

Вася. Нет, он еще не умеет.

Терешка. Какая глупая собака!

8. Большой с верхним светом цех ФЗУ. С левой стороны стоят станки: несколько токарных, фрезерный, малые сверлильные. Ближе к зрителю большой пресс, на котором работает Нина. С правой стороны узкими концами к стене поставлены верстаки слесарей и столики сборщиков. За ближайшим столом Вася, Володя и Коля. Их работа состоит в том, что они из отдельных деталей собирают выключатели для прибора № 15. На узком далеком простенке цеха — портрет И. В. Сталина.

Володя. Разве это работа?

Коля. Я все равно поеду в Арктику.

Володя. Я хочу быть механиком, а здесь какая-то сборка...

Подходит Иван Павлович. Посмотрел. Пересчитал готовые выключатели.

Иван Павлович. Что? Сотня выключателей? На всех? Вот я начну хвосты крутить с такой работой!

Володя. Сотня и то хорошо! Это буза, а не работа.

Иван Павлович. Это у тебя такая буза? Для Красной Армии это у тебя буза? Наш цех должен давать в день тысячу выключателей. Тысячу.

Коля. Да знаем, слышали. Издохнет наш цех, а никогда не будет давать тысячу.

Володя. А я хочу быть механиком, а не то что...

Иван Павлович. У тебя до механика борода еще не выросла. Норма на каждого сто, извольте норму выполнить!

Отошел сердитый.

Коля. Для Красной Армии! Красная Армия это—эх! Это что, какие-то паршивые выключатели?

Вася. Мне они тоже не нравятся, эти выключатели, а только для Красной Армии... очень, говорят, нужна эта машина № 15.

Коля. Ну, заговорил! Тебе все равно ничего не нужно, кроме собаки.

9. Дорога от завода к рабочему поселку. Она проходит по берегу реки, еще покрытой вздувшимся льдом. Вася быстро идет по дороге. Навстречу ему мчится небольшая собака. Она с разгону взбрасывает на васины колени передние лапы. А Васю уже догнал Коля.

Коля. Васька! Запомни: на лодке с Катей поеду я.

Вася. Пожалуйста.

Коля. И лучше не лезь. Понял?

Вася. Но ведь... она с тобой не хочет ехать.

Коля. Это не твое дело.

Вася. Почему? Мне тоже интересно.

Коля. Новость! Кулешову Васе интересно! Куда ты годишься, дрессировщик! Ну и дружи с твоим Шариком.

Догнал их Терешка.

Вася. Шарик? Шарик что ж? Хороший товарищ!

Коля в состоянии сарказма.

Коля. Вот тоже человек! Товарищ у него — Шарик! Терешка. А ну, покажи, какой он товарищ.

Коля. Ничего он не покажет.

Вася. Я могу доказать. Сейчас?

Коля. Пожалуйста, сейчас.

Вася показывает Шарiku на Колю:

Вася. Шарик, видишь — враг!!!

Шарик бросился на Колю. Коля испуганно отскочил

в сторону. Шарик за ним. Коля в страхе и в гнѣвѣ ударил собаку ногой. Шарик озлобился, ощерил зубы. Вася позвал:

В а с я. Шарик, назад!

Шарик послушно, пересиливая гнев, отходит к Васе. Терешка хохочет.

Т е р е ш к а. Ох, ты испугался, Колька, прямо замечательно!

Коля, гневный, подошел к Васе.

К о л я. Как ты смеешь говорить, что я враг?

В а с я. Это я к примеру.

К о л я. А если я тебе к примеру морду набью?

Коля схватил Васю за воротник, но в этот момент Шарик с новым остервенением уцепился за пиджак Коли. Коля обернулся, отбиваясь. Шарик отскочил в сторону, но находится в полной боевой готовности, Терешка хохочет.

Т е р е ш к а. Колька! Давай все-таки признаем, что Шарик — хороший товарищ.

В а с я. Пиджак у тебя цел?

К о л я. Отойди!

Т е р е ш к а. Пальтецо не пострадало.

К о л я. Интересно, что бы ты без собаки сделал?

В а с я. Давай попробуем.

К о л я. Буду я с тобой пробовать...

Пренебрежительно ушел.

10. В а с я дома читает учебник. М а т ь накрывает на стол. Входит о т е ц. Шарик сидит посреди комнаты.

О т е ц. Весна начинается, люблю. Ты чего это такой серьезный?

В а с я. У меня один вопрос.

О т е ц. Ко мне?

В а с я. К тебе.

О т е ц. Ладно.

В а с я. Только секретный.

М а т ь. Это что ж, от меня секреты?

В а с я. Заводское дело.

М а т ь. Пускай... (вышла).

О т е ц. Говори.

В а с я. № 15 — это важный аппарат?

О т е ц. Очень важный. Для тяжелой артиллерии.

В а с я. А для чего он нужен?

Отец. Э, брат, это действительно секрет.

Вася. Не можешь сказать?

Отец. Сказать могу, только уж ты, голубок, выйди и Шарика с собой уведи.

Вася. Такой секрет?

Отец. Такой или не такой, а болтать нечего. Да тебе для чего?

Вася. Мы делаем выключатель для № 15.

Отец. Вы делаете... Ничего вы, такие-сякие, не делаете. Нужно тысячу, а вы даете шестьсот. Просто срыгаете! Чортовы молокососы!

Вася. А почему нам дали, если так важно?

Отец. А кому дать? В заводских цехах — во! (показывает на горло). Да и неувязки есть... с шестеренками... А вас сколько, не можете сделать несчастную тысячу.

Вася. Так он вредный.

Отец. Кто вредный?

Вася. Выключатель.

Отец. Шарик, видел когда-нибудь чудаков? Выключатель у него вредный!

Шарик смотрит на Васю неодобрительно. Отец смеется.

Отец. Вот он понимает, что у вас руки не туда стоят.

11. Берег реки. Ледоход. Лед идет сплошной массой, по кое-где уже отбились отдельные льдины. Группа ребят стоит на высоком берегу, любитесь ледоходом. Коля и Катя отдельно.

Коля. Катя, пойдем завтра за подснежниками.

Катя. Что ты? Рабочий день.

Коля. Что там... один день.

Катя. Попадет.

Коля. Бояться! Ничего не попадет — больны были и все.

Катя. Нет.

Коля. Ты ничего... со мной не хочешь. И на лодке с этим... собачником.

Катя. А может, и не с ним вовсе.

Коля. Со мной?

Катя. Я еще не знаю.

Коля. Вот он идет... мой соперник! И сейчас с собакой.

12. Мальчики бросают на лед камни.

Алеша. Пока мой дальше всех.

Терешка. Камень — это легко! А вот палку!

Он бросил палочку. За ним другие.

Вася. Дай-ка и я.

Бросил. Видно, что его палка полетела очень далеко. Она лежит на льдине, и ее хорошо видно.

13. В тот же момент Шарик стремительно бросился на лед за палкой. Среди ребят возгласы:

— Шарик, Шарик, смотри!

— Пошел, пошел...

— А симпатичная собачонка!

Вася наблюдает с свободной симпатией. Коля, напротив, смотрит, прищурившись, поглядывает на Катю. Катя вскрикнула:

Катя. Ой.

Шарик в этот момент перепрыгнул с разгону через узенький проток. Перепрыгнул через другой, схватил палку и бросился назад, но его льдину отнесло уже довольно далеко. У Кати испуганное выражение лица. Озбочены и другие девочки.

Шура. Как же теперь?

Нина. Он погибнет, честное слово, он погибнет!

14. Мальчики смотрят напряженными взглядами. Лицо Васи серьезно-спокойное.

Катя. Вася, как же ему помочь?

Вася молчит. Льдина, на которой находится Шарик, все больше и больше отходит на свободную воду.

Катя. Что это за дрессировка — погубить такую собаку!

Вася молчит. Все на него смотрят.

Катя. Чего же ты молчишь?

Вася молчит.

Катя. Что-нибудь нужно делать...

Вася. Ничего не нужно... Он выберется.

Володя. Из такого положения?

Вася. Из такого положения.

Володя. Вон там — течение и льдину ломает!

Алеша (страстно). Твоя собака — спасай, я за ней не полезу.

Н и н а. Она плачет, слышите?

Т е р е ш к а. И палку бросила, пропала твоя дрессировка.

К а т я. Что это такое?!

Ш у р а начинает плакать.

К о л я. Василий, ты не пойдешь?

В а с я. Нет.

К о л я. Хорошо. Тогда я пойду.

Он поднял длинную палку и направился к воде.

Т е р е ш к а. Куда тебя несет?

А л е ш а. Брось, Коля, не валяй дурака!

Коля не обращает внимания на возгласы. Попробовал крепость льда у берега и смело пошел по еще сплошному льду... Кое-где перепрыгнул сомнительное место.

К а т я. Рисковать жизнью из-за собаки, да?

А л е ш а. Молчи!

Ш у р а. Я не могу смотреть.

К а т я (*резко*). Почему ты не пошел за своей собакой?

Вася не ответил, подошел ближе к берегу.

Коля идет уже довольно далеко. Подошел к краю сплошного льда, пробует притянуть к себе при помощи палки ту льдину, на которой находится Шарик. Шарик зарычал, потом грозно залаял на Колю.

К а т я. Какая мерзкая собачонка!

Коле удалось приблизить к себе льдину. Шарик попытлся от него, бросился к противоположному краю льдины, вдруг возвратился, схватил палку и прыгнул в довольно широкий проток.

Т е р е ш к а (*вразумительно*). Собачий характер!

Ш у р а. Плывет, плывет, смотрите!

К а т я. Да отстань ты! Ты о человеке думай!

Коля двинулся в обратный путь. Подумал над трудным местом, потом прыгнул, удачно попал на край сплошного льда. Все следят за ним. Шарик выскочил на берег и бросился к Васе с палкой в зубах. Вася молча гладит собаку. Терешка смотрит на собаку с восхищением, Катя со злобой. Коля быстро идет по льду.

Ш у р а. Благополучно!

Н и н а. Прямо, как камень с души!

Коля выпрыгнул на берег. Все закричали ура и бросились к нему. Вася стоит отдельно. Вокруг Коли галдеж и отдельные возгласы:

- Молодец!
- Зачем ты полез?
- Если хозяин струсил?
- Страшно было?

Вся группа шумно проходит мимо Васи, не обращая на него внимания. Одна Катя бросила на него презрительный взгляд. Но Алеша отстал от других, стал боком к Васе, заложив руки в карманы, спрашивает, глядя на облака.

А л е ш а. Почему ты не пошел за собакой?

В а с я. А зачем? Зачем Колька полез?

А л е ш а. Он хотел помочь твоему Шарик.

В а с я. Оживленно-добродушно обернулся к Алеше.

В а с я. Алеша, помогает тот, кто сильнее.

А л е ш а. Кто сильнее?

В а с я. Шарик легче? Легче Кольки?

А л е ш а. Легче.

В а с я. Ловчее?

А л е ш а. Ловчее.

В а с я. Плавать умеет?

А л е ш а. Ну... правильно.

В а с я. Смелее?

А л е ш а. Допустим...

В а с я. И умнее.

Алеша чуть-чуть рассердился.

А л е ш а. Как это так можно говорить — умнее?

В а с я. А ты на глаза посмотри!

Они подняли голову Шарика. Шарик от неожиданности насторожился.

А л е ш а (*рассматривая его морду*). Ха! А действительно, у него... того... умные глаза!

15. Коля и Катя отстали от других. Они идут по берегу реки и посматривают друг на друга.

К а т я. Ты заходи за мной...

16. Остальные идут по берегу.

В о л о д я. Что дороже, жизнь или собака?

Н и н а. И собака гадкая — неблагодарная!

Т е р е ш к а. Вы ничего не понимаете: здесь другая формула.

Н и н а. Какая формула?

Терешка. Шарик плюс Катя.

Все засмеялись, повернулись назад. Видят: Катя и Коля идут рядом. Слышен голос Терешки:

— И еще один плюс: я знаю то место, там через всю реку по колено.

17. Цех. За передним столом работают двое: Вася и Володя. Иван Павлович стоит перед ними строгий.

Иван Павлович. Где Николай?

Молчание.

Иван Павлович. Где Николай, спрашиваю?

Володя. Да не знаем. Может, заболел.

Иван Павлович. А Катя тоже заболела?

Голос Терешки издали: Вот я — доктор: у Кати испуг после вчерашней собаки.

Иван Павлович. Константин, поди-ка сюда.

Подходит Константин Соколов.

Иван Павлович. Это что, комсомольцы? Комсомольцы, да? Такая дисциплина? Постникова нет и Дубровой нет.

Константин. Я и сам думаю.

Иван Павлович. Думаешь! Вам наплевать, что из-за такого пустяка прорыв! Выключатель! Жестянка паршивая, и то нельзя вам доверить. Сколько сегодня дадите? Четыреста? Вот я тебя в партийный комитет вытасу.

Иван Павлович отошел сердитый. Константин стоит расстроенный.

Константин. И так стыдно, а тут еще гуляют...

Алеша. Нашли причину: два человека не вышло! Поважнее есть причины.

Константин. Какие причины?

Алеша. Этот выключатель — дрянь. Такой пустяк, а сколько над ним сидишь!

Володя. Это он верно!

Алеша. Сидишь, сидишь, завинчиваешь, завинчиваешь, а смотришь — один сделал.

Вася встал за столом, задумчиво вертит в руках один выключатель.

Константин. А ты придумай другую конструкцию.

Алеша. Я придумую! А конструкторское бюро для чего? Ты нажимать должен.

Терешка. Он такой — нажмет!

18. В кабинете главного инженера Загорского. Перед столом стоит Иван Павлович.

Загорский. Короче... Сколько сегодня?

Иван Павлович. Четыреста десять.

Загорский. Чорт... Это же, наконец... Такой завод в руках у мальчишек! Почему?

Иван Павлович. Двое не вышло.

Загорский. Почему?

Иван Павлович. Не знаю еще.

Загорский. Почему вы не знаете?

Иван Павлович. Да не успел еще. Завтра.

Загорский. Да все равно: а если бы они вышли — шестьсот! Что это такое? Нам нужно тысячу, понимаете, тысячу!

Иван Павлович. На конструкцию жалуются.

Загорский. Конструкция! Выключатель! Редкая машина! В каждой квартире десяток...

Иван Павлович. Николай Игнатьевич. Нельзя же равнять: тут место плоское.

Загорский. Вот еще... проблема (звонит).

Заглянул в кабинет секретаря.

Секретарь. Звонили?

Загорский. Пригласите срочно заведующего конструкторским бюро.

19. Зав. конструкторским бюро стоит перед столом главного инженера.

Загорский. Ничего не сделали?

Семен Петрович. Стыдно сказать, ничего не придумали.

Загорский. Надо упростить технологический процесс. Вот, нечистая сила: стыдно даже говорить, технологический процесс в выключателе.

Семен Петрович. А вот посмотрите. У вас есть?

Иван Павлович достал из кармана выключатель.

Иван Павлович. Есть.

Загорский взял.

Загорский. Чушь какая! Эти... упорчики ввинчиваются?

Семен Петрович. Ввинчиваются.

Загорский. А нельзя заклепывать?

Семен Петрович. Пробовали. Хуже получается, и времени все равно много.

Загорский. Знать ничего не хочу. Извольте думать. Неделю срока.

20. Вася с Шариком медленно идут по опушке леса. Далеко видны трубы завода. В руках у Васи выключатель, он рассматривает его, иногда останавливается, соображает.

Шарик вдруг, зарывав, бросился вперед.

Вася. Шарик, назад!

Шарик недовольно возвращается. Из лесу выходят Коля и Катя. В руках у них большие букеты подснежников. Катя первая увидела Васю, вскрикнула:

Катя. Вася, здравствуй!

Она подошла ближе, несколько смущенная. Вася отвечает:

Вася. Здравствуй.

Катя. Как там на заводе? Нас ругали?

Вася. Да, Иван Павлович и Костя недовольны. И мы тоже.

Коля. Новости! И мы! А вы чем недовольны? Вы — тоже начальство?

Вася. Сегодня сдали четыреста десять.

Катя. Ох! Коля, это мы виноваты.

Коля. А если бы мы заболели?

Вася молчит.

Коля. Говори, если бы мы заболели?

Вася. Это было бы... тоже плохо.

Коля. Какое важное горе! Выключатель!

Вася. Да... но ведь это для Красной Армии!

Коля. Да иди ты к... Я виноват перед Красной Армией, да?

Вася. Да.

Коля. Перед всей страной, да?

Вася. Да.

Коля. Политик какой. А газет, наверное, не читаешь, с собакой все возишься.

Вася рассматривает Колю серьезным, спокойным взглядом.

Катя. Попадет нам за это, правда?

Вася. Попадет.

Коля. За что? Я могу заболеть? Могу? А, может, я завтра двойную норму сделаю. Подумаешь!

Он сердито рванулся вперед. Цветы ему мешают. Он рассердился, взмахнул рукой, цветы полетели на землю. Шарик бросился к цветам, остановился.

21. У Васи дома. Отец и Вася за столом. Налитые стаканы чаю. Вечер. В руках у Васи пластинка выключателя.

Вася. Эти дырочки нужно просверлить, потом резьбу.
Пластинка крупным планом.

Вася. Упорчики тоже отрезать, нарезать резьбу, сколько мороки!

Отец. Да.

Вася. А в сборке тоже морока: завинчиваешь, завинчиваешь, а они не завинчиваются.

Отец. Конечно, железо. Если бы сталь. Плохая конструкция.

Вася. Вот это и все. И ничего нельзя придумать.

Пластинка крупным планом, то в отдельных деталях, то в процессе сборки, то готовая с контактной стрелкой.

Отец. Скучно, это верно. А конструкторское бюро завалено более важным делом. И что же ты думаешь?

Вася. Я думаю, думаю и ничего не придумую.

Отец. Да тут пособить трудно. Наверное, люди думали уже.

Вася. Значит, ничего нельзя придумать?

Отец. Пока не придумали, всегда кажется, что ничего нельзя придумать. Была у нас лекция в клубе. Ученый — Соколинский рассказывал: было время, не знали люди, что такое колесо. Понятия не имели. Понимаешь, нет колеса, ни тебе на земле, ни тебе в голове. Вот такой штуки (*покатил по столу крышку от сахарницы*). Тысячи лет так жили. И летом на санях ездили, чудачки такие. А потом кто-то взял и придумал.

Вася (*смотрит на выключатель*). Если колеса нет, так его трудно придумать?

Отец. Трудно.

Вася. А если колесо есть, так легко.

Отец. Тогда всякий дурак может.

22. Комсомольское собрание в классной комнате.

Коля. И нечего ко мне приставать. Вот записка.

Можете у отца на словах спросить, если подписи не верите.

К о с т я. А где Катя?

Н и н а. Катя сейчас придет.

А л е ш а. А какие причины у Кати?

К о л я. Откуда я знаю?

К о с т я. Если болен, что ж... мы комсомольцу должны верить.

Г о л о с. Правильно.

В о л о д я. Если никому не верить...

В а с я. Я хочу спросить у Николая.

К о с т я. Пожалуйста.

В а с я. Отец написал, что ты болен?

К о л я. Написал.

В а с я. И ты после этого уважаешь своего отца?

К о л я (*гневно*). Какой у нас вопрос? О моем отце? Какое твоё дело!

А л е ш а. Вася, ты не веришь Николаю?

В а с я. Не верю.

А л е ш а. Какие у тебя основания?

В а с я. Коля знает, какие основания.

А л е ш а. Ты знаешь, Коля?

К о л я. Знаю, какие основания. Он на меня после собаки, когда на льду было, чортом смотрит.

В о л о д я. Здорово! Из-за собаки!

Н и н а. И я тоже скажу. Мы Колю Постникова знаем. И он храбрый и смелый! Он тогда на лед героически, прямо героически! А ты говоришь — не верю!

К о с т я. Кулешов, какие у тебя основания?

В а с я. Вчера я видел Колю и Катю в лесу. Они были с подснежниками.

К о л я (*кричит*). Ты видел?

В а с я. Да.

К о л я. А еще кто видел?

В а с я. Ну... со мной был Шарик.

С м е х.

К о л я. Это тебе или Шарик приснилось.

К а т я появилась в дверях.

К о с т я. Он врёт?

К о л я. Врет.

В а с я. Катя правду скажет.

К о л я. Ты слышишь, Катя? Васька видел нас с тобой

в лесу, и Шарик видел. Таким свидетелям можно морду бить.

Володя. Правильно!

Голос. И еще мало!

Терешка. Подождите с мордами!

Костя. Товарищи!

Алеша. Да постойте. Пускай Катя скажет.

Катя молчит.

Алеша. Почему ты молчишь?

Катя (*с трудом говорит*). Я уже говорила мастеру. Я была нездорова.

Алеша. И в лесу не была?

Катя. Нет.

Алеша. И тебя Вася не видел?

Катя (*склонив голову*). Нет.

Терешка. И Шарик не видел?

Смех. Катя свирепо глянула на Терешку.

Костя. Товарищи, нельзя же так!

Тишина.

Костя. Вася! Что ты теперь скажешь?

Все с холодным, тем не менее напряженным вниманием смотрят на Васю. Коля глядит с презрительной ударной улыбкой. Катя подавлена. Вася оглядел всех серьезным, удивленным взглядом, задержался на Кате. Она отвернулась.

Крик. Отвечай же!

Вася. Я... я ничего не видел.

Короткая тишина. Встревоженный, быстрый взгляд Кати. У других удивление, смешанное с гневом. Потом общий крик, в котором трудно что-нибудь разобрать. Слышны слова: Клевета... Нарочно... Выкинуть... Собака...

Костя поднял руку, восстанавливая тишину.

23. Костя. Все выясним. Я с ним поговорю.

24. Весна. Река полная и чистая. Заводской яхт-клуб. Маленькая пристань. Лодки. Несколько плотников работают по починке лодок. Подальше на берегу кое-где группы гуляющих. На помосте у лодок группа: Лидия Васильевна, Катя, Нина, Шура.

Шура. «Страна моя» — это наша лодка с Терешкой.

Лидия Васильевна. Катя, а ваша где лодка?

Катя. Здесь нет моей лодки.

Нина. Катя, и зачем ты к сердцу все принимаешь? Мало ли какие сплетни? Вот его выбросят из комсомола.

Катя быстро повернулась и ушла по ступеням вверх.

Лидия Васильевна. Что с нею происходит?

Нина. Обыкновенная история — влюблена!

Лидия Васильевна. В кого?

Нина. В Колю Постникова.

Шура. Нет!

Нина. Влюблена!

Шура. А я тебе говорю — нет!

Нина. Влюблена, все знают.

Лидия Васильевна. Хорошо, влюблена, так почему такая печальная?

Нина. Вы думаете, это легко — влюбиться? А, кроме того, он в Арктику уезжает.

Лидия Васильевна. Кто уезжает в Арктику?

Нина. Коля. Он давно уже собирается в Арктику. И он в кружке в арктическом в клубе. И поедут. Летом поедут в Арктику.

Шура. И не в Арктику, а в Мурманск.

Нина. Все равно — Арктика.

Шура. Просто город!

Нина. Ты, Шура, всегда наоборот.

По ступенькам спускаются Коля и Володя.

Нина. Вот она говорит, что Мурманск это не Арктика. Скажи ей!

Коля. Как же не Арктика, если наш арктический кружок туда едет.

Шура. Ты еще скажешь: Архангельск!

Лидия Васильевна. Вы, как малые дети. Из-за чего вы?

Володя. А если она неправильно. Колька в арктическом кружке, а она говорит — Архангельск. И чего она вмешивается?

Шура. Скажите пожалуйста! Завоевали себе Арктику, уже и вмешаться нельзя!

Коля. Вы не видели Катю?

Нина. Она... она туда пошла.

Коля. В поселок?

Нина. Туда, в поселок.

К о л я. Мне очень нужно с ней поговорить.

Н и н а. По делу, конечно?

К о л я. Конечно, по делу.

Коля побежал наверх.

Н и н а. Вот я ему завидую. Он такой! Он обязательно будет героем!

Ш у р а. Это еще неизвестно.

Н и н а. Как же, Шура, неизвестно? У него настоящий большевистский характер!

Ш у р а. Только у него большевистский характер? Да?

Н и н а. А у кого еще? Скажите, Лидия Васильевна.

Л и д и я В а с и л ь е в н а. Я вам расскажу кое-что...

25. По дороге в поселок. Коля догоняет Катю. Издали крикнул: «Катя!» Она оглянулась, но идет вперед прежним шагом, немного склонив голову.

Он догнал ее.

К о л я. Ты куда?

К а т я. Мне нужно.

К о л я. Ты к Ваське?

К а т я. Да.

К о л я. Зачем?

К а т я. Нужно мне.

К о л я. Нет, ты скажи. Ты решила, с кем ты едешь в экскурсию?

К а т я. Я ни с кем не еду.

К о л я. Ага. Теперь я понимаю. Ты к нему не ходи.

Он стал на дороге.

К а т я. Уйди с дороги!

К о л я. Не уйду!

Она отступила назад, посмотрела на него гневно.

К а т я. Коля, ты не сильнее меня. Последний разговор: уйди!

Она пошла вперед. Он сделал попытку схватить ее за руку. Сильным движением она отбросила его в сторону. Он пошатнулся, чуть не упал, бросился, было, к ней. Она оглянулась, решительно:

К а т я. Я с тобой не поеду.

Он остановился, Катя ушла вперед. Он смотрит ей вслед.

К о л я. Ладно!

26. Комната в доме В а с и. Он сидит на диване, задумался. М а т ь на столе раскладывает чистое белье.

М а т ь. Сегодня тепло, солнышко, почему ты гулять не пошел?

В а с я. Мне не хочется, мама.

М а т ь. У тебя неприятности, я знаю.

Молчание.

М а т ь. Говорят, ты какую-то неправду на товарищей сказал? А потом будто бы отказался.

Он достал из кармана выключатель, прищуренными глазами посмотрел на него.

В а с я. Мама, а ты веришь, что я сказал неправду?

М а т ь. Я... не хочу верить...

В этот момент стукнула дверь, вошла К а т я. Она чувствует себя очень неловко: одной рукой притворяет дверь, неотрывно глядит на Васю, потом такой же взгляд перевела на мать. Мать удивленно приподымается, потом говорит приветливо:

М а т ь. Вот и гость — Катюша. Иди, иди, чего ты так несмело?

К а т я. Я на минутку, мне вот с ним поговорить.

М а т ь. Поговорите, что ж... Секретное, что ли?

В а с я. Нет, мама, при тебе не секретное.

М а т ь. Садись, Катя.

Катя села. Склонила голову, задумалась. Потом встряхнула стриженными волосами, сказала решительно:

К а т я. Все равно. Я расскажу, как было дело. Я вам расскажу, хорошо, а он пусть слушает.

М а т ь. Выходит, тебе не с ним нужно, а со мной?

К а т я. С вами, а он пусть слушает.

27. На холме, над рекой, сидит группа фабзаучников.

Т е р е ш к а. Если прямо говорить, ну, знаете, так... в глаза: Вася сказал правду, за подснежниками они ходили. Ведь это же, как апельсин!

Все смеются.

Г о л о с. Ну, а как же, конечно, ходили.

Т е р е ш к а. Что ж выходит? Я Василию верю. А ты, Алеша?

А л е ш а. И я верю.

Т е р е ш к а. А ты?

Голоса. Да все верим.

Терешка. Получается ерунда. А почему? Потому, что Колька один не верит.

Алеша (*сердито*). Да ты не путай! Как это Колька не верит, когда он сам ходил за... за этими...

Терешка (*нежно*). За подснежниками.

Алеша. За подснежниками! Так как же он не верит?

Терешка (*дурашливо*). Ах, да, он сам ходил?

Алеша. Да чего ты представляешься?

Терешка. Стой, стой! Сейчас начинаю соображать... Ага! Значит, Колька тоже верит?

Алеша. Кому?

Терешка. Ваське?

Алеша. Знаешь что? Я тебя сейчас стукну!

Терешка. Уже понял. Еще один маленький вопросик. Ты только не кипятись. Значит... Катя тоже верит?

Алеша. Ну, а как же? Верит!

Терешка. Вот смотри ты: все верят, а почему же так?

Алеша. Как?

Терешка. У меня в голове опять все путается.

Алеша. Да брось ты! Почему он отказался? Почему он сказал: ничего не видел?

Голоса. Испугался, конечно! Сдрейфил!

Алеша. Трус. Обыкновенный трус. Мы его все равно выкинем.

Терешка. Васька трус? Нет. Это он... это он нарочно так сказал.

28. Комната в доме Васи.

Катя. Почему он так сделал?

Мать. Вот и я думаю: почему?

Вася. Я хотел, чтобы Катя сама всю правду сказала. Она все равно пойдет к Косте и скажет.

Катя. Я? Скажу?

Вася. А как же? Разве ты еще не сказала?

Катя (*тихо*). Скажу.

Вася. Вот видишь, мама!

Мать. Когда же ты все это успел там придумать?

Вася. Я ничего не придумывал. Это же не исключатель. Мне просто... я хотел, чтобы Кате было лучше. И всем.

К а т я (поднялась со стула). Ну вот... Ну вот... Какой он... (ей хочется плакать).

М а т ь. Поплачь, поплачь, девочка. Иди сюда. Васька, убирайся отсюда!

В а с я. Почему?

М а т ь. Потому что у нас секреты! Не понимает такого пустяка, а еще на военном заводе!

29. Класс. Кончился урок. У ч и т е л ь н и ц а говорит:

— В нашей литературе есть много интересных людей и характеров. Есть у кого учиться. Прочитайте «Чапаева», а потом поговорим.

30. У входа в здание ФЗУ против ворот завода. Ребята прогуливаются.

А л е ш а. Ты сделаешь сегодня двойную норму?

К о л я. Сделаю.

А л е ш а. И Вася говорил, сделает. Только у него какой-то особый метод.

К о л я. А я без метода, просто сделаю.

31. К воротам завода подъехал автомобиль. Из него вышел военный и направился в ворота.

32. Кабинет инженера.

З а г о р с к и й. Это будет очень трудно.

К о м д и в. Этого требует дело обороны.

З а г о р с к и й. Две тысячи № 15!

К о м д и в. Две тысячи.

З а г о р с к и й. Мы и тысячи не могли дать.

К о м д и в. Да в чем препятствие?

З а г о р с к и й. Выключатель, и с тем не справляемся. А еще есть передача, якорь, система шестеренок. Плохая конструкция.

К о м д и в. Выключатель? Какая же там конструкция?

З а г о р с к и й. Представьте себе!

К о м д и в. Кто делает выключатель?

З а г о р с к и й. Фабзайцы.

К о м д и в. Можно на них посмотреть?

З а г о р с к и й. Пожалуйста.

33. Цех. В а с я, В о л о д я и К о л я готовят работу. Раскладывают детали и инструмент.

Гудок.

Коля. Сегодня две нормы.

Володя. У меня и одна никогда не выходит.

Коля. Две нормы — двести штук!

Володя. А у Васи сегодня новый метод какой-то...

Коля. Метод, метод! Энергии нужно больше, энергии!

Голос Терешки. Возле Кольки сегодня сидеть опасно!

Коля. Ты на меня еще злишься, Василий?

Вася. Злюсь.

Коля. И злись. Хотя... какое тебе дело...

Вася. Есть дело...

34. Работа в полном разгаре. Шумят станки. Видно, как быстро ходят руки у Николая. Володя следит за ним и старается подражать. Но Володе не везет. У него то вырывается деталь, то вполне готовый выключатель.

Коля обращается к Васе:

— У тебя какой-то там метод, а у меня...

— Энергия,— отвечает Вася в тон.

— Ну, да, энергия.

У Володи снова упала деталь. Он наклоняется поднять ее и падает с табурета. Не прекращая работы, Коля и Вася смеются. Хохочет весь цех. Володя подымается с полу. Подходит Иван Павлович.

Иван Павлович. Чего это ты?

Голос Терешки. Это его энергия сбросила, Иван Павлович.

Иван Павлович. Эх ты, механик! Чего ты суетишься? Надо спокойнее.

Терешка. Он набрал полный живот колькиной энергии...

Иван Павлович. А ты молодец, Николай. Сколько у тебя уже?

Коля. Сто двадцать.

Иван Павлович. За полсмены! Здорово! А у тебя, Вася?

Вася. Восемьдесят.

Иван Павлович. Тоже не плохо, а все-таки отстал.

Мастер отошел. Работа продолжается. У Володи снова что-то упало. Коля говорит ему:

— Брось, Володька! Все равно не справишься, у тебя кишка тонка.

35. Цех. Работа продолжается. Входят главный инженер и комдив.

Комдив. Здравствуйте, товарищи!

Гул голосов. Здравствуйте!

Комдив. Работайте, работайте!

Комдив и инженер молча наблюдают работу. К ним подходит Иван Павлович. Комдив спрашивает.

Комдив. Эти двое работают интересно. Как их зовут?

Иван Павлович. Покрасивее который — Николай, а побелей — Вася.

Комдив чуть в сторону отводит инженера и Ивана Павловича.

Комдив. Вот странно: у Васи порядок лучше — настоящий стахановский: пластинки слева, упоры справа. А почему у Коли больше сделано?

Иван Павлович. Интенсивность, товарищ командир!

В этот момент у Коли упала на пол первая деталь. Он смущенно лезет под стол.

Комдив. Ах, досадно, сорвался!

Голос Терешки. У Кольки авария! Девочки, не плачьте. Унесите детей!

Комдив и инженер смеются.

Иван Павлович. Когда уж ты, Терешка, заплачешь, хотел бы я посмотреть.

Терешка. Заплачу, когда замуж выйду.

36. Комдив говорит ребятам:

Комдив. Я вижу у вас стахановскую душу, стахановские приемы. И тем более требую: давайте больше. Знаете, что такое мобилизационная готовность?

Ребята. Знаем!

Комдив. Мобилизуйте мускулы, разум, волю. Вместе со всей страной. Теперь нет человека, который не думал бы об обороне. Понимаете?

Ребята. Понимаем, товарищ комдив!

— Сделаем!

Т е р е ш к а. Фашисты пускай не лезут!

Комдив решительно двинул вниз кулаком:

К о м д и в. Пускай не лезут!

37. Конец работы. В а с я работает с прежней методичностью. В о л о д я в панике, у него все рушится. К о л я тоже очень устал.

Крупным планом руки Коли. Они стараются завинтить упорчик, не попадают в отверстие. Вместо упора пальцы ухватили шайбу. Коля со злостью бросает шайбу, слишком энергично тычет пальцами в кучку деталей, они разбрызгиваются по столу.

Г о л о с Т е р е ш к и. Еще есть энергия, Колька?

К о л я. Пошел ты к чорту!

Т е р е ш к а. О! Еще есть!

Гудок.

И в а н П а в л о в и ч. Сколько у вас?

В а с я. Двести пять.

И в а н П а в л о в и ч. Две нормы!

Общий шум, лица, возгласы:

— Две нормы!

— Вася?

— Двести пять процентов!

38. У входа в здание. Группа ребят выходит.

К а т я выбегает, спрашивает К о л ю:

К а т я. Сделал две нормы?

К о л я. Нет... 160%. Еще не втянулся.

К а т я. А Вася, говорят, сделал.

К о л я. Ну, и целуйся со своим Васей!

К а т я опешила. Выходит Т е р е ш к а и кричит.

Т е р е ш к а. Вот идет победитель Василий Кулешов!
Мировой сборщик!

Н и н а. Две нормы! А ты, Коля?

К о л я. Нечего хвастать!

В а с я. Нечего: тысячи все равно не сделали, а теперь, говорят, нужно две тысячи.

В о л о д я. Разве это работа!

39. У Васи дома. Отец перед столом, заваленным чертежами. В а с я стоит, смотрит. Отец что-то считает,

измеряет циркулем, думает. Напевает. Между делом спрашивает.

Отец. Ну... Как ваши выключатели?

Вася. Все так же.

Отец. На месте? Колеса не придумал еще?

Вася. Ничего не придумал.

Отец. Значит, на санях ездите?

Вася. Угу.

Отец (*присматриваясь к чертежу*). Пло-охи ваши дела, пло-охи!

Вася. А у тебя это что такое?

Отец. Шестеренки, чорт бы их побрал. С этими шестеренками запутались хуже, чем с выключателями. Какой-то дурень конструировал: пять шестеренок. А их от силы три нужно...

Вася. Ты уже придумал?

Отец. Что?

Вася. Три шестеренки?

Отец. Нет еще... Ну, да это придумаем... это придумаем. Значит... шестью шесть — тридцать шесть, семью девять... Сколько семью девять?

Вася. Шестьдесят три.

Отец. Верно. А как имя Стаханова?

Вася. Алексей.

Отец. Экий народ! Все знает! Ну... и вычищайся отсюда, пойдешь подыши свежим воздухом.

Вася улыбнулся, вышел.

40. Вася во дворе сидит на скамье, у садовой изгороди. Перед ним стена дома, построенного в стиле коттеджа. Шарик играет во дворе, потом подошел к Васе. Вася положил руку на голову Шарика, но думает о своем, о выключателе: выключатель у него в руке.

Против Васи стена дома. Три окна и край крыши. У каждого окна ласточки строят гнезда, вьются близко, развлекают Шарика, он то и дело порывается вперед. Следуя за его движением, и Вася обратил внимание на ласточек.

У одного из гнезд копошится ласточка, ее черный, резко раздвоенный хвост хорошо выделяется на белой стене дома, острия хвоста очень четки.

Вася вдруг энергично всмотрелся в этот хвост. Перевел глаза на выключатель и снова на ласточку.

Крупным планом: пластинка выключателя с упорами и напылом на ней ласточкин хвост. Комбинация эта, трансформируясь, постепенно переходит в металлическую деталь — новую пластинку, в которой упорами служат загнутые кончики хвоста.

Вася поднялся, быстро глянул еще раз на выключатель и на ласточку. Задумался радостно, улыбнулся.

В а с я. Шарик, знаешь что?

Шарик поднял внимательную морду.

В а с я. Шарик! Колесо можно придумать, честное слово можно!

Быстро пошел в дом.

41. В а с я входит в комнату. Отец попрежнему работает над своими шестеренками. Вася достал из своего шкафчика тетрадь, карандаш, сел в углу на стуле, начал набрасывать чертеж.

О т е ц. Что это ты встревожился?

В а с я. Так... один чертежик.

О т е ц. Один чертежик... один чертежик... один чорт... (задумался). Один чорт — плохо!

Вася подходит к столу.

В а с я. Как твои шестеренки?

О т е ц. Все так же.

В а с я. На месте? Колеса еще не придумал?

О т е ц. Не придумал.

В а с я. Значит, на санях ездешь?

О т е ц. На санях (отец поднял вдруг голову). Ага! А вы на колесах?

В а с я. А мы на колесах.

О т е ц. Да ну! Рассказывай!

Вася открывает перед ним чертеж.

42. О т е ц. Слушай — замечательно! Это — колесо! И знаешь что? Ты... как бы это сказать... ничего себе!

43. Класс. Катя, Константин и Алеша.

К о с т я. Значит, Вася правду сказал?

К а т я. Правду.

К о с т я. А ты струсила?

К а т я. Да.

К о с т я. Чего же ты боялась?

К а т я. Стыдно было.

А л е ш а. Прогулять тебе не стыдно было?

К а т я. Тоже стыдно.

А л е ш а. Теперь мы вас взгреем!

К а т я молчит.

А л е ш а. Взгреем!

К о с т я. Да... тепер... стоит ли?

А л е ш а. Стоит! И Ваське хвост накрутим... Он не видел!

44. Вечер на реке. В а с я на лодке с Шариком. На-
встречу лодка с В о л о д е й. Лодки сошлись бортами.

В о л о д я. Ты на этой лодке поедешь?

В а с я. На этой.

В о л о д я. А с кем?

В а с я (*смеется*). С Шариком.

В о л о д я. Знаешь что, Вася, покажи мне твой метод.

В а с я. Да... это старый метод.

В о л о д я. Ничего.

В а с я. Скоро будет новый.

В о л о д я. А ты старый покажи...

45. Н и н а и Ш у р а по дороге домой.

Н и н а. Ну так что — прогульщик? Зато он сегодня
217 процентов!

Ш у р а. Герой твой Коля! Потел, потел, 217 процен-
тов, на силу домой пошел, а завтра ни одного процента
не будет.

Н и н а. Он завтра три нормы сделает!

Ш у р а. Ничего он не сделает! И в Арктику не поедет,
вот увидишь!

46. В о л о д я и В а с я у ворот васинога дома.

В о л о д я. Я скоро тоже буду три нормы. По твоему
методу.

В а с я. Скоро будет новая конструкция.

В о л о д я. Какая?

В а с я. Я придумал.

В о л о д я. А почему ты не заявляешь?

В а с я. Хочу модель сделать.

Володя. Так что? Тогда иначе работать?

Вася. Иначе. Не нужно завинчивать упоры. Просто загнуть.

Вася чертит на песке. Потом достает из кармана бумажку.

Вася. Вот так.

Володя. Вырезать и загнуть?

Вася. Очень просто. Это — как ласточкин хвост все равно!

Володя. Как ласточкин хвост! Только... значит теперь опять переучиваться...

Вася. Ты так легко учишься. Это... все будет хорошо!

47. Костя и Вася в цеху.

Вася. Разреши мне остаться в цеху поработать.

Костя. Это зачем?

Вася. Мне нужно одну модель сделать.

Костя. Какую модель?

Вася. Я придумал одну конструкцию.

Костя. Брось. Какая там конструкция. В цеху нельзя оставаться.

Костя отошел. Вася грустно задумался.

48. Пристань яхт-клуба. Вася прыгает с лодки на лодку, направляясь к своей будущей. На помосте показалась Катя.

Катя. Ты какую выбрал, Вася?

Вася поднял голову, улыбнулся.

Вася. «Звездочку» — вон ту.

Катя. И я выбрала... «Звездочку».

Вася. Да... но тут одна «Звездочка».

Катя. А мы можем... на одной поехать.

Вася. На одной? А Коля?

Катя. Мы можем без Коли.

Вася. Ты потом будешь жалеть?

Катя. Нет, не буду.

Вася. Нет, ты не будешь жалеть, потому что... потому...

Катя улыбается застенчиво.

Вася тоже неловко что-то ищет на дне лодки.

Катя. Почему я не буду жалеть?

В а с я. Потому что... (*широко и по-своему иронически улыбнулся*). Потому что у меня есть парус.

К а т я. Парус? Ой, как хорошо!

В а с я. Я умею с парусом.

К а т я. А я не умею.

В а с я. Я тебя научу.

К а т я. Хорошо.

В а с я. А знаешь что? Давай сейчас попробуем. Я хочу посмотреть, как ты правишь...

49. Лодка с Катей и Васей удаляется от пристани. На помосте появился Коля.

50. Конец работы. Все расходятся. Вася прячется за станком. Когда никого не осталось, он выходит и быстро организует работу за слесарным верстаком.

51. Вася работает. Рассматривает в руках новую пластинку для выключателя.

52. Двери цеха снаружи. Дежурный по ФЗУ в присутствии сторожа запирает цех. Начинаются сумерки.

53. Дома у Васи. Отец все работает над шестеренками. Входит мать.

М а т ь. Что это нашего конструктора долго нет?

О т е ц. Василия? Эге... Да он, наверное, остался модель делать. Говорил, что будет просить...

М а т ь. Он же голодный...

О т е ц. Голодный — это ничего. У него зато душа накормлена. А вот у меня с этими проклятыми шестеренками...

54. Шарик на калитке смотрит в сторону цеха. Кто-то показался на дороге. Шарик поднял одно ухо. Потом грустно опустил. Снова смотрит, то стоит, то нервно усаживается на собственный хвост.

55. Вася работает в цехе. Молотком загибает край «ласточкиного хвоста».

56. На клубной площадке игра в волейбол. Играет

партия девочек против партии ребят. Во время игры разговор.

— Кажется... Катя, ты выбрала лодку?

— Выбрала.

— «Звездочку»?

— «Звездочку»...

— Что... ты...

— Что... я...

— нашла.

— угу...

— в этом...

— дальше...

— Василии...

— Секрет...

Г о л о с с у д ь и. Партия в пользу девочек...

Игра прекращается. Коля, обегая сетку, подходит к Кате.

К о л я. Какой секрет?

К а т я. Нельзя сказать.

Ш у р а. Скажи мне.

К а т я. Скажу.

Они обнялись, отошли в сторону. Начинает темнеть.

К Коле подходит Володя.

В о л о д я. Васька придумал конструкцию.

К о л я. Ну?

В о л о д я. Честное слово. Ласточкин хвост...

К о л я. Как же это?

В о л о д я. Вот... *(протягивает чертёжик Васи)*.

К о л я. Ха! Подумаешь, придумал! Я такое давно знаю. Разве это конструкция? Ласточкин хвост.

В о л о д я. Мы только насобачились... а он придумал...

К о л я. Чепуха! Я это давно... давно забыл...

Г о л о с Ш у р ы. Как завидно!

К о л я. Какой секрет?

Ш у р а. Секрет. У Васи есть, а у тебя нет.

К о л я. Ты думаешь, — он такой изобретатель. Я тоже такое изобрел, пальчики оближете!

К а т я. Что?

К о л я. Секрет, сюрприз...

57. В а с я закончил работу. Направился к дверям. Двери заперты. В цехе совсем темно. Оглянулся.

58. Шарик ждет В а с ю.

59. В а с я подошел к окну. Окно закрыто.

60. Шарик ждет. Заскулил. Пошел вперед, к заводу, тревожно осматриваясь.

61. В а с я тихо открывает окно.

62. Шарик у здания ФЗУ. Тишина. Проходит старый сторож. Шарик один раз залаял на сторожа.

Сторож. Это еще что за начальник! Ты откуда пришел сюда командовать?

Шарик услышал, как открывается окно. Радостно взвизгнул, бросился к окну.

Сторож. Чего ты нахальничаешь?

63. В а с я открыл окно. Видит сторожа и собаку. Слышит лай и слова сторожа. Притаился.

64. Сторож. Тебе тут никакого дела нет. Где это я тебя видел?

65. В а с я прыгнул в темноту.

66. Сторож, услышав звук прыжка, кинулся к окну. Тень промелькнула мимо него. Старик протянул вперед руки и закричал:

— Стой!

Шарик вцепился в его штаны. Отбиваясь, сторож забыл о Васе.

Сторож. Пошла ты... Пошла...

Тень быстро скрылась на дороге. Шарик бросился за ней.

Сторож испуганно затоптался на месте.

Сторож. Батюшки, грабители! Кому сказать? Кому сказать...

67. Шарик и В а с я на дороге. Вася остановился, прислушался. Шарик сидит, посматривает на Васю.

В а с я. Какого ты... какого ты дьявола приперся? Какое твое дело?

Шарик радостно играет вокруг Васи, довольный, что нашел его на заводе.

Вася склонился к нему.

В а с я. Все-таки... лучше было бы, если бы ты разговаривал.

68. С т о р о ж страдает возле окна. Идет И в а н П а в л о в и ч.

С т о р о ж. Товарищ мастер! Воры сейчас были в цеху! Иван Павлович. Ну!

С т о р о ж. Только, только выпрыгнул. И собака с ним.

И в а н П а в л о в и ч. Воры с собакой? Первый раз слышу.

С т о р о ж. В окно. Видишь... открыто окно... Это он...

И в а н П а в л о в и ч. Пойдем посмотрим...

69. Дома у Васи. В а с я входит в комнату. Шарик прорывается за ним.

М а т ь. Где ты был до сих пор?

В а с я. Вот! Готово! *(Показывает модель.)*

О т е ц. Ничего, мать. Корми его обедом. Хорошо вышло. И у меня хорошо.

В а с я. Шестеренки?

О т е ц. Шестеренки.

В а с я. Поздравляю.

Размахнулись руками, подчеркивая шутку, обменялись рукопожатием.

В а с я. Только... знаешь, меня чуть за вора не посчитали. Я остался в цеху, а меня заперли...

О т е ц. Э, брат, нехорошо. Надо сказать...

В а с я. А может, не надо...

Отец повертел головой.

70. Иван Павлович и сторож в цеху.

И в а н П а в л о в и ч. Все цело. Что за навождение! Стой. Да тут кто-то работал. Так и есть, какой-то слесарь... добровольный.

71. Раннее утро. Выходит солнце. На реке тихо. В а с я на лодке. Он бросает палку и говорит.

В а с я. Шарик! Человек за бортом!

Шарик бросается в воду, плывет за палкой, приносит ее в лодку. Вася помогает ему выбраться из воды.

Навстречу другая лодка. На ней Коля.

Коля. Как дела, великий дрессировщик и великий доносчик?

Вася (*круто отгребают в сторону*). Шарик...

Коля. Ну, брось!

Вася. Шарик, посмотри внимательно на плохого комсомольца.

Коля. Посмотрим, кто лучше.

Вася. Я с тобой не соревнуюсь.

Коля. Почему?

Вася. Ты еще маленький.

Вася улыбнулся строго. Коля улыбнулся презрительно. Поплыли в разные стороны.

72. Класс. Урок.

Учительница. Алексей правильно разобрал характер Чапаева. У него не только храбрость, но и разум и осмотрительность.

Алеша. Тормоза!

Учительница. Совершенно верно — тормоза.

Звонок

Входит Иван Павлович.

Иван Павлович. На одну минутку задержитесь. Вот что, ребята, хочу выяснить. Вчера вечером кто-то был в цеху.

Голоса. В цеху? Вечером? Зачем?

Иван Павлович. Не знаю уж зачем, а только выпрыгнул в окно. Сторож его было схватил, да тут какая-то собачонка вмешалась в дело...

Все смотрят на Васю.

Алеша. Собака? Интересно. Украли что-нибудь?

Иван Павлович. Нет, ничего не украли... Может, потом выясним...

Алеша. Это что ж такое? С собакой?

Терешка. Умная собака или не очень?

Иван Павлович. Да вроде тебя.

Терешка. Умная, значит... Василий, ты своей собаки никому на прокат не давал?

Вася. Нет, не давал.

А л е ш а. А, может, ты что-нибудь скажешь?

В а с я. У меня секретов нет. Вчера я сказал Косте...

В х о д и т и н ж е н е р. Тишина.

Он стал перед классом.

И н ж е н е р. Я пришел, дорогие фабзайчата, поблагодарить вас и поздравить. В последнее время вы работаете по-стахановски. Но нам все мало. А вот сегодня... рано утром такая хорошая новость: один из вас предложил мне новую конструкцию выключателя. Замечательно просто. Девиз — ласточкин хвост!

Лицо В а с и.

Лицо К о л и.

Лицо В о л о д и.

И н ж е н е р. Вот до чего просто (*чертит на доске*). Я уже передал в производство. Это настолько выгодная конструкция, что можем передать ФЗУ несколько новых операций.

Г о л о с. Кто же это?

И н ж е н е р. Как? Вы разве не знаете? Это Николай Постников.

Общее движение. Галдеж. Лица Васи, Коли, девочек, Володи.

И н ж е н е р. Благодарю Колю от всего завода. И вас всех. Только в хорошем коллективе рождаются такие идеи.

И в а н П а в л о в и ч. Это хорошо, а все-таки, кто в цех вечером лазил?

И н ж е н е р. Ну, это мы выясним. Правда, Николай, выясним?

К о л я. Я думаю.

Инженер, Иван Павлович и учительница вышли.

Общий шум и поздравления.

Н и н а в группе девочек.

Н и н а. Я говорила, я говорила! Вот человек!

Ш у р а. Теперь ты еще больше влюбишься.

Н и н а. Ну, как же не влюбиться? Иду поздравлять. Коля! Я тобой горжусь!

К а т я. Поздравляю.

Т е р е ш к а. Что делать? Когда же чем-нибудь прославлюсь. Колька, ты уже и здесь будешь хорош, а я вместо тебя в Арктику.

К о л я. Э, нет...

73. У Васи сложная игра лица. Он не верит Коле и в то же время рад, что его идея привела в такой восторг инженера. Он заставляет себя держаться спокойно, подходит к Коле.

Вася. Это ты хорошо придумал: ласточкин хвост!

Коля. Правда, здорово?

Вася. И как ты до этого дошел?

Коля. Я давно...

Вася. Самое главное, знаешь, в чем?

Коля. В чем?

Вася. Главное в том, что у нас прорыва не будет.

Коля. Верно, верно...

74. Кабинет инженера. Коля у стола. Инженер говорит.

Инженер. И никто не знал! Между прочим... это ты был вчера в цеху вечером?

Коля. В цеху? Нет. Это не я.

Инженер. Не ты? Разве? Но ведь ты... там работал?

Коля. Нет... Я не был в цеху.

Инженер. Не был? Странно. Но разве ты не сделал модели?

Коля. Нет, я не успел...

Инженер. Ах, вот как... Ну, хорошо. Получишь премию. И вообще молодец!

Коля кланяется, уходит.

Инженер один, говорит про себя.

Инженер. Странно. Очень странно. Кто же был в цеху?

75. Вася и Володя в палисаднике.

Вася. Ты никому не говорил?

Володя. Нет, я никому не говорил.

76. Инженер и Иван Павлович во дворе завода.

Инженер. С собакой... так...

Иван Павлович. Собачка такая очень, говорят, хорошая есть только у Васи Кулешова.

Инженер. У Васи Кулешова?

77. У Васи дома. Отец, мать, Вася, Катя.

Катя. Какой же ты друг? Почему ты мне не сказал?

Вася. Я хотел, но ты... была расстроена.

Отец. И никому не говорил?

Вася. Сказал одному.

Отец. Кому?

Вася. Володе Боровку.

Отец. Так.

Вася. А что теперь делать?

Отец. А ничего не надо делать. Все-таки... Ты растрепался. Тоже... большевик!

Вася. Все равно на пользу пошло.

Отец. Коле-то не на пользу. У Кольки нехороший путь.

Вася загрустил.

Отец. Колесо ты придумал, а кузова нет, хэ...

Мать. Ничего, Вася, ты еще молодой, вырастешь, характер у тебя будет настоящий, большевистский.

Отец. Нет... сейчас нужно, сейчас... Откладывать нечего. Ежели теперь нет в тебе большевика, то и вырастешь... трудно будет...

78. У волейбольной площадки. Идет игра. Коля и Катя отдыхают.

Коля. Мой сюрприз все знают, на общую пользу пошел. А твой?

Катя. Какой?

Коля. Что есть у Васи такое, чего у меня нет?

Катя. У него есть... *(лукаво)*. У него есть парус.

Коля. Парус? Да ну? Ого!

79. Ребята в цеху. Инженер наблюдает.

Володя. Теперь иначе будем делать?

Инженер. Иначе.

Володя. По-колиному.

Инженер. Да. Сегодня Нина штампует ласточкины хвосты. Видите, сколько уже есть? Правильно штампует? Как ты думаешь, Коля?

Коля. Правильно.

Инженер. А твое мнение, Василий?

Вася. По-моему, — неправильно.

Инженер. Почему?

В а с я. Загинать молотками будем?

И н ж е н е р. Молотками.

В а с я. А можно на прессе загинать.

Инженер понял, в чем дело. Внимательно присмотрелся к Васе.

И н ж е н е р. Само собой на прессе (*быстро вышел*).

80. Выходной день. На реке. В лодке К а т я, В а с я, Шарик. Лодка идет под парусом. Далеко по реке также видны лодки. Прошел пароход.

В а с я. Теперь я тебе покажу повороты. Сейчас мы идем под ветром.

К а т я. Вася, давай уйдем на широкий плес, там легче.

В а с я. Давай.

Вася управляет парусом. Лодка быстро понеслась мимо парохода, мимо лодок товарищей. Промелькнули Терешка с Шурой, Алеша с товарищем, другие. Иван Павлович на камнях сидит с удочкой.

— Здравствуйте, Иван Павлович!

И в а н П а в л о в и ч. Ох, ты... с парусом... Молодцы! Вася, а... как бы это... это та самая собачка?

Хитро подмигнул, Вася засмеялся, лодка пролетела...

Впереди открылась более широкая часть реки. Здесь других лодок нет, только далеко еще навстречу несется одна, на которой человек гребет стоя.

К а т я. Это Коля?

В а с я. Да...

К а т я. Завтра общее комсомольское.

В а с я. Боишься?

К а т я. Нет, на душе чисто... За это тебе спасибо... Ты настоящий... друг...

В а с я. Я всегда буду твоим другом...

Катя что-то хотела сказать, улыбнулась, ничего не сказала.

Лодка Васи быстро разошлась с лодкой Коли. Коля явно кокетничает, гребя в неудобном положении, стоя.

— Упадешь,— сказала Катя весело.

— Не бойся,— ответил Коля сухо.

Его лодка отошла уже довольно далеко, когда Коля крикнул.

К о л я. Катя!

К а т я. Что?

К о л я. От Шарика блох не наберись!

К а т я не расслышала.

К о л я повторяет, показывая веслом.

К о л я. От Шарика... не наберись блох!

К а т я нахмурилась, оглядываясь на Васю, но Вася вдруг встревожился.

К о л я не удержал равновесия и полетел с лодки. Лодка от толчка отошла от него. Видна его голова.

В а с я. Он умеет плавать?

К а т я. Не знаю.

В а с я крикнул из всех сил.

В а с я. Держись! Идем к тебе!

Лодка под парусом быстро несется к Коле.

Видно, как Коля барахтается в воде, но можно уже понять, что плавает он плохо. Он начал кричать.

К о л я. Помогите!

Лодка быстро подходит к месту катастрофы. Вася говорит.

В а с я. Ах ты... и раздеться нужно, и править...

Он догадался.

В а с я. Шарик! Человек за бортом!

Шарик давно уже стоит на носу, с тревогой наблюдая происходящее. Теперь он радостно кинулся в реку. Вася начал раздеваться, лодка завертелась на месте.

В а с я. Держи так, на берег, мы его на берег вытащим.

Коля погружается в воду, показывается только его темя, да руки судорожно хватаются за воду. Шарик ухватил его за воротник, потащил к берегу. Лицо Коли показалось над поверхностью воды, он несколько раз глотнул воздух. Вася уже возле него.

Шарик и Вася плывут по бокам Коли, направляют его к берегу.

81. К о л я сидит, еще не вполне опомнившись, на берегу. Шарик смотрит на него и тяжело дышит от усталости. Вблизи приткнулась у берега лодка. К а т я от лодки идет к мальчикам.

К а т я. Как ты себя чувствуешь?

К о л я. Ничего.

Он не хочет ни на кого смотреть. Он хмуро сидит мок-

рый на песке и трогает зубы ногтем большого пальца. Вася смотрит на него озабоченно.

В а с я. Тебе холодно?

Ко л я. Ничего, ничего, мне хорошо (*отвечает он почти грубо*).

В а с я. Катя, ты побудь с ним, а я поеду его лодку поймаю. И весло.

К а т я. Поезжай.

Вася побежал к лодке с парусом. Шарик ринулся за ним.

82. Катя и Коля на берегу. Кругом песок, река и молодой лес. Место очень живописное.

К а т я. Как ты упал?

Ко л я. Катя, пожалуйста, давай не разговаривать...

У него вдруг начинают стучать зубы, он втягивает голову в плечи, отворачивается, кусает губы.

— Ты болен,— говорит Катя.

Он берет себя в руки... отворачивается.

83. По реке плывет лодка под парусом. В ней сидят В а с я, Ко л я и К а т я. К этой лодке привязана буксиром другая — лодка Коли. На ней победоносно сидит Шарик и, кажется, доволен своим одиночеством.

84. На передней лодке. В а с я говорит:

— Я все-таки оденусь.

Поверх трусиков он надевает штаны и рубаху. Когда он просовывает голову в рубаху, из кармана падает что-то на дно лодки. Вася этого не видит. Грустный Ко л я поднимает эту вещь и машинально рассматривает ее. Вася тем временем надел рубаху. Он видит, что находится в руках у Коли.

Ко л я (*спрашивает*). Что это?

В а с я. Это? Это модель. А разве ты... ты такой модели не делал?

Коля ничего не ответил, но вдруг с большой силой глянул в глаза Васи и потом, закрыв лицо руками, заплакал. В одной руке он еще держит модель. Вася положил руку на его плечо. Он затих. Вася серьезно посмотрел на Катю.

В а с я. Слушай, Коля. Не убивайся. Этот... ласточкин хвост пошел на общую пользу. А что ты упал, мы никому не скажем. Хорошо, Катя?

К а т я кивнула.

В а с я. Шарик тоже... К сожалению, он не умеет разговаривать.

Услышав свое имя, Шарик встал передними лапами на нос своей лодки и внимательно слушает.

В а с я. Ты посмотри на него.

Коля невольно посмотрел и грустно улыбнулся. Потом быстро вытер слезы, сказал почти сурово.

К о л я. Спасибо, Василий, я сам все сделаю. А жалеть меня не нужно...

85. Комсомольское общее собрание на волейбольной площадке.

К о л я. Я все рассказал, товарищи. Я мог бы утаить, что они меня вчера спасли, они тоже не сказали бы. Но я не хочу. Вы понимаете, почему я не хочу?

А л е ш а. Понимаем.

К о л я (*продолжает*). Меня, конечно, следует взгреть, как говорит Алексей, но, уверяю вас, я многому за эти дни научился и наказывать меня лишнее. Серьезно, Алеша. У Васи настоящий характер, и я хочу у него учиться, как у первого своего друга.

А л е ш а. Что Васька... как бы это сказать... ну... ничего парень... это одно дело. А другое, его следует... следует...

Т е р е ш к а. Взгреть.

А л е ш а. Вот именно. Чего он набрехал тогда на общем собрании.

Н и н а. Да отстань ты. Сейчас у нас так хорошо...

А л е ш а (*неожиданно*). Отстать? Да! А знаете что? Согласен. Уже отстал.

Все смеются.

Т е р е ш к а. А все-таки главный инженер не узнал, кто изобрел ласточкин хвост.

И н ж е н е р. Извините. Я очень хорошо знал, кто.

К о л я. Seriously?

И н ж е н е р. Совершенно серьезно.

К о л я. А почему же вы не говорили.

И н ж е н е р. А я так, как Василий. Я знал, что вы сами скажете, товарищ Постников. Вы же честный человек, это хорошо видно.

К о с т я. Кончаем. Есть предложение выбрать Василия Кулешова капитаном нашего похода на лодках.

Аплодисменты.

Г о л о с Т е р е ш к и. Только пускай парус оставит дома, а то завидно, прямо печенки болят от зависти.

В а с я. Нет, парус всем пригодится. Будем учиться под парусом.

И в а н П а в л о в и ч. Постой, не закрывай, не закрывай, у меня заявление. Примите меня в вашу организацию.

Г о л о с. В комсомольскую?

И в а н П а в л о в и ч. Да ну вас, с вашей комсомольской, в эту самую... экскурсию... я вам буду рыбу ловить, а то ведь... вы... куда вам...

Общий восторг.

86. Лодочный поход отправляется в путь. Все готово. Все в лодках. На берегу провожающие. Оркестр музыки, отцы, последние прощальные улыбчивые взгляды.

В а с я (*командует*). На весла!

На лодках разбирают весла.

В а с я. Вперед!

Поход тронулся. Играет музыка.

87. Крупным планом проходят одна лодка за другой. Улыбающиеся знакомые лица.

88. Лица на берегу. И н ж е н е р. О т е ц. М а т ь.

89. Поход отплыл от берега. На лодках начали песню.

90. Лодки удаляются. Песня еще доносится.

91. Лодки почти скрылись. Но песня еще слышна.





КОМАНДИРОВКА

*ЛИТЕРАТУРНЫЙ
СЦЕНАРИЙ*





1. Вид с аэроплана: просторная равнина, пересеченная большой рекой. От реки уходит приток, в устье которого небольшой судоремонтный завод, — несколько корпусов, доки, стоят суда, катера. Недалеко от завода поселок, — он протянулся по берегу большой реки. В поселке избы и каменные флигеля. Здание школы заметно выделяется, выделяется и парк с хорошо расчерченными дорожками и зданием клуба. На этом здании узкий флаг на флагштоке. Через поселок бежит прямое, как стрела, шоссе, направляясь к большим городам. На берегу реки маленькая пристань.

Противоположный берег реки и берега притока за заводом покрыты лесом, в котором сосна и береза — советский пейзаж в средней России поближе к западу.

2. В семье Орловых. Столовая — чистая небольшая комната: стол, диван, цветы на окнах. На стене портрет Сталина, на другой стене небольшой портрет бритого человека.

Дверь во вторую комнату. В дверях стоит, прислонившись щекой к наличнику, Лена, девочка десяти лет. У нее мелкие черты, интересная косичка, связанная на затылке замысловатым бантиком. Лена внимательно наблюдает то, что происходит во второй комнате.

Из второй комнаты слышны голоса:

Борис. Надоело меня кормить? Рано!

Мать. Боря!

Борис. Вы попрекаете меня куском хлеба!

Мать. Боря! Что ты говоришь?

Из передней вошел П е т я с книгами в руках. Ему двенадцать лет, он похож на сестру, но в его лице наклонность к серьезной мимике, и вообще в его движениях заметна некоторая раздумчивая сдержанность. Петя услышал спор во второй комнате, остановился, слушает.

Б о р и с. Радуйтесь! Уеду в военное училище, не буду вас объедать!

Борис, гневный, вышел из второй комнаты, по дороге небрежно отстранил Лену, не заметил брата, уступившего ему дорогу, вышел.

За ним из второй комнаты никто не выходит. Лена, оправившись от толчка, испуганно заглядывает туда. Потом она с заговорщицким видом оглядывается на Петю, он кивает ей головой,— подойди,— она на носках подходит к нему. Петя смотрит на нее в упор, нацелившись не столько глазами, сколько лбом, и спрашивает тихо:

П е т я. Плачет?

Л е н а. Нет...

П е т я. А что?

Л е н а. Она... думает...

В противоположность брату, Лена обладает очень выразительным движением лица. Сейчас она печальна и озабочена, и у нее нахмуренные брови.

Что-то стукнуло во второй комнате — отодвинули стул. Дети напряженно ждут. Вышла м а т ь, она комкает в руках носовой платок, но улыбается Пете, стараясь скрыть следы пережитого волнения. Она рада приходу младшего сына.

Лена встретила улыбку матери отраженно искренно,— она просияла, ей даже захотелось подпрыгнуть, ударить в ладошки. Во всяком случае, она стоит уже рядом с матерью, и мать невольно положила ей руку на плечо.

Петя лучше разбирается в событиях. Он понимает, что мать расстроена, что она хочет скрыть это. Петя активно идет ей навстречу. Он говорит с звонким воодушевлением:

П е т я. Мама! Ты знаешь, сегодня по географии отлично!

М а т ь (*с теплой, обыденной иронией*). Какой ты у меня молодец! Лена, накрывай на стол.

Лена с готовностью присела возле буфета. Петя у окна раскладывает книги.

П е т я. А по письму тоже отлично!

Чуть-чуть высунув язык, он картинно издали показы-

вает матери тетрадь. Мать, направляясь к выходу, качнула головой:

М а т ь. Какие успехи!

Мать вышла. Лена поставила тарелки на стол. Петя спросил почти сурово, совершенно забыв о своих успехах:

П е т я. А чего он кричал?

3. Улица. Палисадник у красного кирпичного заводского домика. Через палисадник ведет к дверям усыпанная песком дорожка. При входе в палисадник скамейка. На скамейке сидит П е т я и смотрит вдаль. Л е н а стоит в калитке.

П е т я. Главный инженер едет! Эх! Я тоже буду шофером!

Л е н а. А сколько Борис получает жалованья?

П е т я. Начальник пристани! Это только так называется начальник!

К домику подкатил открытый газик. Главный инженер В а с и л и й В а с и л ь е в и ч тяжело вышел из машины и направился к домику. Лена посторонилась и протяжно нежно сказала:

Л е н а. Здравствуйте...

Василий Васильевич не заметил ее приветствия и прошел к дому. Лена проводила его взглядом, надулась и нахмурилась.

П е т я. Сердитый какой!

Л е н а (*сказала с нажимом и вызовом в поисках компенсации*). Гриша! Здравствуйте...

Шофер Г р и ш а, разворачиваясь, бросил на детей взгляд и ответил.

Г р и ш а. Здравствуйте, здравствуйте, детки!

(*Газик убежал по дороге*).

Л е н а (*довольна. Она провожает машину искрящимся взглядом и смеется для себя*). Как он сказал: детки!.. А женщины бывают шоферы?

4. Квартира главного инженера В а с и л и я В а с и л ь е в и ч а. Кабинет — большая комната. На стенах портреты (в хороших репродукциях) Чайковского, Мусоргского, Пушкина, Дарвина. Большой ковер. На письменном столе бюст Ленина. Пианино. Строго и очень чисто.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч в домашней курточке

убирает на письменном столе — большой белой тряпкой вытирает стекло, отдельные предметы. Он толстый, с небольшой одышкой, и лет ему не меньше 55. Говорит басом, хорошего наполнения, сдерживает голос. Вид у него почти всегда сердитый, и слова он произносит недовольным тоном, но в сущности он очень добрый и добродушный человек.

На диване красного дерева сидит мать Бориса. Она не старше сорока лет, лицо ее круглое и такой же дробной нежности, как у Лены, вообще склонно к радости, но в настоящее время мать имеет грустный вид.

Василий Васильевич (*разводя руками, в одной тряпка, в другой пресс*). Какой я советчик, соседка? Давно вижу, а только я не советчик.

Мать (*с явным сожалением*). У вас нет сыновей?

Василий Васильевич. Слава богу, нет. Ни сыновей, ни дочерей! Только теперь вижу, до чего это здорово! Вы подумайте: такой ужас! Окружить себя этими злодеями! На всю жизнь! Не-ет!

Мать. Они не злодеи!

Василий Васильевич. Ого!

Мать. Дети — это радость, только...

Василий Васильевич. Пожалуйста! Кто хочет — радуйтесь. Я — пас!

5. Река. Высокий берег. У самого берега идет лодка. На ней одним веслом гребет Володя. Ему тринадцать лет. У него круглая стриженная голова, и он хорош собой, — лицо серьезно-лукавое, из тех лиц, которые бывают у классных вожakov. В зависимости от нужды, эти лица принимают самые разнообразные выражения — от серьезно-внимательного до издевательски-веселого. Но вообще Володя человек дела, — у него много энергии и прекрасная ориентировка. Он в трусиках и в нижней белой рубашке.

На краю берега, скрываясь от мира прибрежными кустами, сидят обнявшись Борис и Шура. Борис — высокий, стройный, — мохнатые брови и хорошая скульптура лица. Он в куртке Наркомвода, и рядом с ним лежит форменная фуражка.

Шура — блондинка с «перманентом». Она в том расцвете, когда каждая девушка кажется хорошенькой. Во всяком случае, у нее пикантная фигурка. Юбка с некото-

рым усилием подчеркивает полноту бедер... Парочка заметила лодку и умерила объятия. Володя не обращает на парочку внимания. Его лодка приткнулась носом к берегу. Володя на корме устраивается с удочками. Насаживает червяка, посвистывает.

Борис. Эй, ты, пацан!

(Володя поднял лицо).

Борис. Ты отсюда... знаешь... проваливай!

Володя (встал в лодке, повернулся лицом к парочке). Я вам мешаю? (Он спросил приветливо, с некоторой прибавкой удивления).

Борис (угрожающе приподнялся). Ты... еще долго будешь разговаривать?

Володя (спокойно взялся за весло. Несколько раз гребнул, отплыл от берега и сказал громко). Это — неправильно!

6. Другая часть берега. Лодка Володи подходит с реки. Здесь берег ниже. На берегу рядышком сидят Петя и Лена, они улыбаются, наблюдая, как действует Володя. Его лодка приткнулась к берегу. Володя стал в лодке в той самой позе, в какой он только что стоял перед Борисом, и тем же самым приветливо-удивленным голосом спросил:

Володя. Я вам мешаю?

Петя (ответил с мужественным понижением тона). Нет, вы нам нисколько не мешаете.

Лена (вежливо развела руками). Пожалуйста, пожалуйста.

В общем они поддержали игру Володи.

7. Лодка отходит от берега, Петя гребет. Володя протягивает Лене маленькую удочку с пестрым покупным поплавком.

Володя. Только вы... женщины... разве вы можете ловить рыбу. Я еще не видел, чтобы женщина ловила рыбу. Отчего это так устроено, скажите, пожалуйста?

Лена. Потому, что женщина все время была рабой.

Володя. Отговорки. Рабы тоже ловили рыбу, если мужчины. А вы боитесь.

Лена. Я не боюсь.

Володя. Посмотрим, как вы не боитесь... Поедем на

остров. (*Лодка на середине реки*). Отчего твой брат так задается. Проваливай! Мой брат капитан, и то не задается.

Лена. Какой твой брат?

Володя. Какой! Капитан Тарасов!

8. Лодка плывет по реке. Слышен голос с берега острова.

Василий Васильевич. Эй, на лодке!

Петя. Есть на лодке!

Володя (*тихо*). А кто это?

Василий Васильевич. Гребите-ка сюда!

Петя. Это Василий Васильевич — главный инженер.

Володя (*кричит*). А чего нужно?

Василий Васильевич. Дело есть.

9. Лодка Володи подошла к берегу острова. Остров зарос березами, ивами и кустами. Ветви деревьев нависли над самой водой. Возле берега стоит маленькая моторка главного инженера. Сам Василий Васильевич, босой, в распоясанной рубашке, сидит на склоненном к воде стволе ивы и говорит недовольным голосом.

Василий Васильевич. У вас есть черви?

Володя (*стоя в лодке, несколько важно*). Есть.

Василий Васильевич. Одолжите мне немного.

Володя. Вы, наверное, так хотите... без отдачи, да?

Василий Васильевич. А тебе жалко!

Володя. Нет, не жалко... Я могу дать, если вы... если вы, конечно, хороший человек.

Василий Васильевич (*ухмыльнулся, бросил пристальный взгляд на Володю*). Угу... Ну, что же... Я, кажется, человек... ничего себе.

Володя. А кто это может доказать?

Василий Васильевич (*резко повернулся на стволе*). Смотри ты какой! Да вот он меня знает.

Петя. Я знаю.

Лена. Вы с нами живете в одном доме и все ходите мимо. Я вам говорю здравствуйте, а вы не говорите ничего. И молчите и даже не смотрите.

Все это Лена проговорила быстрым говорком, деловым и тем не менее немного смущенным, не отрываясь взглядом от лица Василия Васильевича.

Володя захохотал, задрал руки. Петя поднял голову к сестре, доволен ее нападением. Василий Васильевич смот-

рит несколько ошеломленно на Лену, потом строго на Володю.

В о л о д я. Ага! Видите, видите! А вы говорите: ничего себе. Не дам червей!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Неужели? Я не отвечал тебе на поклон? *(Лена пристально смотрит на Василия Васильевича и утвердительно кивает головой)*. Это... действительно... свинство. Знаешь что, я очень прошу меня извинить *(Лена улыбается почти мечтательно)*.

В о л о д я *(злорадно)*. Видите?

Василий Васильевич вовсе не подыгрывается к детям. Он совершенно серьезно раздражается и спорит. Его обижает придирчивость Володи. Он смотрит на Володю с негодованием и, забывая о своей просьбе, раздраженно говорит ему:

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Вижу! Извинился! А ты, наверное, никогда не извиняешься!

В о л о д я *(тоже обиделся. Этот толстяк просит червей и в то же время кричит)*. Не дам червей!

10. На берегу острова сидят рыболовы. Дети сидят рядышком. Возле Володи банка с червями. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч несколько отдельно. У Володи клюнуло. Он вытащил рыбку, лукаво посмотрел на Василия Васильевича, начал насаживать наживку.

Василий Васильевич забрасывает часто, поплевывает на крючок, наконец, говорит, как будто про себя.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Одна десятая червяка осталась... Угроздило с соседями... Мальчишки! Были бы охотники...

Пауза. Володя что-то очень внимательно следит за поплавком. Потом не выдержал. Спросил спокойно, не глядя на собеседника.

В о л о д я. А по-охотнички если... на моторке катают?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч *(так же угрюмо-хмуро, как будто ворчит про себя)*. По-охотнички... Охотник охотнику всегда поможет.

В о л о д я. И на моторке.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Ну, а как же!

Снова пауза и более или менее специальные движения всех участвующих.

Володя. Возьмите червяков... по-охотничьи... (*протянул Василию Васильевичу банку*).

Василий Васильевич. Характер у тебя...

Володя. А у вас какой характер?

Василий Васильевич. Да... собственно говоря... у меня... такой самый...

11. Борис и Шура на том же месте на берегу. Он лежит, пристроив голову на ее коленях, задумчиво навораживает на палец собственный локон. Слышен далекий шум пароходного винта.

Шура. Борис, слышишь? Пароход идет!

Борис. Пускай себе идет... Это не к нам...

Пауза.

Шура. Боря, сколько лет в военном училище?

Борис. Три года.

Шура. Ты меня разлюбишь...

Борис. Брось.

Шура. И сейчас ты неласково... говоришь.

Борис (*поднялся, сел. Ему хочется зевнуть, отвернулся*). Меня дома расстроили.

Шура (*нежно взяла его за руку*). Кто тебя расстроил?

Борис (*оживился и обозлился*). Как же! Дождались сына, жалованье получает, — кормилец, поилец!

Шура. А ты не обращай внимания.

Борис. Обидно, Шура. Родная мать... жизни моей не хочет видеть... Серый костюм пошил... ты знаешь, сколько он стоит?

Шура. Тебе очень замечательно в сером костюме!

Борис (*обрадовался*). Вот! А она свое...

12. На берегу острова смятение. Дети забыли об удочках, смотрят в одну сторону, показывают...

Володя. Канонерка! Честное слово, канонерка!

Василий Васильевич. Не может быть!

Петя. Да посмотрите, посмотрите! Это канонерка «Буря»!

Володя. Канонерка «Буря»!

13. Довольно далеко видна на реке приближающаяся военная канонерка.

14. Канонерка «Буря» проходит по реке. Борис и Шура стоят, смотрят.

Борис. Военная! Красота!

На канонерке звонок.

Шура (*с тревогой*). Она причаливает!

Борис. Не понимаю... Причаливает! (*Он надел фуражку, на ходу пожал Шуре руку*). Надо бежать...

Шура. Не успеешь...

Борис быстро пошел по берегу. Шура с одинаковым восторгом смотрит и ему вслед и на канонерку.

15. На реке, догоняя канонерку, спешит моторка Василия Васильевича. Он сам стоит за рулем. В моторке все ребята. Лодка Володи идет пустая на буксире.

16. Пристань. «Буря» причалила. На ней редкие фигуры краснофлотцев. На капитанском мостике капитан Сергей Иванович. Он небольшого роста человек с круглым лицом, бритый. Кажется, что он полон доброты, но когда он начинает говорить, у него находится очень богатый набор модуляций, и тогда его лицо может казаться и очень строгим и очень холодным. У него высокий несколько носовой тенор, определенно иронического оттенка. На пристани стоит Нечипор, человек лет сорока пяти — рабочий на пристани. Он давно работает на реке, и его даже канонеркой нельзя удивить. У Нечипора настоящее украинское лицо с подстриженными усами, лицо народного мудреца и человека бывалого.

Капитан. Где начальник?

Нечипор. Никого нэма...

Капитан (*возмущенно, резко*). Как это «нэма»? Почему?

Нечипор (*оглядывается с явной иронией. Он понимает, что должен кто-то быть на пристани к приходу канонерки, но ему не хочется вступать в спор, дело безнадежное*). Нэма... тай годи.

Капитан. Где начальник?

Нечипор. У них свои дела... может, поважнее...

Капитан. Да телеграмму получили?

Нечипор. Та я неграмотный, товарищ капитан!

17. К пристани подходит моторка. Она причаливает у маленькой деревянной площадки, где стоит несколько ло-

док. Это приходится почти у самой кормы канонерки, и над всей картиной чувствуется большой военный флаг канонерки.

Василий Васильевич. Володька, привяжи моторку.

Володя. Есть, привязать моторку!

Василий Васильевич прыгнул на берег.

18. Капитан Сергей Иванович уже на пристани. К нему подходит обрадованный Василий Васильевич.

Василий Васильевич. Сергей Иванович! Чему обязаны?

Сергей Иванович. Что у вас за порядки?

Василий Васильевич. Порядки комсомольские! Надолго к нам?

Сергей Иванович. Ого! Перевооружение! Да где этот ваш... начальник, чорт бы его побрал!

Василий Васильевич. Ты у меня остановишься. Я вызываю машину. *(Он ушел в контору к телефону.)*

На пристань быстро, запыхавшись, вбегает Борис. Приложил руку к фуражке.

Сергей Иванович. Паршивая провинциальная дыра! Я же давал телеграмму. Где телеграмма?

Борис *(улыбаясь невинно, смущенно)*. Телеграмма? Не было... Стой, стойте... где-то есть... *(роется в карманах)*. Вот телеграмма!

Сергей Иванович. Это... это утреннее чтение, товарищ начальник. Это обычно читается в момент получения!

Борис. Верно! «Буря»!

Сергей Иванович. Чего вернее, если «Буря» у вас под носом! В затон сообщили? Лоцманов вызвали?

Борис. Да... чорт его знает... запутался... с делами!

Сергей Иванович. Довольно изображать из себя угорелую кошку... или угорелую ворону! Распорядитесь.

19. У моторки. Мальчики прислушиваются.

Володя. Вот долбает, так долбает!

20. С другой стороны к пристани подкатил газик. Гриша выходит из него и направляется на пристань. Гриша в сапогах и рубашке, туго подпоясанной узким поясом. Гриша имеет вид вообще добродушный, он скромно и неразговорчив. Но в каждом деловом его движении со-

вершенно естественно всегда выступает на первый план точная ухватка и строгое отношение к делу, хотя Гриша как будто ничего и не подчеркивает.

21. На канонерке. Василий Васильевич стоит у трапа. Сергей Иванович отдаёт распоряжение одному из краснофлотцев. Борис, расстроенный, стоит рядом.

Сергей Иванович. Через час эта курица...

Борис (*просительно*). Товарищ капитан!

Сергей Иванович. ...Этот начальник даст лоцмана, проведете судно в затон.

Краснофлотец. Есть, товарищ капитан!

Гриша (*подошел, сдержанно вытянулся перед Василием Васильевичем*). По вашему распоряжению прибыл.

Василий Васильевич. Едем, Сергей Иванович!

22. Василий Васильевич, Сергей Иванович, Борис и Григорий проходят через пристань к машине. Нечипор останавливает идущего последним Григория.

Нечипор. Тебе письмо, Гриша.

Гриша (*остановился, взглянул на письмо, обрадовался*). От Кати, ей богу, от Кати!

Нечипор (*провел пальцем под усами*). Ага! От Кати, значит...

Григорий (*быстро вскрыл письмо*). Приезжает с «Лермонтовым»! (*Побежал вниз к машине*).

Нечипор (*смотрит вслед ему*). Хороший був шофер... А теперь Катя...

23. Василий Васильевич входит в машину с Сергеем Ивановичем. К машине подбегает Григорий, — радостный, — в руках у него письмо.

Василий Васильевич. Письмо получил?

Гриша. Катя приезжает. На практику, понимаете.

Василий Васильевич. Понимаю, голубчик, понимаю.

Григорий. Нет, вы ничего не думайте. Она к тете приезжает.

Василий Васильевич. Все ясно: к тете и на практику. Ты в стороне.

Он смеется. Смеется и Сергей Иванович. Улыбается и Гриша, трогая машину с места. Борис один остается на пристани.

24. Машина подошла к домику Василия Васильевича. Из нее вышли все, Гриша с некоторым смущением обращается с просьбой.

Гриша. Василий Васильевич, вечером Катя... с «Лермонтовым».

Василий Васильевич. Да... слышал...

Гриша. Разрешите... я подам машину... у нее все-таки вещи.

Василий Васильевич. Ну... если вещи... подавай.

Гриша. Спасибо.

Он отъехал на своем газике. Василий Васильевич и Сергей Иванович у входа в дом.

Сергей Иванович. Влюблен?

Василий Васильевич. Золотой парень!

25. Театральный зал в клубе. В зале пусто. Драмкружок собрался для репетиции. Присутствуют Алексей, Надя, Иван, Борис, еще несколько девушек и юношей. Руководит Алеша. В сторонке тихо сидят в креслах Володя и Петя.

Алеша сердит. Он небольшого роста, у него прямые брови и строгий взгляд, тонкие подвижные губы и мужественный точный голос.

Алеша. Как записываться в драмкружок, так целые сотни, а как репетиция, так одно бюро остается.

Надя. Многие на работе!

Алеша. А где Шура?

Иван. Шура расстроена. Ей попалась плохая любовная роль...

Алеша. Плохая роль?! Марья Антоновна?

Иван. Да... нет, другая роль, вообще любовная!

Все с улыбками, довольно холодными, оглянулись на Бориса, Борис встречает эти улыбки с привычным пренебрежением.

Алеша. Почему она не пришла, Борис?

Борис (*насмешливо передвинул плечами*). Я не стою!

А л е ш а. Кто за нее будет играть? Все заняты!

Он оглянулся. Его строгий взгляд переходит с лица на лицо в поисках выхода, и когда он машинально пробегает взглядом по линии Володя — Петя, Володя говорит, держа голову на кулаках.

В о л о д я. Я свободен.

А л е ш а. Что?

В о л о д я (*с трудом пересиливая смущение и даже охрипнув*). Я могу сыграть.

Н а д я. Марию Антоновну?

В о л о д я. Ага.

Все смеются.

А л е ш а. А почему? Может! Честное слово, может!

Н а д я. Да нет, он маленький.

А л е ш а. Как раз... А ну, идем, я тебя наряжу...

26. В одной из артистических уборных. А л е ш а, Н а д я и В о л о д я. Надя — серьезная девушка, лучший тип комсомольского лица. У нее вьющиеся мягкие волосы, тонкое лицо. При первом взгляде на такое лицо, оно кажется не вполне женственным, зато, когда эта женственность неожиданно проявляется, она кажется счастливым и замечательным, нежным подарком.

Володя уже одет в какое-то женское платье, никакого отношения не имеющее к «Ревизору».

А л е ш а (*натягивая на круглую голову Володи парик*). Ну, и башка у тебя!

Володя смущенно поглядывает на свои голые ноги.

Н а д я. Только ты ходи правильно! Помни, что ты женщина.

В о л о д я. Так? (*Прошелся мелким шагом*).

Н а д я (*смеется*). В этом роде.

27. На сцене И в а н, изображающий Хлестакова, и В о л о д я — Марья Антоновна. Иван — высокий юноша с насмешливым лицом. У него большой выразительный рот.

Б о р и с (*из зала*). А хорошенькая девчонка, просто прелесть!

И в а н (*со сцены*). Ты, Боря, смотри, не влюбись.

А л е ш а. Продолжаем! Марья Антоновна!

В о л о д я - М а р ь я А н т о н о в н а. Для чего же близко, все равно и далеко.

Иван - Хлестаков. Отчего ж далеко. Все равно и близко.

Володя - Марья Антоновна. Да к чему ж это?
Все аплодируют.

Надя. Хорошая дочка городничего!

Алеша. И никаких капризов!

Володя. А для Петьки нет роли?

Вошли Сергей Иванович и Василий Васильевич, за ними Гриша.

Сергей Иванович. Говорят, в «Ревизоре» все бюро участвует.

Алеша. Правильно. Все бюро.

Василий Васильевич. А это что за девица?

Иван. Позвольте познакомить. Марья Антоновна!

Володя сдержанно, жеманно подает руку.

Василий Васильевич. Знакомое лицо. Это ваш брат, — Володька, вредный такой...

Володя (*серьезно*). Это мой брат. Он очень вредный.
Все смеются.

Василий Васильевич. Он мне червяков не давал на реке. (*Переходя на деловой тон*). Товарищи, мы вот пришли к вам поговорить.

Алеша. Давайте.

Сергей Иванович. Здесь все комсомольцы и бюро?

Алеша. Все. Да нет... стойте. Эй вы, вычищайтесь!

Володя. Я никому не скажу.

Алеша. Марш, марш, да скорее!

Володя молниеносно, через голову сдирает с себя женское платье. Быстро мелькают его голые ноги, трусики. Василий Васильевич испуганно вскакивает, совершенно остолбенел и Сергей Иванович. Вместе с платьем Володя стащил и парик. Он метнул в дверях лукавый взгляд в гостей и исчез. За ним прошмыгнул в двери и Петя. Оправляясь от смущения, гости смеются.

Василий Васильевич. Тот самый... чертенюк!

28. В зрительном зале на стульях для зрителей собралось импровизированное бюро комсомольской организации. Сидят несколько вразброс, но внимание всех привлекается к капитану Сергею Ивановичу. Он сидит на одном из стульев переднего ряда, повернувшись лицом к

залу. Говорит очень серьезно, нажимая голосом в соответствующих местах, но в то же время в его словах много дружески доверчивого, теплого.

Сергей Иванович. Граница близко. Запах, чувствуете запах (*пошевелил пальцами*) несет оттуда? Канонерка, конечно, не линейный корабль, а только на этой реке, ого! Залп у нее все-таки... лучше не лезь! (*Все присутствующие радостно смеются*). Так вот, что ж тут говорить? Это вы должны сделать, комсомольцы, на заводе вас большинство. Коротко: сроки, качество — высокое качество. Точность, прилаженность, — никакого брака, ни одной тысячной процента!

29. Василий Васильевич (*говорит стоя, тяжело опираясь на стул*). Терпеть не могу хвастунов! Никаким словам не верю, дайте дело. Так и знайте, придираюсь буду, как собака, как тигр, как... (*затруднился в выборе слова*) как крокодил. (*Он сказал это искренно, без намека на шутку, но все расхохотались, и Василий Васильевич удивлен*). Чего вы? Он же говорит: ни одной тысячной процента?

Борис (*сорвался с места, воздел руку, вдохновенно провел по шевелюре*). Товарищи! Мы, комсомольцы, должны приветствовать и поддержать, и принять все меры. Для Красной Армии — это наша родная Красная Армия. Мы все тоже будем в Красной Армии, и если нашему заводу оказали такую честь...

Сергей Иванович. Ты о себе расскажи!

Борис. А?

Сергей Иванович. Расскажи, как ты принял канонерку. Телеграмма в кармане, — нераспечатанная, лоцманов нет, порядка нет. Как ты будешь принимать материалы, где тебя искать?

Борис. Я постараюсь.

Сергей Иванович. Постараюсь — обещание среднего качества.

Василий Васильевич. Вздох пресвятой богородицы!

Борис. Я еще молодой.

Гриша. Тебе что, семь лет?

Сергей Иванович. Может быть, здесь все такие... «молодые»?

Иван. Не беспокойтесь, Сергей Иванович, семилетний — один Борис.

Борис. Да что вы все на меня?

Сергей Иванович. Правильно! На тебя. Ты гражданин или нет?

Борис. Гражданин.

Сергей Иванович. Так вот: не прикидывайся маленьким! С тебя и требуют, как с гражданина.

30. Пристань. Заходит солнце. На пристани довольно много людей — пассажиры. У кассы очередь. Борис продает билеты. Нечипор с видом начальственным наводит порядок.

Нечипор. Чего вы тут той... гармидер заводите?

Иван. Дедушка, мы на природу смотрим.

Нечипор. Сам ты дедушка! Здесь не природа, а пристань.

Иван. Мы на пристань не смотрим, не бойтесь.

Нечипор. Ты не той... не базикай, а отойди от того... от барьера.

Шум подъезжающего автомобиля.

Иван. Григорий приехал, жених, жених!

Вся молодежь шумно идет навстречу.

Нечипор. Чего вы тут той... заводите?

Иван. Дедушка, жених приехал!

Гриша вошел с большим букетом в руках.

Нечипор. Який жених?

Иван. Да вот же! Григорий Васильевич Волосатый!

Гриша (*оглядывается смущенно*). Товарищи! Честное слово, не понимаю...

Алеша. Где ты букет достал?

Гриша. Алешка, отстань...

Иван. Да мы ничего, мы только посмотрим.

Гриша. И смотреть нечего.

Борис. Интересная твоя невеста?

Гриша. Никакая невеста! И это очень с вашей стороны...

Нечипор. И чего притой... Дайте человеку невесту встретить... А потом будет видно.

31. Причаливает «Лермонтов». Причаливает медленно.

Нечипор (*кому-то кричит*). Давай конец.

Среди пассажиров на палубе стоит и Катя. Она в треухе, сделанном из газеты. Она ласково улыбается Грише, но Гриша смущен и опускает глаза.

Борис (*шепчет ему в ухо*). Какая? Какая? Скажи, какая?

Гриша. Отстань.

Борис. Какая? В зеленом платке, да?

Иван. Нет, что ты! Вон она, в соломенной шляпке!

В соломенной шляпке стоит толстуха с маленькими глазками.

32. Положены сходни. По ним проходят пассажиры. Одной из первых выходит толстуха в соломенной шляпе. Иван ласково берет ее за руку и подводит удивленную к Григорию. Григорий сердито отворачивается.

Толстуха. Да я его не знаю.

Иван. Извиняюсь.

Наконец, выходит Катя. Она очень хороша. У нее большие глаза и темные тонкие брови. Она свежа и полна сил юности. Она с дружеским приветом направляется к Грише, улыбается букету и немного смущается.

Григорий (*хрипло говорит*). Катя!

Он пробивается к ней, немного краснеет, букет ему машет. Он перекладывает его в правую руку, но Катя протянула ему свою правую, и Григорий в затруднении. Иван с дружеской предупредительностью берет у него букет, и Гриша этого не замечает. Он пожимает руку Кати и говорит.

Григорий. Очень приятно. У меня есть машина.

Иван (*стоит сбоку и громко читает на газетной шапке Кати крупную надпись*). Долой кустарщину! За культурный ремонт вагонов!

Катя, смеясь, оглядывается и встречает веселый взгляд Ивана.

Иван (*ей говорит внимательно-вежливо*). Это у вас на шапочке написано.

Катя. Неужели? (*Снимает шапку*). Действительно, написано!

Иван. А у нас не вагоны, а пароходы. Понимаете, недоразумение.

Катя надевает на себя треух, но в этот момент Гриша крепко схватил руку Ивана с букетом.

Гриша. Отдай!

Иван. Да чудак! Букет не тебе, а Кате. Дорогая Катя, приветствуем вас от всего комсомольского актива, а также драмкружка на территории нашего... нашего... одним словом, просим вас принять этот скромный букет, который доставал все-таки один Гриша.

Катя. Какой драмкружок?

Иван. Замечательный! Вот первый любовник — Борис Орлов, комик — Григорий Волосатый, трагик — он же секретарь комсомольской — Алеша Грузинцев.

Нечипор. Не той... Не загораживайте прохода!

Катя. А где мои вещи?

Алеша. У меня, у меня.

Гриша. Товарищи! Ну, посмотрели и убирайтесь.
(Он отнимает у Алеши чемодан).

33. У машины. Катю усадили на заднее сиденье. Гриша на месте шофера. Иван пытается тоже залезть в машину, но Гриша, улыбаясь, показывает ему кулак. Иван что-то шепчет остальным. Все хором кричат:

Долой кустарщину! За культурный ремонт па-ро-хо-дов!

Иван (*вежливо напоминает Кате*). А не вагонов!

Катя просто улыбается. Машина уезжает. Юноши смотрят ей вслед.

Борис (*продолжая так же зачарованно смотреть*). Э, нет, это кусочек не для Григория!

Алеша (*неожиданно неприязненно*). А для кого? Для тебя?

Борис (*удивился*). Да чего ты?

Алеша. Я спрашиваю: для тебя «кусочек»?

Борис (*нахально, обозлившись*). А хотя бы и для меня.

Алеша. Ее Григорий давно любит...

Борис. Куда твой Григорий годится!

Иван. Дети, не шумите. У тебя, Боря, все равно ничего не выйдет.

Борис. Почему?

Иван. Потому что... потому что... тебе семь лет.

Борис. Посмотрим.

34. Конструкторская завода. Большая светлая комната. За чертежными столами работают чертежники. Иван и Шуря работают рядом. Они разговаривают, не

прекращая работы. Шура, впрочем, очень интересуется темой. Иван говорит спокойно, выдерживая паузы, подчеркивая тоном явно несоответствующие места.

Шура. Вчера приехала?

Иван. Вчера приехала.

Шура. Интересная, говорят...

Иван. Ничего интересного! Все то же самое.

Шура. Как это «то же самое»?

Иван (*таким тоном, как будто его счет имеет для Шуры большое значение*). Понимаешь, — один нос, глаза... два, вот не заметил, сколько рук. (*Вспоминает*). Кажется, две руки. Обыкновенная девушка. Платье пошито из гачеты...

Шура. Ты всегда говоришь несерьезно...

Иван. Дай лекало.

Шура. Она учится в судоремонтном техникуме...

Вошел сердитый Василий Васильевич. Он спрашивает таким тоном, словно ему нужен ответ только для того, чтобы немедленно избить ответчика.

Василий Васильевич. Кто делает приспособление для револьверных?

Шура (*немного испугавшись*). Я делаю.

Василий Васильевич. Волыните!

Шура. Василий Васильевич!

Василий Васильевич. Волыните! Покажите, что сделано?

Шура разбирается среди чертежей, находит один, показывает. Василий Васильевич, стоя, хмуро просматривает чертеж.

Василий Васильевич. Стойте... Откуда у вас этот размер — 17,5?

Шура. Такой давали.

Василий Васильевич (*смотрит на нее в упор, с осуждением*). Кто давал? Ничего подобного! Из-за этого размера забраковали, а вы опять ставите!

Шура (*бросилась к своим папкам, быстро нашла листик бумаги, хочет победно показать его Василию Васильевичу, но вдруг узнает ошибку, невольно отступает назад*). Ах!

Василий Васильевич (*долго смотрит на нее, склонив лоб, словно приготовился боднуть*). Ах! Что та-

кое «ах», скажите, пожалуйста? Что это за терминология: «ах»?

Иван (не прекращая работы, совершенно серьезным, очень убедительным голосом). По некоторым данным, ах — это пережиток капитализма.

Василий Васильевич (внимательно прослушал заключение Ивана, но плохо сообразил, что оно обозначает, его уже привлекает грустное настроение Шуры, он говорит ворчливо, но гораздо более ласково). Пережиток капитализма! У вас чем-то голова забита, товарищ Устинова! Не пять десятых, а пять сотых. Семнадцать и пять сотых. Придется вам сегодня посидеть вечер. Приспособление очень срочно нужно.

Шура (со стоном отчаяния). Ах, я не могу вечером...

Василий Васильевич (с имитацией такого же стога). Ах, я вам приказываю! (Ушел).

Шура (заломила руки под подбородком). Я же не могу...

Иван. Придется подчиниться насилью...

35. Заводской цех. Линии разных станков, на которых работает, главным образом, молодежь. Большой порядок. Револьверный станок Алеши. Он работает напряженно быстро, лицо у него сейчас озабоченно увлеченное. Подходит Надя — контролер механического цеха. Весь разговор Нади и Алеши в сущности любовный разговор. В лицах беседующих, в тоне много ласки и внимания, но все это прячется за деловым интересом и за настоящим деловым раздражением. Эти двое людей настолько сильны, что могут выдерживать двойную линию тона, не уступая ничего в любви и не поступаясь даже капелькой дела. При этом у Нади любовь выражается больше в движении лица, у Алеши больше в голосе, явно подчеркивающим его особое отношение к Наде.

Впрочем, к концу разговора самая тема становится такой трагической, что какая угодно любовь может исчезнуть, и... она все же остается. Наде досадно, что Алешу постигла неудача, Алеше стыдно, что именно перед Надей он так оскандалился.

Надя. Здравствуй, Алексей.

Алеша. Здравствуйте, товарищ контролер!

Надя. Давай деталь 115.

А л е ш а. Есть, деталь 115.

Он выкладывает перед ней на тумбочку стопку деталей. Надя начинает проверять их при помощи шаблона, Алеша продолжает работу на станке, но его очень интересует результат надиной проверки. Проверая, Надя что-то шепчет, очевидно, тревожное, потому что Алеша бросает работу и прислушивается. Он теперь ясно слышит:

На д я. Прослаблена, прослаблена, прослаблена...

А л е ш а. Прослаблена?! Что ты выдумываешь?

На д я. Пожалуйста! Запорол двадцать три детали!

А л е ш а. Запорол? Каким ты шаблоном проверяешь?

На д я. Мой шаблон.

А л е ш а. Твой шаблон! Твоему шаблону сто лет. А я вчера получил новый. Вот! *(Он выложил на стол новый шаблон)*.

На д я. Дай чертеж!

А л е ш а. Будьте добры! *(Подает ей чертеж. Надя проверяет шаблон по чертежу. Алеша в нетерпении)*. Ну?!

На д я. Твой шаблон нужно выбросить.

А л е ш а. Новый?!

На д я. Все равно!

А л е ш а. Кто делал шаблон?

На д я. Такие, как ты, делали,— разини.

А л е ш а. Это все в конструкторской...

На д я. А ты принимал, куда смотрел?

А л е ш а *(быстро собирает шаблоны, чертежи, детали)*. Иду к главному.

На д я. Ты сам главный!

А л е ш а. Я виноват?

На д я. Двадцать три детали!!

36. В кабинете Василия Васильевича. Сидит сбоку Сергей Иванович. Перед столом стоят Алексей и Надя. Алексей представляет из себя соединение злости и смущения. Ему стыдно в особенности перед Надей.

Василий Васильевич *(гневно)*. Никакими словами! Никакой мерой! Вы понимаете, что это такое? *(Стук в дверь)*. Войдите! *(Катя вошла и замерла у порога, понимая, что в кабинете происходит драма. Василий Васильевич уже стоит за своим столом, он сверлит взглядом Алешу и, очевидно, предупреждая его возражения, кричит)*. Виноватого искать? Это моя работа? Я инженер,

а не следователь! Все виноваты, все партачи! Все! Сергей Иванович, с твоей канонеркой ничего не выйдет! У них руки калеченные, головы калеченные, души калеченные! Разговорщики, танцоры! *(Он увидел только теперь Катю, и она его раздражает не меньше)*. Вот приехала новая! Думаете, лучше.

Все обратили лица к Кате. Надя смотрит почти с таким же осуждением, как и Василий Васильевич, Алеша с таким же сожалением, и только Сергей Иванович улыбается так, чтобы не видел Василий Васильевич.

Катя *(покраснела, но все-таки защищается, как умеет)*. Вы же меня не знаете!

Василий Васильевич *(теперь он убежден, что Катя ничего не стоит)*. Я не знаю? По глазам вижу, по походке! «Ах, я ошиблась!»

Последнюю фразу он произнес, передразнивая девицу, и свалился в кресло, вытаскивая из кармана пиджака огромный платок, чтобы вытереть пот. Этим моментом пользуется Сергей Иванович.

Сергей Иванович. Конфузно, товарищи...

И этот маленький удар окончательно обозлил Алешу. Он обращается к Сергею Ивановичу.

Алеша. Дали шаблон! Догадайся, что там ошибка!

Надя *(говорит почти с презрением)*. Стыдно тебя слушать! Ты обязан... обязан догадаться!

Алеша *(не выдержал этого укора)*. Надя! *(Больше он слов не находит, махнул рукой, пошел к выходу. Катя внимательно посторонилась, он ее не заметил. В дверях обернулся)*. О канонерке не беспокойтесь, Сергей Иванович! *(Он выскочил)*.

Катя подвинулась к дверям.

Василий Васильевич *(к этому моменту вытер пот и спросил угрюмо, обращаясь к Кате)*. Вам чего?

Катя *(шмыгнула к двери и оттуда сказала иронически-ласковым шопотом)*. Я... в другой раз, Василий Васильевич... *(Она исчезла за дверью)*.

Василий Васильевич *(возмущенно повернулся к Сергею Ивановичу)*. Видите!? Какие фокусы?

Сергей Иванович рассмеялся неудержимо. Надя сдержанно улыбнулась.

37. Ворота в заводской гараж. На свежем воздухе не-

далеко от ворот Гриша возится со своей машиной. Motor разобран. На двух листах фанеры Гриша разложил части мотора, перебивает их, пересматривает, мурлычет про себя какой-то мотив.

На дорожке, ведущей к гаражу от завода, показалась Катя. Гриша обрадовался, осторожно положил на фанеру какую-то деталь, поднялся с низенького обрубка, на котором сидел, и сделал несколько шагов навстречу Кате, расставляя пальцы, измазанные в масло, и этим давая понять, что рукопожатие невозможно. Его спецовка и лицо тоже не блестят чистотой.

Катя. Какой ты чистенький!

Гриша. Полюбите нас черненькими!

Катя. Что ты делаешь?

Гриша. Профилактика!

Катя. Такая профилактика! Ужас!

Гриша. Это тебе не пароход какой-нибудь, автомобиль,— скорость не десять километров, а девяносто!

Катя. Гришка! Не смей трогать пароход!

Гриша. Есть... осторожно обращаться с пароходом!

Они подошли к фанерным листам. Катя заинтересовалась тем порядком, в котором разложены части мотора на листах. Она наклонилась над ними и любитесь.

Катя. Как у тебя красиво... Василий Васильевич на тебя никогда не кричит?

Гриша (*улыбнулся высокомерно*). Красиво! Это тебе не цветочки, а машина... Потому и красиво.

Катя (*тронула что-то пальцем*). Подари мне этот тросик, он у тебя лишний, я вижу.

Гриша. Я... лучше цветочки...

Катя подняла глаза. Григорий спокойно улыбается.

38. В конструкторской. Алеша стоит около Шуры.

Шура (*опустила глаза*). Всякий может ошибиться.

Алеша. У тебя, Шура, в голове или в душе...

Иван. Дело не в душе, а в любви!

Шура (*с подозрительным укором*). А вы против любви, да?

Алеша. Во!

Иван. Я против.

Шура (*прищурил глаза*). Против любви?

Иван. Да нет! Я против неправильного чертежа.

Шура. При чем тут чертеж?

Иван. Ты шаблон запорола? *(Шура молчит, выжидая)*. И любовь запороть можешь! *(Шура отвернулась к окну)*.

Алеша. К чертям любовь! А вечером тебе придется попотеть. Стыдно в глаза смотреть! Государственное дело!

Шура *(посмотрела Алеше прямо в глаза. Может быть, у нее в глазах слезы)*. Сделаю, Алеша!

39. Часть парка на берегу реки. На скамейке Борис и Шура. Видно, что они уже давно здесь сидят и за это время Шура успела сильно огорчиться, а Борис сильно соскучиться.

Шура. Я не пойду вечером в конструкторскую. С какой стати? Пойдем танцевать.

Борис. Шура, пойми, наконец, какое значение имеет твоя работа. Оборонное значение!

Шура. Я понимаю.

Борис. Конечно, было бы приятнее нам потанцевать, но здесь дело о канонерке, о Красной Армии, нельзя же так ставить на одну доску. Ты не забывай...

Шура *(резко поднялась со скамейки, быстро повернулась к Борису)*. Я ни о чем не забываю. Я знаю, что такое Красная Армия... А только ты врешь!

Борис. Я? Мое почтение!

Шура. Красная Армия не может мешать любви!

Борис. А видишь, мешает.

Шура. Не мешает, не мешает. Тут что-то другое мешает, ты врешь, ты напрасно все сворачиваешь на Красную Армию. *(Шура гневно стоит против Бориса, но она уже испугалась своего гнева, ей уже кажется, что она наговорила глупостей. Борис с обиженным лицом поднялся. Шура подошла к нему)*. Ну, прости!

Борис *(с чувством)*. Не забудь, что я тоже гражданин!

Шура. Прости, Боря! Я пойду в конструкторскую...

40. Вечер в конструкторской. Шура одна. У нее много работы. Весь стол завален чертежами, инструментами, записками. Она работает напряженно, но что-то у нее не ладится. Она с удивлением смотрит на чертеж, хватая резинку, наконец, разорвала чертеж, бросила, достала

чистый лист, начинает сначала. Задумалась. Решительно взяла циркуль, но так с циркулем в руках и заплакала, положив голову на руки. Циркуль торчит у нее в руке.

Вошел И в а н. Остановился в дверях, внимательно смотрит на Шуру. Шура прекратила рыдания, быстро вытерла глаза, спрашивает с досадой.

Шу р а. Чего ты пришел?

И в а н (*подходя к столу*). Люблю страшно смотреть, как девушки плачут.

Шу р а. Я не плакала. У меня глаз засорился.

И в а н. Ты займись шаблоном, а я сделаю приспособление.

Шу р а. Ты пришел помочь?

И в а н (*примеряясь глазами к какому-то масштабу, сказал спокойно*). Служу Советскому Союзу.

Шу р а (*вдруг подошла к нему, поставила локти на стол и сказала душевно*). Спасибо! Слышишь, спасибо!

И в а н. Шура, сократи чувства на пятьдесят процентов.

Шу р а (*засмеялась*). Есть, на пятьдесят процентов!

41. Вход в клубный парк. Широкая площадка, цветники. Проходит народ в праздничных костюмах, направляется вглубь парка. Недалеко от ворот дежурит Г р и ш а. Он в свежем костюме, в новой кепке. Рядом появляется Б о р и с, он наблюдает за Гришей и, наконец, подходит к нему. Гриша недоволен соседством Бориса, но отвечает на его салют.

Г р и ш а. Разве сегодня парохода нет?

Б о р и с. «Рылеев». Там... Нечипор управится.

Г р и ш а. Раз ты начальник, обязан там быть!

Б о р и с (*с деланным уверенным тоном знатока своего дела*). Важно руководить...

Г р и ш а (*посмотрел на него иронически*). Чудак... ты.

42. Вечер. На пристани в ожидании парохода. В о л о д я и П е т я стоят у барьера, выходящего на реку. У окошка кассира очередь. Касса закрыта.

Человек в картузе. Да где начальство?

Человек в кепке. Очень ты начальству нужен.

Первый в очереди (*стучит кулаком в деревянный щиток, закрывающий кассу*). Эй, проснись там!

Нечипор (*вышел из своей каморки*). Чего стучишь?
Голос. Открывай кассу!

Нечипор вышел на балкон. Далеко на реке блестят
огни парохода.

Нечипор. От.. сто чортив! Петька, где Борис?

Петя. Клубы позаводили! Разве для такого народа
можно клубы?

В очереди снова волнуются, колотят в щиток.

— Давай его сюда!

— Где такое видано?

Нечипор безнадежно махнул рукой. Он обижается на
Бориса, который в таком плохом виде представляет перед
публикой работу всего учреждения. Нечипор вышел к
площади, всматривается по улице, не идет ли Борис.
К нему подошел Володя.

Володя. Может, пойти позвать?

Нечипор. Некогда теперь звать. (*Помолчали*). Ну,
что ты будешь делать? Он же грамотный человек, как же
такое можно? (*У кассы снова крики. Слышен шум колес
подходящего парохода. С неожиданной просительной
энергией*). Хлопцы! Помогите!

Петя. Поможем, только как?

Нечипор. Ходим... той... продавать билеты. Вы ж
грамоте знаете?

Володя (*с воодушевлением*). Ходим!

Нечипор. От молодци!

43. В кассе происходит горячая работа. Очередь быстро
тает.

Пассажир. До Синяковки.

Петя подпрыгивает, выхватывает из кассы билет, пе-
редает Володе. Володя бросает на билет молниеносный
взгляд и, передавая билет Нечипору, говорит не-
громко.

Володя. Рубль семьдесят.

Нечипор (*с достоинством*). Платите гроши, да не
той... Не задержуйте! Рубль семьдесят.

Голос в очереди. Сегодня в кассе артель рабо-
тает.

Нечипор. Не задержуйте, вам говорят. Следующий.
Голос. Это кассовый колхоз.

Нечипор. Колхоз, хйба це погано? Следующий, говорю!

44. У входа в парк. Катя быстро подходит к Григорию.

Катя. Гриша, родной, я не могу... надо в конструкторскую.

Гриша. Ничего не поделаешь. Я провожу.

Борис. Разрешите и мне.

Гриша. Борис, «Рылеев» подходит.

Борис. Ничего.

45. Перед заводской проходной будкой.

Борис. Какая жалость, что у меня нет пропуска.

Катя. Но ведь у вас и дела нет на заводе.

Борис. Очень жаль. Когда вы будете в клубе?

Катя. Не знаю. *(У Кати теперь совершенно деловой тон)*. До свиданья. *(Прошла в будку)*.

Гриша *(тоже направился к будке, но вернулся и сказал Борису конфиденциально)*. Ты дурак. Этой девушке лодырь не может понравиться. *(Григорий тоже ушел в проходную будку)*.

Борис *(один. Он смотрит презрительно вслед Григорию. Сквозь зубы)*. Подумаешь... эта девушка!

На реке «Рылеев» дал три гудка.

46. Недалеко от пристани на камнях молча сидят Нечипор, Володя и Петя. По реке уходит пароход, сияет огнями. Из клуба слышна далекая музыка. Молчание.

Нечипор *(серьезно и очень тепло, с некоторой стариковской застенчивостью)*. Знаете что, хлопцы? Чи вы той... не покажете мне буквы?

Мальчики радостно вскочили с мест.

47. Вечер. Конструкторская. Работают Катя, Шуря и Иван. У каждого свое дело. Молчание. Слышна та же клубная музыка.

Катя *(не поднимая головы над чертежом)*. Товарищи, в этом разрезе пропуски.

Иван Мин херц! Это ложное сообщение!

Иван серьезно-умильно смотрит на Катю. Катя удивлена и его ласковостью и его категоричностью. Она взглянула в глаза Ивана и чуть-чуть покраснела.

Шура. У Вани ошибок не бывает.

Катя (*заинтересованная, взбирается коленями на стул, протягивает к Ивану чертеж и говорит ласково-осторожно*). Что это такое?

Иван. Крепление стойки.

Катя. Пусть непогрешимый Ваня объяснит мне, почему в разрезе этого крепления нет?

Иван. Пусть девушка, приехавшая из столицы, вооружит свои прекрасные глаза... очками.

Катя (*едва не улыбнулась — к этому ведет упоминание о прекрасных глазах. Но гораздо более сильное впечатление производит на нее упоминание об очках. Она быстро разглядывает чертеж*). Ах!

Иван (*передразнивая Василия Васильевича*). Что это за терминология!

Девушка заливается смехом.

48. Первая комната Орловых. Борис только что вошел, вешает фуражку на вешалку. Мать из-за стола, на котором лежит открытая книга, внимательно посматривает на сына.

Борис. Пожрать есть что-нибудь?

Мать. Вот приготовлено: молоко и хлеб!

Борис (*с иронически-грустной улыбкой*). Для взрослого мужчины!

Мать. Больше ничего нет...

Борис Ты работаешь в буфете. Могла бы что-нибудь...

49. Борис молча ужинает. Вид у него не только недовольный, но даже страдальческий. Мать делает вид, что читает книгу, но украдкой поглядывает на сына.

Мать (*осторожно*). Все-таки, Боря, ты должен бы давать в семью что-нибудь. (*Борис жует и отворачивается*). Ведь ты получаешь жалование... И больше моего.

Борис (*встал из-за стола, с силой отодвинул стул*). Старая песня!

Мать (*тоже встала, машинально перелистывает страницы книги*). Боря, мне трудно.

Борис (более громко, чем следует, обращаясь к матери через плечо). Мне одеваться нужно?

Мать. Но ведь и нам одеваться нужно?

Борис. Наплодили детей, я не отвечаю.

Мать. Борис!

Борис (свирепеет). Чего, «Борис»? Вы хотите, чтобы Борис содержал вашу семью? У Бориса свои дороги. (Он гневно заходит по комнате, отшвырнул стул, попавшийся по дороге. Мать следит за ним, хмурит брови. В комнату вошел Василий Васильевич).

Василий Васильевич. Что случилось?

Борис гневно на него глянул, прошел мимо наружу, хлопнув дверью.

50. Маленькая комната комсомольской организации в заводском клубе. Вечер. Алеша за столом читает длинную бумагу. На диване Надя увлеклась газетой, ее лица за газетой не видно. В углу за большим столом склонились головы Ивана, Кати, Шуры и Сергея Ивановича.

Сергей Иванович. Это оригинально и просто.

Катя. Только давайте выключатель переставим сюда, а то высоко.

Иван. Снаряды подают бойцы, а не девочки.

Катя. А вдруг и нам придется — девочкам.

Сергей Иванович. Правильно, Катя, давайте переставим.

Вошел Борис. На него никто не обратил внимания. Он в настроении развязно-оживленном. Бросил фуражку на стол, подставил стул поближе к Алексею и сказал приглушенно.

Борис. Получена командировка, Алеша?

Алеша. Получена.

Борис. Конечно, это моя командировка?

Алеша. Через два дня соберем бюро с активом и решим.

Борис. Алексей, я давно заявил: еду в военное училище.

Алеша. Хорошо. Но, может, найдется кандидат лучше.

Борис (ухмыльнулся по-приятельски, встал, прошелся по комнате, сказал громче). Кто? Я конкурентов не вижу.

Надя опустила газету, посмотрела на Бориса внимательно. Обернулись все за большим столом. Шура бросила влюбленный взгляд.

А л е ш а. Мой голос будет против тебя.

Б о р и с (остановился, с удивлением). Ты шутишь, Алеша?

А л е ш а. Нет.

Н а д я (снова опустила газету). Интересно, Алексей, почему?

А л е ш а. Борис знает.

Б о р и с. Ну, Алеша, если так придирааться... у каждого человека есть недостатки. Человек же не кукла.

Н а д я. Правильно!

И в а н (вдруг выпрямился за своим столом и сказал неожиданно звонко). А по-моему, это моральный оппортунизм!

Все обратились к Ивану.

Н а д я (улыбаясь, завертела головой). Какие ты слова закручиваешь?

И в а н (вышел из-за стола. В руках у него карандаш). Моральный оппортунизм! А как это иначе назвать? У человека должны быть достоинства и недостатки? С какой стати недостатки? Почему у комсомольца должны быть недостатки? Кто эту норму придумал?

Б о р и с. По-твоему, все люди должны быть ангелами?

Н а д я. Похоже.

И в а н. Не ангелами, а большевиками.

К а т я. Ай, интересно, а только, честное слово, ты путаешь!

Н а д я. Люди без недостатков — это скучно, Ваня! Скучно.

И в а н (начинает сердиться). Чушь! Ничего не скучно! При коммунизме так и будет!

Н а д я. Ну, при коммунизме, а сейчас?

И в а н. А сейчас каждый должен... понимаешь, должен... раз, раз, раз, к черту все недостатки!

К а т я. Все?!

И в а н. Все!

Н а д я. Ваня — это максимализм!

И в а н. Ох, какие ты слова закручиваешь!

Н а д я. Докажи!

И в а н. Докажу!

Г о л о с а. Доказывай! Слушаем!

Все приготовились слушать длинную речь.

И в а н (*стал в позу, протянул руку вперед*). Доказательство первое: Надя, какие у тебя недостатки?

Все ошеломлены, Надя больше всех.

Н а д я. Да... много, наверное...

И в а н. Какие?

Н а д я. Да отстань! Не буду же я исповедываться.

И в а н. Алеша, какие у Нади недостатки?

А л е ш а (*увлеченно вскочил за столом*). Ты прав, у Нади нет недостатков.

Все засмеялись.

Н а д я (*смугилась, рассердилась... К Алеше*). Ты врешь!

А л е ш а. Есть! Есть! Она... страшно придирчивый контролер!

Снова смех. Потом тишина.

Ш у р а (*вдруг говорит негромко*). Что же ты у Алеши спрашиваешь? Алеша... он в Надю...

А л е ш а. Шура! Не твое дело!

Ш у р а. А вы спросите у Василия Васильевича.

Общий смех.

И в а н (*решительно заявляет*). Василий Васильевич не считается.

Сергей Иванович (*сидит еще за большим столом и до сих пор внимательно следил и за словами и за лицами. Молодежь, кажется, забыла о том, что он присутствует. Сейчас и Сергей Иванович вмешался*). А второе доказательство?

И в а н. Пожалуйста, второе! Катя, пять шагов вперед!

К а т я (*вышла вперед с игривой послушностью. Все на нее смотрят, она смотрит Ване в глаза и говорит негромко*). Ваня, у меня очень много...

И в а н. Нет, мы на тебя с другой стороны. Скажи, только правду, в глаза, какие недостатки ты простила бы своему любимому?

К а т я (*она понимает поэтическую ценность поставленного вопроса, и в ее голосе звучит хорошая эмоция*). Моему любимому?

В дальнейших вопросах, отвечая на них, Катя сначала говорит весело, с кокетливым раздумьем, вертя иногда

головой, потом нахмуливает брови и отвечает все более убежденно, серьезно и страстно. На последние вопросы вместе с нею шопотом отвечает и Шура.

И в а н. Да! Воровство простила бы?

К а т я. Что ты!

И в а н. Шкурничество...

К а т я. Нет!

И в а н. Пьянство...

К а т я. Нет!

И в а н. Хамство...

К а т я. Нет, нет!

И в а н. Разврат?

К а т я. Ни за что!

И в а н. Плохую работу?

К а т я. Никогда!

Общее воодушевление.

А л е ш а (*стукнул кулаком по столу*). Иван правильно сказал! Правильно сказал! Я на его стороне! Кто еще!

К а т я (*смотрит на Ваню благодарно, склонив голову чуть-чуть набок*). И я на твоей стороне, Ваня!

С е р г е й И в а н о в и ч (*поднялся за столом*). Я, как старый большевик, уже двадцать пять лет на твоей стороне.

И в а н (*с гордостью*). Вот видите!

Вдруг открылась дверь, и в дверях стал В а с и л и й В а с и л ь е в и ч.

К а т я (*не сходя с места, поворачивается к нему лицом*). Василий Васильевич, будьте добры, скажите, какие недостатки у Нади Горчаковой? (*Показала на Надю рукой*).

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*весело, но с гримасой осуждения махнул рукой*). Эх! Все вы одинаковы!

51. В каморке Нечипора на пристани. На пристани тишина и зной. В окно видны гладь реки и далекий лесной берег. По реке плывет лодка с парусом.

Н е ч и п о р (*читает по книжке*). Кра... Кра...

В о л о д я (*сидит против Нечипора, говорит с профессиональной уверенностью*). Вы сразу... Вы так... сразу!

Н е ч и п о р. Красная... Армия... эс... зорыко...

В о л о д я. Неправильно!

Нечипор. Чего ж там неправильно! Зорыко!

Володя. Неправильно!

Нечипор (*рассердился*). Да чего ты причепился? Смотри!

Володя (*не может больше скрывать теснящих его чувств*). А сегодня мой брат приезжает! Степан!

Нечипор (*его увлекает книга, а не брат Володи*). Нехай приезжает! Зор... ага! Зорко! Ох, ты... сто чортив! Зорко, окажется!

52. Берег реки подальше от поселка. У берега стоит лодка. Лес начинается несколько отступя от берега. На опушке леса на большом пне сидит Шура. Борис стоит против нее. Шура, подняв лицо, смотрит на Бориса с последним остатком надежды. Ей еще хочется верить его искренности. Борис ей попрежнему кажется великолепным. Вид у Бориса уверенный, даже гордый, и это придает ему определенную привлекательность.

Борис. Я хочу быть командиром! И буду!

Шура. И ты уедешь?

Борис. Шура! И тебе будет лучше!

Шура. А если... тебе не дадут командировку?

Борис (*презрительно*). А кому дадут? Ивану? Чертежнику? Командиром не всякий может быть! Дадут, как тепленькие!

Шура. Все равно... ты меня забудешь...

Борис (*присел к ней, обнял за талию*). Пойдем сегодня на танцы?

53. Балкон пристани, выходящий на реку. Нечипор шваброй моет пол. Вылетел на балкон Володя, обрадовался, что нашел Нечипора. За ним показался Петя.

Володя (*еще на бегу*). Нечипор, Нечипор!

Нечипор. Здравия желаю, товарищ учитель!

Володя. Смотри: приеду в три часа! На чем он приедет? (*Показывает телеграмму*).

Нечипор (*с охотой читает телеграмму. Он теперь вообще любит читать*). Ппприеду... Правильно, приеду... тери...

Володя. Да не тери, а три!

Нечипор. Та бачу: три, чего ты кричишь?

Петя. А на чем он приедет, вот интересно!

Нечипор (с лукавой игрой, продолжая мыть палубу). А то вже я знаю, на чем он приедет...

Володя. А ты скажи!

Нечипор. Эге! Скажи! А може то военный секрет!

Петя. Ну!?

Нечипор. А може то военный катер?

Володя. Военный катер?

Нечипор. Красная Армия зорко смотреть... Хэ! Чуешь?

Он повернул ухо к реке. Мальчики увлеченно прислушиваются. Слышен далекий звук мотора военного катера. Мальчики побежали по балкону. Слышен голос Володи.

Володя. С флагом, смотри: с флагом!

На балкон вошли Василий Васильевич и
Сергей Иванович.

Василий Васильевич. О! Эти уже здесь! И откуда пронюхали?

Володя (ухватил Василия Васильевича за рукав). Смотрите: Красная Армия! С флагом!

На реке видно, как стремительно быстро, вспенивая поверхность реки, глубоко зарываясь носом, развевая красный военный флаг, приближается катер.

Володя (очень страстно, он не находит слов). Ох, и здорово!

Сергей Иванович присмотрелся к нему, улыбнувшись, взял его за круглую голову, повернул к себе лицом.

54. Катер причалил к пристани. С катера ловко выскочил на пристань стройный высокий военный. Василий Васильевич подошел к нему.

Василий Васильевич. Товарищ Тарасов?

Тарасов. Да.

Василий Васильевич. Я главный инженер. Вот капитан канонерки — Заболотный.

Капитан Тарасов прикладывает руку к козырьку, пожимает руки встречающим. В этот момент Володя с разгону налетает на него, повисает на шее, задирая ноги.

Василий Васильевич (с укором). Володька!

Володька, оборачивая лицо, смеется Василию Васильевичу.

Володя. Мой брат!

55. Канонерка в затоне. На ней совершается большая работа. Палуба кое-где вскрыта, видно, как под палубой производится работа по укреплению оснований для орудий. Часть рабочих производит окраску канонерки, повиснув на стремянках. У будущей носовой пушки остановились Сергей Иванович, Василий Васильевич и капитан Тарасов.

Тарасов. Прекрасно. Завтра прибывает вооружение. Кранов у вас хватит?

Василий Васильевич. Хватит.

Сергей Иванович. И пробную произведем здесь.

Тарасов. А что же... Постреляем...

Иван (*подошел с чертежами, приложился к кепке*). Василий Васильевич, вы просили... рабочие чертежи.

Василий Васильевич. Ага! Вот посмотрите, товарищ Тарасов!

56. В каюте Сергея Ивановича. Хозяин угощает гостей чаем, но Тарасов увлечен рассматриванием рабочих чертежей Ивана. Он несколько раз тянется к стакану с чаем, но немедленно же забывает об этом. За его спиной стоит Иван и внимательно следит за его карандашом.

Тарасов. Электрическая подача. Об этом мы и не мечтали. Кто это сделал? Вы?

Иван (*серьезно*). Нет... это бригада...

Тарасов. Я вас знаю. Вы Ваня Зоренко. Я оканчивал, а вы были в пятом.

Иван. Да.

Тарасов. Замечательно! Да! А какие вы поставите моторы? (*Иван перевернул несколько страниц*). А хватит?

Иван. Должно хватить. Ведь здесь семидесятипяти-миллиметровка? Вес снаряда... килограммов.

Тарасов (*поднял голову*). Да... вы что? Артиллерист?

Иван (*смутился*). Нет... Интересно очень!

57. В той же каюте. Иван уже ушел. Тарасов, наконец, может пить чай.

Тарасов. Советская молодость — это благородная вещь!

Василий Васильевич. Это вещь — зеленая.

Сергей Иванович (*прошелся по каюте, вдруг задумался мечтательно*). Это вещь — завидная, очень завидная!

Василий Васильевич. Извините, я ничего не хочу им уступить. Я моложе их, так и знайте! Моложе. Они только зеленее!

Тарасов. Придется уступить, Василий Васильевич!

Василий Васильевич (*наконец, рассмеялся искренно, сбросив с себя всю свою суровость*). Ох, не хочется. Если бы вы знали, до чего не хочется.

Сергей Иванович смеется с увлечением, положил руку на плечо приятеля. Тарасов любовно рассматривает Василия Васильевича и улыбается.

58. Клубный парк на берегу реки. Вечер, начало гулянья. Невидная музыка играет вальс. По дорожкам проходят гуляющие. Под ручку идут Борис и Шура. Он в новом пиджачном костюме, очень элегантен.

59. Буфет в парке. За буфетной стойкой мать Бориса. Несколько столиков, публики в буфете еще мало. За одним из столиков Сергей Иванович и Василий Васильевич.

Мать. Чем вас угостить?

Сергей Иванович. Да что... по-стариковски... дайте пивка.

Василий Васильевич. Как ваш сын, соседка?

Мать. Плохо. Скорее бы уже уезжал в военное...

Василий Васильевич. А он... годится в военное?

Мать. А почему же не годится?

60. На скамейке в парке Катя и Гриша. Катя внимательно задорно посматривает на Григория.

Гриша (*говорит раздумчиво*). Борис вот едет в военное. Иван... ого! Иван, он чертовски способный. А я человек простой — шофер!

Катя. Дальше!

Гриша. Чем Борис лучше меня? Я никак не разберу... А только... Я за ним не угонюсь.

Катя. Ты лучше! Ты в миллион раз лучше.

Гриша (*посмотрел на нее с удивлением*). Как же

можно тебе верить. Ты же... ты умница, а говоришь такие глупости. Значит... неправду говоришь.

К а т я. Дело в другом... Дело в том, что ты совсем не умник.

Г р и ш а (*разочарованная правда в его словах*). Вот видишь...

К а т я. Гриша, через год я тебя поцелую...

Г р и ш а (*смотрит на нее с мужественным покоем*). Я могу ждать и десять лет...

61. Танцевальная площадка. На эстраде рядом заводской оркестр играет фокстрот. Пары кружатся на дощатом полу. Гораздо больше зрителей, чем танцующих. Зрители завидуют развязности и элегантности танцующих, но в то же время в чем-то осуждают их. В отдельной группе Алеша, Надя, Катя, Григорий, Иван. Недалеко от них наблюдают танец Василий Васильевич и Сергей Иванович. Рядом с ними капитан Тарасов.

Среди танцующих Борис и Шура. Борис танцует самозабвенно, выделявая подчеркнуто-задержанные па, волоча ноги и томно переворачивая в руках свою даму. Шура не столько танцует, сколько отдается власти Бориса и наслаждается его близостью.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*смотрит на танцы с презрением*). У меня от этого... изжога — разве это культура?

62. Две девушки с увлечением наблюдают танец Бориса и Шуры.

Первая. Как он танцует!

Вторая. Шурка... счастливая!

63. Борис и Шура в танце. Борис увидел группу вокруг Кати.

Б о р и с. Довольно, Шура!

Ш у р а. Еще немного.

Б о р и с. Нет, довольно!

Ш у р а. Ты с другой хочешь?

Б о р и с. Не танцевать же только с тобой.

Ш у р а. Еще немножко!

Б о р и с. Отстань! (*Он остановил танец и довольно*

грубо подвинул Шуру к краю площадки, немедленно здесь ее бросил и поспешил к Кате. Изогнувшись галантно, сказал). Катя!

К а т я. Я... не танцую... этого...

Б о р и с. Что вы!

С е р г е й И в а н о в и ч (*прислушался к разговору*). Вам не нравится, Катя?

К а т я. Нет.

С е р г е й И в а н о в и ч. А вам, товарищ Надя?

Надя лукаво посмотрела на Алешу.

А л е ш а (*задорно решил*). А хотите, мы вам покажем новый танец?

С е р г е й И в а н о в и ч. Какой такой новый? Откуда вы знаете?

А л е ш а. Никто еще не знает. А мы приготовили к празднику.

Надя. Что ты, Алеша! Нельзя показывать!

А л е ш а. Почему? Сейчас устрою. (*Он направился к оркестру*).

Надя. Алешка! Не надо!

А л е ш а (*возвращается*). Надя! Шикарно выйдет. Мы покажем этим...

Г р и ш а. Пижонам!

С е р г е й И в а н о в и ч. Интересно!

И в а н. «Веселый комсомолец»?

А л е ш а «Веселый комсомолец»!

И в а н. Ха! Где же моя дама?

К а т я. Твоя дама?

И в а н. Шура! Мой друг Шура!

Оркестр играет на эстраде.

Д и р и ж е р (*склонился к Алеше, помахивая машинально палочкой*). Сюрпризом же хотели.

А л е ш а. А мы сегодня... сюрпризом...

Д и р и ж е р. Идет.

64. Тишина. А л е ш а перед площадкой поднял руку.

А л е ш а. Товарищи! Сейчас мы вам покажем новый танец: «Веселый комсомолец»!

Публика зашумела, многие удивленно подвинулись к Алеше. Слышны возгласы:

— Какой?

— Откуда такой танец?

— «Веселый комсомолец»?

— Воображаю!

— А ну, жарь, Алешка!

— Давно слышали! Интересно!

Женский голос. Чепуха, наверное!

Алеша. Давайте круг!

Круг раздался. На круг выскочил Иван, он за руку тянет Шуру. Шура упирается. Иван дурашливо стукнул каблук по полу:

Иван. Эх, и танец же! Шура! Пожалуйте!

Шура. Я не в настроении.

Иван. Борька, скажись, а то у моей дамы настроение портится.

Борис. Я не мешаю. *(Он отошел к Кате, что-то зашептал ей на ухо)*.

Шура взглянула в его сторону и с хмурой решительностью пошла к Ивану.

Алеша взял Надю за руку и вышел на площадку. Надя взглянула на него с дружеским осуждением, но когда он стал на свое место и гордо поднял голову, она сверкнула улыбкой и с неожиданным кокетством приняла нужную позицию. Сергей Иванович закричал «браво» и засмеялся. Надя стрельнула на него глазами. Кругом стало весело.

Борис *(наклонившись к уху Кати)*. Захолустный балет!

Катя. Посмотрим.

Оркестр грянул танец. Его мотив настоящий танцевальный, очень веселый, с юмором, но в то же время и очень лирический, с чуть-чуть намечающейся грустью, немедленно уничтожаемой, как только она возникает в мотиве.

Первые па танца имеют характер задорного марша. Ни в какой мере танец не напоминает старых танцев. В нем нет чопорности вальса, пошлости польки, откровенности фокстрота. Это танец комсомольцев и при этом веселых. В нем много задора, бодрости, свободы, ловкого движения, и в то же время много нежности, кокетства и улыбки.

В первой паре танцуют Алеша и Надя. Алеша танцует строго, с нахмуренной бровью, требовательно, со скрытой, вызывающей мужской улыбкой. Надя, напо-

тив, обнаруживает богатейшую умную женственность. Она отдается танцу с хорошим намеком, как будто подчеркивая, что не уступит Алеше ни одной капли первенства, но способна сделать это весело и любовно.

Во второй паре Иван и Шура. Иван танцует раздольно-насмешливо, поддразнивая свою даму и увлекая ее в какой-то легкомысленный переплет. У Шуры нашлись прелестные выражения почти царственной гордости. Она серьезна, поглядывает на кавалера свысока, она печальна, но уже видно, что в танце доказываются богатства ее души и грации.

Танец захватил зрителей с первых своих движений. Публика сначала любит танцорами, потом начинает жадно присматриваться к ним, изучать танец.

К а т я. Какая прелесть! Это — наш танец!

Б о р и с. Пойдемте, попробуем!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*подчиняясь своей горячей натуре, вспомнив свою молодость, он не может смотреть спокойно*). Извините! Катя танцует только со мною!

К а т я. Конечно, только с вами!

Новая пара неожиданно очутилась на площадке. Алексей увидел, что-то крикнул весело. Василий Васильевич и Катя прибавили танцу новое содержание. Василий Васильевич толст, но тем очаровательнее его юмор и сдержанно улыбочивое ухаживание. Катя посматривает на своего кавалера с кокетливой лаской. У нее много настоящей чистой девичьей нежности. Василий Васильевич, может быть, ошибается в точности па, но зато он по-старинному свободен и не стесняется. Танцуя, он даже разговаривает.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Когда-то и я был грозой для вашего брата.

К а т я. Вы и теперь не безопасны.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Только в цеху, к сожалению, только в цеху.

В толпе зрителей засмеялись, загалдели, кое-кто ударил в ладоши. Оркестр оборвал музыку, раздались общие аплодисменты.

65. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч несколько манерно выводит свою даму из круга. Он по-старинному предложил ей руку.

К а т я (*радостно смеется*). Какой вы молодец, Василий Васильевич!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Я не молодец, я веселый комсомолец! Спасибо.

Он подвел Катю к Борису и сам направился навстречу овациям, которыми встречает его Сергей Иванович.

66. К а т я. Пить хочу.

Б о р и с. Буфет здесь. (*Они направились к буфету*).

Ш у р а смотрит вслед удаляющейся паре. Потом машинально побрела за ними, вошла в темную аллею, потеряла их из виду, опустилась на скамью и вдруг, склонившись на спинку, заплакала.

67. У буфетной стойки очередь.

Б о р и с. Вам чего?

К а т я. Я сама.

Б о р и с. Да зачем же..

68. У буфета. По одну сторону м а т ь, по другую — Б о р и с.

Б о р и с (*тоном обычного распорядка*). Мама, дай бутылку сидро.

М а т ь (*как будто ее спрашивали только о цене*). Восемьдесят пять копеек.

Б о р и с (*приглушенно*). Я тебе потом отдам.

М а т ь. Сейчас плати.

Б о р и с. Да у меня нет.

М а т ь (*строго, негромко*). Значит, обойдешься без сидро.

Среди публики все-таки услышали этот разговор. Засмеялись.

Г о л о с. А ты из бочки напейся, там бесплатно.

Б о р и с (*обошел стойку, приблизил лицо к матери, зашипел*). А я тебе говорю, дай, что ты меня позоришь!

М а т ь (*упорно смотрит ему в глаза*). Без денег не дам.

Б о р и с. Не дашь, не надо. (*Он не спеша, свободно, как свою, взял из ящичка бутылку и ушел. Мать положила руку на лоб*).

Г о л о с. Это сынок? Героический сынок.

С е р г е й И в а н о в и ч (*из очереди*). Это он для меня, получите. (*Он положил на стойку деньги*).

69. К Кате подходит Борис. В руках у него бутылка.

Борис (*говорит с деланным оживлением*). Только... как открыть?

Катя. А стакан?

Подошел сбоку Сергей Иванович, молча протянул руку.

Борис. А что такое?

Сергей Иванович. Отдай бутылку. Я все видел.

Борис (*не может не отдать, он боится Сергея Ивановича, но и отдать не может, ему стыдно перед Катей*). Я... не понимаю...

Сергей Иванович (*молча берет у него из рук бутылку, достает из кармана стакан и протягивает Кате*). Держите.

Катя, не понимая в чем дело, взяла у него стакан. Из другого кармана Сергей Иванович вынимает штопор. Борис стоит молча и неподвижно смотрит в сторону буфета. Сергей Иванович открыл бутылку, налил Кате.

Катя посмотрела на Бориса вопросительно. Он отодвинулся в сторону.

Сергей Иванович (*улыбается*). Напоить девицу водой... тоже нужно уметь... Хочешь?

Этот вопрос относится к Борису. Борис отрицательно и обиженно вертит головой.

Катя. Спасибо. (*Она еще посмотрела на Бориса*). Что случилось, никак не пойму...

Сергей Иванович. Да ничего особенного. Все, можете продолжать дальше, молодой человек!

Катя, удивленная, трогается к выходу. Борис поправил кепку и сумрачно пошел за ней. Но через несколько шагов он, как ни в чем не бывало, говорит ей:

Борис. Здесь замечательная аллея. Пройдемся!

70. Шура сидит одна на скамейке. Она уже наплакалась и теперь только вздыхает про себя. Возле той скамейки, на которой она сидит, темно, но возле следующей скамейки по аллее горит фонарь. К этой именно освещенной скамье подошли Катя и Борис. Их Шура хорошо видит и слышит голоса.

Борис грубовато взял Катю за руки, она вырвалась и удивленно отодвинулась.

К а т я. Товарищ Орлов!

Б о р и с. Вы мне нравитесь!

К а т я. Мало ли кому я нравлюсь?

Б о р и с (*обнаглел. Он считает, что так нужно действовать. Он протянул руку, чтоб взять ее за талию. Она отступила*). Я вас поцелую...

К а т я (*с громким изумлением*). Борис, вы же хотите в военное училище!

Б о р и с (*с кокетливой развязностью*). А военные что... не любят?

К а т я. Это у вас называется любовью?

Б о р и с. Называется... А как же называется.

К а т я. Вы и Шуру... так любите?

Б о р и с. Ну ее к дьяволу, Шуру! (*Он быстро обнял Катю и привлек к себе*).

К а т я (*отталкиваясь от его груди, она тихо вскрикнула*). Пустите!

Б о р и с. Не ломайтесь, Катя!

К а т я. Я закричу! Слышишь, болван! (*С неожиданной силой она толкнула его, и он упал на скамейку. Она сказала с гневом*). Хамик!

Борис вскочил на ноги, но не решился подойти к ней. Она быстро повернулась и направилась по аллее, но пройдя несколько шагов, обернулась.

К а т я. А скажите, бутылку эту... вы украли?

Он смотрит на нее угрюмо. Она пошла дальше и сказала, не оборачиваясь, как будто про себя.

К а т я. Бедный! Сколько неудач за один вечер.

Она ушла, еще долго видно в темной аллее ее белое платье. Борис заложил руки в карманы пиджака, обтягивая его на своем заде, и не спеша двинулся в противоположную сторону.

Проходя мимо скамейки, на которой сидит Шура, он остановился и сбоку посмотрел на нее. Она давно сидит, положив руку на спинку скамейки, а на руке пристроив голову. Может быть, плачет, может быть, кусает руку у локтя.

Борис секунду смотрел на Шуру, потом с досадой махнул рукой, одернул пиджак и ушел по дорожке. Шура не посмотрела в его сторону.

71. Открытый ресторан. А л е ш а и Н а д я за столи-

ком. Подошел Б о р и с, хмуро посмотрел, присел на незанятый стул, сказал хрипло.

Б о р и с. Алеша! Одолжи трешку! *(Алеша достал кошелек, протянул Борису кредитку. Борис положил ее на стол, застучал по ней пальцами, о чем-то раздумывая. Подошел официант, Борис сказал ему угрюмо).* Рюмку водки и бутерброд! *(Официант ушел. Опираясь локтем на стол, Борис неудобно повернул к Алеше лицо).* Алеша, ты должен помочь, я здесь не могу больше оставаться.

А л е ш а. Почему?

Б о р и с. Не могу! Здесь все на меня! *(Официант принес водку и бутерброд). Эх! (Борис безнадежно махнул рукой и выпил. Забыл закусить).* Ты должен мне помочь, Алеша. По-комсомольски.

А л е ш а *(требовательно)*. Слушай, Борис, не ломайся!

Б о р и с. Да как же я...

А л е ш а. Закусывай!

Б о р и с. Это не имеет значения...

А л е ш а. Закусывай, тебе говорю!

Б о р и с *(обмяк, покорился)*. Ну... хорошо. *(Он начал есть. Надя улыбнулась. Он заметил улыбку).* Вам смешно! *(Это он постарался сказать с мягким укором).*

Н а д я. Ты просишь помощи, как будто у тебя несчастье случилось.

Б о р и с. Все на меня!

А л е ш а. Ничего подобного. Против тебя только один человек.

Б о р и с *(с живейшим интересом)*. Кто?

А л е ш а. Комсомолец... один...

Б о р и с. Кто?

А л е ш а. Борис Орлов!

Б о р и с *(он понял слова Алешы, как призыв к хорошему поведению)*. Я все сделаю! Алеша, я все сделаю! Дай только командировку в военное. В этом моя жизнь.

А л е ш а. Не я даю... дает организация.

Б о р и с. Организация даст... Только ты не мешай... *(Алеша улыбнулся наивности Бориса, но Борис эту улыбку понял как обещание. Он весело поднялся со стула, протянул руку).* А за Бориса Орлова будь покоен, он не подкачает. До свидания. *(Он сделал шаг от стола,*

но снова повернулся к столу). И знай... знай... лучше кандидата у нас нет...

72. Ночь. На берегу реки. За рекой — над лесом луна. По берегу бредет Шура. Остановилась, задумалась, посмотрела на реку. Села на опрокинутую лодку.

С реки плеск весел. Плывет на лодке Нечипор и напевает «Партизанскую». Толкнулся в берег, оглянулся.

Нечипор. А кто это тут?

Шура. Это я, товарищ Нечипор!

Нечипор (с лодки подошел к ней). Скучаете... или, может, так сидите?

Шура (слабо улыбнулась). Все равно.

Нечипор (набивая трубку). А где же молодой человек, товарищ начальник?

Шура молчит, отвернулась, опущенной рукой царапает смолу лодки.

Нечипор. Мабудь... уже... той, оттолкнулся от берега, га?

Шура быстро вытерла слезу, встала, сделала шаг в сторону.

Нечипор (зажег спичку. Осветил свое небритое лицо). А от... по той... постойте! От я вам шось скажу... (Он хлопнул рукой по лодке и сам уселся, раскуривая трубку. Шура послушно села рядом с ним. Нечипор склонился к коленям, пыхает трубкой, говорит не спеша, задушевно). От бывает... плачет дивчина, рыдает, слезы льет... думает сдуру: ой, какая беда, ой, какое горе, несчастне коханья! Вроде как бы в речку стрыбать, або петлю на шею.

Шура. А так разве не бывает?

Нечипор. Ото ж и кажу... А на самом деле, ставь, серденько, могоарыча, та и старого Нечипора почастьуй на радостях.

Шура. Да какая ж радость, товарищ Нечипор!

Нечипор. А такая радость, что и сказать не можно. Живешь ты на свете, молодая, красивая, не батрачка, не беднячка, службу советскую выполняешь, якого биса тебе не хватает? Може молока соловьиного?

Шура (ей нравятся надежные слова Нечипора, только в одном пункте для нее что-то неясно. Она говорит с некоторым трудом, касаясь интимной темы, но Не-

чипор сидит рядом с ней, как хорошая судьба, перед которой нечего стесняться). А любовь, товарищ Нечипор?

Нечипор (*выбивая трубку*). Та кто ж тебя не полюбит? Разве ж найдется такой остолоп? Выбирай, кого хочешь!

Шура. Я уже выбрала.

Нечипор (*такого вопроса он ждал. Он отвечает на него с убежденной небрежностью, поднимаясь с лодки*). Та куды он годится! То ж разве тебе пара. Скажи спасибо, что вырвалась. Он же еще человек... такой... вроде... ни в себе... Выбрала... То ж просто... осечка произошла. (*Он стоит перед Шурой и добродушно посмеивается, оглядываясь на луну. Шура зачарованно смотрит на него, но улыбаться ей еще не хочется. Пауза. И вдруг Нечипор говорит медленно*). Он же... спекулянт... той Борис...

Шура. Спекулянт?

Нечипор. Конешно... Он же только для своей души...

Он совсем уже обернулся к луне. На луну засмотрелась и Шура, подперев голову руками.

73. Утро в доме Орловых. Петя закончил завтрак и начинает собирать удочки. За столом Лена. Мать встала из-за стола.

Мать. Чай не выпил. Куда ты спешишь?

Петя. Мама, так сейчас Володя придет.

Мать. Володя... какое событие...

Из второй комнаты выходит Борис. Он в черных брюках и в ночной рубаше. Руки в карманах, голова всклокочена.

Борис (*остановился в дверях*). Разве ты мать? (*Общее молчание*). Из-за восьмидесяти копеек ты вчера меня опозорила перед всеми. Какая ты мать? Ты буфетчица! Все сволочи!

Мать отступила к окну и с тупым вниманием смотрит на Бориса. Петя с удочками в руках выступил, гневный, вперед.

Петя. Что ты сказал? Что ты сказал?

Борис посмотрел на него сверху презрительно, потом быстрым толчком бросил Петю к дивану. Петя полетел, зацепился за стул, но удержался на ногах и, размахнувшись, ударил Бориса тупыми концами удочек по голове.

Лена громко закричала, мать закрыла лицо руками. Петя повторил удар. В дверях появился Володя с удочками. Оправившись от неожиданности, Борис схватил Петю за плечо и размахнулся кулаком, но в этот момент на него обрушились удочки Володи.

Володя. Петька! Не поддавайся!

Мальчишки молотят Бориса, удочки их переломились, но короткими концами им действовать еще удобнее. Борис пытался поймать одного из них, но это сделать трудно, мальчишки легко уклоняются от его рук. Мать бросилась вперед, чтобы остановить детей, но она боится их оружия.

Из сеней вошли Василий Васильевич и Сергей Иванович. Борис, получив один особенно удачный удар Володи, скрылся во второй комнате, закрыв дверь.

Василий Васильевич. Володька!

Володя *(стоит перед дверью, упоенный победой)*. Спрятался! Ага!

74. Во второй комнате. За вторым окном сидит Борис, опустив голову на руки. Мать сидит на кушетке и хочет плакать. Сергей Иванович и Василий Васильевич стоят.

Борис. Все меня травят, все: мать, комсомол, все! А помочь никто не хочет.

Сергей Иванович. Ну, хорошо, мы поможем. Как?

Борис. Мне нужна командировка в военное училище. Уеду, всем будет лучше! Помогите! А то на словах все хорошие.

Сергей Иванович. А скажи... вот так по совести. Ты — достоин военного училища?

Борис. А кто достоин? А чем я хуже других...

Сергей Иванович. Не знаю... Но вот вчера я видел... с бутылкой этой...

Борис. Не ваше дело... Я бутылку взял у матери...

Сергей Иванович. Мать не тебе служит, а нам...

Борис. Кому это...

Сергей Иванович. Ты никаких прав на мать не имеешь...

Борис. Ну... вот всегда такие разговоры!

75. Первая комната. Петя и Володя о чем-то шепчутся у окна. Лена, грустная, сидит у стола.

Петя. И пускай едет!

Володя. Разве такие военные бывают?

Вышел Борис. Мальчишки притихли, зажали в руках удочки. Борис молча прошел наружу.

76. Василий Васильевич и Сергей Иванович у себя в комнате.

Сергей Иванович. А что делать?

Василий Васильевич. Никаких нежностей! Никакого прощения! Почему жалеть Бориса, а не жалеть мать, ее детей, эту самую Шуру, эту самую пристань? Почему? Что это за благотворительность?

Сергей Иванович. Постой, постой...

Василий Васильевич. Не хочу стоять! Не хочу терпеть! Не хочу!

77. Заседание бюро комсомольской организации с активом. Заседание происходит в театральном фойе. За столом президиума Алеша, Иван, три-четыре комсомольца, Тарасов. В зале среди других комсомольцев: Шура, Надя, Борис, Григорий. У стены сидят Василий Васильевич и Сергей Иванович.

Алеша. Слово имеет Борис Орлов.

Борис (*выходит вперед, заметно волнуется, тербит шевелюру. Говорит, высоко держа голову, держась за спинку стула*). Товарищи! Я с самых малых лет мечтаю быть в Красной Армии. Для меня это не только мечта, но и самая высокая честь...

78. Василий Васильевич рядом с Сергеем Ивановичем.

Василий Васильевич (*добродушно ворчит*). Насобачились говорить... никакого спасения!

79. Борис (*заканчивает*). А если были у меня ошибки, я уверен, Красная Армия исправит их. Я прошу, товарищи!

Он кончил свою речь. В зале пробежал шум каких-то местных разговоров. Борис пошел на место. Кто-то, мимо которого Борис проходит, говорит ему по-приятельски:

Г о л о с. Не робей, Борис, поедешь...

А л е ш а. Слово предоставляется Наде Горчаковой.
На д я пошла к столу президиума.

80. С е р г е й И в а н о в и ч и В а с и л и й В а с и л ь е в и ч.

С е р г е й И в а н о в и ч. Хорошая девка!
В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Все одинаковы!

81. На д я. У Бориса есть, конечно, ошибки, но в общем он не плохой парень. А у нас нет других кандидатов.
Г о л о с. Здесь все кандидаты!

А л е ш а. К порядку! Возьми слово и говори. Продолжай, Надя!

82. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Это... досада... Такого подлеца, смотри еще командируют.

83. К а т я (*на месте оратора*). Кто это не плохой парень? У тебя, Надя, христианская душа или комсомольская? Он плохой парень, и плохой комсомолец, и плохой сын, и плохой друг, и плохой работник. Спросите Сергея Ивановича, спросите Нечипора, спросите мать, спросите Шуру.

Б о р и с (*с места*). Прошу без намеков!

К а т я. Я и не намекаю. Я в глаза говорю.

Б о р и с. Ты меня утопить хочешь!

К а т я. Хочу.

А л е ш а. Товарищ Катя, как это утопить?

К а т я. Я в переносном смысле.

А л е ш а. И в переносном нельзя!

К а т я. Хорошо, беру свои слова назад. А только пусть Борис еще подождет, а в военное училище нужно послать самого лучшего товарища.

Г о л о с с м е с т а. Кого ты предлагаешь?

К а т я. Очень многих могу предложить. Пожалуйста: Иван Зоренко...

На своем месте поднялся Василий Васильевич, протянул руку.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Э, нет, товарищи, протестую.

А л е ш а. Вы отвод делаете?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Отвод, конечно.

А л е ш а. Почему?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Да с кем же я останусь?

А л е ш а. Такие отводы потом...

К а т я (*продолжает*). Василия Леснова...

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*решительно вскочил*). Нельзя же так: то Зоренко, то Леснов, Леснов у нас лучший токарь!

А л е ш а. Не перебивайте, Василий Васильевич!

84. На своем месте В а с и л и й В а с и л ь е в и ч возмущенно бурчит.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. С ума сошла, треклятая девка. То Зоренко, то Леснов!

Слышен голос К а т и.

К а т я. Или Семена Овчинникова.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*опять подскочил, как ужаленный*). Послушайте, Катя, это вы нарочно говорите?

К а т я. Нарочно!

Общий смех.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Овчинников! Овчинников выполняет норму на 500 процентов! (*Аплодисменты. Василий Васильевич доволен, он считает, что аплодисменты относятся к его протесту. Сел на место. К Сергею Ивановичу*). Вы слышали? Она нарочно! До чего бестолковый народ!

Г о л о с К а т и. Алеша Грузинцев, Гриша Волосатый!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*снова вопит на весь зал*). Это издевательство! Это просто... Вы знаете, какой Алеша револьверщик, какой Гриша шофер? У Гришки машина прошла двести тысяч километров на одном профилактическом...

А л е ш а. Хорошо. Кого же вы предлагаете?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Я? Кого я предлагаю? Сейчас! (*Он оглядывает зал. Его встречают смеющиеся лица. Он тихо говорит, обращаясь к Сергею Ивановичу*). Ну... кого я предложу. Они вон смеются! (*Громко*). Да кого же... Ну, вот и пошлите этого самого Бориса.

А л е ш а. В военное училище?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Ах, в военное? Нет, куда он там в военное...

И в а н. «Ах» — это не терминология, Василий Васильевич.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*окончательно смущен*). Не терминология? Совершенно верно... (*Тихо соседу*). Вот вам... советская молодежь! Даже мне заморочили голову. Это чорт его знает...

85. А л е ш а. Товарищи! У нас дело государственное, и я прошу с места не говорить. Слово капитану товарищу Тарасову.

Т а р а с о в. Ленинский комсомол, советская молодежь везде на каждом шагу, на каждом квадратном метре нашей земли совершает трудовые, военные, летные, человеческие подвиги. Вы все слышали сейчас, как горячо отзывался о нашей молодежи главный инженер Василий Васильевич!

86. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*поднял голову, страшно удивлен*). Что он там такое? Это я горячо отзывался?

Сергей Иванович. Конечно, вы!

Василий Васильевич. Когда?

Сергей Иванович. Да только что.

Василий Васильевич. Да что вы... смеетесь?

Сергей Иванович. Смеюсь. (*Он и в самом деле смеется*).

Голос Тарасова. Борису нужно подождать, он еще слабоват, он не умеет уважать даже самого себя, не говоря уже о других.

Крик Бориса. Неправда, я уважаю... кого следует...

Голос Тарасова. Я поддерживаю кандидатуру Григория Волосатого. Крепкий человек, настойчивый, широкий и скромный...

Аплодисменты, овация. В разных местах ошеломленно поднялись головы Гриши и Василия Васильевича.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Вот вам! Пожалуйста! Я горячо отзывался? Да? Наш гараж без Гришки не стоит ломаного гроша...

Сергей Иванович. А Семен? А Егор?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*устало опустился. Больше он спорить не может*). Считайте! Вы все мастера считать... Этим дай волю, они всех командируют куда-нибудь...

87. На освещенную фонарем площадку перед входом в клуб вышли Василий Васильевич и Катя.

Василий Васильевич (*возмущенно жестикуют, машет головой вниз*). Какой Гришка военный! Гришка механик! А вы приехали... наговорили, наговорили! И капитан! Прямо не понимаю. Умный человек.

Катя идет рядом, внимательно посматривает, куда ступают ее ноги, изредка бросает лукавый взгляд на Василия Васильевича. Он не видит ее выражения.

Катя. Я больше не буду, Василий Васильевич.

Василий Васильевич. Рассказывайте!

Навстречу им неожиданно из темноты вышла фигура Бориса. Он загородил дорогу.

Борис (*угрюмо*). Мне нужно поговорить с Катей.

Василий Васильевич. Эге! Без меня тут дело не обойдется!

Борис. Вас никто не просит. Мне нужно с Катей.

Василий Васильевич. Придется быть непрощеным.

Борис. Да все равно! Ты меня хотела утопить? Радуйся! Своего приятеля устроила? Он лучше меня? Вы все хорошие? Без недостатков!

Катя. Чего ты хочешь?

Борис. Я хочу... я хочу... чтобы ты знала. Если что случится, так это из-за тебя.

Катя. Что случится?

Василий Васильевич. Собственно говоря, все понятно. Мы будем знать, что если что случится, так это из-за нее. Так?

Борис. Так.

Василий Васильевич. Хорошо. Больше ничего не скажете?

Борис. Ничего. Прощайте! (*Он произнес это с трагическим дрожанием голоса и уступил дорогу*).

88. Ясный солнечный день. Берега реки наполнены народом. Пристань в флагах. В одном месте на берегу сооружена трибуна, тоже украшенная флагами. На трибуне оратор говорит речь, которой не слышно. Слышно после речи общее «ура».

На реку из затона выходит канонерка, расцвеченная флагами. Она блестит новизной красок, свежими пуш-

ками, свежими флагами. Краснофлотцы выстроились в шеренгу лицом к берегу. На капитанском мостике Сергей Иванович.

Раздается три пушечных выстрела. Это канонерка салютует заводу, который помог ей закончить перевооружение. Потом канонерка останавливается и спускает трап. От берега спешат к ней лодки и моторки.

89. На канонерке. У носовой пушки выстроились Иван, Катя, Шура, Алеша и Надя. Против них стоят Тарасов, Сергей Иванович, Василий Васильевич, секретарь партийной организации завода и три краснофлотца.

Сергей Иванович (*вышел вперед*). Долго говорить не будем. За нас за всех скажет секретарь партийной организации завода товарищ Огнев.

Огнев. Друзья-комсомольцы! Здесь не митинг, не общее собрание. Вечером, в клубе, мы будем говорить перед всем народом. А сейчас у этой пушки — место деловое и ответственное. То, что вы сделали, даже не подлежит оглашению. Ваша бригада никому не известна, да и сама за славой не гонялась. Вы ничего не изобрели, вы не поразили мир секретным открытием, — все гораздо проще и гораздо дороже. В такое небольшое дело, как ремонт канонерки — маленького военного судна — вы вложили много души, много любви, находчивости, честности, любви к Родине. А за вашей бригадой шел и весь завод. Поэтому и хочется вас особенно поблагодарить, пожать вам руки и порадоваться. Вы замечательные люди, и за вами стоят тысячи таких же замечательных, по-новому благородных людей. И сама наша «Буря» и вся наша Красная Армия нужны только для того, чтобы защищать таких людей, как вы, чтобы защищать жизнь, создающую таких людей. Спасибо вам от имени партии, от имени советского общества.

Огнев пожал руки юношам и девушкам. Потом подошли с пожатиями Сергей Иванович и Тарасов, потом подошли краснофлотцы, все смешалось в приветственном гуле.

Сергей Иванович. Приезжайте к нам на пристрелку.

90. Отдельно у борта канонерки стоят капитан Т а р а с о в и Ш у р а.

Т а р а с о в. Я хорошо вас помню маленькой, маленькой. Ведь вы наши соседи.

Ш у р а. Мне говорила мама.

Т а р а с о в. Вы молодцы — ваша бригада. Я любовался вашей работой! Но скажите... я не знаю...

Ш у р а. Пожалуйста.

Т а р а с о в. Говорят, мне говорили... вы замуж выходите, за этого... за Бориса...

Ш у р а. Нет... я не выхожу.

Т а р а с о в. Вы знаете... Он... слабый человек... Простите...

Ш у р а. Спасибо... Я знаю... Только... надо ж и ему помочь... Правда?

До сих пор капитан говорил с особенно теплой, осторожной вежливостью, подчеркнутой, поддержанной его подтянутостью, мужеством и силой. Шура слушала его сначала смущаясь, потом с благодарностью за внимание, а в конце разговора она поняла, что это большой души человек и, глядя в глаза, заметно волнуясь собственной открытой искренностью, она предложила ему тему помощи Борису.

Тарасов что-то новое услышал в ее тоне, в ее словах. Он внимательно посмотрел на Шуру, нахмурил брови.

Т а р а с о в. Да... Ему нужно помочь... Но его нельзя опекать, от него нужно больше требовать... Комсомольское собрание для него хороший урок...

Ш у р а (*соображает, не находит точных слов*). Он может с собой что-нибудь сделать.

Т а р а с о в. Вы его любите?

Ш у р а. Люблю.

Т а р а с о в (*низко наклонился к Шуре, прощаясь и пожимая руку*). Вы даже представить себе не можете, как я вам благодарен.

91. Раннее утро. Б о р и с один сидит на перевернутой лодке. Смотрит на восходящее солнце. По реке плывет косматый туман. Вдали сигнал парохода. Проходит мимо Н е ч и п о р.

Н е ч и п о р. Доброго утра!

Б о р и с (*холодно, однотонно*). Нечипор!

Нечипор. Ага ж!

Борис. Пароход ты принимай. И вообще я туда не приду.

Нечипор. А как же оно будет?

Борис. А это не мое дело... У меня свои дела.

Нечипор один стоит на берегу. Думает. То же утро.

Нечипор. Хэ! Какие ж там у него свои дела?

92. Далеко с реки доносятся пушечные выстрелы пристрелки. На берегу оживление. Несколько лодок готовы к походу. На лодках молодежь и старики. У них свертки с провизией, бутылки с чем-то, удочки. В одной из лодок музыканты уже играют что-то веселое. На первом плане две моторки — Василия Васильевича и капитана Тарасова.

У первой моторки Иван, Гриша, Катя, Надя, Шура, Алеша, еще несколько комсомольцев. Все в праздничных костюмах.

Иван. Гриша, минимальную дозу Кати... можно на пять минут. Честное слово, по делу...

Гриша (*играючи, важно*). Подумаю.

Иван. Гришка, нельзя же все тебе одному... и военное училище и Катя!

Гриша. Уже согласен.

93. В сторонке Катя и Иван.

Иван. Ты на третьем курсе?

Катя. На третьем.

Иван. Это разве справедливо: я буду на два курса ниже.

Катя. Ты догонишь... только ни в кого не влюбляйся.

Иван. Да за этим Гришкой разве поспеешь...

Катя. Значит, догонишь...

94. В комнате Орловых. Мать и Василий Васильевич. Мать сидит у стола. Василий Васильевич ходит по комнате.

Василий Васильевич. Убиваться вам нечего. Вон Петька растет — первый сорт будет!

Мать. Ведь Борис тоже кровный.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Это хорошо, что Борис попал в переплет. Это очень полезно. Советская жизнь, она знает, что делает... Да где это мои... эти... собутыль-ники?

М а т ь. А вот они идут, кажется.

Вламываются в комнату В о л о д я, П е т я, за ними Л е н а.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*деланное недовольство*). Ждешь, ждешь, а они где-то ходят...

В о л о д я. Зато червяки, смотрите, какие!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. А грузила?

П е т я. Все уже в моторке! И удочки, и все!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Вот энергия!

95. Они ушли. М а т ь сидит одна. Задумалась. Через первую комнату прошел Б о р и с, ничего матери не ска-зал, прошел во вторую комнату, закрыл дверь. Мать тре-возжно посмотрела ему вслед...

96. М а т ь попрежнему одна. Книга лежит перед ней, но она больше прислушивается к тому, что делается во второй комнате. Вошел и замер в дверях капитан Т а р а с о в.

Т а р а с о в. Мне нужно видеть товарища Орлова.

М а т ь. Бориса?

Т а р а с о в. Да.

97. Б о р и с стоит перед капитаном удивленный, но еще не успевший согнать с себя выражение сумрачной хмурости.

Т а р а с о в. Я прошу вас проехать со мной на моторке, мне нужно посмотреть фарватер. Говорят, вы хорошо его знаете. (*Капитан говорит вежливо, но тоном, не допускающим возражений*).

Б о р и с (*вздыхнул и сказал глухо*). Хорошо. (*Он ле-ниво потянулся рукой к кепке, сам он сейчас в белой ко-соворотке*).

Т а р а с о в. Я прошу вас надеть форменный костюм.

Б о р и с (*с некоторой усмешкой*). Почему?

Т а р а с о в. Я не люблю распушенности на военном судне.

Б о р и с. Это же катер.

Т а р а с о в. Военный катер, товарищ!

Тарасов сказал это с такой скромной внушительностью, что Борис вдруг поспешил покраснеть и бросился к своей форме. Он даже ухватил на окне щетку и что-то снял с рукава. Капитан следит за ним очень внимательно, он чуть-чуть улыбнулся, и эту улыбку поймала м а т ь. Она смотрит на Тарасова с надеждой, сама не зная, в чем она заключается. Тарасов поклонился ей. Особенно душевно сказал.

Т а р а с о в. Желаю вам всего хорошего.

98. Моторка Василия Васильевича бежит по реке, обгоняя лодки. За рулем стоит Гриша. Все облепили хозяина. Только Володя и Петя больше интересуются видами и берегами.

Василий Васильевич. Это что ж такое! Григорий уезжает, Катя уезжает и Иван уезжает. Это все вы наделали?

К а т я. Я.

Василий Васильевич. Трагедия! В таком случае, возьмите и меня куда-нибудь. Я тоже хочу уехать.

Володя *(от борта громко)*. А мы не согласны!

Василий Васильевич. Новости! С чем вы не согласны!?

Володя. Чтобы вы уезжали.

Василий Васильевич. Почему?

Володя *(сначала хотел назвать какую-то причину, но затруднился в ее определении и сказал смущенно)*. Это наше дело. *(Более смело, в поисках поддержки)*. Правда, Петя?

Петя *(совершенно серьезно)*. Конечно, это наше дело.

Л е н а. И мое тоже дело.

Василий Васильевич *(смотрит на детей любовно-сердито)*. Вот видите! Кого вы мне оставляете! Это же изверги!

99. На военной моторке, далеко обогнавшей все остальные суда. У руля стоит краснофлотец. Т а р а с о в и Б о р и с на носу. Тарасов все время говорит сухо, вежливо, внушительно и в то же время с постоянным оттенком мужественной теплоты.

Т а р а с о в. Там мель?

Б о р и с. Глубина 50.

Т а р а с о в. А ширина прохода?

Б о р и с. Метров двадцать.

Т а р а с о в. А с той стороны?

Б о р и с. Там нельзя пройти.

Т а р а с о в. Вы замечательно знаете реку.

Б о р и с. С детства на этой реке.

Борис как будто забыл о своих переживаниях. Ему импонирует и военный катер, и тон Тарасова, и он поневоле отвечает так же вежливо-внимательно, обдумывая вопросы, и совершенно забыв о каких бы то ни было фактах.

Некоторое время Тарасов молча смотрит на реку, уносящуюся под нос катера и, наконец, говорит тем же тоном.

Т а р а с о в. Я знаю о ваших неприятностях и о ваших ошибках. Молчите, прошу вас. Я предлагаю вам перейти на работу в мое управление. Будете всегда на реке — должность маленькая, но очень ответственная — проверка перекатов. Предупреждаю — терпеть не могу лени, позы, болтовни. И кроме того, матери должны помогать.

Б о р и с (*смят словами Тарасова, но по привычке не может отказаться от хвастливого риторизма*). Я очень благодарен, но... мать... разве это относится к службе.

Т а р а с о в. Да, относится. В Красной Армии не выносят хамов. Дадите ответ через полчаса.

Борис замер перед настойчивым и красивым требованием Тарасова, но что-то подсказало ему, что волынить и позировать больше нельзя ни минуты. Он серьезно взглянул на Тарасова, снял фуражку.

Б о р и с. Товарищ Тарасов! Я не знаю, почему. Почему... так незаслуженно... Я страшно вам благодарен...

Т а р а с о в. Хорошо. Очень хорошо. А обязаны вы не мне, а вашим друзьям, которые думают о вас больше, чем вы о них, и больше, чем вы заслужили.

Катер подошел к канонерке. Теперь очень гулко раздаются ее пристрелочные выстрелы. На противоположном берегу уже расположился лагерь рабочих и краснофлотцев. Играет музыка, и пары танцуют «веселого комсомольца».

100. Пароход «Рылеев» отходит. Дал два гудка. Последняя суетня. Борис спешит проститься с Шурой, с матерью. Он поцеловал мать и подошел к Шуре.

Борис. Шура, на два слова. (*Шура отошла с ним в сторону*). Я тебя люблю. Так и знай.

Шура. Через год, если ты это самое скажешь, тогда я тебе отвечу.

Борис. Спасибо. (*Это он сказал и со стыдом и с радостью, он сам еще не может разобраться, на какой опыт он сегодня уезжает.*)

Он побежал на пароход. Шура осталась серьезная, но спокойная, готовая к жизни, вооруженная новой мудростью. Но серьезной ей не пришлось быть долго. Откуда-то вынырнул Иван и закричал.

Иван. Тебя все ищут. Там же Гриша хочет тебя поцеловать. Он же не может... (*Григорий прибежал, схватил Шуру в объятия, поцеловал.*) Ой, сколько хлопот! Где Катя? (*Катя стоит на палубе парохода. Возле нее обнаружилась вся компания. Иван панически кричит им.*) Долой кустарщину. Я не могу управиться с событиями. Последнее безобразие, Василий Васильевич.

Василий Васильевич (*из-за чьего-то плеча*). Что такое?

Иван. Сплошное безобразие (*Иван говорит действительно возмущенным тоном, все начинают ему верить*). Из-за угла!

Василий Васильевич. Да что случилось?

Иван. Алешка и Надька сегодня записались в загсе!

Алеша и Надя стоят в толпе провожающих и невинно улыбаются.

Крики:

— Это действительно!

— Подлость какая!

— Да разве они что!

— Ой, какие потайные звери!

— Да поздравляйте их скорее! (*Кричит Иван.*)

Василий Васильевич. Стойте! Стойте! (*Тишина. Серьезно озабочен.*) Но вы не уезжаете, надеюсь?

Алеша. Нет.

Василий Васильевич (*успокоенно*). Ну, тогда ничего.

Аплодисменты. Хохот, прощание, поцелуи.

Капитан парохода (с мостика). Даю третий, где начальник!?

Откуда-то из-за дверей конторы выскочили ошеломленные событиями В о л о д я и П е т я и закричали:

— Новый начальник идет! Новый начальник!

И в а н заметался на палубе. Вышел к пароходу Н е ч и п о р в форменной тужурке и фуражке. Молодежь закричала:

Хай живе новый начальник товарищ Нечипор!

Нечипор не ожидал оваций, но ему улыбаются, аплодируют, между торжествующими и Б о р и с. Мальчики прыгают вокруг него, изъясняя свой восторг.

Н е ч и п о р (*поднял руку*). Спасибо, товарищи, а только и пароходу пора отправляться. Давай третий!

Хохот, приветствия. Три гудка.

101. Пароход отходит. Он удаляется все дальше и дальше. На пристани остались провожающие. Н е ч и п о р стоит отдельно, возле него В о л о д я и П е т я. Они долго смотрели вслед пароходу. Провожающие пошли с пристани. Осталась только эта тройка.

В о л о д я. Товарищ Нечипор, а сколько вам лет?

Н е ч и п о р. Та как вам сказать. (*Хитро подумал, сообразил, прикинул, склонил голову, весело засмеялся, полез за трубкой и, наконец, сказал медленно*). Та мабудь так... годков... двадцать три, або... двадцать четыре... (*Мальчики залились смехом, затормошили Нечипора*.) Гóди! Гóди! А то постарею сразу... Хе-хе-хе...





ПРИЛОЖЕНИЯ





ПРОТИВ ШАБЛОНА*

Статья О. Войтинской «Стандарт и жизнь» («Литературная газета», 1938, № 34) поднимает вопрос чрезвычайно важный, гораздо более важный, чем может показаться с первого взгляда. Давление стандарта на часть нашей литературы — одно из самых печальных явлений нашего литературного сегодня.

Однако т. О. Войтинская очень ошибается, если думает, что стандарт художественного образа вытекает из прямой воли писателя или из его творческой никчемности. Поговорите с любым писателем, и вы увидите, что сложная, напряженная, многообразная жизнь советского общества, ее многокрасочность, здоровье, оптимизм, богатство и новизна перспектив всем видимы, все живут в этой жизни, она просится на полотно и требует изображения. И каждый писатель (разумеется, мы говорим о настоящем писателе, обладающем талантом и синтетическим умом) хорошо знает, что показать нашу жизнь в богатом блеске, пожалуй, даже легче, чем выводить добродетельные и скучные типы.

Но писателям известно и другое. Попробуйте написать картину настоящих живых движений наших людей, попробуйте выйти из стандарта. На вас со всех сторон набросятся по какому-то недоразумению существующие в нашей жизни мертвые души, околелитературные мелкие жители, присвоившие себе право судить о литературе. Ваши живые краски невыносимы для них, гибельны для их существования, принципиально, а еще более практически неприемлемы. Чтобы разобраться в живых красках, нужно знать и любить нашу жизнь, нужно уметь в ее сложных и тонких проявлениях находить общие законы и животворные идеи советской эпохи. Для того, чтобы все это увидеть, узнать и определить, нужно иметь аналитический талант, богатый художественный вкус и положительное отношение к новому. А если ничего этого нет?

Наша жизнь сплошь новая. Все в этой жизни: единство, строительство, борьба, победы, — все по-новому богато, по-новому радостно и по-новому трудно. Каждый день приносит нам самые новые и самые неожиданные открытия в самой природе человека, в его красоте, в его радости, любви и даже в его слабости, страдании, ошибке.

* Статья А. С. Макаренко «Против шаблона» была опубликована в порядке обсуждения в «Литературной газете» от 30 июня 1938 г.

Художественная литература потеряет смысл, если писатель не будет открывать это новое, если он не способен показать наше общество в движении, если он не способен предчувствовать завтрашний день. Для этого требуется не только острый глаз и выразительное слово. Для этого требуется и смелость и умение с товарищеской прямоотой сказать новое слово.

И необходимо сказать правду: наша критика давно уже отбила у писателей охоту к смелости и к активному проникновению в жизнь. Я не хочу обвинять всю нашу критику в целом. У нас появляются иногда живые и искренние критические статьи. Но гораздо чаще «в обычном порядке» в роли критиков у нас выступают люди, ничем не вооруженные, кроме шаблонов, и шаблонов этих у них немного. На глазах у всех, при явном попустительстве редакций, эти критики открыто предаются своему ужасному делу. С безмятежной хладнокровностью они расправляются с любым художественным произведением, расправляются коротко и безапелляционно. Бывает — авторские образы не лезут ни в какие шаблоны, и критик насильно вливает их, в его руках все обращается в сплошной перекосяк, но критик не замечает этого. Он работает с завидной добросовестностью: выбирает словечки и цитаты, передергивает, подшаркивает, и то, что противоречит шаблону, пропускает и отбрасывает. Эта своеобразная композиционная работа с внешней стороны чем-то напоминает критический анализ, а такого отдаленного сходства достаточно, чтобы статья печаталась и вызывала подражание и зависть других таких же владельцев двух-трех шаблонов.

Я сам недавно подвергся такой «критической» операции. В «Литературном критике» поработали над моим романом «Честь». Критик с таким увлечением набросился на меня, что даже не заметил, что напечатана только первая половина романа, — все равно! В его руках имеется два шаблона для провинциального рабочего эпохи 1914 года: «рабочий пораженец» и «рабочий шовинист». Критик вертел, вертел моих героев, тискал их в свои шаблоны, и сначала ему даже показалось, что они ни в какой шаблон не лезут. Потом-таки втиснул и объявил, что они шовинисты. Все это сделано с самым невинным выражением лица и даже сопровождается подходящими поучениями.

Я не хочу защищать свой роман. Я допускаю, что «Честь» — слабая вещь. Я готов принять с самой искренней покорностью от читателя и критика отрицательный отзыв, даже без доказательств, в самой простой форме: «не нравится». Если одному не нравится, другому не нравится, третьему — что же, значит, роман плохой, и нужно с этим считаться. Но если критик пускается в доказательства, то это уже касается не одного меня, а является установкой для всей литературы. В таком случае, я хочу уважать своего критика, я не люблю, когда он меня смешит, мне тяжело, когда он размахивает перед моими глазами своими двумя шаблонами. Я замечаю, как во мне зарождаются отвратительные наклонности: невольно в своей работе я начинаю примериваться к тем двум шаблонам, которые мне предъявлены, я начинаю работать на критика. В моем романе сказано, что женщины, провожая мужей на немецкий фронт, «не кричали, а тихонько плакали». Критик совершенно серьезно вывел отсюда заключение, что женщин этих нужно причислить к шовинистам.

Тов. О. Войтинская протестует против стандарта. И я протестую. Протестует и читатель. Но, дорогие товарищи, почему же в таком

случае свободно пишут и свободно печатаются владельцы немногочисленных стандартов, которые среди бела дня открыто требуют от меня именно шаблона, которые делают погоду в литературе, которых я должен бояться и признаюсь... уже боюсь.

Надо иметь большое мужество, чтобы игнорировать подобные явления. Но если даже у писателя найдется это мужество, то оно не всегда найдется у редактора или издателя. Я еще готов, например, отстаивать «тихо плакали», но редактор всегда может сказать на это:

— Стоит ли из-за такого пустяка переживать? Давайте зачеркнем «тихо» и напишем «громко». Все-таки спокойнее!

И вот я уже сдался, я начинаю изучать шаблоны, часто даже бессознательно. Я делаю преступление, и вместе со мной делают преступление многие мои коллеги. И я вижу, как замолкают порой талантливые критики, как они уступают дорогу мелким налетам схематиков, у которых так мало вкуса и ума, но зато так много развязности, самоуверенности и странной, ничем не объяснимой безответственности.

О. Войтинская подняла важный вопрос, но он не может быть разрешен без ревизии той системы измерителей, которая зачастую у нас практикуется. На любом правильно организованном советском заводе решающую роль играют отделы контроля. Контрольное хозяйство заводов — это богатейшее и сложнейшее дело. Это научно организованная система точности, это не только шаблоны, — это микрометры, допуски, знание материала, инструментов, приспособлений.

Жизнь советского общества неизмеримо более сложна, чем работа самого прекрасного завода. В нашем Союзе более 170 миллионов индивидуальностей, совершенно отличных, неповторимых, каждая в своей мере исключительных. Эта сложнейшая картина усложнена тем важнейшим обстоятельством, что все эти индивидуальности живут на свободе, что для них открыты широкие дороги, что они не задавлены эксплуатацией и нищетой.

Мы, писатели, обязаны показать эту богатую многокрасочность нашей жизни. И мы хотим показать ее, но мы требуем, чтобы наша работа измерялась и оценивалась с таким же уважением к советскому миру, какое требуется и от нас, писателей. И нас и нашу жизнь оскорбляет применение кустарных критических шаблонов.

Идеологическим источником стандартизации наших литературных героев является упрощенное представление о нашем советском человеке и вообще о нашем трудящемся. Между нами говоря, критики его упростили до последней степени, его раздели донуга, его снабдили стандартными добродетелями, от которых за сто километров несет христианством. Его научили кротко умирать от чахотки, его научили произносить непогрешимо-прописные речи, в которых, конечно, не бывает ни одного грамма риска. Этого самого нашего героя освободили от всех конфликтов и радуются: какое счастливое бесконфликтное существо! Наш герой давно отвык раздумывать, мучительно решать, страдать от неудобства. У нашего героя нет лирики, юмора, сарказма. Это какое-то облегченное существо, у которого все решено, все известно и которому неизвестен только грех.

Разве наши люди таковы, разве так скучна и однообразна их жизнь?

И счастье нашего человека вовсе не заключается в свободном и


безоблачном существовании, наше счастье ни в какой мере не напоминает райского житья, полного святости и бездеятельности.

И прежде всего наш, советский человек вовсе не бесконфликтен. Напротив, характерной особенностью нашей жизни является ее конфликтный характер. Как раз свобода нашей жизни прежде всего приводит к обнажению конфликта, к возможности атаки на конфликт. Наша жизнь именно потому прекрасна, что мы способны бороться, то-есть разрешать конфликты, смело идти им навстречу, смело и терпеливо переживать страдания и недостатки, бороться за улучшение жизни, за совершенствование человека. Только человечество, задвленное эксплуатацией, способно прийти к бесконфликтному прозябанию, к покорности судьбе и фатуму, к затушевыванию противоречий жизни, к остановке.

Жизнь в советской стране строится по диалектическому принципу движения и совершенствования. Мы избавлены от проклятия безвыходных социальных конфликтов, но как раз именно поэтому сделалась более выразительной наша борьба с природой. Разве полет Громова и Чкалова, разве подвиг папанинцев не представляют собой преодоление конфликтов? Разве так проста и примитивна проблема советского героизма? Разве это такое легкое и логически прямое действие? Советская отвага, советская смелость — это вовсе не бесшабашное, бездумное, самовлюбленное действие. Это всегда служба советскому обществу, нашему революционному делу, нашему интернациональному имени. И поэтому всегда у нас рядом со смелостью стоит осторожность, осмотрительность, не простое, а страшно сложное, напряженное решение, волевое действие не безоблачного, а конфликтного типа. Характер нашего строя отнюдь не бесконфликтностью должен отличаться, а готовностью к конфликту, способностью идти ему навстречу. Эта готовность проистекает из идеологической вооруженности, из мужественной ориентировки, из общих эмоциональных и интеллектуальных установок, но вовсе не проистекает из бытовой упрощенности или бесчувственности нашего человека.

И поэтому наша литература должна быть литературой конфликта и его разрешения. Мы, писатели, должны искать цельность наших характеров не в натуре, данной от бога, как это, допустим, делает Джек Лондон, а в социальном самочувствии гражданина СССР, большевика, участника великой нашей борьбы. И поэтому наша литература не должна бояться конфликтных положений. Секрет и прелесть нашей жизни не в отсутствии конфликта, а в нашей готовности и в умении их разрешать.





О КНИГЕ „ЧЕСТЬ“*

30 июня в «Литературной газете» в статье «Против шаблона» я мимоходом коснулся выступления журнала «Литературный критик» с разбором первой книги моего романа «Честь». Я обвинил критика в том, что он требует от меня шаблона, побуждает к стандартному изображению жизни.

Критик ответил очень оригинально: он заявил, что мое обвинение — неправда, и в доказательство... перепечатал свою статью почти полностью в «Литературной газете».

Можно еще несколько раз перепечатать статью, и все же она останется прежней статьей. Может быть, повторение одних и тех же текстов произведет на читателя гипнотическое действие: критик настолько уверен в своей правоте, что и спорить не хочет, а повторяет все одно и то же. Читатель в таком случае возьмет и подумает:

— Наверное, правильно пишет: и в журнале и в газете одно и то же напечатано.

К сожалению, я не имею возможности перепечатать свой роман в «Литературной газете», чтобы использовать метод внушения, и тем не менее, я продолжаю обвинять критика в том, что он требует от меня и, разумеется, от других писателей следования шаблонам.

Описанное происшествие совершенно выбило из моей души последние остатки авторского самомнения. Сейчас у меня такое настроение, которое обычно характеризуется формулой: «Быть бы живу». Я не мечтаю ни о каких похвалах моему роману, не вспоминая никаких его достоинств. Для простоты я готов признать, что «Честь» плохой роман, неудачный.

Меня интересует уже не роман и его качества. Меня страшно заинтересовали методы критика, его публицистические высказывания и тот самый шаблон, из-за которого он на меня напал. О романе можно и забыть, а высказывание критика есть в некотором роде поучение, директива, педагогика, — о них забыть нельзя. Кроме того, критическая статья есть еще и литературный быт, отражение литературных нравов.

В чем заключаются главные удары критика? Он обвиняет меня в том, что я неправильно, неправдиво изобразил рабочее общество

* Статья «О книге «Честь» публикуется впервые. Название статьи дано редакцией. Статья предназначалась автором для журнала «Октябрь».

в уездном городе в начале империалистической войны. Он утверждает, что в моем изображении рабочие вышли шовинистами. Он старается доказать это цитатами из моего романа и такими невинно вопрошающими абзацами:

«Но действительно ли требовала рабочая честь и войны до победы и поддержки царя? Может быть, семья Тепловых так восторженно исповедует такой иступленный шовинизм потому, что это редкостно отсталая и темная семья? Может быть, только поэтому старик Теплов говорит такие вещи, до которых редко в то время договаривались даже самые откровенные ренегаты и социал-шовинисты».

Могу одно сказать: повезло моему герою, старому Теплову! Он восторженно исповедует иступленный шовинизм! Не какой-нибудь просто шовинизм, а «иступленный», и не как-нибудь, а восторженно. Если мне удастся показать, что старый рабочий Теплов есть самый обыкновенный, так сказать, скромный шовинист, то и в таком случае я могу обвинить критика в совершенно необъяснимом пристрастии, в нарочитом искажении моего романа. Я не сомневаюсь в том, что каждый сколько-нибудь вдумчивый читатель не увидит в Теплове никакого шовинизма. Спрашивается в таком случае, при помощи каких приемов критик обратил старого Теплова в шовиниста. И потом еще спрашивается, для чего он это сделал?

Что такое шовинизм? Во всяком случае, это совершенно определенное, активное национальное самомнение, это неприязнь к другим народам, это стремление к порабощению других народов или, по крайней мере, к победе над ними.

В моем романе нет ни одного слова, в котором бы старый Теплов или другой какой-нибудь рабочий выражал свое пренебрежение к другим нациям. Ни в одном слове он не высказывает стремления к победе, ни в чем не проявляется его оправдание империалистической войны. Критик не нашел такого слова, и все-таки он доказывает, что Теплов — шовинист. Интересно, как это он делает?

Получается это следующим образом. Критик выписывает такой текст:

«А когда уезжал Алексей на фронт, отец вышел на двор, холодно миновал взглядом неудержимые, хоть и тихие слезы жены, позволил Алексею поцеловать себя, и только в этот момент улынулся необыкновенной и прекрасной улыбкой, которую сын видел первый раз в жизни.

— Ну, поезжай, — сказал Семен Максимович радостно, — когда приедешь?

Алексей ответил весело, с такой же искренней, простой и благородной улыбкой:

— Не знаю, отец, может быть, через полгода.

— Ну, хорошо, приезжай через полгода. Только обязательно с Георгием».

Я сейчас подчеркнул те слова, которые подчеркнул критик. Только одно слово я подчеркнул по собственной инициативе, ибо оно действительно пахнет шовинизмом: «благородной» (улыбкой). Только это слово не мое, а критика. У меня написано «благодарной улыбкой». Я не обвиняю в сознательной замене одного слова другим. Это сделано нечаянно, только потому, что критику страшно хочется

так читать: получается действительно букет: сын шовиниста отправляется на фронт и благородно улыбается!

Подача этого отрывка, даже после произведенных над ним манипуляций и подчеркиваний, может быть, не достигнет цели. Читатель может подумать: что ж тут особенного, старик ни слова не сказал о победе над немцами, ничем не выразил своего квасного патриотизма, может быть, это и не шовинизм? Может быть, это что-нибудь другое?

Критик не даст читателю опомниться. Перед тем, как процитировать отрывок, он напишет:

«Ликование достигает своего наивысшего предела, когда старик Теплов провожает на фронт сына».

Раньше, чем познакомиться с отрывком, читатель уже знает, что в нем изображается ликование (никак не меньше!). Читатель уже ошеломлен. Критик не оставит его в покое. После цитаты он пускается в такие «критические» восторги:

«Что их так обрадовало? Ведь не Георгий же, которого требует отец от сына. И неужели можно найти хотя бы одну рабочую семью, в которой проводы единственного сына на империалистическую войну воспринимались, как радостное событие. Едва ли пресловутый герой... Козьма Крючков столь бодро вел себя, отправляясь на фронт».

После такого напутствия любой отрывок может показаться сомнительным. Критик имеет право надеяться, что цель достигнута и можно подавать на стол второй отрывок, с таким же усилием препарированный. Все делается очень просто: уединенная цитата, без указания на места предыдущие и последующие, оглушительный подбор «критических» словечек: «ликование», «обрадовало», «радостное событие», «всплакнувшая мать Алеши тоже поддается общей радости».

Мне хочется объяснить поведение критика. И как бы я ни хотел быть к нему снисходительным, объяснения напрашиваются самые печальные: или критик неспособен, элементарно неспособен разобраться в художественном произведении, или он сознательно, нарочито искажает мою работу. Какая из этих двух возможных причин заставила, например, скрыть от читателя страницу, предшествующую сцене прощанья. На этой странице совершенно ясно объясняется отношение старика Теплова к войне.

«— Поехали воевать, значит?.. Напрасно на немцев поехали. Надо было на турок».

— А что нам турки сделали?

Семен Максимович редко улыбался, но сейчас провел рукой по усам, чтобы скрыть улыбку.

— На турок надо было. Война с турками легче. Смотришь, и победили бы.

— И немцев победят.

— На немцев и кишка тонка и царь плохой. С таким царем нельзя на немцев. У них царь с какими усами, а наш на маляра Кустикова похож. Сидел бы уж тихо...».

Я отдаю себе отчет в том, что такое высказывание старого рабочего удовлетворить критика не может. Он, конечно, потребует, чтобы в словах рабочего были на местах все формулы политического определения империалистической войны, чтобы старик в 14 году высказывался в тех самых словах, в которых мог высказываться

только Ленин. Но все-таки... хотя бы миниатюрное внимание на это место критик обратить должен. Разве в этих словах выражается шовинизм? Разве здесь не высказано глубокое презрение к царю, к войне, к дипломатии?

Критик не хочет замечать и других мест, расположенных буквально по соседству со сценой прощанья. Я принужден привести из этих абзацев несколько отрывков. Они расположены на левом столбце страницы, а сцена прощанья на правом:

«Война тяжелой, неотвязной былью легла на дни и ночи людей, былью привычной, одинаковой вчера, сегодня и завтра. Дни проходили без страсти, и люди умирали без подвига...

Тихо плакали на Костроме матери в своих уединенных уголках, ожидая прихода самого радостного и самого ужасного гостя того времени, почтальона,— ожидали, не зная, что он принесет, письмо от сына или письмо от ротного командира. Иногда переживания матерей становились определеннее, это тогда, когда приезжал сын, искалеченный или израненный, но живой, и матери не знали, радоваться ли тому, что хоть немного осталось от сына, или плакать при виде того, как мало осталось».

Пропускает критик и изображение сурового горя отца перед отъездом сына, и даже в приведенном отрывке не видит, не читает и не понимает простых и ясных слов:

«...отец вышел на двор, холодно миновал взглядом неудержимые, хоть и тихие слезы жены, позволил Алеше поцеловать себя и только в этот момент улыбнулся необыкновенной и прекрасной улыбкой, которую сын видел первый раз в жизни».

Трудно представить себе читателя, который не понял бы, что в своей улыбке, в своем поведении отец преследовал только одну цель: поддержать мужество сына, не смущать его выражением горя, не унижить и свое человеческое достоинство. Читатель тем более должен это понять, что он уже знаком с гордой и независимой натурой Теплова. Как может критик не разобраться в самом характере диалога, в котором нет ни одного слова прямого:

«— ...Поезжай! Когда приедешь?»

— Не знаю точно, отец. Может быть, через полгода.

— Ну, хорошо, приезжай через полгода.»

Отец говорит не о войне, а о возвращении сына. Неужели критик так-таки и не замечает в этом диалоге мужественной, суровой, ободряющей шутки. Неужели критик не понимает, что так именно должны были или могли разговаривать уважающие себя люди в минуты тяжелого, но неотвратимого горя. И неужели ничего не открывают критику последние слова отца:

«Хорошего сына вырастили мы с тобой, мать. Умеет ответить как следует.»

Отец требует от сына мужества, совершенно необходимого в те времена, и сын это мужество обнаруживает. И если бы критик слово «благодарный» не переделал на слово «благородный», даже из его статьи читателю было бы ясно, за что сын благодарит отца.

Что я могу сделать? Я могу изображать жизнь такой, какой вижу ее. Я не выдумал своих героев. В нашем рабочем классе, в русском народе я видел и всегда вижу богатые силы, сложные личности, тонкие движения ума и сердца. Я знаю свой народ прекрасным, сильным, способным на подвиг и мужество. И таким я изобразил ста-

рого Теплова. Он суровый, гордый, умный человек. Он, правда, не знает того, что знает критик в 1938 году, но он умеет проводить своего сына на войну, в которую сам не верит, но которую принужден признать как явление неизбежное. Критик нечаянно или нарочно объявляет старого рабочего «исступленным шовинистом», а проводы сына «ликованием и радостным событием». Что я могу поделывать?

Так же удачно и так же основательно критик находит шовинизм и в других случаях. Он, например, выписывает, и конечно, подчеркивает:

«Прянский полк развертывался в два полка военного времени. Рядом с безусыми кадровиками выстраивались люди постарше, усытые и бородатые, с лицами и шеями, обожженными на жатве, с волосами, выгоревшими на солнце. Они с испуганным вниманием выслушивали командные слова. Распорядительные, пружинные, упоенные властью унтера покрикивали на них без злобы, больше радуясь и кокетничая, чем беспокоясь. Прапорщики запаса в новеньких погонах, в свежих ремнях и «шарфах» гуляли по тротуарам, женские и мальчишеские взгляды со всех сторон провожали их, и им не хотелось думать о будущих боях, которых, может быть, и не будет».

«Теперь уже офицеры шли по тротуарам, окруженные грустными женщинами, улыбались и шутили. Когда солдаты допели до рискованного места, капитан крикнул высоким, радостным тенором:

— Отставить!

Солдаты поправили винтовки на плечах и ухмыльнулись на веселого капитана».

В этой сцене критик тоже нашел шовинизм. Критик готов утверждать, что дело происходило не так. А как? Солдаты не могли ухмыльнуться, капитан не мог командовать радостным тенором, унтера не могли кокетничать? А как же было?

Что я могу поделывать? Я попытался нарисовать картину первых дней войны, дней мобилизации. В эти дни можно было увидеть самую сложную смесь из остатков патриотизма, ошеломленности, мужества, страха, бездумья, покорности, игры... Как умею, я нахожу краски для этой сложной картины. Красная Армия не пойдет на войну с похабной песнью, а царская армия могла их петь. Красные командиры, отправляясь на войну, будут думать о предстоящих боях, о победе, стремиться к победе, царские прапорщики старались не думать о боях, которых, может быть, и не будет. Но и тогда и солдаты и офицеры все же оставались мужчинами, они могли улыбаться и шутить, они могли прятать страх. Откуда у критика взялось такое пренебрежительное мнение о нашем народе: «Едва ли даже пресловутый «герой»... столь бодро вел себя, отправляясь на фронт!» В этой фразе высовываются весьма сомнительные рожки настоящего презрения к народу, которому критик отказывает даже в бодрости.

Но как бы я ни изобразил дни мобилизации, все же в моем изображении нет ни одной черточки шовинизма. Наоборот, есть строчка, утверждающая нечто противоположное:

«А потом солдаты запели песню горластую и вовсе не воинственную».

Эту строчку критик предусмотрительно выбросил из цитаты. Он вообще чрезвычайно вольно обращается с моим романом: подбирает слова: «радостный», «весело», «ухмыльнулись», не замечает слов про-

типоволожного оттенка: «испуганно», «грустные», пропускает строчки, которые противоречат его утверждениям, не читает текстов соседних, не замечает общего тона рассказа. В моем романе проводы полков заканчиваются такими словами:

«А потом полки запаковали в вагоны, сделали это аккуратно, по-хозяйски, так же аккуратно проиграли марш, свистнули, и вот уже на станции нет ничего особенного, стоят пустые составы, ползают старые маневровые паровозы, из окна аппаратной выглядывает усатый дежурный и приглядывается к проходящим девицам... По кирпичным тротуарам потекли домой говорливые потоки людей, среди них потерялись покрасневшие глаза жен и сестер и склоненные головы матерей. Матери спешили домой, спешили мелкими шажками слабых ног и смотрели на щербинки и ямки тротуаров, чтобы не упасть».

Дорогие читатели, критики, люди понимающие! Скажите, разве в этих словах не снимается улыбка мужчин, разве теперь не видно, что прикрывала эта улыбка, разве не понятно, что все это событие было не шовинизмом, а горем.

В художественном произведении я имею право на определенный прием, сообщающий моим главам те или другие тоны и окраски. И конечно, я беззащитный стою перед самоуправством критика, который игнорирует прием, разрушает его, выхватывает отдельные его элементы и размахивает ими перед глазами читателя, а другие элементы прячет в тайной надежде, что никто этого не заметит. По отношению к только что приведенному отрывку — это сделано особенно грубо, — бесцеремонно грубо. Начало и конец цитаты сведены критиком в один отрывок. В романе между началом и концом цитаты помещается небольшая сценка, в которой изображается беседа молодежи о переходе войны в войну гражданскую. Именно эту беседу критик игнорирует. Почему? Все-таки интересно, — почему?

Еще оригинальнее такой... анализ, что ли: в романе есть две строчки, буквально две:

«— Здорово бабы кричали?

— Нет, тихонько...

— Поехали воевать, значит...»

А посмотрите, какой отклик критика:

«Даже матери и жены, провожавшие своих сыновей и мужей, понимали, насколько неудобно им нарушать общее веселье, и старались плакать тихонько. Об этом рассказывает отцу Алеша, а он врать не будет, он юноша честный, такая у него в повести должность».

Не правда ли, сколько в этих словах остроумия, милой развязности и еще чего-то... похожего на вульгарность! В романе есть много мест, посвященных матерям и их слезам, критик десятой дорогой обходит эти места, но зато с какой экспрессией и с какой, можно сказать, критической квалификацией набрасывается на этот тихий плач. А почему? Потому что по шаблону, принятому в некоторых литературных канонах, полагается матерям плакать громко. Что я могу поделать? Собственно говоря, вопрос стоит о культуре критики.

Я остановился на некоторых местах статьи, чтобы выяснить сущность критического приема. Я не буду говорить о всех остальных высказываниях: прием везде одинаков.

Меня все же интересует не технология «критики», а другое. Чего

хочет от меня критик, как он сам представляет себе рабочих людей в уездном городе в начале империалистической войны?

Ответ ясен. Критик никак и ничего не представляет, всякие там люди, в том числе и рабочие, для него просто безразличны. Вместо людей, у критика есть шаблон. Ничуть не стеснясь, он открыто предъявляет мне этот шаблон, он настойчиво требует, чтобы я за ним следовал. Он решительно отказывается предоставить мне некоторое право... нет, не право на изображение живых людей, а хотя бы право на шаблон № 2. Что? Уездный город? Реальное училище есть? Женская гимназия тоже есть? Даже река имеется? Несколько заводов? Никаких разговоров,— требуется шаблон номер один: обыкновенный сознательный рабочий!

Раз определен номер шаблона, критик действует уверенно, как по справочнику: по шаблону № 1 полагается:

а) все рабочие с первого дня войны были пораженцами,

б) все рабочие читали легальные и нелегальные издания большевиков,

в) всякие там понятия о чести — это понятия офицерские — шляхетные,

г) никакой бодрости, никакого мужества людям не полагается,

д) женщины должны плакать громко.

Для критика все просто, ясно, определено. В своей статье он несколько раз требует от меня «типичного» поведения героев, а у него типичный значит — удовлетворяющий шаблону № 1.

В доказательство своей правоты критик приводит цитату из Ленина:

«Единственным классом в России, которому не удалось привить заразы шовинизма, является пролетариат. Отдельные эксцессы в начале войны коснулись лишь самых темных слоев рабочих... В общем и целом рабочий класс России оказался иммунизированным в отношении шовинизма» (Сочинения, т. XVIII, стр. 208).

Интересно, что и по отношению к Ленину критик также применяет свой любимый прием выбрасывания отдельных предложений. Пропущено: «Участие рабочих в московских безобразиях против немцев сильно преувеличено». Пропущено нарочно, чтобы исказить действительное мнение Ленина. Для чего это нужно критику? Для того, чтобы на свободе могла существовать его собственная концепция, ничего общего с ленинской не имеющая.

По его мнению, в России с шовинизмом было замечательно благополучно. Никакого шовинизма просто не было, не с чем было бороться, уже в четырнадцатом году все было готово, все сделано, для товарища Ленина, для большевиков оставалось притти на готовое и сделать Октябрьскую революцию. Вот некоторые высказывания критика:

«В ряде городов (в первые дни войны.— А. М.) происходили стачки протеста. В самый канун войны в Петербурге и в других городах, как известно, дело доходило до баррикадных боев. В повести нет намека на такое отношение к войне».

«Неправильно было также представлять себе, что начало войны, разгром, который учинило царское правительство большевистским организациям, закрыв «Правду», сослав депутатов, что все эти репрессии вырвали рабочий класс из-под влияния партии».

«Суд над депутатами-большевиками показал, что депутаты... после начала войны до своего ареста успели объехать в целях пропаганды почти всю Россию...».

«Ничего этого не существует для героев повести».

«Совершенно неправдоподобно, чтобы почти до февраля 1917 года старый рабочий ни от кого не слышал большевистского определения войны, как войны империалистической».

Вот как все у нас было прекрасно, вот как замечательно был воспитан рабочий класс в самом начале войны, как все было подготовлено, все определено, все настроено пораженчески. Интересно в таком случае, как себе представляет критик гениально-напряженную работу Ленина и большевиков с начала войны и в особенности после февральской революции? Даже рабочему в уездном городе, в котором кое-как прозябают два-три кустарных заводика, критик предлагает иметь то самое широко политическое и глубоко точное отношение к событиям, которое имеется у него через двадцать лет после Октября.

Так ли было на самом деле?

Всем хорошо известно, что Ленин с первых дней войны главное внимание уделял борьбе с социал-шовинистами. Он именно потому придавал этой борьбе такое большое значение, что знал цену спекуляции «на худших и, вместе с тем, самых прочных предрассудках» (т. XVIII, стр. 48). Всем хорошо известно, что до самой Октябрьской революции Ленин требовал неустанной работы в этом направлении. Именно поэтому он придает такое большое значение суду над депутатами-большевиками:

«В-3-их,— это самое главное,— суд над Р.С.-Д.Р. Фракцией впервые дал открытый, в миллионном числе экземпляров распространенный по России, объективный материал по важнейшему, основному, существеннейшему вопросу об отношении к войне...» (т. XVIII, стр. 131).

Признавая большие успехи большевистской пропаганды и точно указывая, что подавляющее большинство сознательных рабочих России стоит в русле большевистской партии, Ленин никогда не успокаивался и всегда трезво указывал на необходимость дальнейшей работы. Уже в сентябре 1916 года, отвечая Мартову, Ленин пишет:

«В России организованная кампания борьбы против войны до сих пор не начата... Во-1-х, это неправда. Она начата хотя бы в Питере прокламациями, митингами, стачками, демонстрациями. Во-2-х, если она где-либо в провинции не начата, ее надо начинать...» (т. XIX, стр. 300).

Не было никакого успокоения в этом вопросе, так как на глазах у Ленина протекал сложный общественный процесс. То, что видел Ленин с высоты своего гения, с высоты марксистских диалектических вершин, то в самой толще народа могло принимать самые разнообразные формы, самые тонкие извилины. Внешний вид этих форм очень часто мог слабо напоминать строгое содержание ленинских формулировок. Рабочий Теплов мог ненавидеть царизм, презирать войну и в то же время мог уважать георгиевский крест, как доказательство силы и мужества, качеств далеко не безразличных и в рабочем классе. Важно, конечно, было не строгое поведение рабочего по букве широкой политической формулы, а те тенденции, стремления, чувства, которые все время вели рабочего вперед, все время

открывали перед ним новые возможности и новые перспективы жизни. Начальная стадия этого диалектического процесса условно может быть обозначена любой хронологической датой. Во всяком случае это время, близкое к началу войны. С замечательной точностью Ленин определяет эту стадию не словом поражение, а словами «иммунизированы в отношении шовинизма». В то же время Ленин видел и возможность самых разнообразных форм этого иммунитета, видел, куда он направляется, и поэтому требовал от большевиков постоянной работы, постоянного направляющего влияния. Ни в какой мере критик не понимает этой диалектики Ленина. Допуская в среде рабочих даже остатки шовинизма, Ленин никогда не смешивал рабочих в одну кучу с социал-шовинистами, никогда не презирал их и всегда видел те причины, которые задерживали или искривляли развитие правильного отношения к войне. Уже после февральской революции мы слышим из уст Ленина такие слова:

«В виду несомненного наличия оборонческого настроения в широких массах, признающих войну только по необходимости, а не ради завоеваний, надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им, что кончить войну не насильническим миром нельзя без свержения капитала. Эту мысль необходимо развивать широко, в самых широких размерах» (т. XX, стр. 77).

И тогда же Ленин сказал:

«Когда рабочий говорит, что хочет обороны страны,— в нем говорит инстинкт угнетенного человека» (т. XX, стр. 78).

Можно привести очень много примеров такого тонкого, такого точного, такого динамического отношения Ленина к данному вопросу.

Пристраиваясь к цитатам из Ленина, мой критик не понимает ни этих цитат, ни их диалектического движения. У критика ярко выраженный цитатный идеализм: рабочие должны быть пораженцами потому, что на такой-то и на такой-то странице сказано о поражении. Рабочие должны страдать, стонать, плакать, в этом критик и видит признаки типического поведения. Уезжая на войну, они должны разрываться от горя, должны... трудно даже сказать, сколько уже раз на этом «должны» срывалась наша художественная литература. Разве не надоел всем такой штамп: солдаты уезжают на фронт, жены кричат, поп говорит паскудно-елейные речи, офицеры кроют матом и вообще угнетают, а большевики под шумок говорят речи, составленные тоже из цитат. При этом все глубоко понимают, в чем дело, все отрицают войну, все преисполнены не только революционного настроения, но и революционного понимания, и только одного нет у этих людей: жизни, ощущения своей личности, бодрости, мужества, силы. Стоит ли повторять такой штамп, стоит ли критику так горячо беспокоиться о его сохранении? Мой рабочий Теплов говорит: «Жизнь всегда хороша, плохая жизнь у вора и у нищего». Критик пришел в негодование: как смеет рабочий так говорить, как он смеет любить жизнь, как он смеет прекратить стон, если стон полагается по шаблону. В том, что рабочий любил жизнь, ценил ее, в том, что он презирал попрошайничество,— во всем этом заключались действительные силы жизни и культуры, те самые силы, которые только и могли привести рабочий класс России к победе. Разве не это принципиальное признание жизни имеет в виду Ленин, когда говорит:

«Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим свое рабское прошлое... и свое рабское настоящее...» (т. XVIII, стр. 81).

Рабочие люди старой России тоже любили жизнь и способны были переживать гордость, именно поэтому они стремились к свободе. Люди, не обладающие чувством достоинства, не способны и на борьбу.

Перед тем, как писать свою книгу, я перечитал Ленина, и еще раз был поражен его знанию русской жизни, несмотря на то, что Ленин был оторван от России в течение многих лет. Формулировки Ленина в моем представлении совершенно не расходились с тем знанием рабочей жизни, которое я вынес из своего детства и молодости. Руководствуясь своим жизненным опытом и проверяя себя словами Ленина, я посчитал себя в праве отказаться от шаблона, который был мне давно известен и который никогда не вызывал моего уважения. Я прекрасно понимал, что вызову протесты со стороны критиков, для которых отступление от шаблона просто невыносимо.

Я взял участок рабочей жизни, наиболее мне известный, — провинциальный, запущенный уездный городок, в котором хотя и есть реальное училище, но нет промышленности, за исключением слабых кустарного типа заводиков. В такие места большевистская литература совершенно не доходила, но большевистские идеи просачивались через сотые руки и создавали не столько изменения в мыслях, сколько изменения в чувствах. Если уже говорить прямо, я мог и имел реалистическое право изобразить даже рабочего шовиниста, активного и слепого, созданного многочисленными листами социал-шовинистических газет и собственной неспособностью разобраться в событиях. И такие рабочие были, и довольно много. Они должны были интересовать меня и вас в особенной степени, ибо на них было замечательно ярко видно значение классового чутья, на их жизни можно было проследить и великолепное революционное влияние большевиков. Но я не изобразил таких рабочих только потому, что в этом месте моя смелость дошла до пределов: я все-таки боялся вас, «критик».

Я теперь вижу, что мой страх имел серьезные основания. Я хорошо сделал, что ограничился тем комплексом средних настроений, который у Ленина называется иммунитетом к шовинизму. Как нужно представлять себе этот иммунитет? Это еще не поражение, вообще это не активный свод убеждений, это прежде всего безразличие к завоевательным лозунгам, это отсутствие национального самомнения и национальной ненависти. Таковы и мои герои. Даже Алеша, студент, потом офицер, не проявляет никаких захватнических намерений, собственно говоря, стоит на позиции оборончества. Оборончество могло происходить не только из шовинистических переживаний. Не приходится теперь говорить о том, было ли отечество у пролетариата или не было, это известно. Но родина была, была та самая национальная гордость, о которой говорит и Ленин. И во всяком случае, было желание иметь родину, была тоска по родине, вполне естественная даже и у рабочего человека, не говоря уже о юноше, получившем образование. У Алеши эта тоска по родине была выражена сильнее, у отца слабее, у рабочего Павла она и в начале войны близка уже была к большевистским выражениям. В то же

время идеи пораженчества были исторически неожиданны, они не могли так легко быть усвоены людьми, как это кажется критику. Ведь только в эти дни Ленин впервые бросил эти идеи в широкие массы.

Вся эта ситуация не была простой, она всегда проходила конфликтный период, период прояснения и становления, и у разных людей этот процесс был по-разному мучителен и был разной длительности. Реальной ареной, на которой разрешался конфликт, была, конечно, война. Критик чрезвычайно просто представляет себе проблему отношения к войне: пораженчество и все! Из текстов критика очень трудно представить себе, как он сам относится к войне.

«Мы — патриоты своего народа, но это не значит, что всякую войну, какую только ни вела в прошлом Россия, надо стремиться оправдать».

Это, конечно, поучительно сказано. И это легко сказать за письменным столом, через двадцать лет после войны. Интересно, в каких бы выражениях эта самая мысль была сказана моим критиком во время войны, в тот момент, когда он находится в действующей армии. Что значит оправдать войну, или не оправдать войну, если война не стоит, как подсудимый, перед письменным столом, а если война обрушилась на голову. Я приведу несколько мыслей Ленина, из которых видно, с какой глубочайшей диалектикой Ленин мыслил о войне:

«Не саботаж войны, а борьба с шовинизмом...» (т. XVIII, стр. 55).

«Отказ от военной службы, стачка против войны и т. п. есть простая глупость убогая и трусливая мечта о безоружной борьбе с вооруженной буржуазией...» (т. XVIII, стр. 70).

«Но обещать людям, что мы можем кончить войну по одному добродушному желанию отдельных лиц,— политическое шарлатанство» (т. XX, стр. 77—78).

«Войну нельзя кончить «по желанию». Ее нельзя кончить решением одной стороны. Ее нельзя кончить, «воткнув штык в землю...» (т. XX, стр. 118).

Можно без конца продолжать этот список страниц,— Ленин никогда не имел в своей программе тот пафосизм, которым так пахнет от шаблона критика.

Стоит прочитать у критика такой абзац:

«...война воспринимается, как неожиданное несчастье, внезапно обрушившаяся катастрофа, развалившая в общем приемлемый строй жизни. Отсюда особенно ощутимой становится идея, что дело все в том, что войну плохо вели.

А если бы офицеры умели не только красиво умирать, а и побеждать, тогда что же? Судя по приводимому выше замечанию Алеши, пролетариат, очевидно, удовлетворился бы и не стал бы совершать никакой революции?»

Видите, с какой издевкой спрашивает мой критик, в каком глупом виде он выставляет и меня и моих героев. Этот глубоко самоуверенный тон разве не раскрывает всех идеалистических карт критика? Победа или поражение — все равно: ведь революция произошла в 1917 году, значит, она была predetermined.

Чтобы не долго спорить по такому ясному вопросу, приведу несколько слов Ленина:

«Крайние бедствия для масс, создаваемые войной, не могут не

порождать революционных настроений и движений, для обобщения и направления которых должен служить лозунг гражданской войны» (т. XVIII, стр. 126).

«Поражение правительственной армии ослабляет данное правительство, способствует освобождению поработанных им народностей и облегчает гражданскую войну против правящих классов.

В применении к России это положение особенно верно. Победа России влечет за собой усиление мировой реакции, усиление реакции внутри страны и сопровождается полным поработанием народов в уже захваченных областях» (т. XVIII, стр. 128).

Какая диаметрально противоположность с концепцией критика! Эта противоположность производит такое яркое впечатление, что приходится удивляться не только критику, но и редакции журнала, для которой знание ленинских положений о войне во всяком случае обязательно.

Ленин знал диалектическую сложность обстановки. Эта сложность движения, сложность революции, запутанность психологических этюдов эпохи, их взрывной характер. Так же запутана могла быть и духовная жизнь отдельных героев. Сохраняя общую свою направленность к революции, они могли и должны были переживать острые изломы мысли и чувства. Именно поэтому Алеша мог болезненно задуматься над вопросом о своей верности товарищам, погибающим рядом с ним на фронте, мог искать оправдания смертному подвигу, искать очень долго, до тех пор, пока не нашел. Именно поэтому старый Теплов мог некоторое время думать, что немцев пускать нельзя. Не имеет никакого значения, как думали эти люди, важно только одно: к чему они шли и к чему пришли. Алеша нашел для себя решение вопроса, старый Теплов нашел самого себя, нашел место для своей суровой гордости. Они все это нашли в революции, в революции они нашли и родину, о которой тосковали.

Революционный процесс можно представлять только как процесс предельной сложности, так, как представлял его Ленин. На стр. 172 XVIII тома Ленин говорит, что война вызывает в массах самые бурные чувства, главные из которых: ужас и отчаяние, усиление религиозных чувств, ненависть к «врагу», ненависть к своему правительству, к буржуазии.

Если художник захочет описать этот процесс, он прежде всего должен отказаться от шаблона. Та идеалистическая концепция, которую предлагает критик,— концепция вредная. Готовый, неизменный тип рабочего пораженца, способного произносить только непогрешимые речи, препарируемый по всем правилам литературного штампа,— для кого это нужно? Это нужно только для тех, кто хочет преуменьшить значение Ленина и партии большевиков в творчестве нашей революции.

В заключение все-таки хочется спросить: почему критик страстно, так исторически ошибочно на меня напал, почему ему помешались шовинисты в моих скромных героях?

Может быть, для этого имеются очень серьезные причины, но есть и причины, так сказать, менее серьезные. Мысль о них вызывается следующими интересными обстоятельствами:

Первое: В моей книге есть абзац, который начинается так:

«До немецкой войны люди жили спокойно, и каждый считал себя хорошим человеком...».

Критик по поводу этих строк и себя не помнит:

«Представление о довоенной России, как об идиллической стране, в которой собственно всем живется хорошо...».

В моей книге очень много мест, в которых подробно говорится, как плохо жилось в старой России. А этот абзац — ирония! Ирония — известный литературный прием. В старых учебниках теории словесности было сказано: «ирония есть намек на противоположность». Пора все-таки нашим критикам знать, что такое ирония. Нельзя же упрекать Лермонтова в том, что его герои из «Бородино» изменники. Нельзя, например, написать в критической статье:

«Лермонтов неправильно изобразил солдат. Один из солдат говорит: — «Угощу я друга». Куда это годится. Не угощать нужно французом, а стрелять в них. И ни в коем случае нельзя французом называть другом. И наши солдаты это понимали, а Лермонтов на них наклеветал».

Это первое обстоятельство, которое наводит меня на некоторые размышления.

Второе обстоятельство: Критик невнимательно читал мой роман. Благодородный вместо благодарный — мы уже видели. На одной из страниц критик ехидно замечает:

«...рассчитывались полки. Не будем придирааться к тому, что для уездного города полков что-то многовато».

А через пять строчек сам же цитирует:

«Прянский полк развертывался в два полка военного времени».

Два полка — это и будет «полки». Чего ж тут придирааться, просто нужно быть более внимательным.

Такие обстоятельства могут много повредить в критической работе. Они могут подвинуть критика на некоторые странности. Я, например, утверждаю, что Алешу отправили в военное училище, а критик мне не верит. Не может быть, говорит, это он добровольцем пошел, потому, что я хорошо знаю: студенты пользовались отсрочкой до середины 1916 года. Это он безусловно добровольцем...

И последние два слова: почему нельзя было подождать второй половины романа? Почему такая спешка?





КОММЕНТАРИИ



Комментарии к повести «Честь», сценариям «Настоящий характер» и «Командировка» составили *М. Е. Бобровская, В. Е. Гмурман, Г. С. Макаренко.*



„ЧЕСТЬ“

Повесть «Честъ» относится к произведениям, созданным А. С. Макаренко в последние годы жизни. Он писал ее в 1937—1938 гг., живя уже в Москве. Дата, когда писатель приступил к работе над повестью, не выяснена; установить время окончания работы можно вполне точно, так как имеется запись в дневнике автора от 20 февраля 1938 г.: «Закончил «Честъ», сдал в «Октябрь» и в отдельное издание».

Текст, о котором идет речь, был опубликован в журнале «Октябрь»: первая часть повести в № XI и XII за 1937 г. и вторая в № I, V и VI за 1938 г. Отдельным изданием книга не вышла.

Верстка текста, предназначенного для отдельного издания, присланная автору 13 декабря 1938 г. Государственным издательством «Художественная литература», хранится в Архиве А. С. Макаренко. Кроме того, в Архиве имеются неполные тексты повести (рукопись и машинопись).

Рукопись содержит первые 26 глав первой части повести и неполную вторую часть, начиная с 11-й по 45-ю (последнюю) главу.

В машинописи сохранились только 9 первых глав и начало 10-й главы первой части повести. Машинопись отличается от рукописи, поскольку, переписывая текст на машинке, А. С. Макаренко, как обычно, вносил в него правку.

Сопоставляя текст, опубликованный в журнале «Октябрь», с машинописным, легко установить, что автор вновь подвергнул повесть дальнейшей стилистической правке, добиваясь возможно более сжатой и выразительной формы изложения.

После того, как «Честъ» была уже напечатана в журнале, А. С. Макаренко не прекратил своей работы над повестью. Он снова сократил текст, заменил отдельные выражения более образными и т. д. Третью главу второй части повести автор разделил на две главы (3-ю и 4-ю). 35-я глава второй части также была разделена на две главы.

Верстка книги представляет собой, таким образом, последний авторский вариант повести, наиболее тщательно отредактированный. Об этом свидетельствует и запись в дневнике А. С. Макаренко от 9 июля 1938 г.: «Честь» окончательно отредактировали с Лукиным. В общем она выходит в отдельном издании». Здесь А. С. Макаренко упоминает о совместной работе с редактором книги Ю. Б. Лукиным.

В настоящем томе «Честь» публикуется по верстке.

А. С. Макаренко ставит в повести проблему нравственного содержания категории чести, показывает, как это чувство понималось и как оно проявлялось в различных кругах общества до и после Великой Октябрьской социалистической революции.



„НАСТОЯЩИЙ ХАРАКТЕР“

Драматургия и кинематография, формы массового искусства, эмоционально чрезвычайно сильно воздействующего, всегда глубоко занимали А. С. Макаренко как педагога и писателя. В школе, а затем в колонии им. М. Горького и коммуне им. Ф. Э. Дзержинского, он пользовался театром и кино как одним из неперенных методов воспитательно-образовательной работы, развивал у своих воспитанников советское отношение к театру и кино, вкус и театральную культуру. Много и плодотворно работали в колонии и в коммуне драматические кружки.

А. С. Макаренко был изобретательным режиссером-постановщиком и исполнителем ролей в самодеятельных театральных постановках. Он занимался историей театра и драматургии, с неослабным вниманием следил за развитием советской кинематографии и всегда много читал по этим вопросам.

С первых же лет своей литературной деятельности А. С. Макаренко работает над сценариями и пьесами. Он старался найти в них новую форму, новый жанр, который давал бы возможность донести до самых широких масс основные положения советской науки о воспитании, раскрыть законы становления личности и научно-педагогические методы воздействия на нее.

26 сентября 1938 г. А. С. Макаренко отметил в своем дневнике: «По приглашению Детфильма подписал договор с ним на сценарий на тему о воспитании характера. Срок 1 января». В этой записи имеется в виду публикуемый в настоящем томе сценарий «Настоящий характер».

А. С. Макаренко писал сценарий в Москве. Он начал его, видимо, в середине декабря 1938 г. и закончил в первой декаде января 1939 г.

10 января 1939 г. рукопись сценария была уже зарегистрирована Сценарным отделом Союздетфильма. Об оценке, полученной этим произведением, автор пишет в дневнике, в записи от 11 января:

«Сценарий Союздетфильму сдал и прочитал. Хоть и много над ним повозился, но, по-моему, сценарий вышел совсем не плохой... К моему удивлению, он был встречен довольно холодно. Что-то такое говорили: есть, конечно, достоинства, но это повесть, нет драматизма, облегченный конфликт.

Нужно давать убийства и «конфликты» — это в ФЗУ!..»

Сюжетом произведения послужил факт, имевший место в коммуне

им. Ф. Э. Дзержинского, когда воспитанник И. Ткачук (ныне артист Центрального детского театра в Москве) предложил техническое усовершенствование для электрического выключателя. Металлическая пластинка, заменившая прежние более сложные части в конструкции выключателя, имеет форму хвоста ласточки. Автор предполагал вначале дать сценарию название «Ласточкин хвост». Но в окончательной редакции сценарий озаглавлен «Настоящий характер». Это название формулирует основную тему произведения.

В «Настоящем характере» автор показывает, как в комсомольском коллективе под влиянием общественных и личных отношений формируются и совершенствуются характеры. Твердая воля Васи Кулешова, которым руководят взрослые, его выдержка и настойчивое желание пробудить у товарищей сознательное отношение к своим проступкам, побеждают. Товарищи Васи искренне осознают свою вину.

В Архиве А. С. Макаренко хранятся три текста сценария.

Первый текст — авторская рукопись — состоит из пяти частей, которые подразделяются на кадры, имеющие особую для каждой части нумерацию. Рукопись не закончена. Она обрывается на восьмом кадре пятой части. На странице 22-й рукописи имеются схематические зарисовки модели выключателя, а на 48-й пластинки — детали новой конструкции. Эти зарисовки сделаны А. С. Макаренко.

Второй текст — авторская машинопись уже законченного произведения. «Настоящий характер» состоит из 88 кадров. Сценарий уже не подразделяется на отдельные части, как это было в первом тексте.

Сличая рукопись и машинопись, легко установить, что автор значительно сократил текст и внес ряд стилистических поправок.

На титульном листе машинописи имеется надпись: «Сценарий полнометражного звукового фильма».

Третий текст — машинописная копия последнего варианта сценария. Текст почти идентичен с авторской машинописью. Отдельные абзацы дополнительно отредактированы. В сценарии 91 кадр, так как некоторые эпизоды, занимавшие ранее один кадр, расчленены на два кадра.

Сценарий «Настоящий характер» публикуется впервые. В данном томе текст воспроизводится в третьей (последней) редакции.





„КОМАНДИРОВКА“

Литературный сценарий «Командировка» написан А. С. Макаренко в 1939 г., т. е. в последние месяцы его жизни. Как видно из сохранившихся авторских планов, писатель хотел особо подчеркнуть в сценарии требование бдительности в воспитании.

Воспитание юноши Бориса не удалось. Постигшая семью Бориса катастрофа — ранняя смерть отца — нарушила в какой-то момент единство и целостность семейного коллектива. Борис откололся от семьи, рос и формировался в одиночку. Это нездоровое положение нарушило по всем линиям естественные социальные связи юноши, и он остался вне коллектива, а следовательно, противопоставленный ему. О таком же неудачнике Болотове в повести «ФД-1» А. С. Макаренко говорил, что если он не признает обязательности авторитета коммунистического коллектива, то погибнет во взрослом состоянии. Такая же участь грозит Борису. Но советский человек не одинок, если даже он сам не знает путей, — ему помогут. В сценарии сильный комсомольский коллектив судоремонтного завода, руководимый преданными и волевыми членами партии, систематически «бьет», как говорит А. С. Макаренко, по характеру Бориса. Мелкая индивидуалистическая позиция Бориса потрясена в своей основе силой сплоченного, политически устремленного коллектива

Студией «Союздетфильма» сценарий был принят к постановке.

В Архиве А. С. Макаренко сохранилось постановление Сценарного отдела киностудии «Союздетфильма» от 29 марта 1939 г., в котором сказано: «Обсудив сценарий т. Макаренко под условным названием «Командировка», Сценарный отдел считает, что как в отношении темы, так и всего образного строя вещи, сценарий представляет бесспорный интерес для киностудии «Союздетфильм» и по своему высокому идейно-художественному качеству дает материал для создания полноценного фильма о советской молодежи сегодняшнего дня».

Антон Семенович находился в марте 1939 г. в Доме отдыха писателей (ст. Голицыно, Белорусско-Балтийской жел. дор.) В последнюю свою поездку из Голицына в Москву, 1 апреля 1939 г., А. С. Макаренко направлялся в «Детфильм», чтобы высказать свои соображения по поводу отдельных замечаний, которые были сделаны рецензентами сценария. В вагоне пригородного поезда Антон Семенович скоропостижно скончался. Эта неожиданная смерть автора прервала дальнейшую работу над сценарием.

В Архиве А. С. Макаренко хранятся рукописный и два машинописных авторских текста сценария.

Рукописный текст сценария не закончен, обрывается на 112-м кадре. Рукопись сохранилась не полностью. Из 112 имеются только 43 разрозненных кадра.

Первый машинописный текст также не полон. Машинопись обрывается на 82 кадре. Из 82 сохранились 54 разрозненных кадра.

Второй машинописный текст представляет собою законченное произведение. Он состоит из 101 кадра. Сличение этого текста с предыдущими устанавливает большую работу автора. Кроме обычной стилистической правки, многие кадры объединены, некоторые заменены новыми. Этот текст и печатается в настоящем томе.

Сценарий «Командировка» публикуется впервые.





ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
От редакции	5
Честь	
Повесть	
Часть первая	9
Часть вторая	121
Литературные сценарии	
«Настоящий характер».	313
«Командировка»	357
Приложения.	
Против шаблона	421
О книге «Честь»	425
Комментарии	
«Честь»	441
«Настоящий характер»	443
«Командировка»	445

Редактор *Н. А. Сундуков*
Художественный редактор *Г. З. Гинзбург*
Технический редактор *В. П. Гарнек*
Корректор *Е. М. Лидова*

* * *

А07980. Подписано к печати 25/IX 1951 г.
Уч.-изд. л. 22,78. Тираж 50 000 экз. Цена 15 р.
Бумага $82 \times 108 \frac{1}{32} = 7$ бум.—22,96 п. л.
Заказ № 1112

* * *

Со стереотипа, изготовленного в Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова, отпечатано в типографии Металлургиздат. Москва, Цветной бульвар, д. 30.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка снизу	Напечатано	Следует читать
91	11	обратил внимания	обратил внимание
424	14	нашего строя	нашего героя

Заказ 1598 А. С. Макаренко, Соч. т. 6.

